

ПЕРСИЖИ
ДЛЯ МЕСЬЕ
КЮРЕ

Эвандж

Каррис



Annotation

Стоило Вианн обосноваться на берегах Сены, привыкнуть к ровному течению жизни и тысяче повседневных мелочей, как незнакомый ветер снова позвал ее в путь. Он не расскажет Вианн о новых городах, где она никогда не бывала, или о чужеземцах, которых ей только предстоит повстречать. Он принесет ей новости о старых друзьях, которых она не видела уже восемь лет, и нашепчет о переменах, которые пришли на извилистые улочки старого Ланскне вместе с ароматом восточных пряностей и мятного чая.

- [Джоанн Харрис](#)
 -
 - [Новолуние](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Первая лунная четверть](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)

- [Глава двенадцатая](#)
- [Белый Отан](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
- [Черный Отан](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
- [Королева Скорпионов](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
- [Рыцарь кубков](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)

- [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
- [Речные крысы](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
- [Ид\[67\]](#)
 - [Глава первая](#)
- [Слова благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)



Джоанн Харрис

Персики для месье кюре

*Моему отцу Бобу Шорту,
который никогда бы не позволил ни одному фрукту
пропасть зря*

Новолуние

Глава первая

Одна женщина как-то сказала мне, что только во Франции каждый год четверть миллиона писем доставляют тем, кто уже умер.

Но вот о чем она даже не упомянула: иногда и нам приходят письма от мертвых.

Глава вторая

Четверг, 10 августа

Письмо принес ветер рамадана,^[1] хотя тогда я, конечно, этого еще не знала. В августе в Париже часто дуют ветры, и тогда кажется, что по пыльным улицам носятся маленькие дервиши,^[2] одетые в лохмотья; они скользят по тротуарам и что-то ищут, оставляя на щеках и ресницах прохожих колющие сверкающие песчинки; а солнце палит на них с небес, точно белый подслеповатый глаз, и жара стоит такая, что люди начисто лишаются аппетита. В августе Париж почти вымирает; живы только туристы да несчастные вроде нас, которые не могут себе позволить даже в отпуск уехать; в августе от Сены исходит зловоние, и тени нигде не найти, и ты, кажется, готов на все, лишь бы вырваться из раскаленного города и побродить босиком по полю или посидеть в тенистом лесу.

Ру все это, конечно, хорошо понимает. Он вообще для городской жизни не создан. А Розетт, когда ей скучно, начинает творить всякие пакости; я же упорно делаю из шоколада всякие сласти, которые некому покупать. Анук целыми днями пропадает в интернет-кафе на улице Мира, болтая с друзьями в «Фейсбуке», или поднимается на Монмартрское кладбище и наблюдает за бездомными котами, что скользят и прячутся среди каменных домов мертвых, и солнечный свет, падая, как лезвие гильотины, узенькой полоской разрубает густую тень между соседними гробницами.

Анук пятнадцать. Куда уходит время? Так же, потихоньку, испаряются из флакона духи, как бы плотно ты ни закрывала его пробкой; а однажды ты возьмешь флакон в руки и увидишь, что на дне осталась лишь капелька душистой жидкости, хотя тебе казалось, что ее там еще много...

Как тебе живется, моя маленькая Анук? Что происходит в твоём, неведомом мне, маленьком мире? Счастлива ли ты? Или душа твоя не знает покоя? А может, ты всем довольна? Сколько еще дней осталось у нас с тобой до той поры, когда ты навсегда покинешь мою орбиту и, стремительно улетев в космические дали, точно сорвавшийся с поводка спутник-бродяга, исчезнешь среди звезд?

Подобная череда мыслей посещает меня отнюдь не впервые. Страх следует за мной как тень еще с тех пор, как родилась Анук, но нынешним летом мой вечный страх стал как-то особенно силен, расцвел на этой жаре, словно некий чудовищный цветок. Возможно, это связано с

воспоминаниями о моих матерях — о моей первой, покойной матери и второй, настоящей, которую я обрела всего четыре года назад. А может, всему виной Зози де л'Альба,^[3] похитительница сердец, чуть не лишившая меня всего, что у меня есть? Она так ярко продемонстрировала, сколь хрупка наша жизнь, как легко разрушить твой тщательно выстроенный карточный домик — для этого хватит даже малейшего вздоха ветра.

Пятнадцать. *Пятнадцать*. В ее возрасте я уже успела вдоволь постранствовать по свету. И знала, что моя мать скоро умрет. И слово «дом» означало для меня тогда всего лишь место, где мы в этот раз остановились на ночлег. И у меня еще никогда не было настоящего друга. А любовь... любовь моя в то время была похожа на светильники, что зажигают по вечерам на террасах кафе; я воспринимала ее как источник мимолетного тепла, как нежное прикосновение, как чье-то лицо, которое едва успела разглядеть при свете горящего костра.

Анук, надеюсь, будет иной. Она уже и сейчас очень красива, но пока что об этом не подозревает. Но однажды она влюбится — и что тогда будет с нами? Но пока, уговариваю я себя, время еще есть. Пока в жизни Анук есть только один друг — Жан-Лу Рембо; обычно они неразлучны, но в этом месяце ему пришлось лечь в больницу. Жану-Лу предстояла очередная операция, у него тяжелый врожденный порок сердца; Анук никогда об этом не говорит, и я прекрасно понимаю ее страх, ибо он подобен моему собственному. Этот страх — точно темная тень; он подкрадывается к тебе и шепчет, шепчет: ничто не вечно!

О Ланскне Анук до сих пор порой вспоминает. Хотя в Париже она, в общем, вполне счастлива, но он кажется ей скорее долгой остановкой на пути, что ею еще не пройден, чем домом, в который она всегда будет возвращаться. Разумеется, наш плавучий дом — дом не совсем настоящий; ему не хватает убедительности каменной кладки, скрепленной известковым раствором. Вот Анук и вспоминает — в самом что ни на есть розовом свете, с забавной ностальгией, свойственной в основном маленьким детям, — маленькую *chocolaterie*^[4] напротив церкви, полосатые маркизы над окнами и ею самой нарисованную вывеску. И взгляд у нее такой тоскующий, когда она говорит со мной об оставленных в Ланскне друзьях, о Жанно Дру и Люке Клермоне, и о том, что там по улицам даже ночью никто ходить не боится, а двери в домах никогда не запирают...^[5]

Понимаю, мне не следовало бы особо тревожиться. Характер у моей маленькой Анук, конечно, скрытный, но в отличие от большинства своих приятелей она по-прежнему с удовольствием общается с матерью, то есть

со мной. И все у нас с ней пока что хорошо. А бывают и совсем чудесные дни, когда мы остаемся только вдвоем и, забравшись в кровать вместе с Пантуфлем — его я воспринимаю краешком глаза, как некое расплывчатое пятно, — устраиваемся перед экраном портативного телевизора; на экране мелькают загадочные тени и образы, за окнами уже темно, а Розетт и Ру сидят на палубе и, точно рыбу, ловят звезды в безмолвной Сене.

Ру прямо-таки пристрастился к роли отца. Я, честно говоря, такого никак не ожидала. Но Розетт — ей сейчас восемь, и она точная его копия — сумела, похоже, вытянуть из его души нечто такое, о чем ни Анук, ни я и знать-то не могли. На самом деле мне порой кажется, что Розетт куда сильнее связана с Ру, чем с кем бы то ни было еще; что она *принадлежит* ему. У них есть собственный тайный язык — комбинация диких воплей, улюлюканья и свиста, — с помощью которого они могут общаться часами и которого никто больше не понимает, даже я.

С другой стороны, моя маленькая Розетт по-прежнему почти ни с кем не разговаривает, предпочитая объясняться с помощью языка жестов, который освоила еще совсем маленькой, и пользуется этим языком весьма умело, проявляя прямо-таки завидную изобретательность. Еще ей нравится рисовать и заниматься математикой; например, sudoku с последней страницы газеты «Монд» она может решить за несколько минут; она также умеет складывать в уме целые столбцы больших чисел, ей даже не нужно их записывать. Однажды мы попытались отдать ее в школу, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Здешние школы слишком велики, и ученики в них настолько лишены персонального внимания, что подобная обстановка совершенно не подходит такому *особенному* ребенку, как Розетт. Так что теперь ее учит Ру, и хотя их «расписание уроков» может кому-то показаться несколько необычным — основной упор Ру делает на занятия искусством и различные игры с числами, а также учит ее различать птиц по голосам, — она, похоже, бесконечно этому рада. Друзей у Розетт, разумеется, никаких нет, если не считать Бама, и я порой замечая, с какой странной тоской она наблюдает за детьми, идущими мимо нас в школу. Но в целом Париж относится к нам неплохо — при всем своем равнодушии и отсутствии внимания к конкретной персоне; и все же бывают такие дни, как, например, сегодняшний, когда я, подобно Анук и Розетт, вдруг обнаруживаю, что мечтаю о чем-то большем. Большем, чем это суденышко на реке, от которой исходит зловоние; большем, чем этот равнодушный город, похожий на раскаленный котел с затхлым воздухом; большем, чем этот лес церковных башен и шпилей; большем, чем наш крохотный камбуз,

где я готовлю шоколад на продажу...

Мечты о чем-то большем. Ох, какие обманчивые слова! Слово «больше» — точно пожиратель жизни, точно воплощение неудовлетворенности, точно та самая соломинка, что сломала спину верблюду, требуя... а чего, собственно, требуя?

Я очень счастлива в своей нынешней жизни. Счастлива с мужчиной, которого люблю. А еще у меня есть две чудесные дочери и любимое занятие, для которого я и родилась на свет. Доходов это занятие, правда, особых не приносит, но все же помогает нам платить за стоянку на Сене, да и Ру берется за любую работу, связанную со строительством или плотницким делом, так что в целом мы четверо вполне держимся на плаву. И по-прежнему рядом все мои друзья с Монмартра: Алиса, Нико, мадам Люзерон, хозяин маленького кафе Лоран, художники Жан-Луи и Пополь. Сейчас со мною рядом даже моя родная мать, которую, как мне казалось раньше, я потеряла столько лет назад...

Казалось бы, чего мне еще хотеть?

Все началось несколько дней назад, когда я у нас на камбузе возилась с трюфелями. В такую жару только трюфели можно делать более или менее без опаски; любые другие шоколадные конфеты рискуют вскоре испортиться — либо от хранения в холодильнике, либо от этой несносной жары, которая до всего добирается. Для приготовления трюфелей нужно слегка нагреть шоколадную глазурь на плите, затем переместить ее в чуть теплую духовку, добавить специи, ваниль и кардамон и дожидаться момента, когда простое кухонное действие превратится в акт домашней магии.

Чего еще могла бы я пожелать в такой момент? Ну, может быть, только легкого ветерка; самого легкого, как нежное прикосновение, как поцелуй в ямку на шее под затылком, где мои волосы, заколотые в неопрятный узел, уже начали на проклятой жаре пахнуть потом...

Самого легкого ветерка... А что? Разве в таком желании есть что-то дурное?

И я призвала его, этот ветерок, — едва заметный, теплый, игривый ветерок, который гоняется за облачками в небе, словно котенок.

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma mie m'appelle...[\[6\]](#)

Правда-правда, я вызвала совсем маленький ветерок; просто легкое дыхание и легкое свечение в воздухе, подобное чьей-то улыбке; и этот

вздых ветра принес с собой отдаленный аромат цветочной пыльцы, специй, пряников. На самом деле мне всего лишь хотелось, чтобы этот ветерок немного причесал облака в летнем небе, принес в наш тесный уголок ароматы иных мест...

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent...

И повсюду на Левом берегу сразу, точно бабочки, запорхали в воздухе фантики и обертки от сладостей; но игривый ветерок не унимался и задрал юбку какой-то женщине, шедшей через Сену по мосту Искусств, — оказалось, это мусульманка, лицо ее было закрыто черным покрывалом, *никабом*, теперь в Париже очень много мусульманок в *никабах*, — и на мгновение мне вдруг показалось, что из-под ее покрывала блеснуло нечто неясное, и сразу же над нею в раскаленном воздухе возникла дрожащая дымка, а тени от деревьев, потревоженных дыханием ветра, вдруг превратились на пыльной воде в какие-то дикие абстрактные письмена...

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent...

Мусульманка, шедшая по мосту, на мгновение остановилась и посмотрела на меня. Лица ее под *никабом* разглядеть, разумеется, было невозможно — я видела только глаза, сильно подведенные сурьмой. Но она смотрела на меня так внимательно, что я вдруг подумала: а что, если мы с ней знакомы? На всякий случай я подняла руку и помахала этой женщине. Нас разделяла неторопливо текущая Сена и становившийся все сильнее аромат шоколада, который доносился из открытого окошка нашей маленькой кухоньки.

Попробуй. Испытай на вкус. На мгновение мне показалось, что эта женщина сейчас тоже махнет мне рукой, но она лишь опустила темные глаза и, отвернувшись, двинулась дальше по мосту — безликая, вся в черном — навстречу ветру, принесенному рама-даном.

Глава третья

Пятница, 13 августа

Нечасто доводится получать письма от мертвых. Письмо было из Ланскне-су-Танн; и не просто письмо, а *письмо в письме*. Его нам прислали, разумеется, до востребования (ведь в плавучие дома почту не доставляют), и принес его Ру; он заглянул на почту, когда, как обычно, ходил за хлебом.

— Да самое обыкновенное письмо, — сказал он мне и пожал плечами. — И совсем не обязательно, чтобы это что-нибудь такое значило.

Но тот ветер дул уже и весь минувший день, и всю ночь, а мы такому ветру никогда не доверяли. К тому же сегодня он еще и стал порывистым, то и дело менял направление и разрисовывал поверхность молчаливой Сены мелкой рябью, похожей на запятые. Розетт, точно игривый котенок, упражнялась в прыжках на набережной у самой воды, играя с Бамом. Бам — это невидимый дружок Розетт; впрочем, невидимый он отнюдь не всегда. Мы, во всяком случае, видим его довольно часто. Даже наши покупатели порой его видят, особенно в такие дни, как этот; и Бам тогда лукаво посматривает на них с моста или свисает с ближайшего дерева, уцепившись хвостом за ветку. Розетт, разумеется, видит его *постоянно* — но, с другой стороны, и сама Розетт не такая, как все.

— Самое обыкновенное письмо, — снова сказал Ру. — Просто вскрой конверт и прочти.

Я доделывала последние трюфели и собиралась уже разложить их по коробкам. Шоколад вообще сохранить непросто, нужна правильная температура, а уж на нашем-то суденышке, где так мало места, лучше готовить что-нибудь самое простое. Например, трюфели. Во-первых, делать их очень легко, а во-вторых, порошок какао, в котором их обваливают, предохраняет шоколад от таяния. Коробки с готовыми трюфелями я храню под кухонным столом; туда же я убираю подносы со «старыми ржавыми железками» — гаечными ключами, отвертками, гайками и болтами; глядя на них, можно поклясться, что они настоящие, хотя на самом деле сделаны из шоколада.

— Да мы уж восемь лет как оттуда уехали, — сказала я, катая трюфель на ладошке. — И, между прочим, от кого оно, это письмо? Почерк я что-то не узнаю.

И тогда Ру сам вскрыл конверт. Он всегда поступает так, как проще

всего. И всегда действует сразу; всяческие размышления он, в общем-то, считает излиш-ними.

— Письмо от Люка Клермона.

— От маленького Люка?

Я вспомнила неуклюжего подростка, который страшно стеснялся своего заикания. Господи, вдруг подумала я, да ведь теперь-то Люк, должно быть, совсем взрослый! Ру развернул листок и стал читать вслух:

Дорогие Вианн и Анук!

Как много времени уже прошло! Надеюсь все же, что это письмо до вас дойдет. Как вы знаете, когда умерла моя бабушка, она оставила мне все — и свой дом, и все свои деньги, и некий запечатанный конверт, который я не должен был вскрывать, пока мне не исполнится двадцать один год. День рождения у меня был в апреле, тогда я и вскрыл этот конверт, а внутри оказалось письмо, адресованное вам.

Ру вдруг умолк. Я повернулась к нему и увидела, что он держит в руках простой белый конверт, немного помятый, словно отмеченный морщинами прожитых лет и многочисленными прикосновениями живых рук к мертвой бумаге. На этом конверте темно-синими чернилами было написано мое имя. Да, рукой Арманды — ее пораженной мучительным артритом, но властной рукой — было старательно выведено мое имя...

— Арманда... — только и сумела вымолвить я.

Ах, мой дорогой старый друг! Как это странно — и как печально — спустя столько лет получить от тебя весточку! Вскрыть запечатанный тобою конверт, сломать поставленную тобой печать, от времени ставшую совсем хрупкой. Краешек этого конверта ты, должно быть, облизала, прежде чем запечатать, как облизывала ложечку, вынув ее из чашки с моим сладким крепким шоколадом, — сладострастно, жадно, как ребенок. Ты всегда видела значительно дальше, чем я, — и меня тоже заставляла смотреть дальше, нравилось мне это или нет. И сейчас я совсем не была уверена, хочется ли мне, готова ли я узнать, что там, в этой весточке из мира мертвых, но ты-то хорошо знала: я так или иначе ее прочту.

Дорогая Вианн! (Так начиналось письмо, и я прямо-таки услышала голос Арманды: сухой, как порошок какао, и такой же нежный.)

Я помню, как в Ланскне впервые провели телефон. У-у-у! Какое смятение это вызвало! Каждому хотелось испытать новый аппарат. Епископа, которому, собственно, телефон и поставили, буквально по уши

засыпали всевозможными подарками и подношениями — лишь бы позволил позвонить. Ну, если людям казалось, что телефон — это настоящее чудо, то можешь себе представить, что бы они подумали об **этом письме**. И обо мне, которая ведет с тобой переписку из мира мертвых. Да, кстати, если тебе это интересно, то шоколад в раю действительно есть. Передай месье кюре, что тебе об этом сообщила именно я. Заодно и проверишь, научился ли он понимать шутки.

Я перестала читать и на минутку присела на одну из табуреток.

— Все нормально? — с тревогой спросил Ру.

Я молча кивнула. И снова углубилась в письмо:

Восемь лет. За восемь лет многое может случиться, верно? Маленькие девочки начинают взрослеть. Времена года успевают много раз сменить друг друга. Люди уезжают, приезжают, переезжают из дома в дом. Мой внук уже совершеннолетний — двадцать один год! Хороший возраст, это я еще помню. А ты, Вианн, — ты тоже уехала из Ланскне? Думаю, да. Ты не была готова остаться. Но это вовсе не означает, что когда-нибудь ты там не останешься, — запри кошку в доме, и единственное, к чему она будет стремиться, это вновь оказаться на улице. Но если ее оставить на улице, она будет мяукать под дверью до тех пор, пока ее не впустят в дом. Люди, в общем, ведут себя примерно так же. Ты сама это поймешь, если когда-нибудь туда вернешься. Но с какой стати туда возвращаться? Я будто слышу, как ты это спрашиваешь. Нет, я не утверждаю, что способна заглянуть в будущее. Во всяком случае, если я что-то там и вижу, то весьма смутно. Но ты однажды здорово встряхнула Ланскне, хотя и не все тогда восприняли это положительно. И все же, как известно, времена меняются. Мне, во всяком случае, ясно одно: раньше или позже, а в Ланскне ты вновь понадобишься. Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе, когда это случится. Так что уважь меня в последний раз: съезди в Ланскне. И детей с собой возьми. И Ру — если, конечно, он с тобой. Положишь цветочки на могилу одной старой дамы. Только не из магазина Нарсиса, а **настоящие**, полевые. Поздороваешься с моим внуком. Выпьешь чашку шоколада.

Да, и еще одно, Вианн. Там, под стеной моего дома, раньше росло персиковое дерево. Если вы приедете летом, то персики наверняка уже созреют, и их нужно будет собрать. Раздай их детям и своих угости. Мне даже думать противно, что все эти персики попросту склюют птицы. И

помни, Вианн: все возвращается. Река под конец все приносит назад.

Люблю тебя всем сердцем, как и прежде.

Твоя Арманда

Я еще довольно долго молчала, тупо глядя на зажатый в руке листок; в ушах у меня все еще звучало эхо голоса Арманды. Господи, сколько раз мне слышался этот голос во сне или на грани сна! Голос Арманды и ее суховатый старческий смех всегда звучали так отчетливо, что мне казалось, будто я чувствую и ее запах — запах лаванды, шоколада и старых книг, — и от этого ощущения в воздухе словно позолота поблескивала. Говорят, никто не умирает насовсем, пока его хоть кто-нибудь помнит. Возможно, именно поэтому Арманда по-прежнему так явственно присутствовала в моих мыслях, в моей душе — со своими темными, блестящими, как черная смородина, глазами, со своим дерзким нравом, со своими алыми нижними юбками, которые она надевала под черные траурные платья. Именно поэтому я бы никогда не смогла ей отказать, даже если б хотела; даже если и пообещала себе, что никогда больше в Ланскне не вернусь, хотя этот городок мы с Анук полюбили больше всех прочих и нам уже почти удалось остаться там навсегда, но тот ветер все же заставил нас уйти, и мы ушли, половину своей души оставив в Ланскне...

И вот теперь снова подул этот ветер. Он подул откуда-то из-за могилы Арманды и принес с собой чудесный аромат персиков...

И детей с собой возьми.

А почему бы и нет?

Назовем это каникулами, подумала я. Хоть какая-то причина уехать из душного города. Пусть Розетт немного поиграет на свободе, а Анук повидается со старыми друзьями. И потом, я действительно соскучилась по Ланскне; по его мрачноватым серо-коричневым домам; по его извилистым узким улочкам, которые, словно спотыкаясь, сбегают к берегам Танн; по узким полоскам полей на склонах голубоватых окрестных холмов. И по району Маро,^[7] где жила Арманда; по старым заброшенным дубильням; по допотопным домам-развалюхам, что, как пьяные, наклонились над водами Танн; по причаленным к берегу лодкам и плавучим домам речных цыган, по их кострам...

Съезди в Ланскне. И детей с собой возьми.

Что, собственно, в этом плохого?

Я никогда ничего не обещала. И никогда не собиралась менять направление ветра. Но если уж ты можешь путешествовать во Времени, можешь вернуться назад и почувствовать себя *прежней*, то неужели же не

попробуешь сделать это — хотя бы раз? Неужели не подашь ей какой-нибудь знак? Неужели не захочешь все исправить, как надо? И тем самым показать ей, что она не одинока?

Глава четвертая

Суббота, 14 августа

Анук восприняла новость о предстоящей поездке с живым, даже каким-то трогательным энтузиазмом. Большинство ее школьных друзей разъехались — в августе все стремятся уехать из Парижа, — а поскольку Жан-Лу по-прежнему был в больнице, она слишком много времени проводила в одиночестве и спала, пожалуй, больше, чем было ей полезно. Я понимала: Анук, как и всем нам, необходимо уехать отсюда — хотя бы ненадолго. Париж в августе действительно ужасен; он превращается в город-призрак, сокрушенный десницей жары; витрины магазинов закрыты металлическими ставнями, улицы совершенно пусты, там лишь изредка можно встретить туристов с рюкзаками, в бейсболках и кроссовках, но даже стойкие туристы перемещаются стаями, точно мухи.

Я сказала Анук, что мы собираемся на юг.

— В Ланскне? — тут же с надеждой спросила она.

Такого я не ожидала. Нет, пока что не ожидала. Возможно, впрочем, Анук обо всем догадалась по цветам моей ауры. Но лицо ее моментально просветлело, а из глаз — они у нее столь же выразительны, сколь выразительна небесная синева во всех своих оттенках и проявлениях, — исчезло то грозное, точнее, предгрозовое выражение, столь свойственное им в последнее время; теперь глаза Анук возбужденно сияли, в точности как в тот день, восемь лет назад, когда мы впервые прибыли в Ланскне. Розетт, на мордашке которой тут же отражается все, что делает или говорит Анук, внимательно за нами наблюдала, ожидая своей очереди высказаться.

— Если всем это по душе, — наконец сказала я.

— Да это просто клёво! — воскликнула Анук.

— Клё! — эхом откликнулась Розетт, и тут же в грязной воде Сены что-то громко булькнуло, как будто это слово, рикошетом отскочив от поверхности реки, вернулось обратно: это Бам выразил одобрение нашей затее.

И только Ру ничего не сказал. С тех пор как мы получили письмо от Арманды, он вообще стал невероятно молчаливым. И дело было явно не в том, что он так уж любит Париж; если честно, он его едва терпит, причем исключительно ради нас; и здесь дом для него — это прежде всего река, а не сам город. К тому же в Ланскне с ним поступили не очень-то хорошо, а таких вещей Ру никогда не забывает. Он до сих пор еще имеет зуб на

тамошних жителей из-за своего сгоревшего судна и из-за того, что случилось после пожара. Хотя и в Ланскне у Ру, конечно, есть друзья — например, Жозефина, — в целом он считает этот городок гнездом узколобых фанатиков, которые открыто ему угрожали, которые сожгли его дом, которые даже еду ему продавать отказывались. А уж что касается тамошнего кюре Франсиса Рейно...

Несмотря на чисто внешнюю, кажущуюся простоту, Ру — человек все же довольно замкнутый, даже немного угрюмый. Он напоминает дикое животное, которое можно приручить, однако оно никогда не забудет недоброго к себе отношения. Вот и Ру тоже способен быть и невероятно преданным, и свирепо злопамятным. Я подозреваю, например, что он никогда не переменит своего мнения о кюре Рейно; а прочих обитателей Ланскне — во всяком случае, подавляющее их большинство — так и будет воспринимать с легким презрением, считая кем-то вроде ручных кроликов, которые живут себе тихо на берегах Танн и даже за ближайший холм заглянуть не осмеливаются, которых безумно пугает и дыхание перемен, и появление в городе любого чужака...

— Ну а ты, Ру, — спросила я, — что ты об этом думаешь?

Он довольно долго молчал, глядя на реку и пряча лицо под низко свисающей прядью волос. Потом пожал плечами и сказал:

— Может, не стоит?

Подобная реакция меня удивила. Мое предложение поехать в Ланскне вызвало такой энтузиазм, что я и забыла заранее выяснить, как он отнесся к письму Арманды. Я просто решила, что и он с радостью воспримет возможность ненадолго переменить обстановку.

— Что значит «может, не стоит»?

— Арманда ведь к тебе в своем письме обращалась, а не ко мне.

— Но почему же ты до сих пор молчал?

— Я же видел, как тебе хочется туда поехать.

— А сам ты, значит, предпочел бы остаться здесь?

Он снова пожал плечами. Порой его молчание куда красноречивее слов. В Ланскне, во всей видимости, есть нечто — или скорее *некто*, — являющееся причиной абсолютного нежелания Ру вновь посещать эти места; но я прекрасно понимала: сколько его ни спрашивай об истинной причине, он все равно ни в чем не признается.

— Да все нормально, — сказал он, прерывая наконец затянувшееся молчание. — Не волнуйся. Поступай, как считаешь нужным. Съезди в Ланскне. Положи на могилу Арманды цветочки. А потом возвращайся домой, ко мне. — Он улыбнулся и поцеловал мне кончики пальцев. — У

твоих рук все еще вкус шоколада.

— Значит, не передумаешь?

Он покачал головой.

— Ничего, вы ведь там недолго пробудете, — сказал он. — И потом, надо же кому-то и за судном присматривать.

И это действительно так, подумала я; однако мысль о том, что Ру не хочет ехать с нами и предпочитает остаться здесь, не давала мне покоя. Я-то уже размечталась, как мы поплывем туда все вместе, на своем судне. Ру отлично знает все водные пути Франции и сумел бы отлично проложить маршрут: сперва вниз по Сене, потом по лабиринту каналов до Луары и оттуда до Canal de Deux Mers;^[8] затем, поднявшись по Гаронне и миновав систему шлюзов, мы наконец добрались бы до Танн с ее бесчисленными перекатами и тихими заводами и плыли бы потихоньку мимо полей, замков, заводов, любуясь тем, как река делается то уже, то шире; как ее грязно-зеленая с маслянистыми разводами вода то вдруг замедляет свой бег, то снова его убыстряет; как меняется ее цвет, становясь то коричневым, то черным, то желтым, а потом она вдруг превращается в чистую, прозрачную, деревенскую речку.

У каждой реки свой нрав. Сена — река городская, промышленная; этаким хайвей, по которому непрерывно снуют баржи, груженные лесом, всевозможными контейнерами и упаковочными клетями, металлическими балками и автомобильными запчастями. Луара с ее красивыми песчаными берегами весьма коварна; она и вправду очаровательна, когда серебрится в солнечных лучах, скрывая свой буйный нрав, но там полно опасных отмелей и ядовитых змей. Гаронна вся такая ухабистая, неровная, неправильная; в одних местах она очень щедрая, полноводная, а в других — настолько мелка, что даже такие маленькие суда, как наш плавучий дом, приходится перемещать с помощью шлюзов с одного уровня на другой, и на это уходит немало драгоценного времени...

В общем, ничего из моих тайных планов не вышло. В Ланскне мы поехали поездом. И это оказалось во многих отношениях лучше: во-первых, проплыть немалый путь по Сене — задача не самая простая; во-вторых, для этого нужно оформить множество документов и получить кучу разрешений; в-третьих, необходимо еще и сохранить за собой место у причала в центре Парижа, а также решить немало иных административных вопросов. И все же мне отчего-то было очень неприятно возвращаться в Ланскне вот так, с чемоданом в руке, словно я беженка и Анук снова бежит за мною следом, точно приبلудная собачонка.

А впрочем, с какой стати меня должно это тревожить? В конце концов,

мне абсолютно не нужно кому-то что-то доказывать. Да и я уже больше не та Вианн Роше, которую восемь лет назад занес в этот городок безумный ветер. У меня теперь есть свой бизнес, свой дом. Мы больше не какие-то речные крысы, которым приходится перебираться из одного селения в другое в поисках жалкой поживы и браться за любую временную работу — копать землю, сажать растения, собирать урожай. Теперь я сама отвечаю за свою судьбу. Теперь я *сама призываю ветер*. И ветер подчиняется моим приказам.

Но тогда к чему... такая поспешность? Неужели ради Арманды? Или, может, все-таки ради меня самой? И почему этот ветер, который и не думал ослабевать, когда мы уезжали из Парижа, становится все сильнее, все настойчивей по мере того, как мы продвигаемся к югу? Почему в его голосе слышится одно лишь плаксивое требование: *спеши, спеши, спеши*?

Я положила письмо Арманды в ту шкатулку, которую всегда и всюду беру с собой; там хранятся и карты Таро, принадлежавшие моей матери, и еще кое-какие осколки прошлых лет. Впрочем, чтобы составить представление о целой жизни, их попросту не хватит; ведь мы тогда почти все время проводили в пути. Но все же там есть вещи, напоминающие о местах, где мы жили; о людях, которых мы встречали; о друзьях, которых мы теряли, едва успев приобрести. Там хранятся кулинарные рецепты, которые я собирала всю жизнь, и рисунки, сделанные Анук в школе. И несколько фотографий. И паспорта. Немногочисленные почтовые открытки, полученные мной от Ру. Свидетельства о рождении. Удостоверения личности. Прожитые мгновения, воспоминания о былом. Все то, из чего мы, собственно, и состоим, сжатое в каких-то два-три килограмма бумаги — примерно столько же весит человеческое сердце; но какими же неподъемными кажутся порой эти жалкие килограммы!

Спеши. Спеши. Снова я слышу в ушах этот голос.

Но чей он? Может, мой собственный? Или Арманды? А может, это голос переменившегося ветра, который сейчас настолько ослабел, что мне порой почти кажется, будто ветер совсем улегся?

Здесь, на последнем отрезке нашего пути, обочины дороги буквально покрыты одуванчиками, только они в основном уже отцвели, и в воздухе носятся облака крошечных белых семян.

Спеши. Спеши. Помнится, Рейно говорил, что если позволить одуванчикам отцвести и обсемениться, то на следующий год они заполнят все — обочины дорог, землю у живых изгородей, виноградники, церковные дворы и сады; они пробьются даже в трещины на тротуаре, и через пару лет вокруг будут одни одуванчики; а потом они в победоносном марше

двинутся дальше по всей округе, голодные, неуничтожимые сорняки...

Франсис Рейно сорняки ненавидел. А мне одуванчики всегда нравились; нравились их веселые желтые головки, их вкусные листья. Но такого количества одуванчиков я никогда прежде не видела. Розетт сразу предалась своему любимому занятию — аккуратно срывала белые головки цветов и дула на них, рассеивая в воздухе летучие семена. И я понимала, что на будущий год...

На будущий год...

Как странно думать о том, что будет здесь на будущий год. Мы не привыкли что-либо планировать заранее. Мы всегда походили на эти одуванчики; поселимся где-нибудь на одно лето, а потом подует ветер и унесет нас куда-то еще. Корни у одуванчиков мощные. Они и должны быть такими, чтобы найти поддержку и пропитание. А вот цветет это растение совсем недолго — даже если никто, вроде Франсиса Рейно, и не выкорчует его из почвы, — а потому, чтобы выжить, оно, едва успев обсемениться, вынуждено лететь вместе с ветром все дальше и дальше.

Уж не поэтому ли меня оказалось так легко снова заманить в Ланскне? Уж не реакция ли это на некий глубинный инстинкт, спрятанный в таких недрах моей души, что я сама едва сознаю вызванную им потребность непременно вернуться туда, где мною были однажды посеяны собственные упрямые семена? Интересно, выросло ли там что-нибудь за время нашего отсутствия? Остался ли в тех краях хоть какой-то след нашего недолгого пребывания? Как вспоминают нас тамошние жители? С любовью? С равнодушием? Да и помнят ли они нас вообще? Может, восьми лет вполне хватило, чтобы стереть в их душах всякую память о нас?

Глава пятая

Воскресенье, 15 августа

Ах, отец мой, им годится любой повод, лишь бы себе праздник устроить! В Ланскне, по крайней мере, дела обстоят именно так; здесь люди много и тяжело работают, и каждое новое событие — даже открытие очередной лавчонки или забегаловки — воспринимается как долгожданный перерыв в бесконечных трудах и заботах, как возможность передохнуть и попраздновать.

Сегодня день Пресвятой Девы Марии.^[9] Национальный праздник. Хотя большинство церкви сторонится, предпочитая проводить время перед телевизором, а многие и вовсе уезжают к морю — отсюда до побережья всего часа два на автомобиле — и возвращаются под утро, пряча блудливый взгляд, точно домашние коты, всю ночь зря прошлявшиеся по улицам.

Я знаю. Я должен проявлять толерантность. Моя роль священника прямо на глазах претерпевает значительные изменения. Сегодня стрелка морального компаса в Ланскне указывает на совершенно иных людей — на столичных жителей и прочих чужаков, на местное начальство и тех, кто является образцом политкорректности. Недаром говорят, что времена меняются. Старые традиции и верования теперь должны быть приведены в соответствие с решениями, принятыми в Брюсселе мужчинами (а то и, не приведи Господи, женщинами) в строгих официальных костюмах, которые и столицу-то никогда не покидали, разве что проводили летний отпуск в Каннах или ездили покататься на лыжах в Валь-д'Изер.

У нас в Ланскне, разумеется, этому яду потребовалось несколько больше времени, чтобы добраться до жизненно важных центров общества. Нарсис по-прежнему держит пчел, как это делали его отец и дед, а мед так и не пастеризует, пренебрегая общеевропейскими запретами; впрочем, теперь он его с преувеличенной щедростью и довольным блеском в глазах раздает *абсолютно бесплатно*, как он выражается, но *только* в придачу к почтовым открыткам; а вот их он продает по 10 евро за штуку. Таким образом, ему удастся, не вступая в противоречие с новыми правилами и ограничениями, не нарушать и местную традицию, которая в течение нескольких веков оставалась неизменной.

Нарсис — не единственный, кто порой пренебрегает постановлениями властей. Есть еще Жозефина Бонне — до развода Жозефина Мюска, —

которой принадлежит кафе «Маро»; так вот, она всегда старается сделать так, чтобы эти презренные речные цыгане подольше у нас прожили. Есть еще этот англичанин со своей женой Маризой — они владеют виноградником чуть дальше по дороге и часто нанимают речных цыган во время сбора урожая (разумеется, неофициально). Есть еще Гийом Дюплесси, который давным-давно уже на пенсии и не преподает в школе, однако по-прежнему дает частные уроки и всегда готов помочь любому ребенку, который его об этом попросит, — а ведь новый закон требует особой проверки всех, кто работает с детьми.

Разумеется, есть у нас и те, кто приветствует любые инновации — особенно если эти инновации тем или иным образом касаются их собственного благополучия. Каро Клермон и ее муж, например, теперь стали ярыми сторонниками законов, принятых в Брюсселе и Париже, и недавно вменили себе в обязанность пропагандировать в нашем городке *здоровый образ жизни и безопасность*; теперь они проверяют тротуары, надеясь обнаружить любые свидетельства пренебрежения к общественному порядку; ведут настоящую войну с теми, кто вынужден много ездить и часто покидать родной город, а также с прочими нежелательными элементами; всячески продвигают современные ценности и в целом явно чувствуют себя значительно выше прочих смертных. Мэра мы в Ланскне традиционно не избираем, но если б избирали, то самой очевидной кандидатурой, безусловно, стала бы Каро Клермон. Она и так уже возглавляет две общественные организации — «Соседи не дремлют» и «Лигу христианских женщин» — и наш деревенский «Книжный клуб», а заодно и движение по очистке речных берегов, и союз «Бдительные родители», которому вменяется в обязанность защищать детей от педофилов.

А церковь? Впрочем, кое-кто скажет, что Каро Клермон и в церкви всем заправляет.

Если бы ты, отец, лет десять назад сказал, что когда-нибудь и я начну симпатизировать бунтовщикам и «отказникам», я бы, скорее всего, рассмеялся тебе в лицо. Но с тех пор я сильно изменился. И стал ценить совсем другие вещи. В молодости мною правил Порядок; путаница и неразбериха, царившие в жизни моей паствы, служили для меня постоянным источником раздражения. Теперь же я гораздо лучше понимаю этих людей — хотя их действия и не всегда одобряю. Пытаясь разобраться в их проблемах, я стал испытывать к ним не то чтобы приязнь, но нечто весьма к этому близкое. Сам я, возможно, не стал от этого лучше, зато с годами понял: порой лучше немного прогнуться, чем сломаться. И этому

меня научила Вианн Роше. Когда Вианн с дочерью покидали Ланскне, не было на свете человека счастливее меня, и все же я отлично понимаю, чем ей обязан. Да, это я понимаю отлично!

Вот почему, когда на исходе очередного здешнего карнавала мне вдруг словно почудился в воздухе легкий запах дыма, я отчего-то представил себе, что это Вианн Роше к нам возвращается. А что, это было бы вполне в ее духе — явиться в город накануне *войны*. Потому что в Ланскне *действительно пахнет войной*, отец. А в воздухе отчетливо пахнет грозой, и она вот-вот разразится.

Интересно, а Вианн тоже почувствовала бы это? И неужели так уж безнадежны мои мечты, что в данном случае она приняла бы мою сторону, а не сторону моих врагов?

Глава шестая

Воскресенье, 15 августа

Обычно я не посещаю тех мест, которые когда-то покинула. По-моему, слишком сложно и даже неприятно вновь столкнуться с тем, какие там за это время произошли изменения, — с закрытыми кафе, с заросшими дорожками, с тем, что старые друзья уехали или же переселились на кладбище или в богадельню. Между прочим, это они почему-то делают с завидным постоянством...

А некоторые места и вовсе меняются настолько, что мне порой с трудом верится, что я вообще когда-то там жила. В определенном смысле это даже лучше, ибо в таких случаях при виде знакомых мест не испытываешь мучительной сердечной тоски и тебе не кажется, что воспоминания о них уменьшились до размеров отражения в осколках того зеркала, которое мы разбиваем, уезжая навсегда. В иных же местах перемены почти не заметны, и оказывается, что это, как ни странно, пережить значительно труднее. Но мне никогда еще не доводилось вернуться туда, где ничто не изменилось бы *вовсе*...

По крайней мере, до сегодняшнего дня мне казалось, что это именно так.

В Ланскне нас занес ветер карнавала, и с тех пор минуло восемь с половиной долгих лет. Тогда этот ветер, казалось, обещал нам столь многое; дикий, безумный ветер, полный веселого конфетти, запаха дыма и соблазнительного аромата лепешек, которые пекли на обочине дороги. Но и на этот раз жаровня с лепешками стояла на прежнем месте, и праздничная толпа на улице была точно такой же, как и украшенная цветами повозка с пестрой командой фей, волков и ведьм. Я вспомнила, что и в тот раз купила *galette*^[10] у этого уличного торговца, и теперь тоже, и лепешка оказалась точно такой же вкусной и поджаристой, а ее аромат и вкус — тесто из ржаной муки, соль, сливочное масло — помогли мне разбудить память.

Тогда рядом со мной стояла Анук с пластмассовой трубой в руках. Теперь же Анук напряженно застыла с широко распахнутыми глазами, а пластмассовая труба на этот раз оказалась в руках у Розетт. *Тру-ру-ру-у-у!* Только теперь труба была красная, а не желтая и в воздухе не чувствовалось даже намека на заморозки; и все же и звуки вокруг, и голоса людей, и запахи были точно такими же, как тогда; и люди, одетые по-летнему — куртки и береты сменили белые рубашки и соломенные шляпы,

кто же будет носить черное в такую жару? — вполне могли быть почти теми же самыми, особенно дети, которые точно так же скакали рядом с движущейся повозкой, подбирая длинные узкие разноцветные ленты, цветы и сладости...

Тру-ру-ру-у-у! — снова взывала труба, и Розетт засмеялась. Сегодня она в своей стихии. Сегодня она может носиться как сумасшедшая, вести себя как обезьянка и смеяться как клоун, и никто ничего не заметит, никто не сделает замечание. Сегодня она вполне *нормальна* — что бы это ни значило — и с удовольствием участвует в процессии, сопровождающей праздничную повозку, завывая и улюлюкая от восторга.

Сегодня, должно быть, 15 августа, подумала я. Я уж почти позабыла, какой это день. Я, в общем, не особенно слежу за церковными праздниками, но, наверное, все-таки должна была ее заметить — гипсовую Богородицу в позолоченной короне под балдахином из цветов. Ее торжественно несли впереди процессии четверо мальчиков-хористов, одетых в стихари, и на мальчишеских лицах явственно читалась легкая обида: еще бы, в такую жару тащиться в долгополых стихарях через весь город, когда все вокруг веселятся! На мгновение показалось, что я почти узнаю одного из хористов — он был очень похож на маленького Жанно Дру, дружившего с Анук в те далекие времена, когда мы держали в Ланскне лавку «Небесный миндаль». Но это, разумеется, попросту невозможно: Жанно теперь наверняка уже лет семнадцать. Но этот мальчик *действительно* был очень похож на Жанно. Может, это какой-то его родственник? Двоюродный брат? Или даже родной? А вон та девушка с крылышками феи, что едет на повозке, — вылитая Каролина Клермон. Женщину в голубом летнем платье легко можно принять за Жозефину Мюска, ну а мужчина с собакой — он, правда, стоял слишком далеко, и мне было трудно разглядеть его лицо под надвинутой на лоб шляпой — это, скорее всего, мой старый друг Гийом...

Интересно, кто этот тип в черном одеянии, стоящий чуть в стороне и с безмолвным неодобрением вззирающий на праздничную толпу?..

Неужели это Франсис Рейно?

Тру-ру-ру-уу! Игрушечная труба из ярко-красного пластика звучала, естественно, на редкость фальшиво, но оглушительно. Так что человек в черном даже слегка вздрогнул, когда Розетт с дикими воплями, сопровождавшими вой трубы, пронеслась мимо него вместе с Бамом (сегодня он, кстати, виден вполне отчетливо).

Но человек в черном оказался вовсе не Рейно. И даже вообще не мужчиной. Мне стало это ясно, как только «он» обернулся, глядя вслед

процессии. Оказалось, что это женщина-мусульманка, довольно молодая, судя по фигуре, но вся до кончиков пальцев в черном, и лицо скрыто *никабом*. Она даже перчатки черные надела, несмотря на чудовищную жару; единственное, что можно было хорошо разглядеть, это ее глаза, очень красивые, миндалевидной формы, темные, бездонные, совершенно непроницаемые.

Может быть, подумала я, мы с ней когда-то уже встречались? Да нет, вряд ли. И все же она казалась мне странно знакомой — возможно, из-за ярких цветов ее ауры, несколько необычно смотревшихся на фоне черной неподвижной фигуры; это были цвета карнавала, цветов, живых и бумажных, ярких лент и пестрых флажков.

Никто с ней не разговаривал. Никто даже не смотрел в ее сторону. Даже в Париже, где люди заезжены жизнью и ко всему привычны настолько, что вряд ли что-то способно привлечь их внимание и вызвать комментарии, закутанная в *никаб* мусульманка все же обычно бросается в глаза; но здесь, в Ланскне, где сплетни служат разменной монетой, как ни странно, никто даже не обернулся, чтобы взглянуть на женщину, закутанную в покрывало по самые глаза.

Неужели они все тут настолько тактичные? Возможно, конечно. Но, скорее всего, они просто боялись. Во всяком случае, толпа, разделившись на два рукава, как бы обтекала эту женщину в черном; возле нее даже образовалось некое свободное пространство; она, точно невидимый другим призрак, высилась над людским потоком среди дразнящих ароматов жареной еды и сахарной ваты, среди шума толпы и звонких детских голосов, огненными шутихами взмывавших в горячее синее небо.

Тру-ру-ру-у-у! О господи, опять эта труба! Я поискала глазами Анук, но моя старшая дочь куда-то исчезла, и на мгновение в душе вновь пробудился страх, обостренный долгой жизнью в столице...

И тут я наконец заметила Анук в самой гуще толпы — она разговаривала с каким-то мальчиком, примерно ее ровесником. Я решила, что это, скорее всего, кто-то из ее старых приятелей. Анук с трудом обретает друзей, но отнюдь не потому, что чурается общества сверстников. Как раз наоборот! Но многие, даже слишком многие, почувствовав, что она не такая, как все, начинают ее избегать, обходить стороной. Исключение составляет лишь Жан-Лу Рембо. Но Жан-Лу за свою короткую жизнь уже столько раз стоял на пороге смерти, что меня порой охватывает отчаяние: моей маленькой Анук и без того уже пришлось пережить столько потерь, однако самым близким своим другом она снова сделала мальчика, который едва ли доживет до двадцати.

Не поймите меня неправильно. Мне очень нравится Жан-Лу. Но моя маленькая Анук в определенном отношении невероятно чувствительна, и тут я прекрасно ее понимаю. Она, как и я, испытывает ответственность за многое, что ей неподвластно. Возможно, это связано с тем, что она старший ребенок в семье; а может быть, на нее так повлияло случившееся с нами в Париже четыре года назад, когда нас чуть не унесло ветром.^[11]

Я снова и снова внимательно вглядывалась в толпу, пытаюсь отыскать знакомые лица. И на этот раз действительно узнала Гийома — он, разумеется, стал на восемь лет старше, но, в общем, остался таким же, и его собака — когда мы с Анук покидали Ланскне, собака была еще совсем щенком — послушно следовала за ним по пятам. А за Гийомом и его собакой, как всегда, тащились ребяташки, трещавшие наперебой и без конца совавшие псу лакомства.

— Гийом!

Но он меня не услышал — слишком громко звучали музыка и смех. Зато стоявший рядом со мной мужчина вдруг резко обернулся, и я увидела его лицо, такое знакомое, с мелкими, четкими, какими-то *очень аккуратными* чертами; на меня с изумлением уставились его глаза, серые, холодные, но я все же успела мельком разглядеть цвета его ауры. Если честно, то, если бы не эти цвета, я вполне могла его и не узнать, ибо на нем не было привычной сутаны; но невозможно скрыть свою сущность всего лишь под кожей лица, точно под наспех напяленной маской...

— Мадемуазель Роше? — наконец вымолвил он.

Да, это был он, Франсис Рейно.

Ему уже стукнуло сорок пять, но он почти не изменился. Тот же подозрительный изгиб тонких губ. Так же тщательно зализывает волосы назад, пытаясь подавить их природную курчавость. Тот же упрямый разворот плеч, словно у человека, несущего невидимый крест.

Правда, несколько располнел с тех пор, как я в последний раз его видела. По-настоящему толстым он, видимо, никогда не будет, но все же теперь в районе талии у него просматривалась приличная складка, и я подумала: вряд ли он в последние годы так уж строго соблюдал посты. Ему, пожалуй, это даже шло: он достаточно высокого роста, и ему всегда стоило быть чуть потолще; но самым удивительным оказалось то, что в уголках его холодных серых глаз я заметила морщинки, которые вполне можно было принять за намек на улыбку.

А он взял и действительно улыбнулся — застенчиво, неуверенно, как те, кто не привык улыбаться. И я, увидев эту улыбку, поняла, кого имела в виду Арманда, написав, что кому-то в Ланскне, возможно, понадобится моя

помощь.

Разумеется, его цвета и так многое сказали. Если судить по внешности, то Рейно по-прежнему относился к той категории людей, которые способны полностью и весьма жестко себя контролировать. И все же я-то знала его лучше многих, так что сумела разглядеть под латами внешнего спокойствия глубочайшее волнение. Начнем с того, что воротничок священника он надел криво. Этот воротничок застегивается сзади с помощью маленькой клипсы и должен сидеть безукоризненно. Но у Рейно он съехал набок, и застежка была хорошо видна. Для такого щепетильного человека, как он, подобная небрежность в высшей степени необычна.

Что там, кстати, писала о нем Арманда?

В Ланскне ты вновь понадобишься... Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе...

Да и цвета ауры говорили сами за себя: напыщенное сочетание зеленых и серых тонов словно насквозь простреливал алый цвет отчаяния. И потом, этот настороженный, смущенный взгляд; так смотрит человек, который не знает, как попросить о помощи. Короче говоря, у Рейно был такой вид, словно он находился на краю пропасти, и я поняла: я не смогу уехать, пока не выясню, что здесь происходит.

И помни: все возвращается.

Голос Арманды явственно звучал у меня в ушах. Она умерла восемь лет назад, но сейчас говорила со мной как живая и была такой же упрямой, мудрой и озорной. Нет смысла пытаться заглушить голоса мертвых — они неумолимы, их не заглушить ничем, и они по-прежнему будут звучать в ушах.

— Месье кюре! — с улыбкой воскликнула я.

А затем приготовилась скакать верхом на урагане.

Глава седьмая

Воскресенье, 15 августа

Боже мой, она совсем не изменилась. Длинные черные волосы; смеющиеся глаза; ярко-красная юбка и сандалии. В руке — наполовину съеденная лепешка; на запястье — звенящие браслеты; и дочка, как тогда, скачет следом за нею. На мгновение мне показалось, что время остановилось; даже ребенок почти не повзрослел.

Но ребенок-то, конечно, был другой. Это я понял почти сразу. Во-первых, эта девочка была рыженькая, а та, первая, — темноволосая. И потом, приглядевшись внимательней, я заметил кое-какие перемены и в облике самой Вианн: возле глаз пролегли тонкие морщинки, а на лице появилось какое-то настороженное выражение, словно прошедшие восемь лет научили ее не доверять людям — а может, она просто все время ждала беды.

Я попытался улыбнуться в ответ, зная прекрасно, что личного обаяния мне всегда не доставало. Я не обладаю тем чудесным легким даром общения, который есть у отца Анри Леметра, священника из Тулузы, обслуживающего теперь и соседние с нами приходы — Шанси, Флориан и Пон-ле-Саул. Моя манера читать проповеди, по мнению многих (и в первую очередь Каро Клермон), признана *довольно сухой*. Я никогда не стремлюсь ни запугать паству, ни подчинить ее себе с помощью лести. Я всегда стараюсь быть честным, но в результате ни от кого не получаю благодарности — прежде всего, разумеется, мною недовольны Каро и ее приспешницы, всем им куда больше по душе священники, которые *участвуют в общественной жизни*, воркуют над каждым младенцем и позволяют себе ходить растрепанными и одетыми кое-как даже в дни церковных праздников.

Вианн Роше удивленно приподняла бровь, заметив мою улыбку; возможно, эта улыбка показалась ей несколько вынужденной. Что ж, в подобных обстоятельствах этого и следовало ожидать.

— Простите, я не...

Все дело, конечно, в сутане. Вряд ли она когда-либо видела меня без нее. Я всегда находил, что в традиционной черной сутане есть нечто успокоительное; что она символизирует определенный авторитет в обществе. Но теперь я довольствуюсь тем, что надеваю поверх простой черной рубашки воротничок священника, хотя, разумеется, не опускаюсь

до того, чтобы носить потрепанные джинсы, как это часто делает отец Анри Леметр. Каро Клермон ясно дала мне понять: ношение сутаны (вне религиозных церемоний) не соответствуют уровню современного прогресса и просвещенности. Каро Клермон пользуется благосклонностью епископа, и мне в свете последних событий пришлось научиться более или менее следовать правилам игры.

Я чувствовал, что Вианн рассматривает меня — с любопытством, но вполне доброжелательно. Я ждал, что она скажет: как вы изменились! Но вместо этого она улыбнулась — на этот раз удивительно искренней улыбкой — и легонько чмокнула меня в щеку.

— Надеюсь, вы не сочтете это чересчур неуместным? — лукаво спросила она.

— Даже если и счел бы, вряд ли вас это остано-вило бы.

Она засмеялась; глаза ее так и сияли. Стоявшая рядом с ней девочка вдруг издала ликующий вопль и что было силы дунула в пластмассовую дудку.

— Это моя маленькая Розетт, — пояснила Вианн. — А мою Анук вы, конечно же, помните.

— Конечно.

Разве я мог ее пропустить, не заметить? Анук теперь стала хорошенькой темноволосой девушкой лет пятнадцати. Я видел, что она оживленно о чем-то беседует с сыном Жолин Дру, абсолютно не замечая, как сильно она выделяется на общем фоне в своих линиялых джинсах и желтой, цвета нарциссов, рубашке; пыльные босые ноги обуты в простые сандалии, а роскошные волосы стянуты на затылке каким-то жалким шнурком; наши деревенские девицы в своих праздничных нарядах, проходя мимо, поглядывали на нее весьма презрительно...

— Она очень похожа на вас.

Вианн улыбнулась.

— О господи!

— Но я хотел сделать комплимент...

Она снова рассмеялась, словно я позволил себе некую вольность. Я никогда толком не мог понять, что именно вызывает ее смех. Вианн Роше из тех людей, которые, по-моему, смеются надо всем на свете, словно жизнь — это вечная шутка, а люди вокруг бесконечно очаровательны и добры, хотя на самом деле они по большей части глупы и тупы, а то и полны настоящего яда.

И я, постаравшись придать своему тону максимум сердечности, спросил:

— Что снова привело вас сюда?

Она пожала плечами:

— Да так, ничего особенного. Просто заехали, и все.

— Ясно.

Значит, она еще не слышала. А может, слышала и теперь просто со мной играет? Мы ведь расстались тогда при весьма неопределенных обстоятельствах; вполне возможно, она до сих пор имеет на меня зуб. И, между прочим, вполне заслуженно. Мало того, она имеет полное право даже презирать меня...

— Где же вы остановились?

Вианн снова пожала плечами.

— Я еще не уверена, что мы вообще где-нибудь остановимся. — Она снова посмотрела на меня; казалось, будто она взглядом ощупывает мое лицо. — А вы отлично выглядите, месье кюре.

— Вы тоже. Да вы совсем не изменились!

На этом обмен любезностями закончился. Я пришел к выводу, что о моих обстоятельствах ей ничего не известно, а ее приезд — именно сегодня! — это всего лишь совпадение. Ну и прекрасно! Возможно, так даже лучше. Да и что она может сделать? Одна-единственная, да еще женщина, да еще накануне войны?

— А что, моя шоколадная лавка на месте?

Этого вопроса я и боялся.

— Конечно, где же ей еще быть. — На нее я больше не смотрел.

— Правда? И кто же там теперь заправляет?

— Одна иностранка.

Вианн засмеялась.

— Ну да, «иностранка» из Пон-ле-Саул?

Близость наших приходов она всегда воспринимала как шутку. Хотя все наши ближайшие соседи свирепо блюдут собственную независимость. Некогда эти городки и деревни представляли собой *bastides*,^[12] крошечные города-крепости в тесном сплетении таких же крошечных доминионов, а потому даже теперь в них еще сохранилось несколько настороженное отношение к любым чужакам.

— Но вам же захочется где-нибудь остановиться, — сказал я, не ответив на ее шутливый вопрос. — В Ажене, например, есть несколько хороших гостиниц. А если доехать на автомобиле до Монтобана...

— У нас нет автомобиля. Мы брали такси.

— Ясно...

Карнавал близился к концу. Я видел, как по главной дороге проехала

последняя повозка; она вся, от оглобель до задней стенки, была завалена цветами и покачивалась, точно пьяный епископ в полном облачении.

— Вообще-то я думала, что можно было бы остановиться у Жозефины, — сказала Вианн. — Если, конечно, у нее в кафе найдется комната.

Я натянуто улыбнулся.

— Полагаю, это возможно.

Я понимал, что веду себя нелюбезно. Но позволить ей остаться здесь в столь чувствительный для меня период значит испытывать совершенно ненужные дополнительные волнения. И как это она всегда ухитряется появиться в самый неподходящий момент...

— Извините, но у вас, похоже, что-то случилось?

— Что вы, отнюдь нет! — Я постарался изобразить лучезарную улыбку. — Просто сегодня праздник Святой Девы Марии, и через полчаса начинается месса...

— Ах, месса... Хорошо, тогда и я с вами пойду.

Я так и уставился на нее.

— Но вы же никогда не ходите к мессе!

— Я подумала, что неплохо бы заглянуть в свой бывший магазинчик. Так просто. Вспомнить былое.

Мне стало ясно, что ее не остановить, и я приготовился к неизбежному.

— Но вашей *chocolaterie* больше не существует, — сказал я.

— Я и не думала, что она сохранится. И что же там теперь? Булочная?

— Не совсем, — сказал я.

— Ничего, надеюсь, хозяин лавки меня все-таки впустит — просто посмотреть.

Я тщетно пытался скрыть замешательство, она, конечно же, заметила это и спросила:

— В чем дело?

— Ну... я не уверен, что это хорошая идея...

— А почему? — Она не сводила с меня вопрошающих глаз.

Ее рыженькая дочка, присев рядом на корточки, превратила свою дудку в куклу и, бормоча себе под нос что-то невнятное, заставляла ее маршировать по пыльной дороге. Вполне ли она нормальна? — подумал я. Впрочем, я никогда не видел в детях особого смысла.

— Люди, которые там живут, не слишком дружелюбно настроены, — сказал я.

Вианн только рассмеялась в ответ.

— Надеюсь, я сумею с ними поладить, — сказала она.

И тогда я пустил в ход свой последний козырь:

— Это иностранцы.

— Ну, так и я тоже, — сказала Вианн Роше. — Я уверена, мы отлично договоримся.

Вот как вышло, что в день Пресвятой Девы Марии к нам снова занесло ветром эту женщину — с ее умением все переворачивать вверх дном, с ее мечтами и с ее шоколадом.

Глава восьмая

Воскресенье, 15 августа

Карнавал закончился. Дева Мария в своем праздничном убранстве снова вернулась на церковный постамент; с нее сняли золоченую корону и спрятали до следующего года, да и венок на ней уже начал увядать. Август в Ланскне жаркий, а ветер, дующий с гор, еще больше иссушает тамошние земли. Когда мы вчетвером добрались наконец до церкви Святого Иеронима, тени успели стать гораздо длиннее, а солнце освещало лишь самую верхушку церковного шпиля. Колокола звонили, созывая народ к мессе, и толпа уже вливалась в двери храма: старушки в черных соломенных шляпках (изредка, правда, на шляпах встречались то лента, то пучок вишен, призванные хоть как-то смягчить полжизни, проведенные в трауре); старики в беретах, которые делали их похожими на школьников, лениво плетущихся в школу. Старики, наспех пригладив водой из колонки седины, старательно зачесали их назад и надели воскресные башмаки, которые уже успела покрыть желтая пыль. На меня никто даже не посмотрел. Да и мне никто в этой толпе знакомым не показался.

Рейно, шедший чуть впереди, оглянулся через плечо, и мне показалось, что в его повадке есть нечто неуверенное; да и шел он в сторону церкви как-то неохотно, хотя движения его были по-прежнему четкими и собранными; я заметила, что он еле переставляет ноги, словно ему хочется продлить путь. Розетт тоже утратила весь свой энтузиазм — вместе с пластмассовой дудкой, которая развалилась где-то по дороге. Анук шла впереди, и в одном ухе у нее был наушник айпода. Интересно, подумала я, что она слушает, затерявшись в этом своем, личном, мире звуков?

Обогнув церковь, мы вышли на маленькую площадь Сен-Жером и оказались напротив моей бывшей *chocolaterie* — того самого здания, которое мы с Анук впервые по-настоящему стали называть домом...

Несколько мгновений мы стояли молча. Слишком многое сразу бросилось в глаза: окна с выбитыми стеклами, провалившаяся крыша, гора мусора у стены. И совсем свежий запах — точнее, смесь запахов мокрой штукатурки, горелого дерева и воспоминаний, улетевших вместе с дымом.

— Что же здесь случилось? — вымолвила я наконец.

Рейно пожал плечами:

— Здесь был пожар.

Он сказал это почти с теми же интонациями, что и Ру, когда сгорел его плавучий дом. И голос его звучал так же устало и монотонно; в нем чувствовалось некое почти оскорбительное равнодушие. Мне даже захотелось спросить, уж *не он ли* устроил и этот пожар, — вовсе не потому, что я действительно так думала, а просто чтобы он хоть на мгновение утратил свое дурацкое самообладание.

— Кто-нибудь пострадал? — спросила я.

— Нет. — И снова эта нарочитая отстраненность, хотя в душе у него — я видела это по цветам ауры — все так и кипело, плевалось, выло.

— Там кто-нибудь жил?

— Да. Женщина с ребенком.

— Иностранцы, — уточнила я.

— Да.

Бледные глаза Рейно смотрели прямо на меня, точно бросая мне вызов. Разумеется, я и сама была здесь иностранкой — по крайней мере, по его определению. И я тоже была «женщиной с ребенком». Интересно, думала я, он специально подбирает слова? Может, с их помощью он хочет сказать мне еще что-то важное?

— Вы их знали?

— Совсем не знал.

Это тоже было необычно. В таком городке, как Ланскне, приходский священник знает всех. Либо Рейно лгал, либо та женщина, что жила в моем доме, ухитрилась сделать почти невозможное.

— И где же они теперь живут? — спросила я.

— В Маро, наверное.

— *Наверное?*

Он пожал плечами.

— Их там, в Маро, теперь великое множество, — сказал он. — С тех пор как вы уехали, здесь произошли большие перемены.

Я уже начала подозревать, что так оно и есть. Похоже, в Ланскне *действительно* произошли большие перемены. Все эти смутно знакомые лица, дома, беленые церковные стены, поля и улочки, что, извиваясь, спускаются к реке, старые дубильни на берегу, площадь с посыпанной гравием площадкой для игры в петанк, ^[13] начальная школа, булочная Пуату — все, что казалось мне символом уюта и покоя, когда я впервые здесь появилась, и выглядело в моих глазах вечным и неизменным, окрасилось теперь в иные тона. Все здесь словно покрыл налет тревоги, все дышало холодом любезного, но отстраненного дружелюбия.

Я заметила, как Рейно посматривает в сторону церкви. Все прихожане

уже вошли внутрь, и я спросила:

— Вам, наверное, пора поскорее облачиться в сутану? Вы же не хотите опоздать к мессе.

— Сегодня службу отправляю не я, — он по-прежнему говорил абсолютно нейтральным тоном, — а приезжий священник, отец Анри Леметр. Он бывает у нас по особым случаям.

Мне это заявление показалось весьма странным, но я, будучи человеком далеким от церкви, от комментариев воздержалась. А Рейно ничего объяснять не стал. И стоял со мной рядом, застыв, как подсудимый, ожидающий приговора.

Розетт и Анук молча наблюдали за нами, то и дело посматривая в сторону нашей бывшей *chocolaterie*. Анук даже наушник из уха вытащила. Потом подошла к обугленной двери почти вплотную, и я знала: сейчас она вспоминает, как мы с ней мыли мылом и оттирали песком резьбу на этих старинных дверях; как покупали краски и кисти; как потом пытались отмыть волосы от краски, которой перепачкались, обновляя стены и наличники.

— Внутри, возможно, все далеко не так плохо, как снаружи, — сказала я и толкнула входную дверь. Незапертая дверь открылась легко. Но внутри оказалось еще хуже: посреди комнаты — гора сломанных стульев, по большей части сильно обгоревших и ставших бесполезными; скатанный в трубку почерневший ковер; останки мольберта на полу. На стене все еще висела школьная доска, и с нее на пол сыпались черные хлопья.

— Значит, здесь была школа? — громко спросила я.

Рейно мне не ответил. Губы его были плотно сжаты.

Розетт явно была недовольна и, надув губы, сказала на языке жестов: «Мы что, будем здесь спать?»

Я улыбнулась и покачала головой.

«Вот и хорошо. А то Баму здесь не нравится».

— Мы переночуем где-нибудь в другом месте, — сказала я.

«Где?»

— Я знаю одно вполне подходящее местечко. — Я посмотрела на Рейно и все же спросила: — Я бы не хотела вмешиваться в ваши дела, но с вами, похоже, случилась какая-то беда?

Он улыбнулся. Улыбка была чуть заметная, зато настоящая; на этот раз она отразилась даже в его глазах.

— Наверное, можно сказать и так.

— А вы вообще-то собирались идти к мессе?

Он молча покачал головой.

— В таком случае пойдете со мной, — предложила я.

Он снова улыбнулся и спросил:

— И куда же мы с вами пойдём, мадемуазель Роше?

— Для начала положим цветы на могилу одной старой дамы.

— А потом?

— А потом сами увидите, — сказала я.

Глава девятая

Воскресенье, 15 августа

Полагаю, мне все-таки придется с ней объясниться. Я думал, мне, возможно, удастся этого избежать, но если она останется в Ланскне — а все указывает на то, что она останется, — то вскоре ей обо мне расскажут. А наши сплетники, как известно, бьют наповал. Как ни странно, она почему-то считает, что мы вполне можем поддерживать дружеские отношения. Так что, пожалуй, лучше уж мне самому открыть ей истину, пока идея о возможной дружбе между нами не успела полностью завладеть ее душой.

Вот о чем я думал, покорно следуя за Вианн и ее девочками на кладбище. Они буквально каждую минуту останавливались и рвали на обочине полевые цветы — по большей части самые настоящие сорняки, разумеется: одуванчики, амброзию, ромашки, маки; порой, правда, среди этого сброда попадались анемоны или отдельные стебельки розмарина; видно, их семена случайно залетели сюда из чьего-то сада; а может, и сами цветы, пробившись сквозь каменную ограду, пустили побеги в неподобающем месте.

Разумеется, Вианн Роше *любит* сорные травы. Как и ее дети, особенно младшая девочка; она прямо-таки с наслаждением предавалась игре; к тому времени, как мы добрались до места, Вианн собрала целую охапку разных цветов и трав, перевязала этот «букет» ленточкой, сплетенной из травинок, и украсила пучком дикой земляники...

— Ну, что скажете?

— Э-э-э... очень яркий букет.

Она рассмеялась.

— То есть, хотите сказать, неподходящий?

Да, это был *очень яркий, беспорядочный, неподходящий, неправильный во всех смыслах этого слова букет* — и все же в нем было некое странное очарование; собственно говоря, все приведенные эпитеты *полностью подходят и для описания самой Вианн Роше*, подумал я, но вслух, разумеется, этого не сказал. Все-таки мое красноречие — особенно в настоящий момент — имеет весьма ограниченные пределы.

А сказал я вот что:

— Арманде этот букет понравился бы.

— Да, — кивнула она, — я тоже так думаю.

Арманда Вуазен была похоронена в фамильном склепе — там же, где

покоились и ее родители, и дед с бабкой, и муж, умерший лет сорок назад. Надгробие украшала высокая черная мраморная урна — Арманда эту урну всегда терпеть не могла, а в облицованном тем же черным мрамором углублении для цветов всегда в нарушение всех приличий сажала петрушку, морковку, картошку или еще какие-нибудь овощи, выказывая презрение к общепринятым способам выражения горя.

Как это похоже на нее — убедить свою молодую приятельницу принести к ней на могилу всякие сорняки! Вианн рассказала мне и о письме, присланном Люком Клермоном, и о вложенном в это письмо «загробном» послании Арманды. И опять же это вполне в духе Арманды Вуазен — во все вмешиваться, даже находясь по ту сторону могилы, и тревожить мою душу воспоминаниями о былом. Она написала, что и в раю есть шоколад. Богохульство! Даже мысли об этом абсолютно недопустимы, и все же в глубине души я надеюсь, что она — прости меня, Господи — окажется права.

Дети присели на краешек надгробия, поджидая, пока Вианн украсит могилу принесенными цветами; теперь в мраморном углублении были, как полагается, аккуратными рядками посажены золотистые бархатцы, и в этом сразу чувствовалась рука Каролины Клермон, дочери Арманды — ну, во всяком случае, по крови-то она ей точно приходится дочерью. Под кудрявыми бархатцами я, правда, заметил какой-то жалкий сорняк, наклонился, хотел его выдернуть и узнал в нем крошечную морковку, нагло торчавшую из земли. Я улыбнулся про себя и оставил морковку в покое. Думаю, это Арманде тоже понравилось бы.

Наконец Вианн выпрямилась и сразу же спросила:

— Ну, теперь, может быть, вы все же объясните мне, что тут у вас происходит?

Я только вздохнул.

— Конечно, мадемуазель Роше, — сказал я и повел ее в сторону Маро.

Глава десятая

Воскресенье, 15 августа

Чтобы понять меня, вам, честное слово, нужно самим увидеть Маро, эти *трущобы* Ланскне — если столь урбанистический термин вообще применим к нашему городку, больше похожему на деревню и насчитывающему не более четырех сотен душ. Некогда в этой местности было кожевенное производство, дубильни и сыромятни, приносившие Ланскне немалый доход; цеха стояли как раз на берегу Танн, у самой воды, а в соседних домишках жили те, кто так или иначе был связан с выделкой кож.

Подобное производство всегда связано с вонью и грязью, потому-то для него и отвели место подальше от города и ниже по течению реки, и те люди, что работали в этих цехах, существовали как бы в собственном мире — болотистой низине, полной зловония и нищеты. Но так было добрую сотню лет назад. Теперь, разумеется, никакие кожи там не дубят, а сами дубильни, как и домишки тамошних жителей — кирпичный низ и деревянный верх, — превратились в мелкие лавчонки и дешевое жилье, сдаваемое в аренду небогатым постояльцам. Вода в реке Танн снова стала чистой, и дети часто приходят туда, чтобы поплескаться на мелководье и поиграть на берегу, на тех больших плоских камнях, где некогда женщины скребками очищали кожи от мездры; это тяжкая, ломающая спины работа, и даже на камнях за долгие десятилетия остались следы — выбитые скребками углубления.

Именно здесь обычно швартуют свои суденышки *речные крысы* (политкорректность требует, чтобы мы больше не употребляли выражение «речные цыгане»); причалив к берегу, они жгут костры, жарят на решетке лепешки, бренчат на гитарах, поют и танцуют, продают нашим детям дешевые побрякушки и по их просьбе делают им на руках татуировку с помощью хны — к великому ужасу родителей и Жолин Дру, ныне возглавляющей нашу школу.

Раньше, по крайней мере, все действительно было так. Но теперь дети стараются держаться подальше от Маро, как, впрочем, и большинство взрослых. Даже речные крысы больше туда не заглядывают; я, во всяком случае, уже четыре года не видел там больше ни одного их плавучего дома — с тех пор как из Ланскне убрался Ру. В Маро теперь царит совсем иная атмосфера; там пахнет восточными специями и дымом, там звучит

чужая речь, там все стало чужим...

Только не поймите меня неправильно. Я вовсе не испытываю неприязни к иностранцам. Кое-кто у нас в Ланскне действительно их терпеть не может, но ко мне это не относится. Я вполне радушно принял несколько первых иммигрантских семейств — тунисцев, алжирцев, марокканцев, всех этих *Pied-Noirs*,^[14] которые у нас теперь проходят под общим названием *maghrebins*, «магрибцы», — когда они перебрались к нам из Ажена; я отлично понимал, что жители таких деревень, как наша, со своими собственными привычками и пристрастиями, где все совсем не так, как в больших городах, будут, скорее всего, против столь большой группы чужаков, да еще и совсем непохожих на них самих.

Сперва *maghrebins* стали прибывать в наши края из Марселя и Тулузы; пригороды этих больших городов настолько заражены преступностью, что им пришлось попросту бежать оттуда в поисках более тихих мест. Прихватив с собой свои немалые семьи, «магрибцы» стали переселяться в Бордо, в Ажен, в Нерак, а потом уж и в Ланскне — точнее, в Маро, ибо этот кусок нашей территории муниципалитет счел вполне пригодным для «радикального переустройства», и его тут же с удовольствием прибрал к рукам Жорж Клермон, основной здешний застройщик.

Это было почти восемь лет назад. Вианн Роше уже уехала, но Ру еще оставался в Ланскне и трудился над восстановлением той развалины, которая должна была в один прекрасный день стать его новым плавучим домом; жил он в кафе «Маро», оплачивая проживание за счет случайной работы — работу ему подкидывал в основном Жорж Клермон, который с одного взгляда способен отличить умелого плотника; он был страшно доволен тем, что Ру можно платить значительно меньше обычного и тот никогда не станет жаловаться, всегда берет плату наличными и готов иметь дело с людьми любого сорта.

Район Маро тогда имел совсем иной облик. Движение «За здоровый образ жизни и безопасность» еще не успело окончательно свести с ума членов местного совета, и допотопные развалюхи, построенные вдоль берега реки, смогли довольно быстро и недорого превратить в сносные жилые помещения и магазины. К этому времени там уже появился свой магазин тканей, а в соседней лавке стали продавать манго, чечевицу и ямс. В местном кафе вместо алкоголя теперь подавали мятный чай, а там по желанию клиента могли подать и стеклянный кальян для курения *кифа* — ароматной смеси табака и марихуаны, весьма распространенной в Марокко. Каждую неделю в Маро устраивали ярмарку, где торговали весьма странными и экзотическими фруктами и овощами, доставленными

прямиком из доков Марселя, а также кое-какой бакалеей, печеными и жареными лепешками, катышками свежего сливочного масла, медовыми пряниками и миндальными пирожными.

В те дни «магрибское» сообщество насчитывало всего три или четыре семьи; все они жили на одной улице, которую некоторые наши жители (плохо зная географию) стали называть *Le Boulevard P'tit Baghdad*.^[15] И ведь вряд ли кто-то из новых поселенцев хоть раз *бывал* в Багдаде. Нет, все они приехали из бывших французских колоний, а большинство и вовсе были иммигрантами в третьем, а то и в четвертом поколении; еще их родители, а то и дед с бабушкой приехали во Францию в поисках лучшей жизни. Одевались они весьма разнообразно и ярко; от *джеллабы* и *кафтана*,^[16] столь распространенных в Марокко, до *бурнусов*,^[17] свойственных скорее берберам; многие носили и вполне современную европейскую одежду, обычно дополняя ее каким-нибудь головным убором — шапочкой для молитвы или, скажем, турецкой феской.

Все они были, разумеется, мусульманами; между собой говорили на арабском и берберском языках; ездили в большую мечеть в Бордо и непременно соблюдали пост во время рамадана. Имелся у них и явный лидер, *имам* — семидесятилетний Мохаммед Маджуби, вдовец, живший вместе со старшим сыном Саидом и его семьей: женой, тещей и дочерьми-подростками Соней и Алисой.

Мохаммед Маджуби был человеком простым и скромным, с длинной седой бородой и молодыми озорными глазами. Его часто можно было видеть сидевшим на веранде дома, которая буквально нависала над водой; там он читал, закусывая солеными сливами, а косточки выплевывал прямо в реку. Его сын Саид владел небольшим спортзалом, а невестка вела хозяйство и заботилась о престарелой матери. Внуки Мохаммеда существовали как бы между двумя мирами — в школу ходили в джинсах и туниках с длинными рукавами, а дома носили более традиционную одежду и свои длинные волосы закручивали в узел и прятали под разноцветные шарфы.

В те далекие дни этот район вообще пестрел разными красками. Яркой была их еженедельная ярмарка; яркими были витрины магазинов, красиво оформленные всякими продуктами и рулонами разноцветного шелка. Их главная улица хоть и имела весьма звучное название — бульвар Маро, — на самом деле была самой обычной узкой, в одну колею, и довольно грязной дорогой, тянувшейся через все это жалкое поселение; многочисленные поколения речных цыган давно уже повывырывали из этой дороги

бульжник, и она постепенно приходила в негодность, а сменявшие друг друга представители городского совета полагали, что бюджет Ланскне лучше использовать на пользу его коренным жителям.

«Магрибцы», похоже, не возражали. Многие из них переселились из куда более страшных трущоб больших городов, из полуразвалившихся квартир. Они ездили на старых разбитых автомобилях без тормозов и даже не думали о страховке, а потому им было совершенно безразлично, в каком состоянии пребывает дорога. Сперва их молодежь весьма активно смешивалась с нашей; мальчишки играли в футбол на рыночной площади; девочки заводили себе подруг в школе. Несколько пожилых мусульманских женщин пристрастились к игре в петанк и в итоге стали играть так здорово, что несколько раз вчистую обыгрывали нашу команду любителей. В общем, «магрибцы» стали не то чтобы частью Ланскне, но и аутсайдерами их никто не считал; мало того, многим казалось, что они даже внесли определенный вклад в развитие нашего городка, принеся с собой дыхание иных мест, аромат иных культур, вкус к экзотике — ничего подобного, кстати сказать, не наблюдалось ни в одной из прочих *bastides*, расположенных на берегах Гаронны и Танн.

Кое-кто из местных по-прежнему был весьма настороженно настроен по отношению к иностранцам — Луи Ашрон, например, — но большинство с радостью восприняло тот факт, что Маро вышел как бы на новый виток жизни. Более всех, разумеется, был доволен Жорж Клермон — ему платили неплохое жалованье в муниципальном совете, субсидировавшем развитие этого района, однако он ухитрялся урвать для себя всюду, где только можно; а новые поселенцы словно не замечали, что вместо дуба он использует сосну или кладет на стены три слоя штукатурки вместо полагающихся пяти. Его жена Каро с удовольствием пользовалась этим дополнительным доходом и старательно закрывала глаза на чудовищное состояние тамошней дороги. Да и сами «магрибцы» сперва были настроены вполне дружелюбно; я помню, как Жозефина Мюска приносила из кондитерской с верхнего конца бульвара Маро целые груды сладкой выпечки — владелец тамошней кондитерской, Медхи Аль-Джерба, родился и вырос в старом Марселе и говорил по-французски с тем самым южным акцентом, который, как говорится, не вырубишь топором. Его булочки и пирожные всегда пользовались большим успехом в кафе Жозефины, и я отлично помню, как она попыталась расплатиться с Медхи и принесла ему в подарок две-три дюжины бутылок местного вина и страшно расстроилась, узнав, что *никто* из новых поселенцев к алкоголю даже не притрагивается. (Впоследствии мы обнаружили, что это не совсем

соответствует действительности; сам Медхи Аль-Джерба вполне мог порой пропустить пару глотков — разумеется, исключительно в медицинских целях; а кое-кто из молодых мужчин довольно часто тайком посещал кафе «Маро», считая, что там на них никто и внимания не обратит.) В итоге вместо вина Жозефине пришлось купить в подарок горшки с цветущими геранями, которыми обитатели Маро и украсили свои подоконники, и все то лето тамошние булыжные мостовые имели ярко-красный оттенок. Я помню футбольные матчи между нашими ребятами и «магрибцами», помню, как порой отцы юных игроков приходили посмотреть на игру и каждый садился на своей стороне площади, но под конец матча они торжественно обменивались рукопожатиями. Помню даже, как Каро Клермон устраивала кофейные утреники для мусульманских женщин с детьми — разумеется, исключительно во имя *entente cordiale*,^[18] — словно она была социальным работником из Парижа, а не самой обыкновенной провинциальной домохозяйкой...

Я все это рассказываю тебе, отец мой, чтобы доказать: этих людей встретили у нас *достаточно приветливо*. Понимаю, что в прошлом не раз грешил нетерпимостью, но всегда старался побороть ее и исправиться. Когда Жан-Пьер Ашрон изуродовал мерзкими надписями стену спортзала, принадлежащего Саиду Маджуби, первым вмешался именно я и заставил мальчишку все соскрести. Когда Жолин Дру отказалась допустить к занятиям Захру Аль-Джерба, пока та не снимет головной платок, именно я обратил внимание Жолин на то, что начальная школа в Ланскне, вполне уместяющаяся, кстати, в одной-единственной комнате, — отнюдь не парижский лицей; я также заметил, что она и сама носит маленький золотой крестик, который, если уж строго следовать правилам, полагалось бы оставить за порогом школы.

Короче говоря — хотя тебе, отец мой, возможно, трудно в это поверить, — я с должным уважением относился к новым поселенцам. Я не принадлежу к тому типу людей, которые легко заводят друзей, но я действительно ничего не имел против той маленькой общины, что сложилась в Маро, — мало того, мне казалось, что нашим людям стоило бы кое-чему у этих *maghrebins* поучиться. Они всегда были вежливы, осмотрительны, никаких беспорядков не устраивали, уважительно относились к родителям и нежно любили детей; это были по-своему весьма благочестивые и скромные люди. С любой своей проблемой — будь то семейная ссора, мелкое преступление, несчастный случай или тяжкая утрата — они обращались к Мохаммеду Маджуби, чей статус в общине был достаточно высок; он как бы совмещал в одном лице функции

священника, врача, мэра, адвоката и социального работника. Правда, методы старого Маджуби не всегда соответствовали нашим представлениям — а кое-кто (и в первую очередь Каро Клермон) и вовсе считал, что у него старческий маразм, а его манера руководить людьми чересчур эксцентрична. Но большинство жителей Ланскне относились к старому Маджуби с искренней приязнью. А уж в Маро его слово и вовсе было законом, там никто и не осмелился бы поставить под вопрос его авторитет.

Затем случилось первое событие. С первых дней своей жизни в Маро старый Маджуби носился с идеей преобразовать одно из старых зданий в мечеть. Но, как я понимаю, этот план оказался слишком дорогостоящим и вряд ли вообще имел смысл, даже если бы и удалось подыскать строение, пригодное для подобной цели. Большая мечеть в Бордо находилась от нас не так уж далеко, да и все тогдашнее население Маро не превышало сорока человек — горстка семей.

Однако уже сами по себе планы Маджуби вызвали бурную дискуссию. На нашем берегу возникла даже целая оппозиция, энергично протестовавшая против этой идеи; оппозицию представляли такие стойкие католические семейства, как Ашроны и Дру. Мысль о том, что мечеть будет находиться буквально в пяти минутах ходьбы от нашей церкви, казалась им кощунственной; они воспринимали это как прямую атаку на нашу веру, как пощечину самому святому Иерониму, а может, и самому Господу Богу...

Старый Маджуби попросил меня вмешаться. Но я в данном случае не принял его сторону и не поддержал идею создания мечети — не потому, что я вообще против мечетей; просто в данном случае она мне представлялась ненужной...

Маджуби, однако, сдаваться не хотел. Заручившись поддержкой своего сына Саида, он выбрал одну из старых дубилен и вскоре с помощью средств, собранных мусульманской общиной Маро для подмазки местных властей и покупки необходимых материалов, и — разумеется, не без участия Жоржа Клермона — группа волонтеров превратила жуткую развалюху в самом конце бульвара в настоящую мечеть, ставшую центром всего поселения.

Пожалуйста, отец, постарайся понять правильно мои слова, что я не против мечетей. Конечно, возникновение мечети в Маро несколько противоречило местным планам застройки (на что мне и пришлось указать), однако эти противоречия были столь ничтожны, что я лишь мимоходом упомянул о них, дабы впоследствии избежать неприятностей.

И потом, результат был, безусловно, весьма скромный. Из старой

развалюхи получилось вполне аккуратное и симпатичное здание, облицованное желтым кирпичом. Притом снаружи мало что указывало на то, что это место религиозного поклонения. Внутри все тоже выглядело довольно красиво: пол выложен плиткой, стены выкрашены светлой краской, и по ней с помощью трафарета нанесены золотом соответствующие цитаты из Корана. Будучи священником, я стараюсь быть терпимым к любым верованиям, и я действительно предпринял определенные усилия, чтобы обитатели Маро поняли: мне очень нравится то, что они сделали, и я всегда к их услугам, если им вдруг понадобится моя помощь.

И все же в моих отношениях с общиной Маро произошел некий сдвиг. Еще во время нашего обмена мнениями старый Маджуби отчего-то вдруг стал вести себя вызывающе. Этот старик всегда отличался довольно упрямым нравом и одновременно каким-то странным легкомыслием, из-за чего порой было трудно понять, шутит он или говорит серьезно. Его сын Саид — человек куда более серьезный, и мне порой казалось, что для всей общины Маро стало бы лучше, если б отец уступил сыну и место имама, и право решать все насущные вопросы.

Возможно, старый Маджуби почувствовал мое настроение. Так или иначе, в его отношении ко мне все чаще стало сквозить раздражение. Когда бы я ни пришел в Маро (а я по-прежнему делаю это каждый день из чувства долга), он ни разу не упустил случая ехидно прокомментировать мое появление. И надо сказать, эти шуточные комментарии далеко не всегда отличались добродушием, хотя тогда, возможно, кое-кто этого еще и не понимал.

— Вот снова идет наш месье кюре! — возвещал старик со своим ужасным акцентом. — У вас что, на том берегу свои грешники кончились? Или вы решили наконец-то к нам присоединиться? Скажите, вы уже научились курить *киф*? Или у вас свои курительные смеси имеются?

И все это, несомненно, самым добродушным тоном; однако я постоянно чувствовал в этой его манере некий вызов, мальчишескую задиристость. У старого Маджуби, разумеется, тут же нашлись последователи; они стали вторить ему, и прежде чем я успел что-то понять, буквально в течение двух-трех дней Маро превратился для меня во враждебную территорию.

Итак... когда обстановка все-таки стала меняться? В точности это сказать невозможно. Так однажды невзначай посмотрешься в зеркало и вдруг заметишь первые признаки грядущей старости: морщинки в уголках глаз, складки у рта, которые словно стирают прежние очертания губ и

подбородка. В Маро, конечно, появлялись новые обитатели, но их было немного; и в самой общине, конечно, возникали какие-то трения — но с первого взгляда ничего особенного; во всяком случае, ничего такого, что оправдывало бы мое растущее беспокойство. Но, видимо, хватало и этого. Маро, точно при смене времен года, тоже постепенно менял краски. Большинство девочек стали ходить в черном и кутаться в *хиджаб* — это такой платок, очень похожий на монашеский апостольник, который полностью скрывает волосы и шею. Прекратились кофейные утреники у Каро Клермон. Первой перестала посещать эти посиделки одна из постоянных посетительниц, а уж потом и остальные стали приходить все реже. Зато Саид Маджуби расширил свой спортзал на бульваре Пти Багдад, что оказалось совсем не сложно; собственно, зал и раньше представлял собой весьма просторное и почти пустое помещение, где имелись не только беговые дорожки, но и другие тренажеры, в том числе снаряды для силовых упражнений, а также спа-бассейн. Вскоре этот спортзал стал для молодежи, проживающей в Маро, излюбленным местом встреч.

С тех пор минуло более пяти лет. Мусульманская община в Маро постепенно разрасталась. Там появилось немало новых людей — в основном родственники старых семейств, приехавшие из-за границы. В прошлом году внучка старого Маджуби Соня вышла замуж за человека по имени Карим Беншарки, который не так давно приехал в Ланскне со своей вдовствующей сестрой и ее ребенком. Отец Сони, Саид Маджуби, искренне восхищался Каримом, который был на двенадцать лет старше своей юной жены; по слухам, в Алжире у Карима имелся неплохой бизнес — он торговал одеждой и текстильными изделиями. У меня же этот брак особого восторга не вызывал. Я знал Соню с раннего детства — не то чтобы хорошо, но мы довольно часто беседовали. И она сама, и ее сестра Алиса были девочками смышленными, сильно опережавшими в развитии многих сверстниц; по выходным они даже в футбол играли с нашими мальчишками — с Люком Клермоном и его приятелями. Но, выйдя замуж, Соня чрезвычайно переменилась: стала носить только черное, забросила учебу и больше не помышляла о дальнейшем образовании. Я видел ее пару недель назад — она что-то покупала на рынке, с головы до ног закутанная в черное покрывало; но это, несомненно, была она.

С нею были муж и золовка; рядом с ними она выглядела совсем ребенком.

Я знаю, что ты хочешь сказать, отец мой. И ты прав: мне действительно не должно быть никакого дела до мусульманской общины Маро. Пусть этими *maghrebins* руководит их имам, Мохаммед Маджуби.

Но мысль о Соне просто из головы у меня не шла. Ведь в последнее время эта девочка переменялась просто до неузнаваемости! А вот ее младшая сестра осталась прежней — хотя футбольные матчи и для нее остались в прошлом. На Соню же мне просто больно было смотреть.

К тому времени и у меня начались неприятности. Кое-кто из прихожан стал жаловаться, что мои проповеди имеют не тот тон и не ту направленность, что они скучны и старомодны. Луи Ашрон, видно, затаил на меня обиду за то, как я обошелся с его сыном (я схватил мальчишку за ухо — ему тогда было всего шестнадцать — и заставил соскрести с только что оштукатуренной стены спортзала ту гадость, которой он эту стену украсил: ухмыляющуюся рожу и свастику; вот с тех самых пор вся семья Ашрон и точит на меня зуб).

Сам Ашрон, будучи бухгалтером, не раз состоял в различных комиссиях, которые возглавляла Каро Клермон; он также неоднократно работал и с Жоржем Клермоном. Ашроны и Клермоны, можно сказать, дружили семьями, да и сыновья у них были почти ровесниками. И вот, сговорившись между собой, они убедили нашего епископа, что именно мои старомодные воззрения послужили причиной трений, возникших между жителями Ланскне и Маро. Они даже рискнули вслух высказать глупейшее предположение, что я веду некую *междоусобную войну* против старого Маджуби и его мечети.

Клермоны и Ашроны стали ездить к мессе во Флориан, где служил новый молодой священник, отец Анри Леметр, стремительно обретавший все большую популярность. Довольно скоро я понял, что Каро, некогда одна из самых преданных моих последовательниц, переметнулась в лагерь отца Анри, подпав под его обаяние, и теперь втайне, но весьма энергично ведет кампанию за мое смещение.

А однажды, примерно полгода назад, я, как обычно, отправился на утреннюю прогулку по Маро и вдруг заметил нечто необычное: у мечети, построенной старым Маджуби, неведомым образом появился минарет!

Разумеется, действовать столь нахраписто во Франции не принято. Подобную выходку вполне можно было бы счесть бессмысленной провокацией. Но дело в том, что в старой дубильне имелась большая дымовая труба — кирпичная, квадратного сечения, футов двадцать в высоту и футов шесть в ширину. И вот теперь эту трубу вместе со всей дубильней привели в полный порядок — побелили и украсили серебряным месяцем. Этот месяц так и сверкал передо мной в лучах утреннего солнца, а до ушей моих доносились некие совсем уж фантастические звуки: чей-то голос, усиленный широченным дымоходом, выпевал на арабском языке

Азаан, традиционный призыв к молитве.

Allahu Akbar, Allahu Akbar^[19]...

Согласно французским законам, любой призыв к молитве должен осуществляться *исключительно внутри* того или иного помещения и без помощи каких бы то ни было усилителей. Дымоход в старой дубильне был снабжен внутренней лесенкой, и муэдзин, призывавший обитателей Маро к молитве, вполне мог ею воспользоваться, не говоря уж о естественных акустических свойствах «минарета». Таким образом, старый Маджуби вроде бы и подчинился букве закона, но мне стало совершенно ясно: с его стороны это самый настоящий и вполне осознанный вызов. Роль муэдзина чаще всего исполнял Саид. И отныне призыв мусульман к молитве эхом разносился не только по всем уголкам Маро, но и мы в Ланскне слышали его пять раз на дню. Когда Азаан словно наплывает на нас с того берега реки, я порой ловлю себя на том, что мне хочется немедленно начать громко звонить в церковный колокол, словно соревнуясь с воплями муэдзина, — да простит меня за это Господь.

Примерно в тот же период произошло и еще одно событие: в бывшую шоколадную лавку переехала *эта женщина*, сестра Карима Беншарки, со своей дочерью, девочкой лет одиннадцати-двенадцати. Казалось бы, от них нет никакого беспокойства, и все же беспокойство словно следовало за ними по пятам. Внешне, впрочем, ничего заметно не было. Никаких неприятных случаев, никаких ссор. Я, разумеется, зашел к ним, желая представиться и предложить поддержку, если она им понадобится. Но *эта женщина* едва соизволила рот раскрыть. Так и стояла, потупив глаза и с ног до головы закутавшись в черное покрывало. В общем, догадавшись, что моя помощь не только не нужна, но и нежелательна, я оставил ее в покое. Собственно, эта особа вполне ясно дала понять, что с такими людьми, как я, она не желает иметь никаких отношений.

Но я никогда не забывал с ней поздороваться, если нам случалось столкнуться на улице, а вот она ни разу даже не кивнула мне в ответ, ни разу ни одним жестом не показала, что заметила приветствие. Что же касается девочки, то ее я видел крайне редко. Маленькая, худенькая, из-под головного платка смотрят огромные глаза. Раза два я пытался заговорить с ней, но она, как и ее мать, ни разу мне не ответила.

И мне осталось только наблюдать за ними через площадь — в точности как восемь лет назад, когда в нашем городе появилась Вианн Роше. Однако я все же ожидал, что со временем сумею найти разгадку некоторых неожиданных поступков этой женщины.

Почему она съехала от брата? Почему перебралась сюда и почему

предпочитает жить вдали от мусульманской общины Маро?

Но женщина в черном так себя ничем и не выдала. В бывшую шоколадную лавку не поставляли никаких товаров; там ни разу не появились ни торговцы, ни рабочие; там даже родственники ее не бывали. Хотя кое-кто все же ее посещал — но исключительно женщины и исключительно *maghrebines* с детьми. Собственно, женщины там никогда особенно не задерживались, а вот дети — исключительно девочки — частенько оставались у нее на весь день; их порой собиралось там больше дюжины. Я, разумеется, никого толком узнать не мог — ни среди матерей, ни среди дочерей. В этих черных одеяниях и покрывалах они все на одно лицо. Лишь через некоторое время я догадался, что она открыла школу для девочек.

Французские школы — по крайней мере, государственные — действуют на строго светской основе. Никакого религиозного уклона, никаких молитв, никаких символов веры любого сорта. Такие девочки, как Соня и Алиса Маджуби, вполне успешно сосуществовали с этим законом. У других это не получалось; мне, например, было совершенно ясно, почему Захра Аль-Джерба так и не окончила среднюю школу: она вынуждена была остаться дома и помогать матери по хозяйству. Крошечная, по сути дела деревенская, начальная школа Ланскне сумела как-то приспособиться к мусульманским обычаям, но в более крупных городах вроде Ажена проблема мусульманских головных платков, *хиджабов*, всегда стояла гораздо острее. И теперь, похоже, жители Маро нашли решение.

Большинство учениц новой школы одевались одинаково: с головы до ног в черном, волосы закрыты платком — просто какие-то маленькие вдовы, постаревшие, не успев повзрослеть. При любой попытке с ними заговорить они застенчиво отворачивались и опускали глаза. Правда, *хиджабы* свои девочки повязывали по-разному: кто-то стягивал концы сзади узлом, а кто-то закалывал булавкой; некоторые весьма искусно драпировали головной платок вокруг узла волос, прихотливо уложенных на затылке; иные же надевали *хиджаб* как апостольник, так что видимой оставалась лишь маленькая часть лица.

Сами девочки никогда, разумеется, со мной не заговаривали, но некоторые с любопытством посматривали на церковь с белеными стенами, на ее высокий шпиль, на статую Пресвятой Девы, склонившую голову у главного входа; и я вдруг подумал о том, как редко мы теперь видим *тамошних* детей на *нашем* берегу реки. Не прошло и трех месяцев с момента открытия школы, а я уже насчитал по крайней мере пятнадцать учениц в возрасте от десяти до шестнадцати лет — все они обычно одной

компанией переходили по мосту через реку, направляясь в Ланскне, весело болтали и хихикали, прикрывая рот ладошкой.

К этому времени жизнь в Маро так и кипела — население увеличилось человек на сто пятьдесят, а то и больше: марокканцы, алжирцы, тунисцы, берберы. Полторы сотни человек — суцая ерунда, конечно, если иметь в виду Париж или Марсель, но у нас, в Ланскне-су-Танн, и коренных-то жителей всего раза в два больше.

Но почему все эти *maghrebins* устремились именно в Ланскне? Ни в одном из соседних с нами селений подобных этнических общин нет. Возможно, все дело в мечети; или в этой маленькой школе для девочек; или же в том, что главная улица Маро согласно плану подлежит переустройству и дальнейшему развитию. Так или иначе, менее чем за восемь лет арабские поселенцы размножились у нас, как одуванчики весной, превратив Маро из одной-единственной цветной странички в книге нашей жизни в целую главу, написанную к тому же на иностранном языке.

И вот теперь я наблюдаю за тем, как воспринимает все это Вианн Роше. Узкие улочки Ланскне мало изменились за последние двести лет, зато все остальное стало иным. И первое, что поражает приехавшего сюда человека, — это запах ладана, смешанный с запахом неведомых ароматных благовоний и специй. В Маро между балконами натянуты веревки, на которых сушится белье; на верандах сидят мужчины в длинных рубахах и *такийях*, шапочках для молитвы; они курят *киф* и пьют зеленый чай. Но женщин среди них не увидишь. Женщины чаще всего остаются в доме; на улицах мы теперь видим их очень редко, почти все они носят черное. Тамошние дети тоже держатся обособленно; мальчики играют в футбол или купаются в реке; девочки помогают матерям по хозяйству, присматривают за малышами или, собравшись на улице тесной группкой, болтают и хихикают, но, завидев меня, мгновенно умолкают. Отчуждение я чувствую почти физически — в последнее время особенно — и полагаю, что виной тому деревенские сплетники, которые после пожара в шоколадной лавке с особым усердием принялись молоть языками.

Проходя мимо лавчонок, выстроившихся вдоль бульвара, мы обнаружили, что все они заперты, а витрины закрыты ставнями. Было уже без четверти восемь; горячий ветер, дувший весь день, улегся, и в темно-голубом небе вспыхнули первые звезды; лишь у самого горизонта на западе сияла последняя ярко-желтая полоска заката.

Я знал, что сейчас *оно* начнется; так и произошло. Призыв к молитве прозвучал словно издалека, но слышен был весьма отчетливо. Он доносился из горла старой кирпичной трубы: *Allahu Akbar...*

Да, *разумеется*, я прекрасно знаю, что означают эти слова. Неужели ты, отец мой, мог предположить, что я, будучи католиком, о других верованиях и понятия не имею? Я знал, что еще мгновение — и улицы заполнятся мужчинами, идущими в мечеть, а женщины по большей части останутся дома готовить ужин. И как только взойдет луна, начнется очередной пир; подадут традиционные кушанья — продукты для них специально привозят с далекой родины; это и разнообразные свежие фрукты, и орехи, и сушеные фиги, и мелкое, очень сухое печенье.

Сегодня пятый день месяца рамадана; весь этот месяц мусульмане соблюдают пост. Прожить такой долгий день без еды — это одно, но гораздо труднее обходиться весь день без воды, тем более при такой жаре, как сегодня, когда жестокий, обжигающий ветер сметает все на своем пути, все обесцвечивает, делает белесым, пересохшим...

Какая-то женщина пересекла улицу прямо перед нами; следом за ней шла девочка. Лица ее я разглядеть не успел, ибо она тут же отвернулась, но ее выдали руки в черных перчатках. Да, это была она, та самая женщина в черном, что поселилась в бывшей *chocolaterie*. Впервые после того пожара, чуть не пожравшего весь дом, мне довелось ее увидеть, и я обрадовался этой встрече: мне хотелось убедиться, что о ней есть кому позаботиться.

— Мадам, — сказал я, галантно поклонившись, — надеюсь, у вас все в порядке...

Но она на меня даже не взглянула. Как всегда, с головы до ног закутанная в черное покрывало, она оставила у себя на лице лишь узкую щель — точно в почтовом ящике; видимо, туда мне и следовало опустить сочувственные слова. Девочка тоже вела себя так, словно меня не слышит, и лишь глубже прятала голову под складки *хиджаба*, полагая, что так оно безопасней.

— Если вам понадобится помощь... — безнадежно продолжал я, но женщина уже не слушала; пройдя мимо меня, она нырнула в переулок. К этому времени муэдзин уже перестал завывать, и бульвар быстро заполняла толпа верующих, направлявшихся в мечеть.

Одного из них я узнал. Уже на пороге мечети он остановился и обернулся; это был Саид Маджуби, старший сын старого Маджуби и владелец пресловутого спортзала. Саиду было чуть больше сорока. Он носил бороду и традиционную длинную рубаху, а на голове — шапочку. Улыбался он крайне редко; вот и теперь он смотрел на меня без улыбки. Я поздоровался и поднял в знак приветствия руку.

Он не ответил. Несколько мгновений он просто смотрел на меня, потом двинулся к нам с важным видом на негнущихся ногах — точно

петух, готовый к драке.

— Что вы здесь делаете? — раздраженно спросил он.

Я был удивлен этим вопросом и сказал, пожав плечами:

— Я здесь живу.

— Вы живете за рекой! — возразил Саид. — И если желаете себе добра, так там, за рекой, и оставайтесь!

Услышав, что Саид говорит на повышенных тонах, рядом остановились еще двое мужчин. Они тут же заговорили с Саидом по-арабски — по-моему, это больше всего было похоже на торопливый стук пишущей машинки; во всяком случае, для меня в этих звуках не содержалось ни малейшего смысла.

— Не понимаю, — сказал я Саиду.

Он лишь мрачно на меня глянул и еще что-то сказал по-арабски. Успевшая собраться вокруг нас кучка мужчин выразила ему одобрение точно таким же стуком пишущей машинки. А сам Саид вдруг шагнул к нам, и я почти физически ощутил бушевавшую в нем ярость. Теперь арабская речь звучала совсем враждебно, даже агрессивно. Смешно, но я вдруг отчетливо почувствовал, что Саид вот-вот меня ударит.

И тут вперед вышла Вианн. Я в этот момент о ней почти позабыл. Анук настороженно следила за происходящим, стоя у матери за спиной. Розетт играла в ближайшем переулке — охотилась на тени.

Я хотел сказать Вианн, чтобы она лучше держалась в стороне — Саид был настолько разгневан, что вряд ли его остановило бы, что рядом женщина с двумя детьми, — однако именно ее присутствие, как ни странно, его и утихомирило. Не сказав ни единого слова, не выказав ни малейшего намерения хотя бы коснуться его, Вианн лишь слегка шевельнула пальцами — это был какой-то неведомый мне умиротворяющий жест, — и Саид вдруг осторожно отступил от нее на шаг; судя по лицу, он был явно смущен.

Неужели он понял свою ошибку?

Или она что-то ему шепнула?

Если и шепнула, то я ничего не расслышал. Так или иначе, атмосфера, явно грозившая насилием, разрядилась. Инцидент — если он вообще имел место — был исчерпан.

— Пожалуй, нам следует поскорее уйти отсюда, — сказал я Вианн. — Простите. Не надо мне было вас сюда приводить.

Она улыбнулась.

— Разве это вы меня сюда привели? Вспомните: ведь это я захотела посмотреть, в каком состоянии домик Арманды.

Да, конечно. Я и забыл.

— Он давно пустует, — сказал я. — Но по-прежнему принадлежит этому мальчику, Люку Клермону. Люк так и не захотел его продавать; с другой стороны, сам он, по-моему, там жить не собирается.

Вианн задумчиво посмотрела на меня и спросила:

— Как вы думаете, он позволит нам несколько дней пожить там? Мы, разумеется, сами обо всем позаботимся, и в доме все приберем, и сад приведем в по-рядок...

Я пожал плечами.

— Наверное, позволит. Однако...

— Вот и хорошо, — тут же сказала она.

Просто решила — и все. Словно никуда и вовсе не уезжала. Я не выдержал и улыбнулся — а я совсем не из тех, кто так уж часто и легко улыбается.

— Вы, по крайней мере, хоть на дом сперва посмотрите, — сказал я ей. — Может, он совсем развалился?

— Он не развалился, — сказала она.

Я, собственно, и сам так думал. Люк Клермон никогда бы не допустил, чтобы дом его любимой бабушки превратился в руины. Мне оставалось только покориться.

— Арманда обычно оставляла ключи от входной двери под цветочным горшком во дворе. Возможно, они и теперь там лежат, — сказал я.

Я отнюдь не был уверен, что стоит поощрять желание Вианн Роше «несколько дней пожить» в Ланскне, но оказался не в силах противиться тайной надежде на то, что она, возможно, останется здесь навсегда.

Ее мои слова, похоже, ничуть не удивили. Возможно, вся ее жизнь складывается именно так: решения всех бед и проблем всегда находятся сами и сами предлагают себя — как и люди, что стремятся завоевать ее расположение. Вот только мои нынешние беды и проблемы чересчур запутанны; они похожи на комок колючей проволоки, внутри которого я оказался: стоит чуть шевельнуться, и тут же поранишься в кровь. И возможно, подумал я, первые кровавые раны я получу уже во время этой маленькой интерлюдии. Да, пожалуй, это вполне возможно.

А Вианн Роше вдруг улыбнулась и сказала:

— Теперь еще один, последний вопрос...

Я лишь молча вздохнул.

— Любите ли вы персики?

Глава одиннадцатая

Воскресенье, 15 августа

Les Marauds. Вот где начинаются все беды. Именно в Маро все и началось. Именно в Маро я впервые встретила с Армандой, проходя мимо ее маленького домика. Именно оттуда для жителей Ланскне всегда происходят всякие неприятности: там причаливают к берегу Танн суденышки речных крыс; там в зарослях прибрежного тростника моя Анук любила играть с Пантуфлем. Именно сюда Арманда велела мне приехать снова, если, конечно, я ее тогда правильно поняла.

Там, под стеной моего дома, раньше росло персиковое дерево. Если вы приедете летом, то персики наверняка уже созреют, и их нужно будет собрать.

Дерево стояло на прежнем месте — старое персиковое дерево с затвердевшими от старости ветвями, с длинными узкими, как кинжал, опаленными солнцем листочками. И Арманда оказалась права — персики совершенно созрели. Я сорвала три штуки, еще теплые от солнца и покрытые нежным пушком, точно головка младенца. Один персик я протянула Анук, второй — Розетт. А третий персик предложила Рейно.

Все вокруг было окутано ароматом персиков, и от этого немного сонного, свойственного концу лета аромата в воздухе словно возникало золотистое свечение, похожее на отблеск заката. Маленький домик Арманды стоит очень удачно, на пригорке, чуть в стороне от Маро, и оттуда открывается чудный вид на реку; вот и сейчас было видно, как огни бульвара отражаются в воде, точно рой светлячков. Со стороны Маро доносились негромкие вечерние звуки: людские голоса, стук кастрюль и сковородок, смех детей, игравших где-то на заднем дворе, пение сверчков, кваканье лягушек у самой воды, а вот птицы уже умолкли.

Анук отыскала ключ от двери — он был именно там, где Арманда всегда его оставляла; впрочем, дверь оказалась незапертой, в Ланскне вообще редко запирают двери. Газ и электричество были, разумеется, отключены, но на кухне имелась дровяная плита — на случай, если бы нам захотелось приготовить себе поесть, — а у задней стены дома виднелась аккуратно сложенная поленница. В шкафу я нашла и постельное белье, и теплые шерстяные одеяла лимонного, розового, ванильного и голубого цветов. В спальне стояла широкая двуспальная кровать Арманды, в комнатке наверху имелся раскладной диван, а в гостиной — широкая софа.

Мне не раз приходилось ночевать и в куда худших условиях.

— А здесь здорово! — сказала Анук.

— Бам! — весело поддержала ее Розетт.

— Раз так — решено, — кивнула я. — Сегодня мы, так или иначе, переночуем здесь, а с Люком встретимся и поговорим завтра утром.

Рейно все еще топтался рядом, по-прежнему держа в руке персик, и выглядел довольно нелепо. По его скованной манере чувствовалось, что его представления о приличиях никогда бы не позволили ему переночевать в чужом, пусть даже пустующем, доме, не получив официального разрешения хозяина; он бы, наверное, скорее лег спать в придорожной канаве. Что же касается сорванных мною персиков, то он, несомненно, считал, что эти персики я попросту *украла*; во всяком случае, он смотрел на меня с тем же замешательством, с каким, должно быть, Адам смотрел на Еву, когда та вручила ему запретный плод.

— Может быть, вы все-таки съедите этот персик? — с улыбкой спросила я.

Анук и Розетт давно уже свои слопали, смачно чавкая, и я вдруг подумала: а ведь мне лишь раз довелось видеть, как Рейно что-то ест, — для него процесс поглощения пищи слишком сложен, и его в не меньшей степени следует бояться, чем наслаждаться им.

— Послушайте, мадемуазель Роше...

— Прошу вас, — остановила я его, — называйте меня просто Вианн.

Он откашлялся и сказал:

— Я ценю вашу деликатность, ведь вы так и не задали мне самого очевидного вопроса. И все же вам, по-моему, следует знать, что я освобожден от должности священнослужителя Ланскне до окончания судебного расследования по делу пожара в вашей старой *chocolaterie*. В настоящее время я ожидаю дальнейших указаний епископа. — Он перевел дух и продолжил: — Разумеется, я не вижу необходимости убеждать вас в том, что я ни в коей мере не несу ответственности за этот пожар. Я не был арестован. И обвинение мне предъявлено не было. Но из полиции ко мне приходили. И задавали разные вопросы. А для человека, занимающего такое положение, как я...

Я отлично могла себе все это представить; особенно «приятно» беседовать с полицейскими, когда знаешь, что за тобой подсматривают в каждую щель между ставнями. Разумеется, все сплетники Ланскне разом сорвались с поводка, а их злые языки обрели новую силу. Магазин наполовину сгорел и теперь был вряд ли пригоден для использования. Пожарная машина опоздала на целый час. Зато вскоре прибыла

полицейская машина и припарковалась прямо возле церкви. А может — что куда хуже, — перед тем небольшим коттеджем, где живет Рейно; там, на аккуратных клумбах у крыльца, всегда цветут яркие бархатцы.

Коттедж, разумеется, принадлежит церкви, а вот за бархатцы отвечает сам Рейно. На мой взгляд, они очень похожи на одуванчики, но для него между ними бездна различий: одуванчики он считает пронырливыми сорными травами-захватчиками, а бархатцы — очаровательными садовыми цветочками, которые умеют расти правильными рядками, по-военному.

— Вам вовсе не нужно было говорить мне это. Я и так знаю, что никакого пожара вы не устраивали.

У него даже губы дрогнули.

— Если бы все разделяли подобную уверенность! Каро Клермон тут же, как сумасшедшая, бросилась распространять слухи о моей виновности, но при этом продолжала делать вид, что очень мне сочувствует. Хотя теперь каждое слово моего последователя она буквально на лету ловит.

— Вашего *последователя*?

— Ну да. Это отец Анри Леметр, новый любимец нашего епископа. Весьма зубастый выскочка, чрезвычайно энергичный и питающий настоящую страсть к современным электронным устройствам. — Рейно пожал плечами. — Теперь мое увольнение — только вопрос времени. Вы же знаете, как это у нас в Ланскне бывает.

О да, я хорошо это знаю. Я и сама была объектом яростных сплетен и слухов, и мне известно, с какой скоростью они распространяются. И я прекрасно понимаю, что в таком городке даже намек на скандал, связанный с местным священником, не останется без самого пристального внимания. Католической церкви в последнее время и без того приходится разбираться с огромным количеством скандальных происшествий, так что, даже если у полиции и нет никаких улик против Рейно, ему, скорее всего, грозит приговор от лица общественности.

Рейно снова тяжело вздохнул и сказал:

— Мадемуазель Роше, если уж вы соберетесь на какое-то время у нас задержаться, то, возможно, вам захочется поведать о своих... *сомнениях* в моей виновности кому-то из ваших здешних друзей; прежде всего тем, кто, по-моему, также считает эту ситуацию нелепой. Например, Жозефина и Нарсис...

Он резко оборвал себя. Отвернулся. А я смотрела на него со все возрастающим удивлением. Ледяная четкость речи и ясность мыслей были по-прежнему вполне ему свойственны, но стоило взглянуть на его лицо, и никаких сомнений не оставалось: Франсис Рейно — пусть не прямо, пусть

страшно стесняясь — просил о помощи!

Я с трудом могла себе представить, как он на это решился, ведь ему безумно трудно было просить об этом, тем более меня. Безумно трудно после всего, что здесь случилось, признаться себе, что ему необходим и еще кто-то — тем более такой человек, как я...

Мир Рейно — черно-белый. Он полагает, что в таком свете вещи становятся проще. На самом деле его черно-белые представления обо всем только ожесточают сердца, только укрепляют предубеждения и мешают хорошим, в общем, людям понять, какой вред они творят. И если случается нечто, что бросает вызов мировосприятию таких, как Рейно, тогда все эти черно-белые образы словно расплываются, приобретая совсем иной цвет — миллион различных оттенков серого; а подобные Рейно люди утрачивают почву под ногами и тщетно барахтаются, хватаясь за любую соломинку и пытаясь вырваться из лап урагана.

— Извините, — сказал мне Франсис Рейно. — Что вы-то, собственно, можете тут поделать? Забудьте, пожалуйста, что я осмелился просить вас об этом.

Я улыбнулась.

— Конечно, я вам помогу! — воскликнула я. — Если смогу. И при одном обязательном условии...

Он недоуменно на меня посмотрел:

— При каком условии?

— Если вы, Христа ради, съедите наконец этот персик!

Первая лунная четверть

Глава первая

Понедельник, 16 августа

Люк забежал утром — Рейно сказал ему, где мы остановились, — и застал нас за завтраком: персики и горячий шоколад. Для сервировки стола мы воспользовались разномастной посудой Арманды; правда, со старинными, расписанными вручную чашками из тончайшего фарфора, прозрачного, как человеческая кожа, со слегка выщербленными позолоченными краями совершенно не сочетались традиционные изделия здешней местности, расположенной между реками Жер и Танн, притоками более мощной Гаронны. На миске Анук был нарисован кролик; на миске Розетт — выводок цыплят. А на моей красовались цветы и кудрявыми буквами было написано имя: *Сильви-Анн*.^[20]

Может, это какая-то родственница Арманды? Миска выглядела достаточно старой. Сестра, кузина, дочь, тетя? Интересно, каково было бы держать в руках миску или чашку с написанным на ней *моим настоящим* именем, которую подарили бы мне, скажем, мать или бабушка? Впрочем, какое имя могло бы быть на ней написано? Скажи, Арманда? Которое из великого множества моих имен?

— Вианн!

Этот возглас, раздавшийся из раскрытой двери, резко вернул меня к действительности. Тембр голоса у Люка стал иным, более низким, и он, похоже, совсем перестал заикаться, хотя в детстве очень страдал от этого. Но в целом все тот же — те же темные волосы падают на глаза, та же улыбка, одновременно и открытая, и немного коварная.

Он сперва обнял меня, потом Анук и с искренним любопытством уставился на Розетт, которая приветствовала его оскаленными зубами и резким обезьяньим кличем — *чак-чакк!* Это сперва его озадачило, но затем он расхохотался и сказал:

— Я тут вам кое-что из еды притащил, хотя вы, похоже, уже позавтракали.

— Это обманчивое впечатление, — сказала я с улыбкой. — Здешний воздух невероятно возбуждает ап-петит.

Люк просиял и вручил мне пакет со свежими круассанами и *pains au chocolat*.^[21]

— Поскольку это я виноват в том, что вы сюда приехали, — сказал он, — распоряжайтесь здесь, как у себя дома, и живите, сколько хотите.

Бабушка была бы очень довольна.

Я спросила, как он намерен поступить с домом, став его законным владельцем, но он лишь плечами пожал.

— Я еще и сам не знаю... может, буду тут жить. Но это, если мои родители... — Он не договорил. — Вы, конечно, слышали о пожаре в вашей *chocolaterie*?

Я кивнула.

— Подобные вещи случаются сплошь и рядом, — сказал он, — но моя мама считает, что это не просто несчастный случай. Она уверена, что пожар устроил Рейно.

— Вот как? — сказала я. — А сам ты что думаешь?

Я хорошо помнила Каро Клермон, одну из самых ярких католичек в Ланскне. Свой неукротимый дух она всегда подпитывала за счет всевозможных местных скандалов и драм. Легко можно себе представить, с каким тайным ликованием она приветствовала обрушившийся на Рейно позор; как умело регулировала слухи, прячась за весьма экстравагантными проявлениями показного сочувствия.

Люк пожал плечами:

— Ну, Рейно я никогда особенно не любил. Только вряд ли это его рук дело. То есть я что хочу сказать: он всегда такой холодный, словно застывший, у него даже шея, по-моему, толком не гнется, но он никогда бы ничего подобного не сделал.

Люк, безусловно, принадлежал к меньшинству. Еще вчера, не успев приехать, мы успели услышать больше десятка различных версий возникновения того пожара. От Нарсиса, который принес нам овощи из своей лавки; от булочника Пуату; от учительницы Жолин Дру, которая заглянула к нам вместе с сыном. А сегодня, похоже, весь Ланскне решил пройти через Маро — правда, за одним удивительным исключением, — поскольку весть о нашем появлении ветер разнес по городу, точно семена одуванчика.

Вианн Роше вернулась. Вианн Роше наконец-то снова дома...

Но это же просто бред! У меня уже *есть* дом. И он совсем в другом месте — мой дом стоит на причале у набережной Сены близ Елисейских Полей. И я уже никак не могу считаться здешней; впрочем, я не считалась здешней и восемь лет назад, когда мы с Анук впервые сюда приехали. И все же...

— Это было бы совсем нетрудно, — уверял меня Гийом. — Вашу бывшую *chocolaterie* вполне можно привести в порядок. Там и нужно-то всего краской немного мазнуть. А мы все с удовольствием помогли бы

вам...

Я заметила, как при этих словах вспыхнули глаза Анук.

— Вам бы посмотреть на наш плавучий дом в Париже, — сказала я Гийому. — Он стоит прямо под мостом Искусств. А Сена по утрам вся затянута туманом, почти как Танн. — Глаза Анук тут же погасли, и она спрятала их меж длинными ресницами. — Вы бы, Гийом, как-нибудь приехали в Париж, навести нас.

— О нет, для Парижа я уже слишком стар, — улыбнулся он. — А Пэтч^[22] привык ездить только первым классом.

Гийом Дюплесси — один из тех, кто не верит в виновность Рейно.

— Это просто злобные слухи, — говорит он. — С какой стати Рейно поджигать какую-то школу?

А вот Жолин Дру уверена, что знает, с какой стати.

— Это все из-за нее, — сказала она. — Из-за той женщины в бурнусе. Из-за той женщины в черном.

Анук и Розетт, вооружившись двумя старыми вениками, выбивали во дворе ковер, и Жанно, сын Жолин, к ним присоединился — он был примерно ровесником Анук, и я хорошо помнила, как он забежал в нашу старую *chocolaterie*. Тогда Жанно и Анук были добрыми друзьями, несмотря на весьма непростой, даже склочный характер его матери.

— А кто она такая? — спросила я.

Жолин дугой изогнула бровь.

— Вроде бы вдова. Сестра Карима Беншарки. Я хорошо знаю Карима — это очень приятный человек; работает в спортзале Маро. А вот она совсем другая. Агрессивная. Всех сторонится. Говорят, ее муж не умер, а просто с ней развелся.

— То есть вы этого наверняка не знаете?

Жолин — одна из самых неутомимых сплетниц Ланскне. Мне было трудно поверить, что она не приложила максимум усилий, чтобы выяснить об этой женщине все до мельчайших подробностей, стоило той появиться в городе.

Жолин пожала плечами.

— Да нет, вы не поняли. Она же никогда ни с кем не говорит. Она вообще не такая, как остальные *maghrebins*. Я не знаю даже, говорит ли она по-французски.

— И вы никогда не пытались это выяснить?

— Это не так-то просто, — сказала Жолин. — Как можно завести разговор с человеком, который никогда не показывает своего лица? У нас обычно были вполне дружеские отношения с женщинами из Маро.

Например, Каро Клермон часто приглашала их к себе на чай. Многие считают нас просто деревенскими жителями, а на самом деле у нас тут *такое смешение культур!* Вы представляете, Вианн, я даже начала есть кускус. Он страшно полезен, знаете ли, и от него, оказывается, совсем не полнеешь.

Я скрыла улыбку. Жолин Дру и Каро Клермон искренне считают, что можно приобщиться к чужой культуре, например начав есть кускус. Представляю себе эти чаепития у Каро; эти разговоры, эти печеньица, этот фарфор, серебряные ложечки, изысканные канапе. И *доброжелательные* дискуссии, имеющие целью достигнуть *entente cordiale*. Я даже поморщилась при мысли об этом.

— И что же случилось теперь? — спросила я.

Жолин надула губки.

— Они попросту перестали приходить — особенно после того, как эта женщина переехала сюда. От нее вообще одни неприятности! Она повсюду ходит, с головы до ног закутавшись в свое покрывало; вечно с закрытым лицом, так что от одного ее появления людям становится не по себе. Эти женщины вообще только и делают, что друг с другом соперничают. И, разумеется, все они тут же принялись носить эту дурацкую чадру — прямо как помешательство на модной новинке! Ну, может, чадру надели и не совсем все, но почти. И, между прочим, это покрывало мужчин прямо-таки с ума сводит. Они только и думают, что там, под ним. А воображение у них работает безостановочно. Ну и Рейно, разумеется, это не нравилось. Он раньше-то всегда слишком цеплялся за прошлое. Он понятия не имеет, что значит жить в *мультикультурной* Франции. Вы, наверно, уже слышали, какой шум он поднял из-за мечети? А потом из-за минарета? А уж когда та женщина открыла свою школу... — Жолин тряхнула головой. — В общем, тогда он, должно быть, совсем спятил. А больше мне и прибавить-то нечего. И потом, это ведь уже не в первый раз он...

— Сколько же учениц было в этой школе? — с трудом остановила я словесный поток.

— Ну, что-нибудь около дюжины. Бог знает, чему она их там учила! — Жолин раздраженно дернула плечиком. — Эти, в *бурнусах*, с нами смешиваться не желают. Считают, что наши вольные нравы способны их развратить.

«А может, их просто тошнит от вашей снисходительной опеки и непонимания?» — подумала я, но вслух этого говорить не стала.

— У нее, кажется, дочка есть? — спросила я.

Жолин кивнула.

— Да, бедная девочка! Никогда ни с кем из наших детей не играет. Никогда ни с кем не разговаривает.

Я выглянула в окно: Анук и Жанно с упоением «сражались на мечах», используя ручки от метел, а Розетт улюлюканьем подбадривала обоих. При нашей жизни, которая столько лет была связана с бесконечными странствиями и переездами с места на место, мы с Анук имели немало возможностей общения с представителями самых различных рас и народов; во всяком случае, сталкивались с ними гораздо чаще, чем кто бы то ни было в Ланскне, и научились видеть несколько глубже тех культурных наслоений, под которыми прячемся сами. Например, *никаб* — который Жолин неправильно именует «бурнусом» — это всего лишь один из таких слоев. Собственно, это просто кусок ткани, но в глазах таких людей, как Жолин, *никаб* способен превратить самую обыкновенную женщину в объект подозрительный и пугающий. Даже Гийом, человек весьма толерантный, почти ничего не сумел сказать в защиту той, что поселилась в нашей бывшей *chocolaterie*.

— Я всегда приподнимаю шляпу, когда с ней встречаюсь, — обиженно сказал он, — меня с детства к этому приучили. Но *она* никогда даже «здравствуйте» не скажет в ответ! Никогда даже глаз на меня не поднимет! Это же просто невоспитанность, мадам Роше, элементарная невоспитанность! Мне совершенно все равно, кто она такая, я со всеми стараюсь вести себя вежливо. Но когда на тебя даже *смотреть не желают...*

Я понимаю. Это, должно быть, очень неприятно. Но я не чувствую в своей душе морального превосходства. Столько лет я убегала от Черного Человека, помня только страх моей матери и то, что в черной сутане воплощена некая враждебная вера. Столько лет я, как и Гийом, как и все здесь, была ослеплена собственными предрассудками. И только теперь я действительно узрела истину; поняла, что мой Черный Человек — это просто человек и он столь же уязвим, как любой другой. Разве отношение Ланскне к этой Женщине в Черном чем-то отличается от моего прежнего страха перед тем Черным Человеком? А что, если эта женщина просто прячется под своим черным покрывалом и так же, как и Рейно, нуждается в помощи?

Глава вторая

Понедельник, 16 августа

Наконец-то спустился вечер. Небо из арбузно-красного стало темно-синим, точно бархатная внутренность шкатулки с драгоценностями. Из Маро доносился тоскливый клич муэдзина. И почти сразу на другом берегу реки, в Ланскне, зазвонили церковные колокола, возвещая окончание мессы. В течение минувшего дня нас уже успели пригласить к обеду человек десять, уверяя, что члены их семей прямо-таки жаждут с нами пообщаться, но нам ни с кем общаться что-то не хотелось: Розетт уже наполовину спала, а Анук снова прилипла к своему айподу. К вечеру они обе выглядели измученными. Возможно, подействовал свежий воздух, а также перемена обстановки, встречи с друзьями, поток визитеров. Ужин я приготовила очень простой: оливки, хлеб, фрукты, сыр и салат из листьев одуванчика, сдобренный желтыми цветками настурции. За ужином мы в основном молчали, слушая звуки ночи, доносившиеся из открытого окна, — пение сверчков, звон церковных колоколов, голоса лягушек и вечерних птиц; этим звукам вторил стук старых настенных часов Арманды с желтым, как пергамент, и будто ухмыляющимся циферблатом. Я заметила, что Розетт совсем ничего не ест, просто развлекается, раскладывая оливки по краям тарелки в прихотливом орнаменте.

— В чем дело, Розетт? Ты разве не голодна?

— Она скушает по Ру, — пояснила Анук.

— *Рур*, — похоронным тоном откликнулась Розетт.

— Ничего, мы с ним скоро увидимся. А здесь тебе точно понравится, — сказала Анук, обнимая ее. И посмотрела на меня. — Жозефина так и не пришла. Я думала, она первая прибежит поздороваться.

Она была права. Я тоже это заметила. Разумеется, кафе открыто весь день, и Жозефина, должно быть, просто не сумела вырваться. Но все же, по-моему, она могла бы забежать к нам хоть на минутку — скажем, в обеденный перерыв. Возможно, правда, ей просто не хотелось столкнуться с людьми типа Каро и Жолин, которые только и ищут, на что бы поглазеть и о чем бы посплетничать. А может, у нее сегодня просто не хватало рабочих рук и она постоянно была занята? Или, может, собиралась заглянуть к нам после закрытия кафе? Надеюсь, что так. Ведь из всех тех, с кем мы восемь лет назад расстались, уехав из Ланскне, я больше всего скучала именно по Жозефине — мне не хватало ее эмоциональности, ее выразительных глаз и

прямо-таки написанного у нее на лице стоического неповиновения.

— Ничего, мы сами к ней завтра сходим, — пообещала я Анук. — Возможно, сегодня она просто была слишком занята.

Мы в молчании довершили ужин. Анук и Розетт отправились спать, а я осталась одна со стаканом красного вина и размышлениями о том, чем в данный момент может быть занят Рейно. Представляла себе, как он в своем маленьком домике следит за гаснущими лучами заката и слушает звон колоколов в церкви, где служит мессу его соперник. Но все это время меня никак не покидала какая-то странная тревога; в итоге я открыла дверь и вышла на улицу.

Там пахло пылью и персиками. В розмарине у зеленой изгороди пели сверчки. В этой части города нет уличных фонарей, но небо, которое так толком и не потемнело, давало достаточно света, чтобы я смогла различить тропинку, ведущую к мосту и дальше в Ланскне.

Спускаясь с пригорка, я видела, как постепенно оживает Маро. Сквозь закрытые ставни пробивались полосы света; люди ходили по улице — кто-то шел домой, кто-то в гости; из открытых кухонных дверей доносился запах специй, готовящейся пищи, благовоний. Все это невероятно отличалось от обстановки, что царила здесь всего несколько часов назад: отупляющая ровная жара, настороженная, бдительная тишина, изредка попадающиеся женщины в *хиджабах* и *абайях* поверх обычной одежды и бородатые мужчины в длинных белых рубахах. Теперь отовсюду доносились голоса, смех, звуки праздничного застолья. В рамадан дни кажутся особенно долгими. Под вечер даже самая простая трапеза воспринимается как пиршество, а каждый стакан воды — как благословение. Поужинав, люди принимаются рассказывать истории, играть в разные игры. Дети в такие вечера ложатся спать очень поздно.

Маленькая девочка в желтой тунике-камизе перебежала через бульвар, размахивая тонкой длинной тросточкой, издававшей резкий жужжащий звук. Я сразу узнала местную забаву: к палочке на длинной нитке был привязан крупный летающий жук, превращенный в подобие погремушки.

Кто-то окликнул девочку по-арабски. Она что-то протестующе крикнула в ответ, и на улицу вышла девушка в темно-синем *кафтани*. Девочка нехотя оставила палочку с привязанным к ней жуком на обочине и следом за девушкой ушла в дом. А я продолжила свою неторопливую прогулку по Маро, двигаясь по направлению к реке. Мост, соединяющий этот район с остальным Ланскне, находится как бы на перекрестке; именно там когда-то располагались дубильные мастерские, именно там теперь высится местная мечеть. На обоих берегах реки еще виднеются

полуразрушенные стены старой *bastide*, словно напоминая возможным захватчикам, что Ланскне всегда готов за себя постоять.

Мост каменный, довольно низкий; река разрезает городок на две половинки, как фрукт. Зимой, после дождей, вода в Танн поднимается очень высоко, так что проплыть под мостом можно разве что на плоскодонке. А к осени, особенно если лето выдалось жарким, река иногда почти совсем пересыхает; на становящихся необычайно широкими берегах, покрытых грубым крупным песком, лишь кое-где виднеются тонкие ручейки проток. Но сейчас река пребывала в наилучшей своей форме, идеальной и для купания, и для плавания на речных судах.

И это заставило меня в очередной раз задуматься: почему же все-таки Ру не захотел поехать с нами? После того как мы с Анук уехали из Ланскне, он прожил здесь еще четыре года; так почему же сейчас он предпочел остаться в Париже? Ведь он так любит эти места? Неужели лучше торчать в раскаленном городе на Сене, когда зеленые берега Танн так и манят к себе? И я знаю, что Розетт очень по нему скучает... Мы с Анук тоже, разумеется, по нему скучаем, но Розетт тоскует как-то особенно, нам обоим этого не понять. У нее, конечно, есть еще Бам — он, кстати, в отсутствие Ру стал виден гораздо отчетливей; вон он сидит на стуле рядом с Анук, и его изогнутый хвост в желтом свете керосиновой лампы похож на сверкающий рыжий вопросительный знак.

Ру, почему же ты все-таки с нами не поехал?

Ру не любит технологические новинки, но я ухитрилась убедить его хотя бы носить мобильный телефон с собой — раз уж сам он им толком *не пользуется*. И сейчас я в очередной раз попыталась ему позвонить, но, как и следовало ожидать, его телефон был выключен. Я послала ему эсэмэс:

Прибыли благополучно. Живем в старом домике Арманды. Все хорошо, но есть кое-какие перемены. Возможно, пробудем здесь еще несколько дней. Мы все по тебе скучаем. Очень тебя люблю. В.

Уже само это действие — посылка эсэмэс домой — сделало Ру еще более далеким. Домой? Неужели теперь *там* мой дом? Я посмотрела за реку, на Ланскне; на его тусклые фонари, кривые улочки, церковную колокольню, такую белую в сумерках. А по другую сторону моста виднелся Маро, куда более темный, поскольку там улицы освещены только тем светом, что падает из окон домов; но башня минарета, украшенная серебряным полумесяцем, словно бросала вызов церкви, что высится на площади Сен-Жером подобно поднятой руке со сжатым кулаком.

А ведь было время, когда мне казалось, что мой дом *здесь*, что я вполне могла бы навсегда остаться в Ланскне. Даже сейчас слово «дом»

пробуждает воспоминания о нашем магазинчике, о комнатках наверху, о спальне Анук на чердаке, где вместо двери был люк в полу, а окошко — круглым, как иллюминатор. И душа моя сейчас словно разрывается надвое, чего не было никогда; одна ее половина принадлежит Ру и тому, что с ним связано, а вторая — Ланскне и тому, что связано с этим городком. Возможно, это ощущение обостряет еще то, что и сам Ланскне как был разделен между двумя мирами — первый из них новый, современный, мультикультурный, а второй настолько консервативен, насколько может быть консервативна только сельская провинциальная Франция; и я отлично понимаю, что...

А что, собственно, я тут делаю? — вдруг встрепенулась я. — Зачем я открыла эту шкатулку Пандоры, полную неуверенности и смятения? В письме Арманды ясно говорилось: кому-то в Ланскне нужна моя помощь. Но кто он, этот человек? Франсис Рейно? Или Женщина в Черном? А может, Жозефина? Или я сама?

Тропинка, по которой я побрела назад, снова привела меня к дому, из которого вышла девушка в темно-синем кафтане. Палка с жуком-племником по-прежнему лежала на обочине. Я освободила жука, и он сердито на меня пожужжал, прежде чем улететь прочь. Я выпрямилась и немного постояла, глядя на дом.

Как и почти все строения в Маро, он был довольно приземистый, двухэтажный, стены отчасти из дерева, отчасти из желтого кирпича. Похоже, раньше это вообще были два отдельных домика, которые затем соединили вместе. Дверь и ставни были выкрашены зеленой краской, а на подоконниках виднелись ящики с цветущими красными геранями; оттуда доносились голоса, смех, разговоры и отчетливый запах готовящейся пищи, специй, мяты. Я уже двинулась дальше, когда дверь дома вновь приоткрылась; оттуда стрелой вылетела та же девочка в желтой камизе, но, увидев незнакомку, тут же остановилась и уставилась на меня своими ясными глазами. Ей было, наверное, лет пять или шесть — еще слишком мала, чтобы носить головной платок, — и волосы были заплетены в косички, перевязанные желтыми ленточками. На худеньком запястье болтался золотой браслет.

— Привет, — поздоровалась я.

Девочка продолжала молча смотреть на меня.

— Боюсь, я виновата перед тобой; это я отпустила твоего жука на волю. — Я глазами указала на останки валявшейся на земле игрушки. — Он что-то совсем загрустил — это ведь так ужасно, когда тебя все время держат на привязи. Впрочем, завтра ты сможешь снова его поймать. Если,

конечно, он сам захочет с тобой играть.

Я улыбнулась, но девочка не ответила на улыбку и по-прежнему молчала, не сводя с меня глаз. «Интересно, а она меня понимает?» — подумала я. В Париже я встречала немало арабских девочек того же возраста, что Розетт, и они обычно знали в лучшем случае пару слов по-французски, хотя даже родились в этом городе. Обычно, впрочем, они более-менее овладевали французским языком к концу начальной школы; а вот в среднюю школу многие знакомые мне семьи своих дочерей отдавали весьма неохотно — порой из-за запрета на ношение головных платков, а порой просто потому, что дома была нужна их помощь.

— Как тебя зовут? — спросила я, и она ответила:

— Майя. — Так, значит, она все-таки меня *понимала*!

— Ну что ж, приятно с тобой познакомиться, Майя, — сказала я. — А меня зовут Вианн. Я живу вон в том доме на пригорке вместе с моими двумя девочками.

Я указала ей на старый дом Арманды.

На лице Майи отразилось сомнение.

— Вон в том доме?

— Да. Он принадлежал моему старому другу Арманде. — Чувствовалось, впрочем, что это ее не убедило, и я спросила: — А твоя мама любит персики?

Майя слегка кивнула.

— Ну так вот: возле дома моей подруги Арманды растет персиковое дерево, и на нем полно персиков. Завтра, если хочешь, я сорву несколько штук и принесу твоей маме, чтобы вы их съели во время *iftar*.^[23]

Это арабское слово заставило Майю улыбнуться.

— Ты знаешь, что такое *iftar*?

— Конечно, знаю.

Мы с матерью однажды довольно долго прожили в Танжере. Место во многих отношениях сложное, полное противоречий. Пища и рецепты ее приготовления всегда служили для меня средством взаимопонимания с окружающими. А в таких местах, как Танжер, еда зачастую была для нас единственным языком общения.

— Вот как вы сегодня вечером, например, будете выходить из поста? — спросила я. — Сварите суп *харисса*? Я его просто обожаю.

Улыбка Майи стала еще шире.

— Я тоже, — сказала она. — А Оми испечет лепешки. Она один секрет знает, и у нее самые лучшие лепешки в мире получаются!

Внезапно зеленая дверь снова открылась, и женский голос что-то резко

сказал Майе по-арабски. Девочка, похоже, собралась запротестовать, потом все же неохотно вернулась в дом. На пороге на мгновение возникла женская фигура, закутанная в черное покрывало, и дверь тут же с грохотом захлопнулась — я так и осталась стоять с поднятой в приветственном жесте рукой, не успев даже понять, видела меня эта женщина или нет.

Хотя в одном я была совершенно уверена: это была та самая женщина в *никабе*, которую я видела возле церкви в день своего приезда, а потом еще раз в Маро. Сестра Карима Беншарки — ее настоящего имени, похоже, так никто толком и не знал. Загадочная женщина, тень которой так велика, что накрывает собой сразу две, столь различные между собой, общины...

Когда я шла домой по берегу Танн, тишина и спокойствие вокруг казались почти неестественными. Умолкли даже сверчки, даже птицы, даже лягушки.

В такие вечера, как этот, местные жители говорят: вот-вот подует ветер Отан; ^[24] *le vent des Fous*, Ветер Безумия, который стучится в окна домов, иссушает хлеба в поле, лишает людей сна. Белый Отан приносит сухую жару; Черный Отан приносит бурю и дождь. И в какую бы сторону этот ветер ни дул, он вскоре все равно переменится.

Что я, собственно, делаю в Ланскне? Я снова и снова задавала себе этот вопрос. Неужели это Отан принес меня сюда? И каким он будет на этот раз? Белым, который всю ночь не дает тебе уснуть, или Черным, который попросту сводит тебя с ума?

Глава третья

Вторник, 17 августа

Благослови меня, отец мой, ибо я согрешил. Увы, тебя больше нет с нами, но мне необходимо перед кем-то исповедаться, а идти на исповедь к нашему новому священнику — отцу Анри Леметру с его голубыми джинсами, выцветшей улыбкой и новыми идеями — я никак не могу. Впрочем, как и к нашему епископу. Он уже и не сомневается, что поджог устроил именно я. Нет, будь я проклят, но перед этими людьми, отец мой, я никогда не преклоню колен!

Разумеется, ты прав: гордыня — вот мой главный грех. Я и сам всегда это понимал. Но я твердо знаю: отец Анри Леметр разорит, уничтожит церковь Святого Иеронима, а я просто не в силах стоять и смотреть, как он это делает! Боже мой, он и так уже использует усилители, читая проповеди, а вместо нашего органиста посадил Люси Левалуа, она у него в церкви на гитаре играет! В результате, как и следовало ожидать, популярность отца Анри и нашей церкви невероятно возросла — никогда еще церковь Святого Иеронима не посещало так много людей из других селений, — и все же хотелось бы знать, что ты-то, отец, об этом думаешь, ты ведь всегда был так строг и суров.

Наш епископ, впрочем, считает, что в наши дни церковная служба должна скорее развлекать, чем проявлять строгость. *Мы должны чем-то привлечь молодежь*, говорит он. Собственно, ему и самому-то всего тридцать восемь, на семь лет меньше, чем мне; из-под сутаны у него выглядывают модные «найки». Отец Анри Леметр — его протеже и, разумеется, прав абсолютно во всем, так что епископ вполне одобрительно отнесся к намерению отца Анри модернизировать нашу церковь: установить усилители, плазменные экраны, заменить старинные дубовые скамьи чем-нибудь «более подходящим». Видимо, он считает, что резной дуб плохо сочетается с электронными гаджетами.

Но даже если сам я и попытаюсь как-то противостоять столь кощунственным действиям, все равно неизбежно окажусь в меньшинстве. Каро Клермон уже несколько лет жалуется, что церковные скамьи и чересчур узкие, и чересчур жесткие (чего не скажешь о самой Каро), и чересчур неудобные. Разумеется, если скамьи все-таки уберут из церкви, муж Каро Жорж первым приберет их к рукам, быстренько их отреставрирует и продаст в Бордо по абсурдно вздутой цене каким-нибудь

богатым туристам, которые ищут, чем бы таким «очаровательно аутентичным» украсить свои загородные дома.

Как же тут не сердиться, отец мой, ведь я всю жизнь отдал Ланскне! А в итоге меня вот-вот вышвырнут отсюда. Да еще и по такой позорной причине...

И снова все нити тянутся к этой проклятой лавчонке, к этой *chocolaterie*! И отчего это место так притягивает всякие неприятности и беды? Сперва там появилась Вианн Роше, затем сестрица этого Беншарки, но даже и теперь, когда это помещение, опустошенное пожаром, пустует, оно каким-то неведомым образом *стремится* спровоцировать мое падение. Епископ говорит, что *не сомневается* в моей непричастности к этому пожару. Лицемер! Заметь, он и не думает говорить, что *уверен* в моей невиновности. На самом деле — и это весьма разумно с его стороны — эти слова означают примерно следующее: каким бы ни был конечный результат расследования, так или иначе я буду скомпрометирован, и, значит, придется сменить приход, перебраться в такое место, где о моем прошлом ничего не известно...

Да будь она проклята, эта его снисходительность! Я никогда не позволю убрать меня вот так, втихую! Я и мысли не могу допустить, что после всего сделанного мною для прихожан Ланскне здесь не найдется *никого*, кто верил бы в меня по-прежнему. Значит, я непременно должен найти выход из создавшейся ситуации. Должен совершить нечто такое, что позволило бы мне хотя бы частично отвоевать прежнее доверие паствы и доброжелательное отношение обитателей Маро. Все попытки поговорить с ними, как-то объясниться закончились неудачей; что ж, наверное, мне пора переходить к действиям и реально защищать себя.

Вот почему сегодня утром я решил вернуться на площадь Сен-Жером и постараться хоть как-то привести в порядок бывшую *chocolaterie*. Пожар не нанес помещению особого ущерба; там требуется, пожалуй, лишь тщательная уборка; ну, и еще хорошо бы на крыше в нескольких местах положить новую черепицу, заменить несколько балок и половых досок, кое-где подправить штукатурку и заново покрасить стены — и комнаты будут выглядеть как новые. Примерно так мне казалось; и потом, я надеялся, что люди, увидев, что я начал ремонт, присоединятся ко мне и помогут навести полный порядок.

Я провозился часа четыре, у меня уже болело все тело, но помощи мне никто так и не предложил; даже слова никто не сказал, хотя напротив — булочная Пуату, а чуть дальше по улице — кафе «Маро». Да что там, никто мне даже попить не принес, несмотря на чудовищную, всесокрушающую

жару. И тогда, отец мой, я начал понимать: это и есть наказание, ниспосланное мне, — нет, не за пожар, а за мою самонадеянную уверенность в том, что я смогу вернуть уважение паствы, демонстрируя собственное смирение.

После второго завтрака, примерно в полдень, булочная закрылась; выбеленная солнцем площадь была пустынна и безмолвна. Только тень от колокольни Сен-Жером давала какое-то отдохновение от палящего солнца, и я, таская из внутреннего помещения на тротуар обгорелый хлам, каждый раз на минутку задерживался в этой тени, а потом подходил к фонтану и делал несколько глотков воды.

— Что это вы делаете? — услышал я чей-то голос и выпрямился.

Боже милостивый! Как раз один из тех, с кем я предпочел бы *не встречаться*. Правда, от самого юного Люка Клермона я никаких неприятностей не жду, но ведь он все расскажет матери, и, разумеется, для меня было бы куда лучше, если бы Люк увидел целую толпу дружелюбно настроенных людей, вместе со мной бодро расчищавших жилище этой Беншарки. Но я был один и в таком виде — измученный, грязный, исцарапанный и... никому не нужный; и окружали меня только груды мусора и обгоревшие обломки.

— Да так, ничего особенного. — Я все-таки сумел улыбнуться ему в ответ. — Мне подумалось, что нам стоило бы проявить солидарность. Разве можно допустить, чтобы женщина с ребенком вернулась в *такое* жилище... — И я указал на обуглившуюся дверь и груды почерневшего хлама за нею.

Люк осторожно на меня глянул. Возможно, зря я все-таки ему улыбался. И я уже без улыбки пояснил:

— Ну, если честно, то мне от одного вида этого дома становится не по себе. Тем более, насколько я знаю, полдеревни считает, что в случившемся виноват именно я.

Полдеревни? Если бы! Да для того, чтобы пересчитать тех, кто в данный момент хоть как-то меня поддерживает, и на одной руке пальцев хватит.

— Я вам сейчас помогу, — сказал Люк. — Мне все равно делать нечего.

Естественно, занятия в университете начнутся только в конце сентября. Насколько я помню, Люк изучает французскую литературу, и это очень не нравится Каро. Интересно, почему это ему захотелось мне помочь? Он ведь меня всегда недолго любил — даже в те времена, когда его мать была одной из самых преданных моих последовательниц.

— Я схожу на лесопилку и пригоню грузовичок, — продолжал Люк, указывая на груды мусора, — и мы сперва уберем все это, а потом уж будем вместе решать, что тут еще можно сделать.

Что ж, я находился не в том положении, чтобы отказываться от помощи. В конце концов, именно моя гордыня и завлекла меня в эту западню. Я поблагодарил Люка и снова принялся за работу. Мусора в помещении оказалось гораздо больше, чем я думал, но к концу дня мы вместе Люком все же сумели освободить от него весь первый этаж.

Зазвонили колокола, призывая народ к мессе. Тени на площади стали длиннее. Отец Анри Леметр, выглядевший так, словно только что покинул специальный холодильник, предназначенный исключительно для священников, ленивой походкой вышел из церкви и направился к нам — сутана отлично отглажена, на голове модная молодежная стрижка, свежайший воротничок лишь чуть светлее его ослепительно-белых зубов.

— Франсис! — Я ненавижу, когда он меня так называет, и в ответ одарил его самой дипломатичной своей улыбкой. — Как это замечательно! Только зачем же вы в одиночку предприняли столько усилий? — Он сказал это таким тоном, словно я все делал исключительно для него. — Что же вы утром ничего мне не сказали? Я бы бросил клич после мессы... — Можно подумать, что он и сам был бы страшно рад мне помочь, но, увы, тяжкое бремя забот о моем приходе, возложенное на его плечи, не позволило ему этого. — Кстати о мессе... — Он критически оглядел меня, потного и грязного, с головы до ног и спросил: — Вы сегодня вечером случайно не собираетесь в церковь? У меня в ризнице есть запасная сутана, и я бы с удовольствием ссудил ее вам, если...

— Нет, спасибо.

— Я всего лишь заметил, что вы перестали ходить к мессе, не причащаетесь и не исповедуетесь с тех пор, как...

— Благодарю вас. Я приму это к сведению.

Да разве я смогу принять из его рук гостию? А что касается исповеди... Отец мой, я знаю, так говорить грешно, но ей-богу, тот день, когда я приму от него епитимью, станет моим последним днем в церкви.

Отец Анри, глядя на меня с искренним сочувствием, сказал:

— Моя дверь для вас всегда открыта, — и удалился, в последний раз блеснув в улыбке белоснежными зубами — ну, точно как в рекламе зубной пасты.

А я так и остался стоять, пребывая отнюдь не в самом безмятежном расположении духа и стиснув за спиной кулаки.

На сегодня с меня было достаточно. Ничего себе денек выдался! Я

поспешил домой, постаравшись убраться с площади до того, как ее заполнит толпа верующих, идущих в храм. Но звон колоколов продолжал преследовать меня до самого дома, к тому же, поднявшись на крыльцо, я увидел, что кто-то разрисовал мою парадную дверь черной краской из баллончика. Похоже, это сделали совсем недавно: в теплом воздухе еще чувствовался сильный запах краски.

Я огляделся, но никого не увидел, кроме троих мальчишек-подростков на горных велосипедах, быстро удалявшихся по направлению к дальнему концу улицы. Один из них был в длинной свободной белой рубаше, какие носят арабы, двое других — в майках и джинсах; головы у всех троих были повязаны клетчатыми шарфами-«арафатками». Заметив меня, они на полной скорости свернули в переулок, ведущий в сторону Маро, что-то выкрикнув по-арабски. Я этого языка не знаю, но по интонациям и гнусному смеху вполне можно было догадаться, что это были отнюдь не комплименты в мой адрес.

Я мог бы, конечно, последовать за ними. Наверное, мне даже следовало так поступить. Но я слишком устал, и — честно признаюсь, отец мой, — мне стало немного страшно. В общем, я вошел в дом, закрыл за собой дверь, принял душ, налил себе пива и заставил себя съесть хотя бы один сэндвич.

Но в открытое окно по-прежнему был слышен звон колоколов, а с того берега колоколам вторил клич муэдзина, повисший над рекой в вечернем воздухе, как лента дыма. Да, я действительно с удовольствием помолился бы, но отчего-то единственное, о чем я мог думать, это Арманда Вуазен с ее острым взглядом черных глаз, с ее дерзкой манерой вести себя; и я чувствовал, что она с удовольствием и от души посмеялась бы надо всем этим. Возможно, она меня видит оттуда. Меня почему-то ужаснула эта мысль. И, чтобы не думать, я налил себе еще пива и стал смотреть, как за рекой догорает закат, а на востоке над Ланскне восходит тонкий месяц.

Глава четвертая

Вторник, 17 августа

Сегодня утром мы с Розетт пошли выяснять, что случилось с Жозефиной. В Маро были закрыты все магазины — магазин одежды, бакалейная лавка, магазин тканей, где их продавали рулонами, — но рядом в маленьком кафе мы заметили мрачного вида мужчину в белой *джеллабе* и молитвенной шапочке *такийе*. Он протирал столы, но, заметив нас, прервал работу и буркнул:

— Мы закрыты.

Я, собственно, так и подозревала.

— А когда открываетесь?

— Позже. Вечером.

Этот тип одарил меня таким взглядом, что я сразу вспомнила Поля Мюска в те дни, когда кафе «Маро» еще принадлежало ему; это был взгляд одновременно и плотоядно-оценивающий, и странно враждебный. Затем он снова принялся протирать столы. Да уж, тут явно далеко не всякому посетителю были рады.

«Злой дядя, — с помощью жестов сообщила мне Розетт. — *Злое лицо. Идем отсюда*».

Бам виднелся как никогда отчетливо: ярко-оранжевый мазок света, следовавший за Розетт по пятам. Я заметила, что у моей дочери на лице появилось коварное выражение, и в тот же момент *такийя* уборщика соскользнула с его головы и шлепнулась на пол.

Розетт что-то тихонько пропела себе под нос.

И я краем глаза заметила, что Бам перекувырнулся в воздухе.

Я тут же поспешно взяла дочь за руку.

— Извините за беспокойство. Мы уже уходим, — сказала я. — Мы совсем другое кафе искали.

Но и добравшись наконец до кафе «Маро», мы не обнаружили там Жозефины. За стойкой бара торчала сердитая девица лет шестнадцати, которая, не отрывая глаз от телевизора, сообщила, что *мадам Бонне* уехала в Бордо, поскольку туда для них доставили целый грузовик всяких припасов, и вернется наверняка поздно.

Нет, никакой записки мадам Бонне не оставила. Даже когда эта девица посмотрела на меня, я не заметила в ее глазах ни малейшего признака узнавания или хотя бы любопытства. Впрочем, глаза она накрасила так

сильно, что их вообще с трудом можно было разглядеть среди слоев разноцветных теней и комков туши. Губы у нее тоже были ярко накрашены и блестели, как засахаренные фрукты, а челюсти пребывали в постоянном, хотя и неторопливом движении — она жевала жвачку, и даже на губах виднелся бледно-розовый кружок.

— Меня зовут Вианн Роше. А как твое имя?

Она уставилась на меня, как на сумасшедшую, но все же ответила, хотя и несколько раздраженным тоном:

— Мари-Анж Люка. Я тут мадам Бонне замещаю.

— Приятно с тобой познакомиться, Мари-Анж. Мне, пожалуйста, *citron pressé*.^[25] А для Розетт — оранжину.^[26]

Анук ушла из дома еще раньше нас — отправилась искать Жанно Дру. Я надеялась, что ей повезет больше, чем нам в поисках Жозефины, и старого дружка она непременно отыщет. Я взяла стаканы и вышла на террасу (Мари-Анж и не подумала сама принести заказанные напитки); мы с Розетт уселись в тени акации. Перед нами расстилалась абсолютно пустынная улица, ведущая через мост в глубь Маро.

Мадам Бонне? Интересно, почему моя старая приятельница вздумала вернуть свою девичью фамилию, но зачем-то сохранила «мадам»? Впрочем, в Ланскне свои представления о респектабельности. Женщина тридцати пяти лет, имеющая собственный бизнес и ведущая его без помощи мужчины, никак не может быть просто «мадемуазель». Я еще восемь лет назад это поняла. И для здешних жителей я всегда была «мадам Роше».

Розетт допила свою оранжину и принялась играть с парой камешков, которые подобрала на дороге. Ей нужны сущие пустяки, чтобы развлечься; она слегка шевельнула пальцами — и камешки засияли каким-то тайным внутренним светом. Розетт нетерпеливо каркнула — и камешки принялись танцевать на столе.

— Беги, играй с Бамом, — сказала я ей. — Только далеко не убегай, чтобы я всегда могла тебя видеть, хорошо?

Розетт тут же побежала к мосту, а я спокойно смотрела ей вслед, зная, что она может играть там часами. Будет бросать через парапет палки, заставляя их сворачивать поперек течения к противоположному берегу, или станет просто следить за отражением в воде облаков, проплывающих в вышине. Дрожащее марево рядом с нею обозначало присутствие Бама. Я допила свой лимонный сок и заказала еще.

В дверях кафе вдруг возник мальчик лет восьми. На нем была весьма просторная майка с изображением льва из мультфильма «Король Лев»,

почти полностью скрывавшая под собой его выгоревшие шорты, и кроссовки, носившие отчетливые следы недавнего купания в Танн. Светлые волосы мальчика выгорели на солнце почти добела, а глаза были голубые, как небо солнечным летним днем. В руке он держал кусок бечевки, который постепенно выползал из-за угла; на другом конце бечевки оказалась большая лохматая собака, тоже явно только что искупавшаяся в реке. Мальчик и собака с любопытством посмотрели на меня, потом вдруг разом сорвались с места и понеслись по дороге к мосту. При этом собака лаяла как сумасшедшая, а мальчик скользил, как на лыжах, поднимая своими несчастными мокрыми кроссовками целые облака плотной дорожной пыли.

Мари-Анж принесла мне второй стакан сока, и я спросила:

— А это кто?

— Это Пилу. Сын мадам Бонне.

— Ее сын?

Она удивленно на меня посмотрела:

— Ну да, а что?

— О, я просто не знала, — сказала я.

Она только плечами пожала, словно желая выразить этим свое полнейшее безразличие к нам обеим. А затем, прихватив пустые стаканы, снова прилипла к телевизору.

Я посмотрела в сторону моста: мальчик и его собака теперь плескались на мелководе и в дымке водяных брызг, просвеченных солнцем, казались позолоченными; светлые волосы мальчика и шерсть затрапезного вида псины так и сверкали, словно посыпанные алмазной крошкой.

Я видела, что Розетт тоже с любопытством наблюдает за ними. Она вообще-то очень общительная, моя маленькая Розетт, но в Париже предпочитает держаться особняком; другие дети не хотят с ней играть — отчасти потому, наверное, что она почти не разговаривает; а отчасти потому, что она их пугает. Я услышала, как Пилу что-то крикнул ей из-под моста, и она тут же к нему присоединилась; теперь они все втроем принялись весело плескаться в реке. В этом месте Танн совсем мелкая, и даже есть маленький песчаный пляжик, хотя песок на нем довольно крупный и грубый. Там с Розетт ничего не случится, думала я, пусть всласть поиграет с новыми друзьями. Я неторопливо допила свой второй *citron pressé*, размышляя о том, что же случилось за эти годы с моей старой подругой.

Значит... у мадам Бонне есть сын. И кто же его отец? Она оставила

девичью фамилию, значит — и это совершенно очевидно, — снова замуж она не вышла. Сегодня в кафе никого нет, кроме Мари-Анж; незаметно также, что у Жозефины есть какие-то партнеры по бизнесу. Я, конечно, утратила связь со своими здешними приятелями, переехав в Париж. Смена имен, смена образа жизни — вот и Ланскне остался далеко позади, как и многие другие места и города, которые я и не собиралась когда-либо посетить снова. Ру, который мог бы за время нашей долгой разлуки хотя бы время от времени сообщать мне о здешних новостях, писать письма никогда не умел и не любил; в лучшем случае он присылал почтовую открытку, где корявым почерком в нескольких словах сообщал, где в данный момент находится. Но после моего отъезда он прожил в Ланскне целых четыре года, и большую часть этого времени — именно в кафе у Жозефины. Я знаю, он презирает слухи и сплетни, но ведь он прекрасно знал, какими близкими подругами были мы с Жозефиной, так почему, скажите на милость, он не сообщил мне о том, что у нее родился ребенок?

Я допила сок и расплатилась. Солнце уже жарило вовсю. Розетт сейчас восемь, но она для своего возраста очень маленькая; этот мальчик, Пилу, скорее всего, несколько младше ее. Я медленно пошла по направлению к мосту, жалея, что не надела шляпу. Дети строили что-то вроде плотины поперек песчаной отмели; я слышала, как Розетт возбужденно приборматывает — *бамбаддабамбаддабам!* — а Пилу командует, явно готовясь отразить атаку пиратов:

— Вперед! На корму! Пушки к бою! *Бам!*

— Бам! — радостно вторила Розетт.

Знакомая игра; я отлично помнила, как восемь лет назад Анук точно так же играла здесь «в пиратов» вместе с Жанно Дру и другими своими приятелями.

Мальчик поднял на меня глаза, улыбнулся и спросил:

— Мадам, вы тоже *maghrebine*?

Я покачала головой.

— Но ведь она говорит не по-нашему, верно? — сказал он, поведя глазами в сторону Розетт.

Я улыбнулась и пояснила:

— Ну, не то чтобы совсем не по-нашему... Она вообще мало что говорит. Хотя все понимает, ты, наверно, и сам уже в этом убедился. Она очень даже неглупа, а кое-что умеет делать и вовсе отлично.

— А как ее зовут?

— Розетт, — сказала я. — А тебя Пилу. Вот только не пойму, от какого это имени.

— Жан-Филипп. — Он снова улыбнулся. — А это мой пес Владимир. Влад, скажи даме «здравствуйте»!

Влад гавкнул и отряхнулся, подняв над маленькой плотинкой целое облачко водяных брызг.

Розетт засмеялась и жестами сообщила мне: «*Очень хорошая игра!*»

— Что это она такое говорит?

— Говорит, что ты ей понравился.

— Круто!

— Значит, ты сын Жозефины, — сказала я. — А я ее старая приятельница. Меня зовут Вианн. Мы остановились в Маро, в старом домике мадам Вуазен. — Я помолчала. — Я была бы очень рада, если бы вы с мамой пришли к нам в гости. Вместе с Владом. И с твоим отцом, если он, конечно, захочет прийти.

Пилу пожал плечами.

— А у меня нет отца. — В его голосе послышался легкий вызов. — То есть, по всей очевидности, он у меня *есть*, но я...

— Но ты просто с ним не знаком?

Пилу улыбнулся.

— Да. Верно.

— Моя дочка тоже раньше часто так говорила. Моя вторая дочка. Анук.

Глаза Пилу вдруг округлились от удивления.

— Ой, а я знаю, кто вы! — воскликнул он. — Вы та самая дама из шоколадной лавки! Которая раньше всякие вкусные штуки делала! — Его улыбка стала еще шире, он даже слегка подскочил от возбуждения. — Мама все время о вас говорит. Вы тут почти что знаменитость.

Я рассмеялась.

— Ну, до знаменитости мне далеко.

— А мы теперь каждый год устраиваем тот праздник, который вы сто лет назад придумали! На Пасху. Прямо на площади перед церковью. Там устраивают танцы, ищут пасхальные яйца, вырезают всякие штуковины из шоколада — в общем, много чего.

— Правда? — удивилась я.

— Ага. Это бывает так *клево!*

Я вспомнила тот первый праздник шоколада, который сама же и устроила, — с выставленными в витрине разнообразными сладостями и написанными от руки названиями. Вспомнила, как полжизни назад шестилетняя Анук брызгалась в лужах, топая по ним в желтых резиновых сапожках; как она дула в пластмассовую трубу; как Жозефина танцевала на

площади перед церковью, а Ру стоял рядом со мной, и на лице у него, как всегда, было то самое выражение — чуть сердитое, чуть застенчивое...

Мне вдруг стало не по себе.

— И мама никогда даже *не упоминала* имени твоего отца?

Он снова одарил меня своей сияющей улыбкой — точно солнечные зайчики на речной воде.

— Она сказала, что он был пиратом и плавал под парусами вниз по реке. А потом уплыл в дальние моря, и теперь он пьет там ром из кокосовых скорлупок и ищет зарытые клады. Она говорит, что я очень на него похож и, когда вырасту, тоже непременно *уберусь* из этих мест, и у меня будут свои приключения. Может, я и его тогда где-нибудь там, в дальних морях, встречу.

Теперь меня охватила настоящая тревога. Что-то уж больно похоже это звучало на те истории, которые так любит рассказывать Ру. Мне всегда казалось, что Жозефина весьма к нему равнодушна. На самом деле был момент, когда я думала, что они вполне могут влюбиться друг в друга. Но жизнь вечно путает наши планы, и даже самые дорогие наши ожидания порой не оправдываются; вот и будущее, которое я планировала для нас обеих, оказалось совсем иным.

Жозефина мечтала уехать отсюда, но так и осталась в Ланскне; я же давала себе слово, что никогда больше не вернусь в Париж, но именно в Париже я наконец обрела долгожданную передышку от скитаний. Жизнь подобна ветру и точно так же находит удовольствие в том, чтобы переместить нас в такие места, где мы меньше всего ожидали оказаться; она все время меняет направление нашего пути, и в итоге нищий обретает королевскую корону, а король лишается трона; любовь блекнет, превращаясь в равнодушие, а заклятые враги становятся закадычными друзьями и до конца дней своих идут рука об руку.

Никогда не пытайся играть с жизнью, — говорила мне мать, — потому что жизнь всегда играет нечестно, передергивает, крадет карты прямо у тебя из-под носа, а порой и вовсе делает карты пустыми...

И мне вдруг снова захотелось раскинуть те гадальные карты, что когда-то принадлежали матери. Конечно же, я, как всегда, взяла их с собой, но заветную сандаловую шкатулку не открывала уже давно. Боюсь, я даже несколько утратила навык — а может, я совсем и *не этого* боюсь...

Вернувшись в дом Арманды — там по-прежнему стоит ее запах: пахнет лавандой, которую она всегда клала в чистое белье, и вишнями в коньяке, бутылки с которыми стройными рядами выстроились на полках в ее маленькой кладовой, — я наконец открыла материну шкатулку.

Шкатулка, как всегда, пахла моей матерью — в точности как и дом Арманды пахнет его прежней хозяйкой. Такое ощущение, словно моя мать после смерти съежилась до крошечных размеров, не больше колоды карт Таро, и прячется в этой шкатулке; впрочем, голос ее звучит у меня в ушах с прежней силой.

Я перетасовала карты и разложила их на столе. Розетт все еще играла где-то неподалеку со своим новым другом Пилу. Карты были очень старые, потрепанные; гравюры отчасти стерлись из-за частого использования.

Семерка Мечей: тщета. Семерка Кругов: неудача. Королева Кубков — господи, у нее такой отрешенный вид, словно ее постигло ужасное разочарование и теперь она даже надеяться ни на что не смеет. Рыцарь Кубков — обычно это весьма динамичная карта, но она, увы, слегка пострадала от воды и покорибилась, и теперь лицо рыцаря выглядит как после жуткой попойки. Кто же он, этот рыцарь? Чем-то он мне знаком. Но никакого ответа я так и не получила. Впрочем, в любом случае...

Карты легли на редкость неудачно. Я понимала, что надо их поскорее убрать. И вообще, что я, собственно, делаю в Ланскне? Я уже почти жалела, что вскрыла и прочла письмо Арманды, что Ру принес его домой, а не выбросил по дороге в Сену...

Я снова проверила мобильный телефон. От Ру — ничего. Свой телефон он, скорее всего, не только не проверял, но даже и не включал; в этом отношении на него совершенно нельзя положиться, как и в отношении писем. Но после того, что я узнала сегодня, мне было просто необходимо хотя бы услышать голос Ру. Это же нелепо, уговаривала я себя, тебе же никто и никогда *не был нужен!* Но я ничего не могла с собой поделать и думала только о том, что чем дольше пробуду в Ланскне, тем ненадежней станет та нить, что связывает меня с новой жизнью...

Разумеется, мы *могли бы* прямо сегодня же вечером уехать домой. Почему бы и нет? Это действительно очень легко сделать. Да и что, собственно, меня здесь держит? Ностальгия? Воспоминания? Горстка карт?

Нет, все это здесь ни при чем. Но тогда что?

Я снова убрала карты в шкатулку. И нечаянно уронила одну. Выскользнув у меня из рук, она упала на пол рубашкой вверх. Я перевернула ее: женщина с прялкой в руках, от которой во все стороны расходятся лунные лучи, но лицо ее скрыто в тени. Луна. Карта, которую я всегда ассоциировала с собой, но сегодня она явно обозначает кого-то другого. Возможно, мне так кажется из-за тонкого месяца у нее над головой — он так похож на тот, что украшает мечеть в Маро. А может, ее скрытое вуалью ночного мрака лицо снова напомнило мне Женщину

в Черном, которую я видела лишь мельком, но тень которой так длинна, что, вызывая головокружение, простерлась через реку Танн до сердца Маро и тянет, тянет меня домой...

Домой. О, опять это слово! Но мой дом *не в Ланскне!* И все же это слово — дом — обладает невероятной притягательной силой. Да знаю ли я, что оно означает? Возможно, мне могла бы объяснить это Женщина в Черном — но только в том случае, если я сумею ее найти.

Анук наконец вернулась, проведя весь день с Жанно; на лице у нее сияла веселая, летняя улыбка, и нос слегка обгорел на солнце. Ладно, теперь я оставлю ее дома с Розетт, чей новый дружок уже отправился домой вместе со своей собакой. Почему-то мне кажется, что мы еще не раз увидим и Пилу, и Влада, и Жанно, причем в самое ближайшее время.

— Ну что, хорошо время провела? — спросила я у Анук.

Она кивнула; глаза у нее так и светились от счастья. Хотя волосы и глаза у моих дочерей совсем разные, сегодня Анук отчего-то была удивительно похожа на Розетт; и волосы у нее так же буйно вились из-за влажного ветра, дувшего над Танн. Я была рада, что она сумела отыскать старого друга, пусть это даже сын Жолин Дру. Я хорошо помнила тогдашнего Жанно: маленький ясноглазый мальчуган, сперва довольно робкий, но вскоре ставший верным последователем Анук в ее весьма экстравагантных играх. Его излюбленным лакомством были шоколадные мышки; он обычно засовывал их в кусок свежего багета, превращая его в *rain au chocolat*. Теперь он, пожалуй, чуть старше Анук; широкоплечий, гораздо выше своих родителей, и с виду совсем взрослый; однако иллюзия взрослости тут же исчезает, если обратить внимание на его неуклюжую походку — при ходьбе он сутулится и по-жеребьячи подпрыгивает, когда ему кажется, что его никто не видит. Хорошо, что Жанно в глубине души так и остался прежним маленьким мальчиком. Слишком многие из тех, кого я знаю, за это время успели измениться даже слишком сильно, а некоторые — и вовсе до неузнаваемости.

Церковные часы на площади Сен-Жером бьют шесть. Отличное время для визита к соседям. Мужчины еще не успеют вернуться из мечети. А женщины будут заняты подготовкой к очередному *ифтару*.

— Я хочу ненадолго выйти, прогуляться. Ничего, если ты останешься с Розетт?

Анук кивнула.

— Конечно. Заодно и обед приготовлю.

Это означало, что она снова сварит на дровяной плите пасту домашнего приготовления. У Арманды в кладовке ее запасен целый

кувшин, и я стараюсь не думать, сколько лет назад она была заготовлена. Анук и Розетт очень любят пасту, пожалуй, больше всего на свете; капелька оливкового масла и свежий базилик с грядки — и обе уже в восторге. В кладовке, конечно, найдутся и персики, и вишня в коньяке, и сливы от Нарсиса, и *flan au pruneaux*^[27] от его жены, и еще несколько *galettes*, и сыр, который принес Люк...

Я посмотрела в сторону дома с зелеными ставнями. Вообще-то, я обещала Майе принести персики. Анук помогла мне сорвать несколько штук. Мы положили их в корзинку, прикрыв листьями одуванчика. Вот о таких вещах я почти позабыла, прожив восемь лет в Париже, — когда аромат персиков, только что сорванных с ветки, такой солнечный, пьянящий, смешивается с чуть горьковатым запахом одуванчика, похожим на запах пыльного тротуара после дождя. Для меня это запах детства; запах придорожных лавчонок и летних ночей.

А как насчет Женщины в Черном? Разумеется, у меня нет никаких доказательств, но я почему-то была почти уверена, что персики — это ее любимые фрукты.

Было время, когда я *всегда* могла узнать, каково любимое кушанье *каждого*. И где-то в глубине моей души эта способность все еще жива; но этот дар, который так высоко ценила моя мать, слишком часто оказывался для меня проклятием. Знание — вещь не всегда удобная. Даже власть отнюдь не всегда оказывается благом. Я усвоила этот урок четыре года назад, когда в нашу жизнь точно ураган ворвалась Зози де л'Альба в своих алых туфельках. Сейчас у меня слишком многое поставлено на кон, чтобы я могла чувствовать себя по-настоящему счастливой, скача верхом на урагане; слишком уж велика ответственность, когда читаешь письма человеческого души.

Действительно ли мне следует всем этим заниматься? Да и смогу ли я что-то здесь изменить? А что, если Женщина в Черном окажется той самой, предназначенной для меня, черной пиньтой, битком набитой словами, которые лучше оставить непрочитанными, или историями, которые лучше сохранить в тайне?

Глава пятая

Вторник, 17 августа

Я ожидала, что найду Женщину в Черном именно в доме с зелеными ставнями, но дверь мне открыла какая-то пожилая женщина. Далеко за шестьдесят, круглолицая, полная; из-под свободно повязанного *хиджаба* выбилась прядь густых седых волос. Женщину, казалось, несколько удивило мое появление — похоже, в первые минуты она посматривала на меня даже слегка подозрительно, — но когда я вручила ей корзинку с персиками и сказала, что вчера вечером познакомилась с Майей и пообещала принести фрукты к *ифтару*, на лице седовласой марокканки расплылась широкая улыбка.

— Ох уж эта малышка! — воскликнула она. — Вечно с ней всякие истории приключаются. Уж такая проказница! — В ее словах чувствовалась та готовность простить любую шалость, которая позволительна только бабушке.

Я улыбнулась.

— У меня тоже есть маленькая девочка. Розетт. Вы, возможно, скоро ее увидите. А еще у меня есть Анук. Меня вы можете звать просто Вианн.

Я протянула ей руку, и она слегка пожала кончики моих пальцев — это в Танжере считается вежливым рукопожатием.

— А где ваш муж?

— В Париже, — сказала я. — Мы всего на несколько дней сюда приехали.

Она сказала, что ее зовут Фатима, а ее мужа — Медхи Аль-Джерба. Я вспомнила, хотя и довольно смутно, что это имя упоминал Рейно, потчую меня разными историями в день моего приезда. Я также постепенно вспомнила, что у них вроде бы есть какой-то магазин, что живут они в Маро уже почти восемь лет, что сам Медхи родился в старом Марселе и любит порой пропустить стаканчик вина...

Фатима жестом пригласила меня войти.

— Пожалуйста, проходите в дом, выпейте чаю...

Я покачала головой.

— Мне бы не хотелось вам мешать. Я же знаю, как вы сейчас заняты. Я ведь зашла только поздороваться и передать обещанные персики. У нас их даже чересчур много, так что...

— Входите, входите, — приговаривала Фатима. — Я всего лишь еду

готовлю. Сейчас я вас кое-чем угощу, может, вы и домой, деткам, отнесете. Вам марокканская кухня нравится?

Я сказала, что в юности полгода прожила в Тан-жере.

Ее улыбка стала еще шире.

— У меня получается самая лучшая *халва чебакийя*. С мятным чаем, а? А может, вы и с собой немного взять захотите.

От такого предложения отказаться нельзя. Это я знаю по опыту. Годы наших с матерью странствий научили меня тому, что еда — это своего рода универсальный паспорт. Какие бы сложности ни возникли в плане языка, культурных разногласий или географических сложностей, еда способна преодолеть все на свете. Предложить человеку пищу значит протянуть руку дружбы; принять пищу значит быть принятым в любую, даже самую замкнутую общину. Интересно, а Франсис Рейно когда-нибудь задумывается о подобных вещах? Насколько я его знаю, вряд ли. У Рейно могут быть самые лучшие намерения, но он не из тех, кто станет покупать у арабов *халву чебакийя* или пить мятный чай в маленьком кафе на углу бульвара Пти Багдад.

Я последовала за Фатимой в дом, не забыв, разумеется, снять у порога туфли. В доме царила приятная прохлада; пахло миндальными пирожными; ставни, похоже, держали закрытыми с самого утра, чтобы предохранить помещение от жарких солнечных лучей. Из-за двери на кухню доносились смешанные ароматы пищи — аниса, миндаля, розовой воды и мелкого турецкого горошка, готовящегося с куркумой и рубленой мятой; а еще пахло гренками с кардамоном, чудесной *халвой чебакийя* и сладким хрустящим печеньем из сезама, сильно обжаренным в масле; это замечательное печенье, такое крошечное, что его ничего не стоит сунуть в рот целиком, и легкое, как лепестки цветов; его очень вкусно запивать мятным чаем...

— Да уж, от этого я отказаться не в силах и с удовольствием возьму немножко домой, — сказала я, когда Фатима все-таки усадила меня и заставила выпить чаю с этими сладкими жареными «лепестками». — Нет, прошу вас, не кладите так много! Вы же наверняка все это к *ифтару* приготовили.

— О, у нас очень много всего! — замахала руками Фатима. — У нас все в семье готовить любят и на кухне всегда друг другу помогают...

Она распахнула кухонную дверь, и я увидела перед собой тесный полукруг женщин, на лицах которых было написано откровенное любопытство. А нет ли среди них Женщины в Черном, подумала я и почти сразу отбросила эту мысль: нет, ее здесь быть не может, здесь живет

настоящая дружная семья, это же сразу видно.

На кухне я заметила и Майю, которая, устроившись на маленькой табуретке, помогала чистить стручки окры двум молодым женщинам лет тридцати — видимо, дочерям Фатимы. Одна из этих женщин была вся в черном; ее волосы и шея были тщательно прикрыты *хиджабом*. На второй тоже был *хиджаб*, но одета она была в джинсы и шелковую *камизу*.

На стуле за дверью сидела крошечная, очень древняя старушка, которая внимательно смотрела на меня круглыми, как у птицы, глазами, прямо-таки тонувшими в глубоких морщинах. Ей было никак не меньше девяноста; ее все еще красивые, но совершенно белые волосы были заплетены в длинную косу, несколько раз обернутую вокруг головы; желтый головной платок сполз и свободно болтался на шее. Лицо старушки напоминало высохший, сморщенный персик, а руки — когтистые куриные лапки. Но стоило мне войти, как именно она первой нарушила царившую там тишину, что-то пронзительно каркнув по-арабски.

— Это моя свекровь, — сказала Фатима и улыбнулась с тем же извиняющимся выражением лица, какое у нее появлялось, когда она говорила о Майе. — Ну, Оми, поздоровайся с нашей гостьей.

Оми Аль-Джерба глянула на меня так, что я, как ни странно, сразу же вспомнила об Арманде.

— Смотри, она нам персики принесла, — сказала ей Фатима.

Карканье сменилось трескучим смехом, и Оми потребовала:

— Дай-ка поглядеть.

Фатима протянула ей корзинку.

— М-м-м, — мечтательно промычала Оми и улыбнулась мне беззубым, как у черепахи, ртом. — Как это приятно! Можешь приходить к нам еще. Разве я могу разжевать ту ерунду, которую здесь подают, — этот их дурацкий миндаль, финики и тому подобное? Моя невестка, видно, пытается голодом меня уморить. *Иншалла*, ^[28] ей это не удастся! Я еще всех вас переживу!

Майя рассмеялась, захлопала в ладоши, и Оми тут же сделала вид, что сердится на нее, и даже слегка зарычала. А Фатима, улыбнувшись так, словно слышала все это уже тысячу раз, сказала:

— Видите, каково мне с ними? — Потом, указав на молодых женщин, она представила их: — А это мои дочери, Захра и Ясмина. Ясмина замужем за Исмаилом Маджуби. А Майя — их дочка.

Я улыбнулась обеим женщинам, и Захра — в черных одеждах и черном *хиджабе* — тоже робко улыбнулась мне в ответ. А с ее сестрой Ясминой мы просто пожали друг другу руки. Сестры были очень похожи,

хоть и одеты по-разному. На минутку мне даже показалось, что Захра и есть та самая Женщина в Черном. Но я тут же поняла, что ошиблась: женщина, которую я видела тогда на площади — и позже, у дверей этого дома, — была значительно выше ростом и, пожалуй, старше. Кроме того, насколько я успела заметить, она была гораздо изящней Захры; это ощущалось даже под ее бесформенным одеянием; по всей видимости, она была настоящей красавицей.

Я сумела вспомнить кое-какие известные мне арабские слова и сказала:

— *Jazak Allah.* ^[29]

Женщины удивленно на меня посмотрели, потом довольно заулыбались, и Захра прошептала вежливый ответ. А Майя снова громко расхохоталась и захлопала в ладоши.

— Майя! — одернула ее Ясмина и нахмурилась.

— Она очень милая маленькая девочка, — сказала я.

Оми захихикала.

— погоди, вот познакомишься с моей Дуа, — сказала она, — увидишь, у кого действительно ясная головка! А какая память! Да она наизусть Коран цитирует лучше старого Маджуби! Точно вам говорю: если б эта девочка мальчиком родилась, она бы уже всей древней командовала...

Фатима насмешливо заметила:

— Наша Оми всегда мальчиков требует. И поэтому поощряет Майю, когда та бежит где хочет, как мальчишка, и над дедом подшучивает.

Оми подмигнула Майе. Майя просияла и тоже ей подмигнула.

Ясмина смотрела на это с улыбкой, а вот Захра хранила полную серьезность; мало того, ей, похоже, было даже несколько не по себе; во всяком случае, выглядела она куда более сдержанной, чем остальные.

— Нам бы следовало предложить госте чаю, — сказала она.

Я покачала головой.

— Нет, спасибо, я уже пила. Большое спасибо за печенье. Я, пожалуй, уже пойду. Не хочу, чтобы мои дочери волновались.

Я взяла свою корзинку, теперь наполненную самыми разнообразными марокканскими лакомствами.

— Мне тоже доводилось делать такие вкусные вещи раза два, — сказала я. — Но теперь я в основном делаю просто разные шоколадки. А знаете, это ведь я раньше арендовала тот магазин, что напротив церкви. Там, где был пожар.

— Правда? — Фатима даже покачала головой.

— Ну, это было очень давно, — сказала я. — А кто там теперь живет?

Возникла еле заметная пауза; улыбка на круглом лице Фатимы несколько утратила теплоту; Ясмина опустила глаза и зачем-то принялась поправлять ленту у Майи в волосах; а Захра явно занервничала. Одна Оми не растерялась; громко фыркнула и сообщила:

— Да Инес Беншарки!

Инес. Значит, *вот* как ее зовут.

— Она что, сестра Карима Беншарки? — спросила я.

— Кто тебе это сказал? — удивилась Оми.

— Да кто-то из деревенских.

Захра искоса глянула на Оми:

— Оми, пожалуйста...

Та поморщилась.

— *Yar*.^[30] В другой раз поговорим. Надеюсь, ты еще к нам заглянешь? Принеси тогда этих своих шоколадок. И детей своих приведи.

— Конечно. Обязательно принесу и приведу. — Я повернулась к двери, и Фатима вышла на улицу, чтобы проводить меня.

— Спасибо за персики.

Я улыбнулась:

— Приходите к нам в гости в любое время.

Солнце уже село. Близилась ночь. Скоро жители Маро усядутся наконец за стол, чтобы на время прервать долгий дневной пост. Выйдя на улицу, я увидела, как покинувшие мечеть люди расходятся по домам. Некоторые посматривали на меня с любопытством — здесь нечасто увидишь женщину, просто так идущую по улице, да еще и в одиночестве, да еще и одетую в джинсы и мужскую рубашку, да еще и с распущенными волосами. Но все же большинство мужчин меня игнорировало, старательно отводя глаза в сторону, что в Танжере считается признаком уважительного отношения, но в Ланскне вполне могло бы сойти и за оскорбление.

Навстречу мне попадались в основном мужчины — в рамадан женщины чаще всего остаются дома и готовятся к *ифтару*. На одних были обыкновенные белые рубахи, на других — настоящие *джеллабы* или долгополые одеяния с капюшоном, *бурнусы*, на которые мы с матерью вдоволь насмотрелись в Танжере. У многих головы были прикрыты шапочками для молитвы, но некоторые пожилые мужчины носили фески или даже черные баскские береты, а некоторые повязывали голову «арафатками». Встретилось в толпе и несколько женщин — в основном в черных *никабах*. Интересно, подумала я, смогу ли я узнать среди них Инес Беншарки? И в ту же секунду вздрогнула, увидев ее. Да, это, безусловно, была она, Инес Беншарки, Женщина в Черном. Она шла отдельно ото всех

и двигалась с изящ-ной и ритмичной грацией танцовщицы.

Остальные женщины шли маленькими группками, болтая друг с другом и смеясь. Инес Беншарки держалась подчеркнуто обособленно; казалось, она окутана пеленой молчания, замкнута в некую капсулу сумеречного света. Гордая: плечи прямые, голова высоко поднята.

Она прошла совсем рядом со мной — я могла бы до нее дотронуться, — так что я даже под ее черной *абайей* успела заметить промельк цветов ее ауры. И тут же с внезапной остротой вспомнила тот день в Париже, когда с моста Искусств за мной наблюдала женщина в черном *никабе*, из-под которого мне были видны лишь ее глаза, сильно подведенные сурьмой. Только у Инес Беншарки были совсем другие глаза, поистине прекрасные: миндалевидной формы, ленивые, как долгий летний день, и ничуть не подкрашенные. Она шла, опустив долу свои чудные очи, и люди вокруг инстинктивно расступались, давая ей пройти. Никто не пытался с нею заговорить. Никто на нее даже не смотрел.

Интересно, что в ней такого? Отчего в ее присутствии люди смущаются, чувствуют себя не в своей тарелке? Уж конечно не *никаб* тому виной — мало ли в Маро женщин, которые тоже носят покрывало, но при этом вокруг них не возникает леденящий холод отчуждения и ощущение полной изолированности от прочих. Кто же она такая, эта Инес Беншарки? И почему никто не хочет ничего о ней рассказывать? И почему все старательно делают вид, что она действительно сестра Карима Беншарки, если и старая Оми, и все остальные члены семейства Аль-Джерба явно уверены, что отношения между «братом и сестрой» носят куда более интимный характер?

Глава шестая

Среда, 18 августа

Я больше часа оттирал с входной двери черную краску, но и после этого надпись, хоть и стала похожа на негатив, все еще была заметна, настолько краска успела въестся в дерево. Теперь дверь придется попросту перекрасить — как будто без того мало поводов для сплетен обо мне.

Ночью я почти не спал. Было душно, воздух казался совсем неподвижным, каким-то давящим. Окончательно я проснулся уже на рассвете и сразу же настежь распахнул ставни. Разумеется, с того берега реки, из Маро, уже доносился призыв муэдзина. *Allahu Akhbar*, Господь велик. Мне безумно хотелось добежать до церкви и броситься звонить во все колокола, чтобы утопить в церковном звоне этот наглый клич и стереть наконец усмешку с лица старого Маджуби. Он же прекрасно понимает: то, чем он занимается, во Франции строго запрещено, однако ни один местный представитель власти в его дела вмешиваться не станет, как не станет и защищать наши права: ведь *чисто технически* призыв к намазу действительно исходит *изнутри* мечети и усилители они не используют. А значит, буква закона соблюдена полностью.

Allahu Akhbar, Allahu Akhbar...

Должно быть, у меня исключительный слух. Большинство людей, похоже, даже не замечают завываний муэдзина — например, Нарсис, который явно понемногу глохнет, утверждает, что у меня просто слишком богатое воображение. Но ведь это не так! А уж в такое тихое утро, как сегодня, когда можно расслышать каждый легкий всплеск воды в Танн, каждый посвист птицы, этот ранний клич муэдзина врывается в мою жизнь, точно шум ливня.

Дождь, ливень. Ну вот, очередная мысль, не дающая мне покоя. Дождей у нас не было весь месяц. И дождичек совсем не повредил бы — чтобы вновь расцвели цветы в садах, чтобы с улиц смыло наконец пыль, чтобы стали хоть немного прохладнее эти адские августовские ночи. Но сегодня дождя точно не будет: на небе ни облачка.

Я выпил чашку кофе и пошел в булочную Пуату. Купил пакет круассанов, хлеб, отнес все это к дому Арманды и оставил на крыльце у парадной двери — чтобы Вианн сразу его увидела.

Улицы в Маро были еще тихи. Я догадывался, что люди стараются

успеть позавтракать в последние полчаса, оставшиеся до восхода солнца. Я не встретил никого, лишь одна девушка, лицо которой скрывал темно-синий *хиджаб*, стрелой пересекла главную улицу как раз в тот момент, когда я уже подходил к мосту, и, опасливо на меня глянув, резко повернула назад, исчезнув в переулке рядом со спортзалом.

Спортзал принадлежит Саиду Маджуби. Ненавижу это место. Отвратительное обшарпанное здание в конце столь же отвратительной улочки. Возле него вечно толпится молодежь — сплошь молодые мужчины, но среди них не увидишь ни одного европейского лица, а воздух прямо-таки пропитан тестостероном. Даже если просто пройти мимо этого проклятого места, сразу почувствуешь сильный запах *кифа* — многие молодые марокканцы его курят, а полиция не желает вмешиваться. Выражаясь словами отца Анри Леметра, мы должны «проявлять толерантность и понимание особенностей иной культуры». Вероятно, к «особенностям иной культуры» относится и то, что многим девочкам не разрешают посещать обычную школу, а также появляющиеся время от времени упорные слухи о случаях домашнего насилия в арабских семьях. Иной раз об этом даже сообщают в полицию, но насильникам все сходит с рук, ибо никто и не думает расследовать подобные дела. Полицейские, видимо, считают, что вся ответственность в данном случае ложится на старого Маджуби, а значит, им и не нужно ничего предпринимать, да и вообще такие вещи лучше не замечать.

Дверь в спортзал была распахнута настежь и закреплена клином — в такую жару там, внутри, должно быть, настоящее пекло; и хотя я даже головы в ту сторону не повернул, сразу почувствовал, как в затылок мне невидимой шрапнелью буквально впился целый залп ненависти.

Слава богу, спортзал остался позади!

Господи, отец мой, до чего же я себя ненавижу за то, что даже пройти мимо этого проклятого переулочка боюсь! Сам наложил на себя епитимью — решил, что обязательно буду ходить здесь каждый день в надежде все-таки победить собственную трусость. Точно так же мальчишкой я заставлял себя ходить мимо огромного осинового гнезда над задней стеной церкви. Осы были жирные, отвратительные; они просто приводили меня в ужас; это был настоящий страх, а не обычное опасение, что меня могут ужалить. Примерно тот же страх я испытываю, проходя мимо спортзала Саида, — кожу покалывает от избытка адреналина, пот жжет подмышки, скапливается в ямке на шее. Я всегда невольно ускоряю шаг, стоит мне приблизиться к этому месту, и сердце мое начинает отчаянно биться, однако сердцебиение почти сразу же прекращается, как только спортзал

остаётся позади, и я с облегчением понимаю, что на сегодня епитимья исполнена.

Благослови меня, отец мой, ибо я согрешил.

Странно. Я ведь не сделал ничего плохого.

Выйдя на мост, за которым раскинулся Ланскне, я остановился у парапета. Оттуда хорошо был виден старый Маджуби, сидевший у себя на террасе в плетеном кресле-качалке — это кресло, по-моему, уже стало какой-то частью его тела. Маджуби что-то читал — Коран, скорее всего, — однако, заметив меня, приветственно махнул рукой, что, на мой взгляд, выглядело довольно нахально.

Впрочем, я тоже помахал ему — я всегда стараюсь держаться со спокойным достоинством и никогда не допускаю, чтобы меня втянули в непристойное соперничество с этим человеком. Он широко улыбнулся — даже на таком расстоянии мне были видны его зубы, — и я услышал из-за полуоткрытой двери дома громкий смех, потом оттуда показалась мордашка маленькой девочки с желтым бантом на макушке. Наверное, подумал я, внучка из Марсея приехала его навестить. Когда я двинулся дальше, взрыв смеха повторился.

— Спрячь скорей спички! Сюда наш месье кюре идет!

Затем кто-то резко окрикнул девочку «Майя!», маленькое личико мгновенно скрылось за дверью, и вместо девочки на веранде появился Саид Маджуби. На голове шапочка для молитвы, глаза гневно сверкают. Прости меня, Господи, но уж лучше насмешки старого Маджуби! Саид продолжал гневно смотреть на меня, и в его взгляде читалась откровенная враждебность, даже угроза. Этот человек, безусловно, считает виновником пожара именно меня, и что бы я ни говорил, его мнение на сей счет останется неизменным.

Старый Маджуби что-то сказал сыну по-арабски. Саид ответил на том же языке, по-прежнему не сводя с меня глаз.

Я вежливо кивнул в знак приветствия. Мне хотелось показать и Саиду, и его отцу, что меня так просто не запугаешь. Однако я постарался как можно быстрее миновать мост и вновь оказаться на относительно дружественной территории.

Видишь, отец мой, с какими людьми мне приходится иметь дело? А ведь раньше я хорошо знал эту общину. Люди приходили ко мне со своими проблемами вне зависимости от того, ходят они в нашу церковь или нет. Теперь за них в ответе Мохаммед Маджуби, и его поддерживает отец Анри Леметр, который, как и Каро Клермон, считает, что носить сутану можно лишь время от времени и куда важнее создавать некие

«мультирелигиозные» группы, устраивать «кофейные утреники» и устанавливать в церкви телеэкраны, закрывая глаза на все остальное — на курильщиков *кифа*, на эту мечеть с ее несанкционированными призывами к молитве и незаконно выстроенным минаретом, — ибо только тогда, по их мнению, дух единства вновь сможет возродиться в Ланскне-су-Танн.

Но отец Анри ошибается. Сейчас мы полностью разобщены; жители Ланскне разделены на «мы» и «они». Так что мечеть старого Маджуби с ее минаретом — отнюдь не главная моя забота; и пусть кое-кто думает обо мне что хочет, но у меня еще сохранилось какое-то чувство юмора. А вот та враждебность, которую я почти физически ощущаю каждый раз, стоит мне пройти мимо спортзала Саида, — совсем другое дело; она не может меня не беспокоить. По словам отца Анри Леметра, мы должны проявлять толерантность, должны с пониманием относиться к верованиям других людей, но как быть, если те, кто исповедует иную, чем мы, веру, не хотят — *не желают!* — проявлять толерантность по отношению к нам?

Снова оказавшись на своем берегу, я двинулся к площади Сен-Жером. Мы с Люком договорились встретиться там в девять часов, но каким-то неведомым образом я уже в половине восьмого вновь оказался у дверей бывшей *chocolaterie* и вошел внутрь.

Там по-прежнему пахло дымом, но от мусора помещение уже было практически очищено. Вчера мы с Люком успели только заглянуть на верхний этаж, однако исходную точку пожара определили довольно легко: ею оказалась почтовая щель в двери, через которую внутрь пропихнули смоченные бензином тряпки. Именно поэтому первой и загорелась именно дверь, а следом сгорела и кое-какая одежда, и висевший на стене ковер, и несколько деревянных школьных стульев.

Но это же просто оскорбительно, отец мой! С какой стати они считают, что я был способен устроить столь жалкий поджог? Да любой ребенок сделал бы это лучше! Внизу уже вовсю пылал огонь, когда эта женщина, сестра Карима Беншарки, проснулась, но, к счастью, в задней части дома есть пожарный выход, и они с девочкой успели выбраться наружу невредимыми, а соседи, вооружившись шлангами и ведрами, дружно бросились тушить пожар.

Вот видишь, отец мой, общинный дух Ланскне все-таки проявил себя. И заметь, ведь с ее стороны никто не пришел помочь. В ту ночь казалось, что Маро находится за сотню миль от нас. Ближайшая пожарная часть от нас в тридцати минутах езды; за это время все помещение, вполне возможно, успело бы сгореть дотла.

Я вдруг услышал наверху чьи-то шаги. Значит, в доме кто-то есть?

Первым делом я подумал, что это Люк, но, с другой стороны, зачем ему понадобилось туда лезть, да еще и за полтора часа до назначенной встречи? Шаги слышались снова; мне показалось, что кто-то очень осторожно подкрался к лестнице и прислушивается.

— Кто там? — спросил я.

Шаги стихли. Несколько мгновений в доме царила полная тишина, а затем вдруг раздался громкий стремительный топот маленьких ног по голым доскам пола и скрип пожарной лестницы. Сразу стало ясно, что это дети — наверняка занимались наверху каким-то безобразием. Я выбежал наружу, надеясь перехватить юных преступников, но к тому времени, как я открыл дверь и перебрался через груды обугленных обломков, которые мы сложили в саду, беглецы уже успели удрать. Я заметил только какую-то *maghrebine*; она быстро удалялась от меня по переулку, и можно было лишь гадать, то ли это простое совпадение, то ли она одна из тех, кто прятался наверху.

Я поднялся на второй этаж и осмотрел расположенные там спальни. Их две, причем одна очень маленькая, и в нее можно попасть только по приставной лестнице через люк. Стоя на лестнице, я заглянул в эту спальню, увидел круглое окошко, похожее на иллюминатор, и сразу вспомнил, как Ру приводил его в порядок и вставлял стекло. Эта комнатка почти не пострадала. Лишь стены были, пожалуй, немного закопчены, а в остальном она показалась мне вполне пригодной для обитания. Обыкновенная детская комната — маленькая кровать, на стенах постеры с портретами звезд индийского Болливуда. Были там и книги — в основном на французском. Насколько я мог убедиться, те юные преступники, которые сюда залезли, ничего из вещей не тронули.

И тут у меня за спиной послышался шорох, и женский голос произнес:
— Что вы тут делаете?

Я обернулся. Это была Инес Беншарки.

Глава седьмая

Среда, 18 августа

Пожалуй, я до сих пор еще ни разу не слышал ее голоса. Голос у нее был звучный, и говорила она почти без акцента, разве что чуть-чуть чувствовалось, что это уроженка Северной Африки. Она была, разумеется, вся в черном — с головы до кончиков пальцев. Зато глаза ее, в кои-то веки смотревшие прямо на меня, оказались поистине прекрасными, удивительными: они были зеленые, окаймленные прямо-таки необычайной длины ресницами.

— Доброе утро, мадам Беншарки, — сказал я.

Но она, не отвечая на приветствие, повторила вопрос:

— Что вы делаете в моем доме?

Я не нашелся, что ей ответить. Пробормотал нечто невразумительное насчет ответственности перед приходом и о необходимости привести в порядок городскую площадь, однако объяснения мои звучали так, словно я и есть виновник случившегося здесь, в чем она, не сомневаюсь, и без того была уверена.

— Понимаете, я подумал, — сказал я, — что мы общими силами могли бы помочь вам привести эту квартиру в порядок. Вы ведь, должно быть, знаете, что представителей страховой компании можно ждать месяцами. А что касается владельца помещения, так он живет в Ажене и, возможно, далеко не сразу соберется заехать сюда, чтобы хоть взглянуть на ущерб. Но если каждый примет посильное участие...

— Посильное участие? — переспросила она.

Я попытался улыбнуться. И зря. Под своим покрывалом эта женщина, видимо, являла собой настоящий соляной столб, каменную глыбу!

Она покачала головой.

— Мне не нужна помощь.

— Но вы меня не поняли! — не унимался я. — Ведь никто бы не стал просить у вас платы за работу. Это был бы просто жест доброй воли...

Но она тем же ровным, безжалостным тоном повторила, что помощь ей не нужна, и я вдруг почувствовал, что мне хочется упрашивать ее, умолять принять эту помощь. Но вслух я лишь неуверенно промямлил:

— Ну, если таков ваш выбор...

Зеленые глаза по-прежнему смотрели на меня безо всякого выражения. Я еще раз попытался осторожно улыбнуться, но, по-моему, стал выглядеть

в ее глазах еще более неуклюжим и виноватым.

— Я искренне сожалею, что у вас произошло такое несчастье, — сказал я. — И очень надеюсь, что вскоре вы с дочерью сможете снова сюда переехать. Как, кстати, поживает ваша девочка?

И снова она мне не ответила. Я чувствовал, что весь взмок от волнения; пот, выступивший под мышками, противными ручейками стекал по телу.

Когда я мальчишкой учился в семинарии, меня как-то заподозрили, что я принес на занятия сигареты. Меня вызвал к себе в кабинет отец Луи Дюран, отвечавший за дисциплину. Разумеется, я никаких сигарет не приносил — хоть и знал, кто это сделал, — но отвечал на вопросы отца Луи так уклончиво, что он не поверил в мою невиновность. В итоге я был наказан и за сигареты, и за то, что якобы пытался свалить вину на одного из товарищей. И я, прекрасно зная, что ни в чем не виновен, испытал тогда точно такое же чувство стыда, как и сейчас, когда попытался убедить эту женщину в своей невиновности. Да, я одновременно испытывал и стыд, и удивительное ощущение полной беспомощности.

— Мне очень жаль, — повторил я. — Но если я могу чем-то помочь...

— Если можно, оставьте меня в покое, — сказала она. — И меня, и мою...

И она, не договорив, вдруг умолкла. Казалось, все ее тело под черными одеждами мгновенно застыло и страшно напряглось.

— Что с вами? Вам плохо?

Она не ответила. Я обернулся и увидел Карима Беншарки. Он стоял совсем рядом — кто знает, сколько времени уже он наблюдал за нами?

Карим что-то сказал по-арабски.

Женщина довольно резким тоном ответила ему.

Он снова что-то сказал, и в голосе его послышалась нежность. Я испытал острую благодарность — дело в том, что я всегда считал Карима человеком образованным, прогрессивным, способным понять Францию и французскую культуру, и надеялся, что, может быть, он сумеет объяснить Инес, что я всего лишь хотел помочь.

С первого взгляда вы никогда бы не подумали, что Карим Беншарки — тоже *maghrebin*. Со своей светлой кожей и золотистыми глазами он вполне мог бы сойти за итальянца; он и одевается как европеец, носит джинсы, рубашки, кроссовки. Если честно, когда он впервые появился в Ланскне, я подумал, что появление у нас такого европеизированного космополита вполне способно внести немалый вклад в дальнейшую интеграцию жителей Маро и Ланскне; к тому же питал надежду, что дружба Карима

с Саидом Маджуби поможет мне перекинуть некий мостик над пропастью, что разделяет сторонников старого Маджуби с его традиционными устоями и тех, кому ближе настроения и традиции двадцать первого века.

Так что теперь я с надеждой в душе воззвал к Кариму:

— Видите ли, я только что пытался объяснить вашей сестре, что Люк Клермон и я всего лишь хотели несколько уменьшить ущерб, нанесенный пожаром. К счастью, этот ущерб оказался в основном поверхностным, связанным с легко устранимым воздействием дыма и воды. Какая-то неделя — и это помещение вновь будет вполне пригодным для жизни. Вы, должно быть, уже обратили внимание, что мы успели вынести отсюда большую часть мусора и обгорелых обломков. Несколько слоев краски на стены, небольшие плотницкие усилия, новые стекла в окнах — и ваша сестра может опять готовиться к переезду сюда...

— Она не собирается сюда возвращаться, — сказал Карим. — Теперь она будет жить у меня.

— Но как же ее школа? — спросил я и повернулся к женщине: — Разве вы не будете продолжать занятия?

Она что-то сказала брату по-арабски. Я не знаю этого языка, но, как мне показалось, незнакомые слова прозвучали резко и сердито — впрочем, я не могу утверждать, что она действительно говорила сердито. Я пожалел, что не понимаю ни слова по-арабски, и снова ощутил приступ смутного стыда. Попытавшись заглушить это неприятное ощущение, я с улыбкой сказал, обращаясь к ним обоим:

— Я, разумеется, не могу не испытывать определенную ответственность за то, что здесь случилось. И действительно хотел бы помочь всем, чем смогу...

— Ей ваша помощь не требуется, — резко оборвал меня Карим. — Выметайтесь отсюда, не то я вызову полицию!

— *Что?!*

— То, что слышали. Я вызову полицию. Или вы думаете, что раз вы священник, так вам ничего не будет? Что вы можете избежать наказания за устроенный вами пожар? Все знают, что это сделали вы. Даже ваши прихожане так считают. А на тот берег я бы на вашем месте вообще больше не ходил — вам может там ох как не поздоровиться!

Я некоторое время молча смотрел на него, не зная, что сказать, потом все-таки спросил:

— Вы что же, меня запугать пытаетесь?

И в ту же секунду на смену противоположному ощущению стыда и вины пришло наконец нечто совсем иное. В душу мою буквально хлынула волна

гнева, чистого холодного гнева, прозрачного, как весенняя вода. Я выпрямился в полный рост — я ведь высокий, выше их обоих — и позволил вырваться на свободу и этому гневу, и тому горькому отчаянию, что скопилось во мне за последние шесть или семь лет.

Шесть или семь лет я старался наладить отношения с этими людьми; пытался заставить их хоть что-то понять. Шесть или семь лет я выслушивал наставления нашего епископа о том, как следует поддерживать единство общины; шесть или семь лет я стирал граффити с дверей своего дома; шесть или семь лет я был вынужден сражаться и с собственной паствой, и со старым Маджуби, с его мечетью, с этими женщинами, закутанными в черные покрывала, и с этими мрачными мужчинами; шесть или семь лет я терпел с их стороны странное, не высказанное вслух презрение.

Ах, отец Антуан, я очень старался быть терпимым. Старался *проявлять толерантность*. Но с некоторыми вещами просто невозможно смириться. Ну, мечеть я уже почти готов терпеть, но минарет? Но курильщиков *кифа*? Но этот спортзал, из которого буквально сочатся злоба и враждебность? Но этих девушек в *никабах*? Но эту мусульманскую школу для девочек? Такое ощущение, будто в нашей городской школе этих девочек могут научить чему-то иному, чем смирение и страх.

Нет, это вытерпеть невозможно! *Невозможно!*

Я не помню всего, что говорил им в эти минуты; не помню даже, много ли я успел сказать. Но я действительно был в бешенстве. Их неблагодарность взбесила меня не меньше, чем их враждебность. Но более всего меня взбесила полная утрата контроля над собой. Взбесило то, что я сам — несмотря на все усилия, несмотря на то, что, может, в Маро все же было несколько человек, сомневавшихся в моей виновности, — только что убедил обоих Беншарки, а значит, и всех остальных, что именно я в ответе за этот поджог.

Глава восьмая

Среда, 18 августа

Сегодня, пока Анук гуляла где-то с Жанно, мы с Розетт снова отправились на поиски Жозефины. Мы прошли мимо дома с зелеными ставнями, но он, как и все прочие дома в Маро, казался спящим и был накрепко заперт. Мечеть тоже была безмолвна. Утренний намаз давно закончился. Теперь взрослым следовало отдохнуть и восстановить силы, а детям — спокойно поиграть. Работа начнется позже.

Дойдя до конца бульвара, мы свернули к реке. По берегу Танн проложено нечто вроде деревянных мостков, над которыми торчат на сваях, нависая над водой, разномастные домишки из дерева и кирпича, похожие на пьяных клоунов на ходулях. Зато при каждом доме имеется терраса — огороженный деревянный настил над самой рекой. Некоторые дома пребывают в приличном состоянии; другие, полуразвалившиеся, давно заперты, зато многие террасы превращены в настоящие сады — с цветами в горшках и плетеных кашпо, с пышными кустами жасмина, перевешивающимися через перила.

На одной из таких украшенных цветами и зеленью террас сидел в кресле-качалке седобородый старик и читал какую-то книгу (скорее всего, Коран, подумала я); он был в белой *джеллабе* и — что совершенно с этим одеянием не вязалось — в черном баскском берете.

Заметив нас, старик приветственно поднял руку, и я с улыбкой помахала ему в ответ, а Розетт дружелюбно заухала, как сова.

— Здравствуйте, меня зовут Вианн, — сказала я, подойдя ближе. — Я живу вон в том доме на пригорке.

Старик отложил свою книгу, которая, к моему глубокому удивлению, оказалась отнюдь не Кораном, а первым томом «*Les Misérables*».^[31]

— Да, я слышал, — сказал старик. Голос у него был немного гортанный, а уж акцент! Прямо-таки экзотическая смесь южно-французского говора и Медины. Его темные глаза от старости приобрели чуть голубоватый оттенок, и форма их немного изменилась из-за многочисленных морщин. — Ну, а меня зовут Мухаммед Маджуби. Знаю, что вы уже успели познакомиться с моей внучкой.

— С Майей? — спросила я.

Он кивнул.

— Яр. Майя — дочь моего младшего сына, Исмаила. Она говорила,

что вы принесли им персики по случаю рамадана.

Я рассмеялась.

— Не совсем так. Но я всегда люблю первой здороваться с людьми.

Он одобрительно прищурил свои темные глаза:

— И это просто удивительно, если учесть, кто ваши друзья.

— Вы имеете в виду кюре Рейно?

Старый Маджуби только усмехнулся, точнее оскалился, и промолчал.

— Он, вообще-то, очень неплохой человек, — сказала я. — Просто немного...

— Труден в общении? Непримирик? Скован догмами? А может, он просто сорняк, выросший на навозной куче и считающий себя королем в собственном замке?

Я улыбнулась:

— Знаете, когда познакомишься поближе, впечатление о нем сразу меняется к лучшему. Мы впервые приехали в Ланскне восемь лет назад...

И я рассказала старому Маджуби одну из версий той давней истории, опустив, правда, то, о чем обещала не говорить никому. Он слушал, время от времени подбадривая меня то кивком, то улыбкой; Розетт иногда тоже вставляла собственные комментарии — в виде совиного уханья, посвистов и языка жестов.

— Значит... вы впервые появились в этом городе в начале вашего «рамадана», то есть во время поста, и открыли настоящий дом соблазнов? — сказал он. — Теперь я понимаю, какие проблемы вы создали вашему кюре. Он, пожалуй, уже начинает вызывать у меня сочувствие.

Я изобразила нарочитое возмущение:

— И теперь вы на его стороне?

Улыбка старого Маджуби стала шире.

— Вы — опасная женщина, *мадам*. Это мне, по крайней мере, совершенно ясно.

Я тоже улыбнулась и сказала:

— Ну, до вас мне далеко, ведь вы пошли гораздо дальше, не так ли? Я-то, приехав сюда, всего лишь открыла шоколадную лавку, а вы целый минарет построили.

Маджуби расхохотался.

— Значит, вы уже слышали эту историю? Да, со временем мы все-таки его построили, *Альхамдулила*.^[32] И ухитрились не нарушить ни одного из бесконечных и очень сложных строительных ограничений и правил! — Он внимательно посмотрел на меня. — Ему что, до сих пор мой минарет покоя не дает? Не может слышать призыв муэдзина в такой близости от своего

храма? Но ведь он же звонит в колокола!

— Мне нравится и то и другое, — заметила я.

Он оценивающе на меня посмотрел.

— Не все здесь отличаются такой толерантностью. Даже мой старший сын Саид порой становится жертвой религиозной нетерпимости. Я говорю ему: Аллах рассудит. А мы можем только смотреть и учиться. И стараться получать удовольствие от перезвона церковных колоколов, если уж не можем его остановить.

Я улыбнулась и сказала:

— В следующий раз непременно сделаю что-нибудь вкусное из шоколада и принесу вам. Я уже обещала кое-что Оми Аль-Джерба.

— Вы ее не поощряйте, — предупредил меня старый Маджуби, хотя в глазах у него так и прыгали веселые искорки. — Она и так уже наполовину забыла, что в рамадан полагается поститься. Уверяет, что немного фруктов не считается. И немного чая не считается. И половинка печенья не считается. Так и едет верхом на осле дьявола.

— Я знала одного человека, который был очень на нее похож, — сказала я ему, думая об Арманде.

— Ну, люди-то повсюду одинаковы. Это ваша девочка? — Он глазами указал на Розетт, увлеченно кидавшую в Танн камешки.

Я кивнула.

— Это Розетт, моя младшая.

— Приводите ее поиграть с моей Майей. У нее тут не нашлось друзей подходящего возраста. Только не тащите с собой этого вашего священника. И не кормите Оми шоколадом.

Пока мы возвращались в Ланскне, я все думала: как такой милый и приветливый старик ухитрился поссориться с Франсисом Рейно? Неужели все дело в различии культур? В простом споре из-за территории? Или есть еще какая-то причина? Нечто более сокровенное?

Мы дошли до конца мостков — там они смыкаются с бульваром, образуя тупичок, — и в переулке я увидела красную дверь, а над ней вывеску, где черными буквами на белом фоне было написано: СПОРТЗАЛ «У САИДА».

Должно быть, его владелец как раз и есть Саид Маджуби, старший сын старого Маджуби, подумала я. Рейно упоминал об этом месте; сказал, что Саид открыл этот зал три или четыре года назад, с помощью самых дешевых средств приведя пустое складское помещение в нечто вполне пригодное для спортивных занятий. За дверью, которая была чуть приоткрыта, виднелись велотренажеры, беговые дорожки и всякие

приспособления для наращивания мускулов. В щель просачивалась сложная смесь запахов хлорки, дезодоранта и *кифа*.

Дверь открылась, и из зала вышли трое молодых людей лет двадцати с небольшим; все они были в майках без рукавов; в руках спортивные сумки. Со мной они, разумеется, не поздоровались, зато одарили меня таким же смутно агрессивным взглядом, что и тот уборщик из маленького кафе. Я не раз сталкивалась с подобным в Париже, когда мы жили на улице Аббатисы, а до этого — в Танжере; собственно, во взглядах этих людей читалась не столько агрессия, сколько невнятное презрение и вызов по отношению к той *особе*, каковой, по их мнению, я являюсь. Одинокая женщина, с непокрытой головой, одетая в джинсы и рубашку без рукавов. Я не такая, как они; я из иного племени. Да и вообще появление женщин на улице здесь не приветствуется.

И все же старый Маджуби меня приветствовал — даже чуточку флиртовал со мной, по-своему, конечно. Возможно, он слишком старый, чтобы видеть во мне женщину. А может, излишне самоуверенный, чтобы видеть во мне угрозу.

Воздух стал каким-то чересчур плотным и совершенно неподвижным. Должно быть, вот-вот разразится Отан. Черный или Белый Отан — все равно; так или иначе, любое движение воздуха уже принесет облегчение. Сегодня восьмой день рамадана. Еще шесть дней — и наступит полнолуние. Я думаю о той Луне, что изображена на одной из моих карт, — о той женщине с прялкой и пряжей; интересно, когда она покажет себя? Может, когда ветер подует?

С другой стороны, у нас и без нее здесь полно дел. Я оглянулась на сонный Маро. Издали он похож на крокодила, вытянувшегося в болоте, сунувшего голову в заросли тростника и слегка подрагивающего во сне. Его хребет — это бульвар Пти Багдад, широкий, серый, с булыжной мостовой. А мост — это пасть с приподнятыми уголками губ. Короткие переулки с приземистыми домами, расходящиеся в разные стороны от бульвара и почти перпендикулярные ему, похожи на крокодилий лапы. А полузакрытый глаз крокодила — это мечеть с серебряным месяцем на минарете, сейчас ярко освещенном солнцем. Опасен ли этот зверь? Рейно считает, что опасен. Но я же не Франсис Рейно, который в каждом чужом человеке, приехавшем в Ланскне, видит потенциального врага. Эти мужчины у дверей спортзала еще очень молоды и не уверены ни в себе, ни в том, что это действительно их территория. Но тот, на кого равняются все в Маро — Мухаммед Маджуби, — совсем другой. Я уверена: с какими бы проблемами Рейно ни довелось столкнуться, имея дело с арабской

общиной, все можно было бы решить с помощью юмора и спокойного диалога. Как только что сказал Маджуби, *люди-то повсюду одинаковы*. Соскреби краску, и под ней обнаружишь все то же самое, сколько бы слоев ты ни соскреб. Я узнала это благодаря своей матери и всем тем местам, которые мы недолго называли «домом».

Еще немного — и воздух вокруг стал напоминать густой горячий сироп, а течение в Танн вдруг настолько замедлилось, словно река тоже уснула. И как раз в этот момент мы с Розетт начали подниматься по узкой улочке к центру Ланскне; все здания в утренних лучах солнца казались белоснежными и сияющими, и церковные колокола звонили так громко, созывая народ к мессе, словно хотели непременно разбудить крокодила, спящего на берегу реки в тростниках.

Глава девятая

Среда, 18 августа

Добравшись до кафе «Маро», я обнаружила за стойкой бара все ту же Мари-Анж — она все так же жевала жвачку и смотрела телевизор, но вид у нее был еще более недовольный. Сегодня она украсила себя пурпурными тенями на веках, пурпурной губной помадой и пурпурной прядью в волосах. Хорошо бы тот, на кого направлены все эти гламурные усилия, оценил их по достоинству.

Я заказала кофе с круассанами и спросила:

— А сегодня Жозефина здесь?

Девушка окинула меня равнодушным взглядом:

— Да, конечно. А кто ее спрашивает? Как мне вас назвать?

— Вианн Роше.

Я ожидала, что она сильно изменилась. Увы, подобные вещи случаются даже слишком часто и, в общем, неизбежны. Седина, мимические морщины в углах рта — так сказать, поцелуи времени. Иногда, впрочем, люди меняются настолько, что их почти невозможно узнать; и когда Жозефина Мюска, отодвинув занавеску из бусин, вошла в бар, я лишь через какое-то время узнала свою старую подругу в той женщине, что остановилась передо мною.

Но отнюдь не потому, что она как-то невероятно постарела. Ничего подобного, как раз наоборот! Она, пожалуй, выглядела теперь даже моложе. Но восемь лет назад, когда я впервые с ней познакомилась, она была женщиной скорее непривлекательной; теперь же это была хорошенькая, уверенная в себе молодая женщина; ее волосы, некогда имевшие светло-каштановый оттенок и весьма тусклые, приобрели более светлый тон, были коротко подстрижены и умело уложены. На Жозефине было белое льняное платье и яркие разноцветные бусы из стеклянных шариков. Но стоило ей увидеть меня, сидевшую на террасе, как лицо ее осветила та самая улыбка, которую я узнала бы всегда, сколько бы лет ни прошло.

— Ой, Вианн! Я просто поверить не смела, что это действительно ты!

Она крепко меня обняла, а потом устроилась напротив, придвинув к столику плетеный стул.

— Я хотела еще вчера с тобой повидаться, но уж больно много было работы. Ты выглядишь замечательно...

— Ты тоже, Жозефина.

— А как Анук? Она здесь?

— Гуляет с Жанно Дру. Они всегда были неразлучны.

Жозефина рассмеялась.

— Я помню. Как давно это было! Анук теперь, должно быть, совсем взрослая стала. — Она примолкла и вдруг как-то сникла. — Ты, наверное, уже слышала о пожаре? Мне так жаль...

Я пожала плечами.

— Я там давно уже не живу. Хорошо, что никто не пострадал.

Жозефина покачала головой.

— Да, я понимаю, ты там не живешь, и все-таки этот магазин... Я про себя всегда считала его твоим. Даже когда ты уехала. И всегда надеялась, что ты, может, еще вернешься; или, по крайней мере, что люди, которые возьмут его в аренду, будут хотя бы наполовину такими же милыми...

— Насколько я понимаю, милыми они не были?

Она встрепелась:

— Ох уж эта ужасная женщина! Мне так жаль ее дочку! Бедная девочка!

Я уже слышала нечто подобное от Жолин Дру, но в устах Жозефины эти слова меня удивили.

— Почему ты так говоришь?

Она поморщилась и сказала:

— Ты и сама бы сразу это поняла, если б с ней встретилась. Точнее, если б она *снизошла* до разговора с тобой. Но она почти ни с кем здесь не разговаривает, а если и разговаривает, то *так грубо*... — Жозефина заметила сомнение в моих глазах и сказала: — Вот увидишь! Она совсем не такая, как остальные *maghrebins*. В большинстве своем это люди действительно очень милые; во всяком случае, они были такими, пока она здесь не появилась. С ее приездом тут всё и началось; все сразу эти покрывала стали носить...

— Не все, — сказала я. — Я видела, что многие женщины никакого покрывала не носят.

И рассказала Жозефине о своем посещении семейства Аль-Джерба и о беседе с Мохаммедом Маджуби.

— Ой, старый Маджуби — просто душа! — воскликнула Жозефина. — Жаль, что этого нельзя сказать про его старшего сына.

И она рассказала, что у Маджуби два сына. Старшему, Саиду, принадлежит в Маро спортзал, а Исмаил женат на Ясмине Аль-Джерба.

— Исмаил вполне нормальный, — продолжала она, — а Ясмينا —

просто прелесть. Она ко мне в кафе иногда приходит позавтракать вместе с Майей. А вот Саид... — Жозефина помрачнела. — Уж как-то чересчур серьезно он воспринимает свою религию. В восемнадцать лет выдал свою дочку замуж за какого-то тридцатилетнего типа, с которым познакомился во время хаджа. И с тех пор я ни с одной из его дочерей даже поговорить не могу, хотя раньше они обе все время сюда приходили. И в футбол любили играть на площади с мальчишками. А теперь крадутся, как мыши, с головы до ног в черное закутанные. Я слышала, Саид из-за этого здорово поссорился с отцом. Старый Маджуби не одобряет, когда девушки покрывало носят. А Саид не одобряет поведение старого Маджуби.

— Например, его предпочтений в литературе? — И я рассказала Жозефине о тайной страсти старого Маджуби к романам Виктора Гюго.

Она улыбнулась.

— Для священника — или кто он там есть? — старик действительно кажется немного эксцентричным. Он, например, попытался запретить женщинам носить покрывало в мечети. И очень неодобрительно относился к этой школе для девочек-мусульманок. По-моему, он эту женщину тоже терпеть не может, как и все мы.

— Ты имеешь в виду Инес Беншарки? Золовку Сони Маджуби?

Жозефина кивнула.

— Ее, ее. Пока она здесь не появилась, ничего подобного просто не могло бы произойти.

— Что значит «ничего подобного»?

Она пожала плечами.

— Не было бы ни этого пожара. Ни этой школы для девочек. Ни женщин, которые прячут лица под черными покрывалами. Может, в Париже это и нормально, но в Ланскне? Это именно с нее началось. Все так говорят.

Что ж, последнее, по крайней мере, правда. Я уже слышала подобные отзывы и от Рейно, и от Гийома, и от Пуату, и от Жолин Дру, и даже от Оми Аль-Джерба. Что же в ней такого, в этой Инес? Что объединяет жителей Маро и Ланскне в нелюбви к ней? Почему все они с таким подозрением к ней относятся?

Розетт тем временем играла у фонтана на площади. Это, конечно, не настоящий фонтан — просто струйка воды, которая вытекает из украшенного резьбой резервуара и с плеском падает в каменный бассейн, — но журчание воды в такой жаркий безветренный день слушать удивительно приятно. С террасы кафе я видела, как Розетт стрелой выбегает из тени, отбрасываемой башней Сен-Жером, бросается к фонтану

и снова бежит обратно, неся в ладошках воду и выплескивая ее на бульжную мостовую.

Потом на площади появился уже знакомый мне мальчик в майке с «Королем Львом»; за ним по пятам следовала его косматая собака. Они обогнули церковь и остановились у фонтана.

Розетт издала радостный клич:

— Пилу!

Жозефина рядом со мной так и застыла, глядя на них, а я пояснила с улыбкой:

— Это моя маленькая Розетт. Ты с ней скоро познакомишься. Ну а мы с Пилу уже знакомы.

На мгновение — или мне это показалось? — в глазах Жозефины мелькнул испуг. Затем ее выражение лица смягчилось.

— Чудесный мальчишка, правда?

Я кивнула и сказала:

— Розетт тоже так считает.

— А той женщине он не нравится, — сказала она, метнув взгляд в сторону бывшей *chocolaterie*. — Он как-то раз попробовал с ее дочкой поговорить, так эта особа на него накричала! А он всего лишь проявил дружелюбие.

— Возможно, дело в собаке? — предположила я.

— С чего бы это? Влад никому ничего плохого не сделал. Ох, до чего мне надоела вся эта *толерантность*! Меня тошнит от необходимости *проявлять понимание*! Меня тошнит от этой женщины, которая смотрит на меня свысока только потому, что у моего сына есть собака, и я не покрываю голову платком, и в кафе у меня подают алкогольные напитки... — Жозефина буквально заставила себя замолчать. — Извини, Вианн. Забудь, что я тут наговорила. Это просто потому... Знаешь, когда я снова тебя увидела... — Глаза ее наполнились слезами. — Мы ведь так давно не виделись! Я так по тебе скучала!

— Я тоже по тебе скучала. Зато сейчас ты...

— Да, зато сейчас я достаточно постарела, — она нетерпеливым жестом смахнула слезы с ресниц, — и уже вполне способна сообразить, что нечего распускать нюни из-за того, что было *когда-то*! Ну что, выпьешь еще *café-crème*?^[33] За счет заведения. Или ты предпочла бы шоколад?

Я покачала головой и сказала:

— У тебя тут просто замечательно.

— Правда? Мне тоже нравится. — Она огляделась. — Удивительно, как несколько мазков краски и капелька воображения оказались способны

все тут преобразить. Помнишь, каким это кафе было раньше?

Я помнила: пожелтевшие от грязи беленые стены, замызганный пол, застарелый запах дыма, казалось въевшийся во все. Теперь стены были заново побелены и сверкали чистотой; на террасе и на подоконниках цвели в горшках красные герани. А почти всю дальнюю стену, ярким пятном выделяясь на ней, занимала большая абстрактная картина...

Жозефина заметила, что я смотрю на эту картину, и с гордостью пояснила:

— Это Пилу нарисовал. Как тебе?

По-моему, здорово. Я так ей и сказала. А заодно поинтересовалась, почему она еще ни слова не сказала об отце Пилу. Но думала я при этом о моей маленькой Розетт, которая тоже очень хорошо рисует и карандашами, и красками...

— Ты ведь снова замуж так и не вышла? — спро-сила я.

Некоторое время она молчала. Потом светло мне улыбнулась и сказала:

— Нет, Вианн. Так и не вышла. Однажды, правда, мне показалось, что я могла бы выйти, но...

— Так кто же отец Пилу?

Она пожала плечами.

— Ты мне как-то сказала, что Анук — только твоя дочь и больше ничья. Ну так вот — мой сын тоже только мой и больше ничей. Нам с детства внушали мысль о том, что где-то на свете есть наша половинка, наш сердечный друг и он ждет нас. Пилу и есть *мой сердечный друг*. Зачем мне кто-то еще?

Она не совсем ответила на мой вопрос. Но я сказала себе: ничего, время еще есть. Просто мне когда-то показалось, что Ру вполне может влюбиться в Жозефину; а потом Пилу сказал, что его отец был пиратом; а потом еще и карты у меня плохо легли; однако все это отнюдь не значит, что Ру непременно должен быть отцом Пилу. Даже несмотря на то, что о Ру Жозефина не упомянула ни разу. И меня ни разу не спросила, как там Ру...

— Так, может, вы с Пилу придете к нам в воскресенье? Мы бы вместе пообедали, я бы постаралась что-нибудь такое приготовить — оладьи, сидр, сосиски, как когда-то на стойбище речных крыс.

Жозефина улыбнулась.

— С удовольствием! А как там Ру? Он тоже с вами приехал?

— Нет, он остался в Париже наш плавающий дом сторожить, — сказала я.

Уж не разочарование ли сквозило в том, как она от меня отвернулась?

Уж не ускользающий ли отблеск розового мелькнул и спрятался среди остальных цветов ее ауры? Нет, не следует мне шпионить за собственной подругой! Но просто так сдаваться совсем не хотелось. У Жозефины была какая-то тайна, которая отчаянно стремилась быть раскрытой. Вопрос только в том, действительно ли я сама так уж хочу узнать, что скрывает моя подруга. Или же лучше мне — собственного спокойствия ради — попросту похоронить воспоминания о прошлом?

Глава десятая

Четверг, 19 августа

Я провел этот день у себя в саду, пытаюсь забыть неприятную утреннюю сцену в бывшей *chocolaterie*. Я уже предупредил Люка Клермона, чтобы он туда не приходил, хотя мы еще вчера об этом договорились; сказал, что Инес Беншарки, видно, сама намерена заняться ремонтом. Но, по-моему, он примерно уже догадался, что там могло произойти.

Будь проклята эта женщина! Будь проклят этот мальчишка Люк! Теперь новость разнесется по всей нашей деревне. И очень скоро обо всем узнает отец Анри Леметр, а затем и сам перескажет столь интересную историю епископу. Интересно, много ли времени понадобится им на то, чтобы официально сместить меня с поста и перевести в другой приход или же, еще хуже, заставить меня навсегда покинуть церковь?

В общем, я до самого вечера копался в земле под жарким солнцем, примерно каждые два часа делая короткую передышку, чтобы выпить холодного пива; но хотя тело мое к концу рабочего дня буквально ныло от усталости, в душе по-прежнему царило то же смятение, что и утром.

Да и сплю я в последнее время плохо. Честно говоря, я никогда особенно хорошо не спал. Но теперь мне становится все труднее уснуть, да и просыпаюсь я зачастую часа в четыре-пять утра, весь мокрый от пота, совершенно разбитый, и чувствую себя еще более усталым, чем с вечера. Физическая работа, впрочем, иногда помогает. Но только не на этот раз. После целого дня возни с землей на жаре я смертельно устал, но голова по-прежнему работала ясно, и в ней прямо-таки роились мысли, предлагая самые различные варианты выхода из сложившейся ситуации.

В час ночи я оставил тщетные попытки уснуть и решил немного прогуляться. Возможно, в течение дня я выпил несколько больше пива, чем следовало, но так или иначе, у меня разболелась голова. Да и ночь была такой прохладной, зовущей.

Я быстро оделся — майка, джинсы. (Да, и у меня есть джинсы! Я надеваю их, работая в саду, или выполняя работу по дому, или отправляясь на рыбную ловлю.) Я знал, что никто меня не увидит. Кафе закрыто. А жители Ланскне обычно встают рано, так что и спать ложатся соответственно.

На улице было темно. В Ланскне мало уличных фонарей. А уж в Маро

их и вовсе нет. За мостом светились лишь немногочисленные окна. Впрочем, таких окон оказалось больше, чем я ожидал. Наверное, в рамадан эти люди ложатся спать значительно позже.

Я медленно побрел к мосту. У реки всегда прохладней. А каменный парапет на мосту еще долго после захода солнца сохраняет солнечное тепло, и на нем приятно посидеть. Внизу река исполняла какую-то негромкую, но вполне отчетливую мелодию; казалось, кто-то играет стаккато на сложном клавишном инструменте.

Я постоял там, раздумывая, стоит ли переходить на тот берег. В Маро я гость явно нежеланный. Карим Беншарки ясно дал мне это понять. И все же меня туда тянуло. Возможно, виновата была река.

Внезапно на том берегу послышался какой-то странный звук. Тяжелый всплеск, словно в реку упало бревно. С недосыпу соображал я довольно медленно, да и противоположный конец моста скрывался во тьме, так что мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять: в воде кто-то есть.

Я крикнул:

— Эй, что случилось?

Ответа не последовало. И я почему-то подумал, что кто-то просто решил искупаться и, возможно, это кто-то из *maghrebins*, которые вовсе не обрадуются моему вмешательству. Но что, если в воду упал ребенок, игравший слишком близко к воде?..

Я быстро перебежал по мосту на ту сторону — под тем берегом Танн глубже всего, — при этом меня не оставляла мысль, что мне все это могло просто послышаться от усталости. И тут в воде мелькнуло чье-то неясное лицо и тут же снова скрылось...

Скинув туфли, я нырнул прямо с моста. Плаваю я неплохо; и все же на мгновение у меня перехватило дыхание, такой неожиданно холодной показалась мне вода, и я поспешно вынырнул, судорожно хватая ртом воздух. Течение, которое, пока я стоял на мосту, было едва заметным, теперь решило продемонстрировать всю свою недюжинную силу, и мощный поток в сочетании с невероятным количеством речного мусора — палками, листьями, пластиковыми бутылками, окурками, рванными пакетами и прочей дрянью — упорно тянул меня ко дну.

Я глубоко вдохнул, задержал дыхание и позволил течению нести меня, внимательно осматривая поверхность реки. Человека нигде не было видно. Я снова нырнул, но под водой было слишком темно. Вынырнув, я хватанул побольше воздуха и нырнул еще раз, как бы прочесывая воду руками и понимая, что времени у меня мало и буквально через несколько секунд жертву — кто бы она ни была — унесет течением и я навсегда потеряю ее

из вида. Затея, понятно, была почти безнадежная, но я считал, что все же должен попытаться спасти утопающего.

Ах, отец мой, стыжусь признаться, но молиться в эти мгновения мне и в голову не пришло. Вдруг рука нащупала прядь длинных волос, потом — край какой-то ткани, и я вместе с утопленницей вынырнул на поверхность. Я позволил течению протащить нас обоих еще немного вниз по реке, хотя нас больно царапали острые камни и обломки плавника, угрожающе торчавшие над водой, а потом выбрался наконец на берег и положил «добычу» на грубый крупный песок...

Городские жители часто забывают, каким удивительно ярким может быть лунный свет. Там, где нет уличного освещения, порой достаточно даже узкого серпика месяца, чтобы разглядеть лицо человека. Это была девушка, и я, стянув с нее головной платок, скрывавший лицо, сразу ее узнал — в конце концов, я не раз видел ее на площади, когда она, еще совсем девчонка, в джинсах и слишком просторной для нее спортивной майке играла с мальчишками в футбол. Теперь она, конечно, немного повзрослела; ее лицо в лунном свете казалось очень бледным; глаза были закрыты, и она, похоже, не дышала; единственной искоркой жизни в ней выглядела крошечная бриллиантовая сережка-«гвоздик», поблескивавшая в одной из ноздрей.

Это была Алиса Маджуби — младшая дочь Саида. И в два часа ночи она лежала передо мной мертвая на берегу Танн.

Глава одиннадцатая

Четверг, 19 августа

В семинарии для нас были обязательными посещения занятий по оказанию первой помощи. Я до сих пор помню, какое смятение вызвала у семинаристов необходимость практиковаться в дыхании «изо рта в рот». Для этого инструктор специально принес в класс манекен — полнотелую искусственную женщину, которую он называл Кюнегондой. Господи, как же смеялись мои однокашники над каждой моей неуклюжей попыткой оживить ее!

Но умения, некогда нами приобретенные, имеют привычку в случае острой необходимости всплывать на поверхность сознания. С Кюнегондой у меня никогда толком ничего не получалось, а вот при виде *мертвой* Алисы Маджуби меня, должно быть, подстегнуло отчаяние; я отважно прижался ртом к губам девушки и изо всех сил старался заставить ее дышать, перемежая попытки мольбами, проклятиями и, наконец, молитвой, обращенной к Богу. И, в общем, с помощью кулака и пряника мне удалось-таки вернуть ее в мир живых!

— Слава тебе, Господи! О, благодарю Тебя!..

К этому моменту я уже и сам был полумертвым от усталости. Голова кружилась, грудь болела, и, хотя ночь была довольно теплая, меня всего трясло от озноба.

А рядом со мной мучительно кашляла Алиса Маджуби, исторгая из себя речную воду. Лишь через несколько минут, когда утихли первые спазмы, она села, выпрямилась и посмотрела на меня такими огромными глазами, которые, казалось, вобрали в себя все небо. Я постарался убедить себя, что это ничего, что у нее, должно быть, просто шок, и как можно нежнее обратился к ней:

— *Мадемуазель...*

Она вздрогнула, услышав это слово. Конечно, следовало бы назвать ее просто Алиса, но люди порой обижаются на такую ерунду — и потом, кто знает, сколько исламских правил я уже нарушил, спасая ей жизнь, — но я подумал, что лучше соблюсти все формальности, и спросил:

— Как вы себя чувствуете?

Она снова вздрогнула.

— Не бойтесь. Вы можете говорить со мной обо всем. Я же Франсис Рейно. Кюре. Помните меня? — Возможно, она не узнала меня, поскольку

я был без сутаны и даже без воротничка священника. Я попытался ей улыбнуться, но она не реагировала. — Вы, должно быть, нечаянно упали в воду? К счастью, я оказался поблизости, так что вам, можно сказать, повезло. Вы можете стоять? Давайте я провожу вас домой.

Она энергично помотала головой.

— В чем дело? Может быть, позвать врача?

Она снова помотала головой.

— Если хотите, я позову сюда кого-то из членов вашей семьи. Вашу сестру или вашу мать?

И снова тот же жест. *Нет. Нет.* Меня уже начинало охватывать отчаяние, да и сама Алиса дрожала, как осенний листок.

Я попытался придать своему голосу большую строгость:

— Но послушайте, не можем же мы сидеть здесь всю ночь!

На это она вообще никак не прореагировала. Просто обхватила покрепче колени, да так и осталась сидеть на берегу реки, тяжело дыша, похожая на мышь, спасенную из лап кошки; не раненную, но умирающую от пережитого потрясения. Такое часто случается с мышами; даже если им удастся спастись, они все равно потом умирают.

Вот и конец моей репутации, подумал я. Ничего хорошего, когда тебя подозревают в поджоге магазина; но если кто-то увидит меня здесь, насквозь мокрого, пахнущего пивом да еще и в компании молодой мусульманской женщины — *очень молодой, незамужней мусульманской женщины!* — которая к тому же проявляет все признаки глубокого душевного расстройства, которая, если б только это ей вдруг пришло в голову, могла неправильно истолковать тот импульс, что заставил меня сейчас оказаться рядом с ней, и вполне была бы способна, пребывая в смятении, обвинить меня в нападении на нее или хуже того...

— Пожалуйста, Алиса. Послушайте меня. — Мой голос прозвучал резче, чем я хотел. — Вы замерзли. Вы здесь можете просто умереть. Вы должны позволить мне проводить вас домой.

И снова она помотала головой.

— Но почему же *нет*?

Молчание. Эта девица явно не желала со мной разговаривать.

— Ну хорошо, — сказал я. — Я не поведу вас домой. Но и здесь вы оставаться не можете. Я приведу вашу мать, и она...

Нет. Нет.

— Тогда вашу сестру? Кого-то из ваших подруг?

И снова: *нет.*

Мое терпение подошло к концу. Господи, какая нелепость! Если бы эта

девушка было одной из *наших*, я бы, ни минуты не сомневаясь, отвел ее домой. Но она была из Маро, где я считался *персоной нон грата*, где любой намек на насилие мог быть воспринят чрезвычайно плохо.

Однако немислимо было и оставить ее без присмотра — даже на десять минут или сколько мне понадобилось бы, чтобы сбежать за врачом. Девушка, которая один раз уже прыгнула в реку, всегда сможет сделать это и еще раз. А поскольку Алиса Маджуби попросту не в себе после случившегося, то ей просто необходимо, чтобы кто-то за ней присмотрел — по крайней мере, пока не минует кризис. Ей необходима горячая ванна; ей нужно переодеться и лечь в постель; возможно, немного поесть...

О том, чтобы отвести ее в мой дом, и речи быть не могло. Нужна была *женщина*, способная во всем этом разобраться. Сперва я подумал о Каро Клермон — у нее с общиной Маро установились вроде бы неплохие отношения; но одна лишь мысль о том, что придется с ней объясняться... Нет, только не с ней!

Жозефина? Она добрая душа. И я знал, что она никому ничего не скажет. Но могу ли я просить мусульманскую девушку остаться в доме, где подают спиртные напитки? Жолин Дру, школьная учительница? И верная подпевала Каро Клермон! И к тому же *жуткая сплетница* — к утру все в Ланскне будут знать об этом скандальном происшествии...

И тут меня осенило. Да, разумеется! Вот место, где Алиса будет в полной безопасности; где никто ничего не узнает о ее местонахождении; где с ней станут обращаться как с членом семьи...

Глава двенадцатая

Четверг, 19 августа

Я очень долго не засыпала. Разбудил меня стук в дверь. Кто-то настойчиво и громко стучался — сперва в дверь, а потом еще и в ставни забарабанил. Анук и Розетт вдвоем занимали просторную кровать в спальне, а я спала в гостиной на софе и теперь, когда сон мой столь внезапно прервался, никак не могла понять, где я; казалось, что я запуталась в тенетах, раскинутых волшебным ловцом снов между одной жизнью и другой.

Стук стал еще более настойчивым, и я, накинув халат, встала и открыла дверь. На пороге стоял Рейно — какой-то странно застывший и одновременно оцетинившийся, готовый к обороне, — а рядом с ним совсем юная девушка в черном хиджабе. От обоих пахло речной водой, и девушка, которой на вид было не больше восемнадцати, вся дрожала.

Рейно начал что-то объяснять, и объяснения получались у него столь же неуклюжими, как и он сам.

— Извините за ночное вторжение, но она не позволила мне отвести ее домой. И не желает говорить, почему прыгнула в Танн. Я по-всякому просил ее поговорить со мной, но она мне не доверяет. Как, впрочем, и все они. Вы простите, что я взваливаю все это на вас, но я просто не мог понять, как мне...

— Пожалуйста, перестаньте, — прервала я его. — Все эти объяснения могут подождать до завтра.

Я улыбнулась девушке, явно исполненной подозрений и следившей за мной мрачным взглядом, и сказала:

— Знаешь что, чистые полотенца у меня имеются и кое-какая одежда тоже; я думаю, она тебе подойдет. Сейчас я быстренько согрею воды, и ты сможешь вымыться и переодеться. К сожалению, электричества у нас пока нет — Люк сказал, что его включают в лучшем случае через несколько дней, — но есть свечи, и плита еще горячая, так что ты у нас моментально согреешься. А вы, Франсис, — я повернулась к Рейно, — пожалуйста, не волнуйтесь. Вы все сделали правильно. Так что постарайтесь судить себя не слишком строго. Ступайте поскорее домой и попробуйте хоть немного поспать. Все остальное, как я уже сказала, может спокойно подождать до завтра.

Рейно, похоже, колебался.

— Но... вы ведь даже не знаете, кто она такая...

— А разве это имеет какое-то значение? — удивилась я.

Он одарил меня хорошо мне знакомым леденящим взглядом и вдруг улыбнулся.

— Никогда не думал, что скажу это вам, но, знаете, мадам Роше, я очень рад, что вы здесь!

И, сказав так, он повернулся и пошел прочь — весь застывший, немного неловкий. Любому другому он мог бы показаться скучным и к тому же весьма сомнительным типом — особенно сейчас, когда он, весь мокрый и грязный, слегка прихрамывая (он был босиком), спускался с холма по каменистой дорожке, а потом исчез в ночи. Но я-то видела глубже; я видела его душу, хотя он всегда так старательно ее прятал. Я видела больше других; я видела, что воздух над тем местом, где он только что прошел, словно дрожит от множества разноцветных маленьких радуг.

Белый Отан

Глава первая

Четверг, 19 августа

До четырех часов утра я возилась, устраивая нашу неожиданную гостью в маленькой спальне на чердаке; в эту совсем крошечную комнатку почти треугольной формы удалось втиснуть только узкую кушетку. Но там было вполне чисто и удобно; из маленького окошка, находившегося как бы в вершине «треугольника», открывался чудесный вид на Маро, а из сада доносился аромат персиков.

Анук, разумеется, разбудили наши голоса, но Розетт спала; она вообще способна проспать все, что угодно. Мы не стали ее будить. Я приготовила для гостьи постель, а Анук сварила горячий шоколад с кардамоном, лавандой и валерианой, чтобы девушке было легче уснуть.

Вымывшись и переодевшись в старую фланелевую ночную рубашку Арманды, с тщательно расчесанными и высушенными длинными волосами, эта девушка выглядела совсем юной, даже моложе, чем мне сперва показалось; ей можно было дать лет шестнадцать, от силы семнадцать. Темные глаза цвета кофе-эспresso, казалось, занимали пол-лица. Она приняла от Анук чашку горячего шоколада, но говорить с нами по-прежнему отказывалась, хотя больше уже не дрожала, лишь временами вздрагивала, как дремлющая кошка. Она с явным любопытством посматривала на Анук, и я решила оставить их вдвоем; я надеялась, что ей, возможно, легче будет начать разговор с кем-то более близким по возрасту; однако она так ничего и не сказала и в конце концов просто уснула прямо за столом у топившейся плиты, пока Анук пела ей ту колыбельную, которую и мне когда-то часто пела моя мать:

Vi'a l'bon vent, v'la l'joli vent...

Я отнесла спящую девочку наверх. Она оказалась невероятно легкой; легче, по-моему, даже, чем Розетт; и спала как младенец — не проснулась, даже когда я уложила ее в постель. Когда я спустилась на кухню, Анук засыпала меня вопросами, но я ни на один из них ответить не могла и с трудом убедила ее вернуться в постель и попытаться снова заснуть. Анук засыпает легко, а вот я не очень. Кончилось тем, что я сварила себе кофе и вышла с ним в сад. Рассвет в это время года наступает рано, и небо на

востоке уже горело первыми лучами зари; я уселась на низенькую садовую ограду и, прихлебывая кофе, стала слушать звуки пробуждавшегося Маро.

Пение петухов, крики гусей и диких уток на реке, утренний щебет птичек. Церковный колокол пробил пять. Его звон слышался в утреннем воздухе очень отчетливо; а затем почти сразу издали, но столь же отчетливо, прозвучал призыв муэдзина к молитве на девятый день рамадана.

В девять часов пришел Рейно. Точно в девять. Словно специально ждал, когда будет прилично зайти с визитом. Весь в черном, но воротничка священника не надел. И волосы тщательно зачесал назад. Мне показалось, что вид у него усталый; похоже, он совсем не спал в эту ночь.

Я угостила его кофе. Он предпочел черный и пил стоя, лишь слегка прислонившись к стене. Солнце уже приятно пригревало, и под его лучами розы, которых в маленьком садике Арманды было полно, пахли как-то особенно сильно. Эти розы вылезли даже на садовую дорожку и душистыми гроздьями свешивались со шпалер. Их уже восемь лет никто не подрезал, и они почти одичали, но аромат остался прежним; чудесный аромат, напоминающий запах изысканных турецких сладостей и, одновременно, запах чистых простыней, высушенных на ветру. Некоторое время я молчала, позволяя Рейно спокойно пить кофе и наслаждаться ароматом роз, но он горел нетерпением; был страшно возбужден, буквально на грани срыва. Сомневаюсь, что он так уж часто позволяет себе просто присесть и вдохнуть запахи цветущего сада.

— Ну что? Узнали что-нибудь? — наконец не выдержал он.

Я покачала головой.

— Нет, она так ни слова и не сказала.

И тогда он поведал мне, что ему довелось пережить этой ночью: как он спасал эту юную самоубийцу, как она отказывалась идти домой, как не пожелала ни разговаривать с ним, ни тем более как-то объяснять свой ужасный поступок.

— Я ее хорошо знал и раньше. Ее зовут Алиса Маджуби. Это внучка старого Маджуби. Ей всего семнадцать, и она из очень приличной, честной семьи. Я с ними тысячу раз беседовал, и они всегда вели себя вежливо и дружелюбно. От них никогда не было никаких неприятностей, пока не появилась Инес Беншарки.

Снова это имя! Инес Беншарки. Похоже, ее тень таится по краям каждой картины в галерее этого городка, а ее имя и лицо носят отпечаток некоего зла, подобно нехорошей карте, промелькнувшей в тасуемой колоде.

— Я понимаю, вы мне не верите, — спокойным тоном сказал

Рейно, — и я, возможно, вполне это заслужил, но с тех пор, как вы от нас уехали, все здесь сильно переменялось. Осмелюсь сказать... даже я сам очень изменился.

Я задумалась над его словами. *Так ли уж сильно изменился Рейно? Да и способен ли кто-то так уж сильно перемениться там, в глубине души, где это важнее всего?*

Я проверила цвета его ауры. Да, он сказал именно то, что думал. Но способность разобраться в себе ему никогда не была свойственна. Я знаю его; знаю таких, как он, людей с добрыми намерениями...

— Я знаю, что вы обо мне думаете, — сказал Рейно. — Я действительно раньше грешил различными предрассудками. Но в данном случае, честное слово... — Он пригладил свои и без того тщательно зализанные назад волосы. — Послушайте, я не собираюсь притворяться и говорить, что был в восторге, когда у меня перед носом устроили школу для девочек-мусульманок. Хотя бы потому, что в Ланскне уже есть школа и этих девочек с удовольствием туда приняли бы. Как не стану я притворяться и по поводу того, что одобряю обычай, согласно которому молодые женщины и даже девочки кутаются в покрывало. Я считаю, что неправильно заставлять их бояться общественного порицания, если они покажут свое лицо. Я не знаю, чему Инес Беншарки учила девочек в своей школе, но чувствую, что это нехорошо, неправильно. Однако я старался не вмешиваться. Старался держать чувства при себе и внешне никак их не проявлять. Я несу определенную ответственность перед своей паствой и стремился во что бы то ни стало избежать любых трений.

Я вспомнила, что говорил мне старый Маджуби, и улыбнулась при мысли о том, как колокола Сен-Жером на одном берегу Танн соревнуются с кличем муэдзина на другом и каждый старается заглушить противника. Трения, совершенно очевидно, с самого начала имели место, но зачем обвинять в этом Инес Беншарки? Что так уж переменялось после ее приезда? И как может Рейно быть настолько уверенным в том, что во всем виновата именно она?

Я задала этот вопрос, и Рейно, пожав плечами, сказал:

— У вас, разумеется, нет ни малейших причин мне верить. Тем более я *не впервые* обвиняю женщину с ребенком в том, что они являются причиной различных бед. — Я посмотрела на него и была удивлена, увидев в его глазах искры смеха. — Но, надеюсь, вы согласитесь с тем, что я неплохо знаю своих прихожан? И могу с уверенностью сказать, когда и какие перемены произошли в моем приходе. В данном случае все действительно началось с появлением Инес Беншарки.

— Когда она приехала? — спросила я.

— Полтора года назад. Сын старого Маджуби, Саид, познакомился с Каримом Беншарки во время *хаджа*, странствия по святым местам. А потом мы узнали, что Карим решил перебраться сюда, а Саид намерен выдать за него свою старшую дочь.

— Соню.

— Верно, Соню. — Рейно допил свой кофе и поставил чашку.

— И что случилось дальше?

— Две недели в Маро только и делали, что праздновали. Вкусная еда, беседы, смех, цветы. Десятки свадебных нарядов. У Каро Клермон наступил поистине чудесный период: она без конца что-то организовывала — «мультикультурные» дни, кофейные утреники для женщин-мусульманок и бог его знает что еще. Жозефина тоже в этом участвовала; она давно уже дружит с Соней и Алисой. Она даже арабский кафтан себе купила в одной из лавчонок на бульваре Маро, кстати очень красивый, и надела его на свадьбу. Гости на эту свадьбу съехались отовсюду: из Марсея, из Парижа, даже из Танжера. А потом...

— Ветер переменялся.

Рейно был явно удивлен.

— Да, — сказал он. — Полагаю, что так.

Значит, он тоже чувствует его, этот ветер, сулящий невероятные возможности и опасный, как спящая змея. Зози называла его *Hurakan*,^[34] ибо он способен смести все на своем пути. Долгие годы он может казаться нежным и тихим — вы даже решите, что сумели приручить его, — но разбудить его страшную силу может все, что угодно: вздох, молитва, шепот...

— На свадьбу приехала сестра Карима, — продолжал рассказывать Рейно. — Но навсегда она вроде бы оставаться не собиралась. Во-первых, в доме просто не было места. А во-вторых, старый Маджуби явно ее недолюбливал. Но она, приехав всего на неделю, задержалась на месяц, а потом, не успели мы этого понять, осталась уже навсегда. И с тех все стало по-другому. — Он тяжело вздохнул и немного помолчал. — Я, разумеется, виню только себя. Мне следовало раньше заметить, что происходит. Но сыновья старого Маджуби казались такими европеизированными молодыми людьми. Исмаил и в мечеть-то ходит только по особым случаям, да и Саид никогда не был радикалом. Ну а Карим Беншарки и вовсе выглядел настоящим европейцем. А посмотрите на эту семью теперь? Одна девочка в восемнадцать лет замуж выскочила, вторая решила утопиться и среди ночи прыгнула в Танн... И потом, эта женщина в своей школе

принялась учить детей бог знает чему, прикрываясь религиозными традициями...

— Значит, вы думаете, что все дело в иной религии? — спросила я.

Рейно озадаченно на меня посмотрел:

— А в чем же еще?

Разумеется, только так он и *должен был* подумать. Религия — это его жизнь; с ней, в конце концов, связана его карьера. Он привык делить людей на «племена»: католики, протестанты, индусы, иудеи, мусульмане... На свете так много подобных «племен»; есть избранные, а есть заблудшие; есть воинствующие, а есть новообращенные. А наравне с ними имеются еще и «племена» футбольных фанатов, поклонников рока, сторонников различных политических партий, уфологов, верящих в существование внеземных цивилизаций, экстремистов и умеренных, конспираторов-теоретиков и бойскаутов, безработных и бездомных, речных цыган, вегетарианцев, выздоровевших после онкологического заболевания, поэтов и панков — и в каждом из этих «племен» есть множество более мелких подкатегорий, потому что *каждому* хочется быть членом какого-то сообщества, принадлежать к какой-то определенной группе людей, найти свое *идеальное* место в мире.

Я никогда не принадлежала ни к одному племени. Это дает совершенно иную перспективу. Но если бы было иначе, и я, возможно, тоже чувствовала бы себя в Маро неуютно. Но я всегда была иной, не похожей на других. Возможно, именно поэтому мне куда легче пересечь ту, почти невидимую, границу, что отделяет одно такое «племя» от другого. Принадлежать к одному из этих «племен» — это очень часто значит «исключать», все воспринимать в рамках терминов «мы» и «они»; а эти два крошечных словечка, противопоставленные друг другу, как раз и приводят к конфликтам.

Не это ли произошло в Ланскне? Причем далеко не впервые. Чужаков здесь никогда не жаловали. Малейших отличий порой вполне достаточно, чтобы человека здесь сочли нежелательной персоной; даже к жителям Пон-ле-Саула, который находится всего в нескольких километрах ниже по реке, в Ланскне по-прежнему относятся с некоторым подозрением — возможно, потому, что в Пон-ле-Сауле выращивают киви, а не дыни, розовый чеснок, а не белый, разводят кур, а не уток, и молятся святому Луке, а не святому Иерониму.

— Итак, чего же вы хотите от меня? — спросила я.

— Я надеялся, что вам, возможно, удастся поговорить с этой девушкой. Поближе с ней познакомиться, понять.

Разумеется, Рейно не хочет быть замешанным в столь скандальном происшествии, и я хорошо его понимаю. Его положение в Ланксне и без того весьма ненадежно; еще один намек на скандал — и он может потерять работу. Я попыталась представить себе Рейно занимающимся каким-нибудь другим делом, но у меня толком ничего не вышло. Рейно за стойкой бара? Рейно в роли школьного учителя? Рейно в качестве водителя автобуса или, может, плотника? Плотника... Это внезапно навело меня на мысли о Ру, а потом — ни с того ни с сего — и о Жозефине, а также о том, что их обоих связывало.

— Вы ведь пока не собираетесь нас покидать? — спросил Рейно, явно волнуясь, ибо голос чуть заметно дрогнул.

Я снова подумала о Жозефине, о ее уклончивом взгляде, о ее невысказанных тайнах, о не заданных ею вопросах. Если я останусь в Ланксне, то выясню все ее секреты. Вот только не знаю, талант это или проклятие — видеть глубже того, что лежит на поверхности. И на этот раз я совсем не уверена, действительно ли мне *хочется* видеть так глубоко. За такое видение всегда приходится дорого платить. Порой даже слишком дорого.

Да, отчасти мне уже хочется уехать отсюда. Причем поскорее, прямо сегодня, не оглядываясь. Убежать, вернуться снова в Париж, к Ру, спрятать лицо у него на плече, где есть такая удобная ложбинка... Разве это так трудно понять? Я больше не имею к Ланксне никакого отношения. Что мне за дело, даже если Франсис Рейно будет вынужден оставить свой приход и священничество? И почему меня должно волновать, что у Жозефины есть восьмилетний сын, который любит рисовать и никогда не видел своего отца? Все это не имеет абсолютно никакого отношения ни ко мне, ни к моей семье.

И все же...

Я снова взглянула на Рейно. Он очень старался сохранить нейтральное выражение лица, но я видела, как он внутренне напряжен, как безнадежно застыли его плечи, как оценивающе смотрят на меня его холодные серые глаза.

Я чувствовала: он не будет удивлен, если я откажусь ему помочь. Рейно не из тех, кто понимает, что такое прощение, и сам он прощать не умеет. Просьба о помощи — да еще и обращенная к такой женщине, как я, — для него уже означает, что мир перевернулся вверх ногами. А чувство собственного достоинства никогда и не позволит ему попросить о чем-то большем.

— Конечно, нет. Какое-то время мы еще побудем в Ланксне, — как ни

в чем не бывало сказала я. — Анук и Розетт тут очень хорошо, и потом, у нас теперь еще и Алиса появилась...

Он с явным облегчением выдохнул и сказал:

— Это хорошо.

А я с улыбкой подумала, что, пожалуй, проявляю несколько чрезмерную чувствительность. С другой стороны, что значит, в конце концов, еще одна неделя? Мы ведь только что приехали, а Париж в августе совершенно невыносим. Разве мы не пытались сбежать от столичной жары и духоты? И раз уж мы здесь оказались, почему бы не остаться еще на несколько дней, наслаждаясь свежим воздухом? Хотя бы до тех пор, пока не задует Отан? И пока не станет ясно, в какую сторону этот Отан — Черный или Белый — намерен дуть?

Глава вторая

Четверг, 19 августа

Когда Рейно ушел, я попыталась позвонить Ру. Связь в Маро плохая, и когда мне наконец удалось отыскать подходящее местечко, то оказалось, что мобильник Ру опять выключен. Я послала ему эсэмэс:

Возможно, останусь еще на неделю. У тебя все в порядке? Нужно о многом поговорить — включил бы телефон! Мы все тебя любим. Вианн.

Вернувшись в дом, я обнаружила, что Алиса уже встала и оделась — но не в свою черную абайю, которую я успела выстирать и высушить, а в джинсы, которые дала ей Анук, и желтую полотняную рубашку. Впрочем, голову она по-прежнему аккуратно повязала хиджабом.

Анук тоже встала, но выглядела сонной и взъерошенной. Розетт завтракала: горячий шоколад и тарелка пасты, оставшейся от вчерашнего ужина.

— Электричество включили! — тут же радостно сообщила мне Анук. — Теперь все в порядке! Можно телевизор смотреть! И я наконец свой айпод зарядить смогу!

Электричество — это хорошо. Это значит горячая вода. Можно, конечно, поливаться ковшиком из ведра, но желательно не слишком долго; а после четырех лет жизни в плавучем доме, когда каждый раз, принимая душ, думаешь, как бы потратить поменьше воды — а не хочешь себя ограничивать, так пользуйся душем в местном бассейне, — настоящая ванна с теплой водой кажется просто роскошью.

Я повернулась к нашей гостье. В одежде Анук ей можно было дать лет пятнадцать, не больше. Она довольно хрупкого телосложения, пожалуй, даже изящней, чем Анук. Я поздоровалась, назвав ее по имени, и она кивнула в ответ, но ничего не сказала.

— Может, все-таки позавтракаешь с нами? — спросила я.

Девушка пожала плечами.

— Да, я понимаю, рамадан. Но могу тебе пообещать, что завтра, если ты останешься у нас, все мы будем завтракать до восхода солнца, а обедать после того, как оно зайдет. Нам это совсем нетрудно, а тебе так будет спокойней.

Алиса снова кивнула, но на этот раз я заметила, что она немного расслабилась.

— С Анук ты уже познакомилась, — сказала я. — А теперь позвол

представить тебе нашу Розетт.

Розетт подняла глаза над чашкой с шоколадом и приветственно помахала ложкой.

— Она у нас тоже неразговорчивая, — сказала я, — зато очень веселая и смешная.

Розетт сделала смешную гримасу и что-то спросила с помощью пальцев. Я перевела:

— Она спрашивает, любишь ли ты обезьян.

Алиса неуверенно на меня посмотрела, и я пояс-нила:

— Ты вскоре узнаешь, что Розетт очень-очень любит обезьян. Да и сама она, можно сказать, почти обезьянка.

Розетт ликующе каркнула и исполнила какую-то песенку собственного сочинения — без слов, зато с разнообразными посвистами. Алиса слегка улыбнулась, но тут же как-то испуганно потупилась.

— Ну, довольно, Розетт. Оставь-ка нашу гостью в покое и поиграй пока на улице, а нам с Алисой надо немного поговорить. Кто знает, может, тебя там уже Пилу поджидает.

— *Пилу!* — с восторгом завопила Розетт и опрометью ринулась во двор.

Я в очередной раз порадовалась: как хорошо, что она нашла себе друга! Она, разумеется, очень скучает по Ру, но и Пилу занял в ее жизни очень важное место, даже, пожалуй, более важное, чем Бам. И я была этому рада. Какие бы сомнения насчет того, кто был неизвестным отцом Пилу, меня ни терзали, этот мальчик для нас — настоящий подарок.

Я жестом попросила Анук остаться; мне показалось, что ночью ей удалось установить некий контакт с нашей юной гостьей. Я с улыбкой взяла Алису за руку. Оказалось, что пальцы ее холодны как лед.

— Я знаю, говорить ты не хочешь, — сказала я. — Ну и ладно. Заговоришь, когда сама захочешь. Но есть некоторые вещи, которые мне необходимо знать, если я собираюсь помочь тебе. Ты меня понимаешь?

Она кивнула.

— Во-первых, есть ли такой человек, которого — по твоему желанию, разумеется — я могла бы позвать к тебе? Может, твою маму? Или отца?

Она покачала головой.

— Ты уверена? Совсем никого не хочешь видеть? Не хочешь даже сообщить им, что с тобой все в порядке?

Алиса снова покачала головой и прибавила:

— Нет. Спасибо.

Это было уже кое-что. Всего два слова, но молчание-то нарушено!

— Ладно. Я понимаю. Значит, никому и не нужно знать, что ты здесь. Кюре Рейно, правда, знает, но он никому не скажет. У меня ты в полной безопасности.

Алиса слегка кивнула.

Теперь было самое трудное. Что могло заставить такую девушку, как Алиса, — хорошенькую, из любящей семьи — совершить самоубийство? Почему она ночью прыгнула в Танн?

— Что с тобой случилось вчера, Алиса? — спросила я. — Не хочешь об этом поговорить?

Алиса молча смотрела на меня ничего не выражающими глазами. Она либо не поняла, либо ответ казался ей настолько очевидным, что она просто не находила слов для ответа. Ладно, решила я. С вопросами пока подождем — еще денек, по крайней мере.

Я постаралась придать своему голосу живости и сказала с улыбкой:

— Ну, хорошо, пока что ты наша гостья. А дом этот принадлежит Люку Клермону. Раньше здесь жила его бабушка.

И снова Алиса кивнула в знак того, что знает это.

— Ты знаешь Люка? — спросила я, припомнив, что кто-то — возможно, Рейно или Жозефина — говорил мне, будто сестры Маджуби любили иногда поиграть в футбол в компании мальчишек из Ланскне.

— А он знает, что я здесь? — спросила Алиса.

— Никто не знает, что ты здесь, — ответила я. — И никто тебя не увидит, если не будешь из дома выходить. Здесь есть книги, телевизор, радио. Может быть, тебе еще что-нибудь нужно?

Алиса покачала головой.

— Знаешь, — сказала я, — мне кажется, нам лучше своих планов особенно не менять, иначе это может показаться кому-то странным. Но мы постараемся непременно сделать так, чтобы кто-то из нас — Анук или я — все время был здесь на тот случай, если тебе вдруг что-нибудь понадобится.

Алиса кивнула, но без улыбки.

Я посмотрела на Анук; я знала, что сегодня она собиралась снова встретиться с Жанно. Анук улыбнулась в ответ и сказала:

— Да все нормально, мам. Мы с Алисой прекрасно посидим дома, посмотрим дневные передачи, поржем над разными телешоу.

— Алиса будет в восторге, не сомневаюсь. — Я ласково взъерошила дочери волосы. — Особенно много вам даст передача «Эстонская топ-модель, или Женщина, которая никак не может перестать есть пироги». Алиса, когда ты устанешь от шуточек Анук, просто попроси ее оставить

тебя в покое, хорошо?

И снова на дрогнувших губах Алисы промелькнул призрачный улыбки, точно краешек тонкого месяца. Анук ей явно нравилась. Не могу сказать, что я была так уж этим удивлена. Моя маленькая незнакомка всегда умела привлечь последователей. Возможно, если я оставлю их наедине, Анук сумеет выяснить то, чего мне выяснить так и не удалось.

И я ушла в Маро, наказав им обоим присматривать за Розетт.

Глава третья

Четверг, 19 августа

Я ожидала увидеть утреннюю суету, но весь Маро будто вымер: на улицах ни души, магазины закрыты. Казалось, сейчас часов шесть утра, а не половина одиннадцатого. Солнце уже припекало вовсю, а в воздухе, каком-то неестественно прозрачном, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка.

Похоже, этим утром был открыт только спортзал Саида — и вот там явно наблюдалась некоторая активность. Интересно, подумала я, а сам-то Саид знает, что его дочь пропала? Конечно же нет — если б *знал*, наверняка закрыл бы свое заведение на весь день. Однако в спортзале, как всегда, царило оживление, и ничто не свидетельствовало о том, что вчера ночью в Маро исчезла какая-то девушка...

Красная дверь зала отворилась, и оттуда вышли двое мужчин. Один молодой, максимум лет двадцати, в майке-безрукавке и шортах «милитари». Второй — лет тридцати с небольшим; он был прямо-таки невероятно хорош собой, я таких красивых мужчин ни разу в жизни не видела. Изящный и одновременно по-мужски мускулистый — такими бывают танцоры или те, кто занимается восточными боевыми искусствами; кожа светло-оливковая; черные волосы коротко подстрижены; рот четко, даже резко очерчен, но, как это часто бывает на Востоке, словно намекает на затаенную чувственность...

— Могу я чем-нибудь вам помочь, *мадемуазель*?

На мгновение я почувствовала себя уложенной на обе лопатки. В прошлый раз, проходя мимо зала, я чувствовала лишь откровенную враждебность. Но от этого человека веяло чем-то совсем иным; он улыбался мне, и я чувствовала, как он раскидывает вокруг меня сети такого невероятного, такого обезоруживающего обаяния, что из них, пожалуй, не вырвешься.

Юноша, покинувший зал вместе с ним, уже успел уйти. И я осталась наедине с этим красавцем. Его глаза под густыми бровями были невероятно выразительны; в их темной глубине посверкивали золотистые искорки.

— Я здесь всего на несколько дней. Меня зовут Вианн Роше...

— Добрый день, я слышал о вас, Вианн Роше. А меня зовут Карим Беншарки.

И снова я почувствовала, что совершенно ошеломлена. Так *это и есть*

Карим Беншарки?

Рейно говорил, что у него совершенно европейский облик, но я все-таки ожидала отыскать в нем какие-то традиционные черты — скажем, шапочку для молитвы или бороду, как у Саида Маджуби. Ничего подобного! *Этот* человек мог быть уроженцем любой европейской страны, иметь какое угодно происхождение. Я проверила его ауру. Скользнула взглядом по его запястью, заметила скрещенные пальцы — нет, ничего особенного. Зато он явно все понял; похоже, эти прекрасные глаза обладали чрезвычайно острым зрением. А еще я почувствовала в нем острый ум и горячую, глубоко затаенную душевную силу; все это, словно прикрытое блеском внешнего, прямо-таки волшебного обаяния, делало его слегка самоуверенным и удивительно легким в общении...

Признаюсь, я была потрясена и почти сбита с толку. Невозможно было сопротивляться тому теплу, что исходило из его медовых глаз. Ни одна женщина, во всяком случае, не устояла бы — хотя у Рейно, наверное, есть некие особые фильтры, которые спасают его от подобных впечатлений. Потому-то ему, конечно, и в голову не пришло упомянуть о столь важной вещи, и теперь меня застали врасплох — мало того, меня выжали, точно мокрую тряпку, практически лишили дара речи, и я оказалась в самом что ни на есть дурацком положении. Это была, конечно, довольно дешевая разновидность волшебства, но, надо признаться, в некоторых случаях она, безусловно, оказывается вполне действенной. Например, Зози де л'Альба в этом отношении вполне могла составить Кариму Беншарки пару.

Некоторое время я тщетно пыталась отыскать нужные слова. Наконец я спросила:

— Значит, вы обо мне слышали?

Цвета моей ауры, похоже, сошли с ума; они вращались, точно в каком-то безумном калейдоскопе, и кололи кончики моих пальцев подобно острым кусочкам стекла.

— Да, разумеется. От моей сестры. — Он снова улыбнулся, и его улыбка пришила меня к земле, как бабочку к доске. — Вы были еще одним объектом неудачного крестового похода Рейно.

— Я вас не совсем понимаю... — пролепетала я. — Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что не у вас одной случались неприятности с этим священником. Он вообще пользуется не самой лучшей репутацией среди таких людей, как мы.

— Как мы?

— Ну, среди тех, кого он считает «нежелательными элементами». Тех,

чьи лица ему не нравятся, тех, кто не желает держаться *своего берега*.

— У нас с Рейно действительно в прошлом были небольшие трения, — сказала я. — Теперь-то уже мне и самой кажется, что с моей стороны было не слишком разумно открывать кондитерскую лавку прямо напротив церкви, да еще в самом начале Великого поста...

Он рассмеялся. Зубы у него были идеальные.

— У моей сестры возникла точно такая же проблема, — сказал он.

— Разве Рейно был против школы для девочек?

— Он никогда даже не пытался сделать вид, что с ней примирился. Да, он с самого начала был против школы и к моей сестре относился весьма враждебно. Инес постоянно вспоминает, как он стоял на пороге церкви в своей черной сутане и смотрел на школьный порог. Каждый день стоял и смотрел — молча, с застывшей гримасой отвращения на лице.

Я была поражена сходством рассказа Карима о Рейно с рассказом Рейно о той женщине в черном, которая тоже, не говоря ни слова, смотрела на церковь с порога своего дома. Так, может, обе враждующие стороны попросту сражаются с собственными тенями?

— Где же ваша сестра теперь живет?

— Со мной. Во всяком случае, пока не будет сделан ремонт. Да и вообще лучше ей жить в семье.

В его словах, звучавших вполне обыденно, чувствовался тем не менее настоящий собственник, и я вспомнила ощущение, которое у меня возникло во время посещения семьи Аль-Джерба: вполне возможно, Инес Беншарки — не сестра ему, а жена. В этом, кстати, нет ничего невозможного. Очень похоже, что старая Оми именно на это и намекала. Но если это так, то зачем Инес вообще стала жить одна? И с какой стати Карим Беншарки мне лжет?

— Жизнь у моей сестры сложилась очень непросто, — продолжал между тем Карим, и в голосе его явно слышалась нежность. — Ее муж умер совсем молодым, умерли и наши родители, так что у нее остался только я, и только я могу о ней позаботиться. И вот, едва она успела начать новую жизнь, случился этот пожар.

Я выразила свое сожаление.

— Но ведь это же настоящий скандал! — возмутился Карим. — Скандал и позор. А во всем виноват этот священник. Его нужно непременно заставить за все заплатить. И он заплатит!

Я решила, что не стоит мне сейчас защищать Рейно, если я хочу еще что-то узнать, и сказала:

— Значит, вы считаете, что именно он устроил пожар?

— В этом нет ни малейших сомнений, — сказал Карим. — Его имя и раньше было связано с чем-то подобным. С каким-то несчастным случаем на реке, когда подожгли судно кого-то из речных цыган. Ну и потом история с вашим магазином, конечно; когда он пытался закрыть магазин и прогнать вас отсюда. Мадам Клермон мне все об этом рассказала. Этот тип, похоже, считает себя мэром Ланскне!

— *Каро* Клермон?

Он кивнул.

— Да. Она всегда оказывала существенную поддержку нашей маленькой общине.

Это меня ничуть не удивило. Каро Клермон всегда наслаждалась любой возможностью стать необходимой. Некогда она была верной последовательницей Рейно и возглавляла пресловутую «библейскую» группировку, а теперь переключилась на более молодого священника, отца Анри Леметра, чья предупредительность, любезность и очаровательная юношеская внешность как-то особенно подчеркивали нынешнюю отчужденность и холодность Рейно. Видимо, Карим с его неотразимой улыбкой обладал для нее не меньшей притягательной силой, чем отец Анри.

Что там говорил Рейно? Что Каролина перестала устраивать свои «кофейные утреники», куда приглашали женщин-мусульманок? А может, дело просто в том, что она всегда предпочитала общество привлекательных молодых мужчин?

— Вы ведь приехали сюда с дочерью, верно?

Я кивнула и сказала:

— Точнее, с двумя дочерьми — Анук и Розетт. Вы их, возможно, уже где-нибудь видели.

— Если б видел, то наверняка запомнил бы.

Судя по игривому тону, он уже почти флиртовал со мной. И я в очередной раз удивилась легкости, с которой он опутывает собеседника сетями своего обаяния, — вряд ли еще кто-то из мужчин, живущих в Маро, владеет подобным искусством. Карим придвинулся чуть ближе, и я почувствовала отчетливый запах *кифа* и еще какой-то темный, сладковатый аромат — возможно, шипра или ладана...

Интересно, подумала я, а он знает, что пропала сестра его жены? Эти семьи обычно такие сплоченные. Неужели родители Алисы могли скрыть исчезновение дочери даже от Сони и Карима?

Я еще раз проверила его цвета. Люди редко обладают такой яркой аурой. Некоторые просто не могут не сиять — сиять ослепительно, все

затмевая вокруг. Не поэтому ли Рейно относится к Кариму с таким недоверием? Или есть какая-то иная причина?

— Я бы очень хотела познакомиться с вашей сестрой, — сказала я. — Я о ней так много слышала.

— Конечно, — сказал Карим. — Только я заранее должен вас предупредить: моя сестра Инес очень застенчива. И предпочитает одиночество. Она вообще не слишком... общительна.

— Но у нее есть дочь, верно? Как ее зовут?

— Дуа. Это по-арабски значит «молитва».

— Как это печально, что девочка так рано лишилась отца!

Словно какая-то тень накрыла его лицо.

— Увы, вся жизнь моей сестры сложилась очень печально. Теперь у нее есть только Дуа. Да, только ее дочь и, разумеется, ее вера. А вера для нее значит больше всего на свете.

Тут дверь спортзала приоткрылась, и оттуда выглянул мужчина в белой *джеллабе*. Я узнала в нем одного из тех, кого видела в Маро в день нашего приезда, и поняла: это и есть Саид Маджуби. Он, ничем не показав, что тоже меня узнал, сразу заговорил с Каримом по-арабски. Слов я не понимала, но требовательную интонацию уловила; заметила я и то, как Саид искоса посматривал на меня и сразу же отводил глаза.

— Извините, но я должен идти, — сказал мне Карим. — Желаю вам хорошо провести здесь время.

Он повернулся и снова исчез в зале, плотно прикрыв за собой красную дверь.

Оставшись одна, я свернула к бульвару. Близился полдень, солнце стояло уже высоко, но я, отойдя подальше от этого душного, вызывающего клаустрофобию переулка, где воняло хлоркой, *кифом* и потом, словно почувствовала благодатное дыхание свежести. Это был всего лишь легкий ветерок, долетавший с того берега реки, но он приносил ароматы совсем иных мест — запах дикого шалфея с горных склонов и перечный запах аралии, что растет в песчаных дюнах и танцует на прибрежном ветру, как безумная, — но и этого мне оказалось достаточно, чтобы понять: все вокруг изменилось.

Ибо затишье было наконец прервано.

Подул южный ветер, Отан.

Глава четвертая

Пятница, 20 августа

Сегодня утром ко мне заглянул отец Анри Леметр. Я проснулся необычно поздно, и он застал меня небритым, только что поднявшимся с постели. И как только ему это удастся? Неужели он обладает особым чутьем, подсказывающим, в какие моменты я наиболее уязвим? Так или иначе, он постучался ко мне точно в ту минуту, когда часы на Сен-Жером пробили четверть десятого; и глаза его сияли почти так же, как его ослепительные зубы.

— Господи, Франсис, вы выглядите просто ужасно!

Лучше бы все-таки он не называл меня «Франсис»!

— Да нет, я прекрасно себя чувствую, благодарю вас, — сказал я. — Чему обязан удовольствием видеть вас прямо с утра?

Он одарил меня одним из своих знаменитых *сострадательных* взглядов и, входя в дом следом за мною, сказал:

— Я просто решил вас проведать, коллега. Да и епископ о вас спрашивал.

Епископ. Еще лучше.

— Вот как?

— Епископ полагает, что вам, возможно, стоило бы отдохнуть. Он заметил, что вы плохо выглядите.

— А мне казалось, что я уже отдыхаю, — сказал я чуть резче, чем хотел. — И уж заботами прихода я, безусловно, в настоящее время не перегружен.

И *это* чистая правда: в последние две недели всю мою работу выполняет отец Анри Леметр; он же, между прочим, обслуживает и три соседние деревни, где нет своего священника. Если учесть, что все меньше молодых людей готовы стать священниками, а в церкви становится все меньше прихожан, то Ланскне, пожалуй, несколько выбивается из общего ряда: в нем есть свой постоянно живущий кюре, а в церкви дважды в день служат мессу и четыре раза в неделю исповедуют. Другие деревни были вынуждены приспособиться, так как теперь у них служат мессу только по воскресеньям, а иной раз жителям приходится даже отправляться в соседнее селение. Ничего удивительного, что люди все реже ходят в церковь. Наш епископ и ему подобные хотели бы, наверное, заставить нас поверить, что все священники взаимозаменяемы — примерно как кухонная

утварь. Это, может, и справедливо для Марселя или Тулузы, но в здешних местах людям хочется иметь *свою* церковь и *своего* священника-духовника. Им хочется, чтобы слово Божие доносил до них не какой-то там «небесный» телеграф, а уста такого же человека, как они сами, — с мозолистыми руками, знающего и понимающего их жизнь. Интересно, сколько жителей Ланскне приходили исповедаться к отцу Анри? Я имею в виду *искренние* исповеди, а не ту чушь, которую обычно несет Каро Клермон исключительно с целью привлечь к себе внимание.

— Ах, отец мой, боюсь, я вела себя неразумно и невольно обидела человека. Пару дней назад мы с Жолин Дру ездили за покупками в Ажен и зашли взглянуть на летние платья. Ты, возможно, заметил, что я несколько прибавила в весе? Ну, это не преступление — хотеть выглядеть как можно лучше, и то, как некоторые женщины позволяют себе ходить по улицам... Я не утомила тебя своей болтовней, отец мой?

— Немного.

— О, прошу меня извинить! В общем, Жолин увидела одно платье, и оно ей очень понравилось, и тут я предположила, что оно вряд ли ей подойдет. Дело в том — и это наверняка не ускользнуло от твоего внимания, отец мой, — что Жолин часто выбирает себе слишком молодежную одежду, которая совершенно не годится для женщины ее возраста; я уж не говорю о том, что она все-таки чуточку располнела — хотя в лицо ей я бы этого, конечно, не сказала, — и разве может настоящая подруга допустить, чтобы она выставяла себя полной дурой? И теперь я чувствую себя очень виноватой...

— Довольно. Две «Аве».

— Но, отец мой...

— Прошу вас, мадам. Я не могу тратить целый день на вас одну.

Нет. Дипломатия и лесть не относятся к числу моих талантов. Безусловно, отец Анри Леметр проявил бы большую чувствительность и понимание, беседуя с Каро. Я часто бываю нетерпелив, даже резок и, в отличие от отца Анри, не умею скрывать свои чувства. И не умею изображать заинтересованность или сочувствие, если их не испытываю, тогда как он это делает исключительно умело. И я не умею обращаться с прихожанами, словно они и впрямь всего лишь глупые овцы.

Но я знаю их куда лучше, чем их смог бы узнать любой другой священник, даже присланный из столицы. Они, может, и овцы, но они *мои* овцы, и я не имею ни малейшего намерения передавать их на попечение

отца Анри. Разве он сумеет понять их — с его-то улыбкой, точно с рекламы зубной пасты, с его-то победоносным обаянием? Разве Ален Пуату признается ему, что пристрастился к таблеткам от кашля и не хочет, чтобы об этом узнала его жена? Разве Жиль Дюмарен ему скажет, что винит себя в том, что позволил сестре поместить их мать в богадельню «Мимоза»? Разве Жозефина Мюска пойдет к нему на исповедь, разве расскажет, что раньше частенько совершала мелкие кражи и до сих пор испытывает потребность понести за это наказание? Откуда ему знать, что после смерти сына Жан Марон подумывает о самоубийстве? Что Генриетта Муассон — а ей уже восемьдесят пять — каждую неделю исповедуется мне в той ничтожной краже, которую совершила в девять лет? (Между прочим, речь идет о детском наборе для вышивания, который она стащила у своей сестры, погибшей более шестидесяти лет назад во время несчастного случая — перевернулась лодка, на которой они плыли по Танн.) Разве признается ему Мари-Анж Люка, что занималась сексом по Интернету с каким-то незнакомым парнем и теперь хочет знать, не грешно ли это? А уж Гийом Дюплесси никогда ему не скажет, что по-прежнему молится за упокой души своего любимого пса, умершего более восьми лет назад; и я, да простит меня Господь, позволяю ему верить, что животные, возможно, все-таки действительно обладают душой, а значит, могут и попасть в рай...

Я совершил немало ошибок, отец мой, но мне хорошо знакомо чувство вины. И я понимаю, что есть такие проблемы, которые нельзя решить, используя телеэкраны и акустические усилители. Эти проблемы порой нельзя решить, даже прибегнув к помощи епископа.

— Вы ведь понимаете, почему он так говорит, Франсис.

Голос отца Анри вернул меня к действительности. Я так глубоко задумался, что даже не сразу вспомнил, кого он имеет в виду. А он продолжал вещать, что принял на себя мои обязанности только потому, что, как ему кажется, мое честное служение Господу было скомпрометировано слухами и сплетнями, которые распространились после пожара в старой *chocolaterie*. Я подозреваю, что эту идею подсказала ему Каро Клермон, твердая последовательница прогресса, видящая в отце Анри Леметре не только родственную душу, но и возможность некоего карьерного роста для себя самой. Она уже убедилась в том, как много этот человек успел сотворить всего лишь за две недели. А уж сколько он успел бы наворотить за полгода...

Отец Анри последовал за мной на кухню и без приглашения уселся, так что я поспешил сказать:

— Чувствуйте себя как дома. Не хотите ли кофе?

— Да, пожалуйста.

— Между прочим, это по-прежнему мой приход, — заметил я, разливая кофе по чашкам. Он пожелал кофе с молоком. Я же предпочитаю черный. — Боюсь, сахара у меня нет.

Снова эта рекламная улыбка.

— Это не страшно. Мне и не следует пить кофе с сахаром. — И он выразительно похлопал себя по талии. — Надо следить за собой, чтобы животик не рос, верно, Франсис?

Господи, он *и говорит-то* совсем как Каро! Я залпом выпил кофе и налил себе еще.

— Это по-прежнему мой приход, — повторил я, — и пока меня не сочтут виновным настоящие судьи, а не те, что полагаются на сплетни и домыслы, я не намерен его оставлять.

Разумеется, он понимает, что ни перед каким судом я не предстану. Полицейские уже не раз беседовали со мной и признались, что нет ни малейших свидетельств того, что я как-то связан с этим пожаром, и, хотя мельница слухов в Ланскне продолжает беспрепятственно крутиться, весь остальной мир давно потерял интерес к этому происшествию.

Отец Анри Леметр глянул на меня и сказал:

— Здесь все далеко не так просто; нельзя воспринимать случившееся лишь в черно-белых тонах. К тому же я уверен — да и вы, должно быть, это понимаете, — что священник должен быть вне каких бы то ни было подозрений. Тем более в такой деликатной ситуации, когда замешаны представители иной культуры...

— У меня нет никаких проблем с *представителями иной культуры*, как вы их называете, — сказал я, уже с трудом сдерживаясь. — На самом деле... — Я умолк, не договорив. В запале я чуть не выложил ему все, что произошло прошлой ночью. — Если и имел место некий антагонизм, — продолжил я наконец, уже вполне спокойно, — то неприязнь исходила исключительно из общины Маро, а старый Маджуби вечно старался меня спровоцировать.

Отец Анри Леметр улыбнулся.

— Да, этого старика с избранного пути не собьешь. Но теперь иные времена, и существуют иные способы взаимодействия. Впрочем, я полагаю, с новым имамом поладить будет легче.

Я удивленно посмотрел на него:

— С каким «новым»?

— О, разве вы не знали? Сын старого Маджуби, Саид, принимает на себя обязанности имама; теперь в мечети всем будет заправлять он.

Похоже, старик уже и в Маро всем несколько поднадоел своими шутками и каламбурами. А некоторые, похоже, искренне огорчены нынешним положением дел. Как, впрочем, и вы. — И он снова сверкнул зубами.

Я на мгновение задумался. Вот это новость! Мне и в голову не приходило, что у старого Маджуби среди жителей Маро тоже могут найтись завистники. Но способен ли Саид Маджуби принести в наши отношения с арабской общиной столь необходимые перемены?

— Саид — человек разумный, — вкрадчиво заметил отец Анри. — И прекрасно понимает нужды своей общины. Он вполне способен руководить людьми, он достаточно прогрессивен и пользуется всеобщим уважением. Мне кажется, с ним будет гораздо легче вступить в диалог, чем с его отцом.

Люди вроде отца Анри Леметра никогда слова в простоте не скажут. С их точки зрения, выражение «вступить в диалог» гораздо лучше, чем «поговорить». Кроме того, у меня невольно возникло подозрение, что в словах отца Анри кроется насмешка надо мной. Он ведь вполне ясно дал понять, что я *не понимаю* нужд моей общины. Что я *недостаточно* прогрессивен, а уж после пожара в старой *chocolaterie*, видимо, вполне безопасно говорить, что я больше *не пользуюсь всеобщим уважением*. Это что, способ поймать меня на крючок? Или просто он хочет меня предупредить, что скоро и меня сместят с поста?

— Наш епископ считает, что вы могли бы даже вы-играть, сменив место работы, — сказал отец Анри. — Вы чересчур долго живете в Ланскне. И стали воспринимать этот городок как свою собственность, стали навязывать здешним жителям свои законы, а не законы церкви.

Я попытался протестовать, но отец Анри, подняв руку, призвал меня к молчанию.

— Я понимаю, вы, разумеется, с этим не согласны, — сказал он. — Но загляните поглубже в собственную душу. Возможно, вам необходимо более внимательно исследовать не только свою душу, но и свою совесть.

— Мою *совесть*! — взорвался я.

Он одарил меня одним из своих снисходительных взглядов.

— Вы знаете, Франсис... Можно мне называть вас Франсис?

— Вы это уже делаете, — заметил я.

— Я надеюсь, вы простите мне мою откровенность, — сказал он, — но наш епископ — и другие тоже — не раз упоминал о некой надменности, которую вы проявляете в общении с...

— Так меня за *это* наказывают? — Я был уже не в силах сдерживать гнев. — А я-то полагал, что за устроенный мною поджог школы для девочек.

— Никто этого не говорит, Франсис. И ни слова не было сказано о том, чтобы вас наказывать.

— В таком случае *какие же* слова были сказаны?

Он поставил чашку на стол.

— Официально пока никаких. Я просто подумал, что мне стоит вас предупредить. — Он в очередной раз ослепил меня своей рекламной улыбкой. — Вы-то ведь себе ничем помочь не хотите. Возможно, Господь послал вам это испытание как урок смирения.

Я стиснул заложенные за спину руки в кулаки.

— Если бы у Него действительно было такое намерение, — сказал я, — то, уверяю вас, вы бы Ему точно не понадобились, чтобы все это мне разъяснить.

По-моему, отец Анри слегка попридержал удила.

— Я стараюсь быть вам другом, Франсис, — миролюбиво сказал он.

— Я священник. У меня нет друзей.

Вчера стояло какое-то давящее безветрие. Сегодня дует сухой колючий ветер. Крошечные хлопья слюды повисли, дрожа, в беспокойном воздухе, и отовсюду просачивается какой-то странный запах, похожий на запах застарелого дыма. В бывшей *chocolaterie* Люк Клермон вовсю занят ремонт. У одной стены возведены леса; крыша накрыта пластиковой пленкой. Теперь, когда подул ветер, пластик бьется и шуршит, точно парус старого судна. На улицах женщины придерживают юбки руками; в воздухе летают обрывки бумаги; солнце напоминает диск из серебряной фольги и еле светит, поскольку небо закрывают облака поднятой с земли пыли. Это, конечно, пришел Белый Отан; он часто дует в это время года. Обычно Белый Отан продолжается недели две, и за ним всегда шлейфом тянутся всякие истории и прибаутки.

До чего же я когда-то ненавидел эти истории, эти крошечные фрагменты язычества; они сеяли свои семена, как одуванчики, и подобно сорнякам вторгались в сад нашей веры. С тех пор я стал относиться к ним гораздо терпимее, хоть и не поверил полностью. Из любой истории можно извлечь что-то полезное, будь она христианской или языческой.

Autan blanc, Autan blanc...

В здешних местах говорят, что Белый Отан способен как свести человека с ума, так и унести прочь одолевающих человека демонов. Бабкины сказки, конечно, но, как утверждала Арманда Вуазен, к бабкам порой стоит прислушаться.

*Autan blanc, Autan blanc,
Autan en emporte le vent.* [\[35\]](#)

И теперь, когда я смотрю вслед отцу Анри, который уходит, низко склонив голову и сопротивляясь напору колючего ветра, у меня мелькает мысль: а не мог бы Белый Отан унести прочь *его*?

Глава пятая

Пятница, 20 августа

Ветер делает людей легко возбудимыми, отец мой. Каждый школьный учитель знает это — и каждый священник тоже. Белый Отан пока что принес бесконечные ссоры, взрывы гнева и мелкие акты вандализма — на площади перевернуты три вазона с цветами, на почерневшей от огня стене старой *chocolaterie* появилось мерзкое граффити; похоже, в этом году *Vent des Fous* сумел отыскать лазейку в коллективное мышление здешнего общества и всех по очереди превратил в глупцов и безумцев.

Первой его жертвой пала Каро Клермон. Этот ветер всегда пробуждает в ней самое худшее. Особенно много гадостей она делает по отношению ко мне — из ее души изливается прямо-таки невероятное количество яда. Все это мне уже хорошо знакомо. Например, забежит спросить, не нужно ли мне чего, и непременно ухитрится перед уходом осыпать меня градом колючих мелких замечаний и шуток — разумеется, закамуфлированных под сочувствие, — а потом вдруг как пожелает всего наилучшего.

— Как, разве вы уезжаете? — спросил я с самым невинным видом.

Мой вопрос, похоже, оказался неожиданным, и она пролепетала:

— Нет, я...

— О, я, должно быть, неверно вас понял. — Я одарил ее самой мерзкой своей улыбкой. — Кстати, передайте привет вашему сыну. Он очень хороший мальчик. — Арманда им гордилась бы.

Каро вздрогнула. В Ланскне каждому известно, что у нее с Люком существенные разногласия по многим вопросам, включая выбор университета и его решение изучать литературу, а не продолжать семейный бизнес. И по поводу домика Арманды они к согласию не пришли. В завещании Арманда совершенно ясно указала, что оставляет дом Люку, но Каро считает, что его следовало бы продать, а деньги вложить во что-то полезное. Люк, разумеется, и слышать об этом не хочет. Все это создает в семье Клермон определенное напряжение. Во всяком случае, любого слова Люка о дальнейших планах хватает, чтобы их с матерью вечные споры вспыхнули с новой силой. Однако же, хоть мне и было приятно слегка уколоть Каро, мое положение это отнюдь не улучшило. Отец Анри Леметр отлично постарался, обсудив сложившуюся ситуацию (разумеется, строго конфиденциально!) именно с теми жительницами Ланскне, которые с наибольшей вероятностью тут же разнесут по всему свету сплетни о моем

шатком положении.

Между тем, отец мой, я уже две недели не исповедывался и не принимал исповедей. Но, несмотря на это, мне известны такие вещи, которых отец Анри даже не замечает. Генриетта Муассон и Шарль Леви страшно поссорились из-за кота; этот кот формально принадлежит Шарлю, но частенько навещает Генриетту, и она так хорошо его кормит, что он, естественно, к ней привязался. Шарля это возмущает; на днях он предпринял попытку расследования и зашел, пожалуй, слишком далеко: спрятался у Генриетты в саду, надеясь собрать фотографические доказательства соблазнения животного. Генриетта, разумеется, его заметила и подняла дикий крик: заявила, что за ней шпионит какой-то *извращенец*, и переполошила всю улицу. В итоге выяснилось истинное положение вещей, и все успокоилось. Сам же объект столь пристального внимания остался абсолютно равнодушен ко всей этой суете, преспокойно доел рубленый бифштекс, специально для него приготовленный Генриеттой, и отправился спать на подушке перед камином.

В последнее время Генриетта много раз пыталась мне исповедаться, но я сказал, чтобы она обратилась к отцу Анри Леметру. По-моему, до нее так и не дошло, в чем тут дело.

— Я искала вас в исповедальне, отец, но вас там не оказалось, — рассказывала она, — зато я наткнулась на какого-то *извращенца*! Прямо в исповедальне! И я ему прямо так и заявила: если я еще раз тебя в церкви увижу, то сразу вызову полицию...

— Это был отец Анри Леметр, — перебил я.

— А *он-то* что там делал?

Я только вздохнул. В конце концов я все-таки разрешил ей приходить прямо ко мне домой, если у нее вдруг возникнет срочная потребность исповедаться. Я также поговорил с Шарлем Леви и сказал, что если он хочет сохранить своего кота, то следует позволить животному спать в помещении, а кормить стоит все-таки чем-нибудь более питательным, чем жалкие обеды.

И уже сегодня утром я встретил Шарля на пороге рыбной лавки Бенуа; в руках он держал небольшой, тщательно перевязанный сверток, а на лице у него было написано глубочайшее удовлетворение.

— Рыба-монах! — свистящим шепотом сообщил он. — Посмотрим, чем *она* на это ответит!

И мгновенно исчез, прижимая к себе сверток с рыбой, словно контрабанду. Увы, он не знал, что Генриетта успела не только запастись изрядным количеством рыбьей молодки, но и купила коту кожаный ошейник

с табличкой, на которой выгравировано «Тати». Вообще-то Шарль назвал своего кота Отто, но Генриетта уверена, что это имя, во-первых, совершенно дурацкое и не подходящее для кота, а во-вторых, абсолютно непатриотичное.

Видишь, отец мой, несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые люди все же продолжают со мной общаться. Впрочем, Каро Клермон, Жолин Дру и прочие — та компания, которую Арманда Вуазен называла «библейской группировкой», — подчеркнуто меня игнорируют. Сегодня днем я встретился с Жолин; она шла через площадь Сен-Жером, а я как раз ставил на место перевернутые вазоны с цветами и подметал рассыпанную землю. Подозреваю, что это дело рук одного из сыновей Ашрона; я видел, как мальчишки там слонялись, и почти уверен, что граффити на стене *chocolaterie* — тоже их работа: самое что ни на есть расхожее ругательство, написанное с помощью баллончика с краской. Надо эту надпись уничтожить прямо сегодня, пока к ней еще чего-нибудь не прибавилось.

Так вот, Жолин явно направлялась в парфюмерную лавку вместе с Бенедиктой Ашрон, которая (после недавней ссоры Жолин с Каро Клермон из-за покупки нового платья) стала ее лучшей подругой. Обе расфуфырились, но волосы спрятали под шелковые косынки. Это понятно: ветер наносит непоправимый ущерб женским прическам, а Господь запрещает нам появляться на людях в неподобающем виде.

Я, разумеется, поздоровался, и Жолин попросту отвернулась! Разумеется, священнику следует блюсти достоинство, и, возможно, Жолин показалось оскорбительным то, что я предстал перед ней в таком виде — в майке и в старых джинсах, перепачканных землей, которую сметал с тротуара. Ну что ж, пусть обижается. Я полагаю, отец Анри — если, конечно, его не опередила Каро — уже успел поведать ей, какое ужасное упрямство я проявляю, как отказываюсь исповедаться, какую прискорбную непокорность и неблагодарность проявляю по отношению как к нашему епископу, так и к нему самому. А ведь, пожалуй, думал я, глядя ей вслед (ее высокие каблучки так и стучали по булыжной мостовой), примерно так они здесь приняли восемь лет назад Вианн Роше — косыми взглядами и презрительными усмешками.

Теперь, похоже, в изгой записали *меня*. Теперь я нежелательный элемент. Эта мысль явилась так внезапно, что я невольно рассмеялся. И мне было так странно слышать собственный смех, отец мой, что я вдруг подумал: лет двадцать, наверное, я этих звуков не слышал.

— Месье кюре, что с вами?

Я, должно быть, задумался и закрыл глаза. Открыв их, я увидел перед

собой мальчика с собакой; вместо поводка к ее ошейнику был привязан обрывок веревки. Это был сынишка Жозефины, Жан-Филипп — она зовет его Пилу, — и он смотрел на меня с большим любопытством.

Жан-Филипп Бонне в церковь не ходит. Они с матерью относятся к меньшинству жителей Ланскне. И хотя Жозефина никогда не питала ко мне особой любви, ее ни в коем случае нельзя назвать женщиной, которая использует сплетни как разменную монету. В Ланскне это качество делает ее практически уникальной; но при всем при том она, можно сказать, недоступна и весьма неохотно идет навстречу. Ее сыну восемь лет, у него чудесная солнечная улыбка, которую многие находят заразительной. А вот его пес действует на нервы всем с тех пор, как мальчик его завел, ибо постоянно и весьма громко выражает свое возмущение буквально всем, что составляет картину повседневной жизни. Его раздражают не только самые разнообразные звуки, но и чужие собаки, монахини, церковные колокола, велосипеды, бородатые мужчины, ветер и особенно женщины в черном; при виде последних он начинает лаять совсем отчаянно. Он и сейчас, разумеется, залаял; наверное, на него тоже действует этот проклятый ветер, подумал я.

— Со мной ничего, — сказал я мальчику, — все в порядке. Извини, а нельзя ли сделать так, чтобы твой пес заткнулся?

Мальчик с сожалением посмотрел на меня и сказал:

— Вряд ли. Влад верит в свободу слова.

— Я так и понял, — кивнул я.

— Но его *очень* легко подкупить. — Пилу порылся в кармане и вытащил печенье. Влад тут же умолк и поднял лапу. — Вот, пожалуйста. Такова цена мира и покоя.

Я только головой покачал и снова посмотрел на стену *chocolaterie*, украшенную граффити. Эту стену надо как следует побелить. Хотя, пожалуй, и тогда проклятая надпись будет проступать. Значит, нужно сначала отскрести стену дочи́ста. Вообще-то, я принес с собой и скребок, и немного отбеливателя.

— Вы зачем это делаете? — удивился Пилу.

Я пожал плечами:

— Ну, кто-то ведь должен это делать.

— Но почему именно *вы*? Это же не ваш дом.

— Мне не нравится, как он выглядит, — сказал я. — Люди не должны видеть граффити на стенах, когда идут в церковь.

— Я не хожу в церковь, — сказал Пилу.

— Да, я знаю.

— Мама говорит, что и *вы тоже* туда не ходите.

— Дело обстоит не совсем так, — возразил я. — Хотя вряд ли ты поймешь...

— Да пойму я! Это из-за того пожара, — заявил он.

И снова я почувствовал непреодолимое желание рассмеяться.

— Твоя мама, видно, научила тебя откровенно говорить то, что думаешь?

— Да! — радостно подтвердил Пилу.

Я еще немного поскреб разрисованную краской стену. Краска въелась в пористую штукатурку, насквозь пропитав ее. Чем больше я скреб, тем яснее становилось, что мерзкий пигмент насмерть въелся в стену. Я прошипел себе под нос проклятье.

— Ох уж этот мальчишка Ашрон... — сердито сказал я сквозь стиснутые зубы.

— А это совсем и *не он!* — воскликнул Пилу.

— Ты-то откуда знаешь? Ты что, видел, кто это сделал?

Он что-то отрицательно промычал и помотал головой.

— Тогда откуда же тебе известно, что это не он?

— Один мой друг говорит, что это арабское слово.

— Твой друг?

— Это девочка. Дуа. Она раньше здесь жила, до пожара.

Я посмотрел на Пилу с некоторым удивлением. Вот уж действительно странно, что такому мальчику — который неразлучен со своей собакой, живет в деревенском кафе и, разумеется, может *дурно* повлиять на мусульманскую девочку во всех возможных смыслах слова, — позволили дружить с дочкой Инес Беншарки.

— А Дуа объяснила, что это слово значит?

Пилу пожал плечами и, опустившись на колени, поправил привязанную к ошейнику пса веревку.

— Это не очень хорошее слово, — сказал он. — Дуа говорит, что оно означает «шлюха».

Глава шестая

Суббота, 21 августа

Ну, вот и свидетельства того, что на улицах Маро далеко не все благополучно. Я, собственно, догадалась об этом еще на днях, когда увидела в дверях спортзала Саида, но теперь слухи вырвались на свободу — и, как дождь, шелестит шепот:

Вы слышали?

А вы?

Сама я услышала это от Оми Аль-Джерба. Мы с Розетт шли по мосту в Ланскне и встретили ее. Старушка приветствовала нас дружелюбным кудахтаньем и жестом подозвала к себе, а потом сообщила своим надтреснутым голосом:

— Тут все прямо с ума посходили. Ты разве не чувствуешь, что этот ветер пахнет безумием? Ох уж этот ветер! Всех с ума сводит.

И она улыбнулась Розетт, показав нежно-розовые, как лепестки цветка, десны.

— Никак это твоя младшенькая? А кокосовое печенье она любит? — И Оми извлекла из кармана своего расшитого кафтана печенье. — Очень вкусное! Мы его специально для рамадана печем. — Она протянула угощение Розетт, тут же вытащила второе печенье и сунула себе в рот. — Одна штучка не считается, — оправдалась она, заметив мое удивление. — Подумаешь, какая-то горсточка кокосовых стружек! И потом, я слишком стара, чтобы целый день поститься. — Она подмигнула Розетт. — *Бисмилла!*^[36]

Розетт надула щеки и сказала на языке жестов: «Обезьяны тоже любят кокосы».

— Ну конечно, — сказала Оми, которая, похоже, отлично понимала этот язык. — Вот и еще одно печенье для твоего маленького дружка.

Розетт хрипло засмеялась с полным ртом, а Оми ласково подергала ее за рыжие, как бархатцы, кудряшки и сказала:

— Говорят, Алиса Маджуби из дома убежала.

— Кто говорит?

— Да все, у кого язык без костей. Ее мать, правда, всех уверяет, что девочка больна и лежит в постели, только ее вот уже три дня никто не видел, а Рима Бузана вроде бы встретила ее в среду в полночь совершенно одну, и она направлялась к деревне.

— Вот как? — сказала я.

— Да все это женская болтовня, конечно. А Рима всегда семейству Маджуби завидовала. У нее ведь тоже дочка есть — и все еще не замужем в двадцать-то пять лет; да и язычок у нее как кухонный нож. Ну а Соня, дочка Исмаила, отхватила себе самого красивого мужчину в Ланскне... — Оми комично стрельнула глазами. — Вот только Алиса у них всегда была девочкой неспокойной, а Соня никогда и слова лишнего не скажет. Впрочем, все еще, может, и обойдется, *иншалла*.

Я посмотрела на нее.

— Но *вам* так не кажется?

Она рассмеялась.

— Мне кажется, что в последнее время жена Исмаила Маджуби стала слишком много гулять. Обычно-то она настолько поглощена собой и собственными делами, что даже на рынок сходить не может. Может, конечно, она просто похудеть решила. А может, надумала купить какой-нибудь пустующий дом на берегу реки. Но, скорее всего, она пытается найти свою девочку, пока из-за нее скандал не разразился...

— Но с чего Алисе бежать из дома?

Оми пожала плечами.

— Кто ее знает? Уж эти мне девушки! Все полоумные, как одна. Только теперь, когда Саид встал во главе мечети, совсем не время его дочерям вдруг начинать отстаивать свои права.

— Саид возглавил мечеть? — спросила я.

— Э, неужели ты не знала? — Оми машинально сунула руку в карман и вытащила оттуда еще одно печенье. — Еще с начала рамадана. Люди жаловались, говорили, что старый Маджуби уж больно дряхлым стал, что он слишком многое делает неправильно, что в мечети рассказывает истории, которых даже в Коране нет, и совсем не следит за текущими событиями. Ну, может, это и правда, — сказала она, кинув печенье в рот, — но я бы лучше доверилась старому и мудрому человеку, чем тому, у кого куча дипломов и докторских степеней; и потом, я считаю, что *этот* старик еще многому мог бы своего сына научить. — Оми помолчала, поправляя свой *хиджаб*. — Ох уж этот ветер! Столько пыли несет! И каждому шепчет *васваас*.^[37] Моя Захра считает, что, если пыль попадет ей в рот, так она сразу свой пост нарушит. А у Ясины от пыли голова болит. В такой ветер моя маленькая Майя ни минутки посидеть спокойно не может, все крутится по дому, как бешеный огурец. И ночью никто толком не спит. И никто толком не молится. И все ссорятся, набрасываются друг на друга из-за ерунды. — Оми снова подмигнула Розетт. — Но мы-то с тобой, детка,

лучше знаем, как следует поступить, верно? Мы говорим: если ветер подул, так оседлай его и скачи на нем верхом!

Розетт засмеялась и сказала с помощью жестов: «Пока голова не закружится!»

Оми улыбнулась.

— Вот это правильно! И вовсе тебе не нужно ни с кем разговаривать. Как известно, из всех орехов, что лежат в мешке, громче всех гремят пустые.

Она вдруг подняла голову и посмотрела на ту сторону улицы — там, болтая и смеясь, шли три молодые женщины в *никабах*. Все три, разумеется, с головы до ног в черном, только у одной покрывало было перехвачено розовой лентой весьма ядовитого оттенка, словно разрезавшей ее лицо пополам. Я улыбнулась и приветственно махнула им рукой; разговор меж ними тут же прервался и возобновился лишь после того, как они нас миновали, но говорить они стали значительно тише, и смех тоже больше не слышался.

Оми покачала головой.

— *Пфф!* Айша Бузана с подружками, Джалилой Эль Марди и Раной Джаннат. Глупые сплетницы, все три! Гремят, как пустые орехи. Болтают всякую чушь и по всей деревне это разносят. Представляешь, Айша — та, что с розовой лентой, — сказала моей Ясмине, что имя Майя запрещено исламскими законами. Говорит, это имя какой-то языческой богини из чьего-то там древнего пантеона. Как будто ей не все равно, как мы называли девочку. Просто внимание к себе привлечь хочет, только и всего. По той же причине она и *никаб* носит, хотя раньше никогда его не носила. Пока Карим Беншарки сюда не приехал, никто из молодых женщин *никаб* не носил. Но стоило этому красавцу упомянуть, что ему нравится, когда женщины завернуты в покрывало, так сразу десятки девиц надели *никаб* и принялись строить глазки Кариму, соревнуясь друг с другом. — Она насмешливо хмыкнула и посмотрела на меня. — Только не говори, что *не успела* его заметить. У него же внешность чистого ангела! И он только что не живет в этом спортзале.

Я кивнула:

— Да, я, конечно, обратила на него внимание.

Оми захихикала.

— И не ты одна!

— А что вы о его сестре скажете?

— Об Инес? — Лицо Оми вдруг стало непроницаемым, как маска. — Ну, с ней-то мы особо дел не имеем. Да она теперь в основном дома сидит.

Впрочем, учительница из нее вышла никудышная, не больно-то дети ее любили.

— Почему же?

Старуха пожала плечами.

— Кто их знает? Однако мне пора. Меня моя маленькая Майя ждет. Мы с ней собираемся лепешки печь. Не на сейчас, конечно. На вечер. А еще мы с ней приготовим *crêpes aux mille trous*^[38] и суп-*харипа* с лимонами и финиками. В рамадан каждый, кто постится, весь день только о еде и думает; вот мы заранее и покупаем кучу продуктов, готовим множество разных блюд, угощаем соседей, нам даже *снится* еда — конечно, когда этот ветер позволяет уснуть. Я принесу тебе наших марокканских сладостей; кокосовое печенье принесу, «рожки газели», миндальные меренги, халву *чебакия*. Может, тогда ты поделишься со мной рецептом своего шоколада?

Я смотрела ей вслед, чувствуя себя несколько озадаченной. Если уж и Оми Аль-Джерба с ее веселым презрением к условностям и мнению соседей все-таки чувствует, что не стоит говорить со мной об Инес Беншарки...

Розетт вздохнула: «Мне она нравится».

— Да, Розетт, и мне тоже.

Оми во многом напоминает мне Арманду, чей неумный аппетит к жизни — еде, напиткам и всему прочему — некогда «стал позором» для ее родни. Но у Оми совсем другая родня. В арабских семьях любовь и уважение к старшим только усиливаются с возрастом. Я даже представить себе не могу, чтобы кому-то из детей или внуков Оми Аль-Джерба пришло в голову сделать то, что пыталась сделать со своей матерью Каро Клермон, — загнать в богадельню, постоянно запугивая и не позволяя видаться с внуком.

Улицы Маро уже снова опустели, когда я повернула назад, к дому Арманды. Мне встретились всего два-три человека, и ни один со мной не поздоровался. Но пока я шла по бульвару, я постоянно чувствовала, что за мной наблюдают — буквально из-за каждого окна! — и мне казалось, я слышу, как они там, за стенами домов, перешептываются. *Этот ветер не умеет хранить тайну*, говорила моя мать. И сегодня этот ветер сообщил мне, что жители Маро пребывают в отчаянии. Неужели из-за Алисы? Или же причиной некий тайный и мрачный недуг, поразивший общину? Я посмотрела на небо, в котором вроде бы и облаков не было, однако его скрывали клубы мельчайшей пыли, блестящей в лучах солнца. Из-за этой пыли Розетт то и дело чихала, и каждый раз Бам при этом кувыркался и смеялся над ней.

Розетт посмотрела на меня ясными глазами и спросила: «Пилу?»

— Не сегодня, — ответила я. — Но, помнишь, они с Жозефиной обещали завтра прийти к нам на обед.

Она грустно сморщилась и проворковала:

— *Рувр.*

Ру.

Я обняла ее. От нее пахло рекой и еще чем-то приятным, вроде детского мыла и шоколада.

— Я знаю, как ты по нему соскучилась, Розетт, — сказала я. — Я тоже по нему скучаю. И Анук тоже. Но ведь мы и здесь очень неплохо время проводим, правда?

Розетт выразительно закаркала в знак согласия и разразилась длинной тирадой на собственном языке; я сумела уловить лишь слова «Пилу», «Влад» и (что уж совсем удивительно) «клево». Красноватое пятно в воздухе — так сегодня выглядел Бам — так и металось у ног Розетт. От восторга Бам скакал как сумасшедший, покрывая ей ноги золотисто-бронзовой дорожной пылью.

Я не выдержала и рассмеялась. Моя маленькая Розетт — прирожденная комедиантка. При всей своей необычности она, моя зимняя девочка, порой точно лучик солнечного света.

— Идем, — сказала я, — нам домой пора.

И мы, прикрывая глаза руками и пытаясь защититься от клубов пыли, повернули прочь от реки и стали подниматься на крутой холм к тому месту, которое я только что назвала *домом*; там с персикового дерева Арманды уже начинали падать первые перезревшие плоды.

Глава седьмая

Суббота, 21 августа

Мы примчались домой следом за ветром, и всю дорогу Розетт напевала:

— *Бам, Бам БАМ, БАМ, бадда-БАМ...*

Это, конечно, та самая колыбельная, которую пела моя мать. Розетт поет не по-настоящему, *без слов*, но слух у нее такой же хороший, как у ее отца. Она еще и ритм отбивает, притопывая ногой и прихлопывая в ладоши...

Бам, бам БАМ! Бам, бадда-БАМ!

И ей подпевает ветер, а сорванные с деревьев листья танцуют. Осень в этом году наступает рано, уже и деревья вокруг начинают менять свой цвет. Первыми облетают липы, стряхивая с ветвей желтые листочки и рассыпая их в воздухе, как пригоршни конфетти. Волосы Розетт того же золотисто-красного оттенка, что и осенние листья, которые она с удовольствием поддевает в воздух, а потом затаптывает, точно пламя костра, своими маленьким босыми ножками.

Топ, топ, топ. Бам, бадда-бам!

Я чувствую, что Алиса наблюдает за нами из домика сквозь полузакрытые ставни. Она сказала мне всего лишь несколько слов с тех пор, как появилась у нас, но, похоже, в обществе Анук и Розетт она чувствует себя гораздо свободнее, хотя держится по-прежнему весьма настороженно. *Хиджаб* она сняла, а волосы заплела в две длинные косы, отчего Анук и Розетт пришли в настоящий восторг. Обедать мы теперь решили после захода солнца, чтобы Алиса могла соблюдать пост, но, насколько я знаю, она ни разу не молилась. Предпочитает смотреть телевизор и читать...

Не сегодня, решила я.

Я обошла вокруг дома, чтобы взглянуть на персиковое дерево Арманды. Какое-то количество персиков я отдала Гийому; еще сколько-то — Пуату и Ясмине Аль-Джерба; кроме того, приготовила клафути для Нарсиса и его жены и обещала испечь два пирога с персиками — один для Люка Клермона, который трудится над восстановлением *chocolaterie*, а второй для Жозефины. Но персиков на дереве все равно слишком много, а теперь, когда подул ветер, они начали падать на землю.

— Нам надо сегодня же собрать все персики, — сказала я, входя в

кухню. — Арманда никогда бы мне не простила, если б я позволила осам до них добраться.

— Ура, персиковый джем! — завопила Анук, вскакивая с дивана.

Я улыбнулась. Самое очаровательное в Анук — это та легкость, с которой она переходит от детства к взрослости, от света к тени, точно бабочка, перепархивающая с цветка на цветок и не подозревающая о меняющихся мирах. Сегодня она почти та маленькая девочка, с какой я когда-то впервые сюда приехала.

Алиса, которая лишь чуть-чуть ее старше, кажется гораздо более взрослой. Интересно, о чем думают ее родители? Почему никто ее не ищет? И как долго я смогу ее здесь прятать, прежде чем всем станет известно, где именно она находится?

— Ты знала Арманду? — спросила я. — Это бабушка Люка. И мой большой друг. Мне кажется, она бы тебе понравилась. Хотя нравилась она далеко не всем — нашего месье кюре она порой приводила просто в бешенство, — но у нее было доброе сердце, а Люку она и вовсе была дороже всех на свете. Это из-за нее я сюда приехала. Обещала ей собрать урожай персиков с ее дерева.

Наконец-то на замкнутом личике появился проблеск улыбки!

— Судя по вашим словам, она очень похожа на моего дедушку, — сказала Алиса. — Он тоже любит что-нибудь выращивать. У него возле дома растет хурма. Это дерево плодоносило всего один раз, но дедушка заботится о нем, как о родном сыне.

Это, безусловно, была самая длинная речь, какую мне довелось от нее услышать. Возможно, вновь обрести дар речи ей помогло общение с Анук. Я улыбнулась и спросила:

— А ты нам помочь не хочешь? Мы собираемся варить персиковый джем.

— *Бам. Джем. Пам. Бадда-бам!* — пропела Розетт, потом схватила деревянную ложку и заставила ее танцевать на столешнице.

Алиса с любопытством на все это смотрела.

— Персиковый джем? — переспросила она.

— Ну да, и рецепт очень простой. У нас, собственно, уже есть все, что нужно. Специальный сахар для джема — такой, куда уже добавлен пектин, чтобы джем как следует схватился, — медный котелок, банки, корица... ах да, и, разумеется, персики, которые необходимо собрать. — Я улыбнулась. — Идем с нами. Ты нам по-можешь.

Она явно колебалась. Потом все же встала и вышла из дома следом за мной. Это было вполне безопасно; дом Арманды стоит на отшибе, и

с дороги персикового дерева совершенно не видно. Отан вел себя поистине безжалостно: уже вся земля под деревом была усыпана упавшими плодами. Еще немного — и персики принялись бы атаковать хищные осы. Для джема, впрочем, отлично годятся и слегка побитые плоды, так что за каких-то десять минут мы набрали более чем достаточно.

Я нашла у Арманды широкий медный котел для варки варенья — у меня тоже есть почти такой же. Этот котел формой напоминает литавру с коваными неровными краями и щербатой поверхностью. На допотопной кухонной плите Арманды он выглядит почти как волшебный котелок ведьмы — что, впрочем, не так уж далеко от истины, ибо что может быть ближе к алхимии, чем превращение сырых ингредиентов в нечто восхитительно вкусное, один лишь чарующий аромат которого вызывает обильное слюноотечение?

— *Бам, бам,* — продолжала напевать Розетт, отбивая ритм по медному котелку.

— Теперь надо приготовить персики для варки.

Я налила в раковину холодной воды. Мы вымыли персики и вытащили из них косточки. Если шкурка немного повреждена — ничего страшного; тем слаще будет джем. Мы работали дружно, закатав по локоть рукава и чувствуя, как по рукам течет сладкий персиковый сок. Вся кухня была наполнена солнечным ароматом персиков, разогретого сахара и лета.

— *Бам. Джем. Бам-бадда-бам,* — пела Розетт. Мелькая в полосах света и тени, она была похожа сейчас на гудящего шмеля. А Бам, следовавший за ней по пятам, казался роем пляшущей мошкары.

Я видела, что Алиса сосредоточенно наблюдает за ними — на переносице, между ореховыми глазами, пролегла морщинка. Значит, она тоже видит Бама? Ну что ж, она ведь у нас уже три дня, так что меня это не слишком удивило; люди обычно довольно быстро начинают его замечать. Первыми, разумеется, — дети, но могут его увидеть и взрослые — особенно те, что живут с открытой душой. Сперва им кажется, что свет вокруг какой-то странный, потом рядом вдруг словно расцветает что-то похожее на кисть золотистого винограда, а потом, в один прекрасный день...

— *Джем! Бам!*

— Может, вы с Розетт немного погуляете?

Анук насмешливо на меня посмотрела. Розетт, увлеченная пением, еще и дудела в пластмассовую трубу — слишком громко, мешая мне слушать *шепот*, который сегодня для меня был особенно важен; это тот самый шепот, который Оми называет *васваас*, «шепот Сатаны». Только

«шепот» Алисы звучал пока слишком тихо и застенчиво, так что мне не удавалось расслышать его достаточно хорошо. Возможно, подумала я, если б мы остались с ней одни, то с помощью обычной «кухонной» магии, например с помощью варки варенья...

Сперва я даже не пыталась вызвать девочку на разговор. Я произносила длинный монолог, не требовавший от нее никаких ответов: рассказывала о варке джема, об Арманде, о шоколадной лавке, о Ру, оставшемся в Париже, о нашем судне, об Анук и Розетт и, разумеется, о персиках.

— Сегодня мы их варить еще не будем. Засыплем сахаром и оставим до завтра; сахару нужно килограмм на килограмм. Но сначала, конечно, нужно выбрать листья и вынуть косточки. Персики мы порежем и сложим вот в этот медный котел — медная посуда вообще лучше всего для готовки, потому что быстрее нагревается. Затем добавим сахар и деревянной ложкой как бы вомнем его в персики. Розетт эта часть работы нравится больше всего... — я улыбнулась, — потому что тут легче всего перепачкаться. А еще потому, что *пахнет* просто чудесно...

Я заметила, как у Алисы затрепетали ноздри.

— После чего мы добавим в персики корицу, — продолжала я. — Лучше использовать палочки, а не порошок. Каждую палочку нужно разломить пополам. Трех-четырех вполне достаточно...

Летний аромат сменился осенним; запахло кострами, Хеллоуином и лепешками с корицей, которые пекут прямо на улице. И подогретым вином с пряностями, и жженым сахаром...

— Ну, как тебе?

— Замечательно, — сказала Алиса. Бриллиантовая сережка в ноздре снова вспыхнула, поймав отблеск света. — А теперь что?

— А теперь немного подождем. Накроем котелок полотенцем и оставим на ночь. Затем утром растопим плиту и доведем джем до кипения, постоянно помешивая. Кипеть он должен не больше четырех минут, после чего можно раскладывать его в банки на зиму.

Она быстро на меня посмотрела.

— На зиму?

— Конечно, зимой меня уже здесь не будет, — сказала я, — но персиковый джем действительно вкуснее всего зимой, когда ночи такие длинные, а окна покрыты морозными узорами. В такие холодные дни каждая банка такого джема таит в себе запас солнечного света и тепла...

— А мне показалось, что вы, может быть, все-таки здесь останетесь... — Она, похоже, совсем приуныла.

— Извини, Алиса, но остаться мы никак не можем, — сказала я.

— И когда же?.. — Этот вопрос она задала почти шепотом.

— Скоро. Самое большее — недели через две. Но ты не волнуйся. Мы тебя не бросим.

— Вы возьмете меня с собой в Париж? — спросила она, и в глазах ее вдруг вспыхнула радость.

— Там посмотрим. Надеюсь, мне не придется этого делать. — Я повернулась и посмотрела прямо на нее. — Надеюсь, мы сможем найти решение и получше — от чего бы ты сейчас ни стремилась убежать. Скажи, а в Маро есть хоть кто-нибудь, кому ты доверяешь? Может, какой-то твой родственник? Или учитель?

Алиса вздрогнула, услышав слово «учитель».

— Нет, — сказала она.

— Но ведь ты *ходишь* в школу, правда? — сказала я. — В ту маленькую школу, что напротив церкви?

Алиса снова вздрогнула.

— Ходила.

Ну вот, значит, причина снова в ней, подумала я, в Инес Беншарки. Я даже имени этой Женщины в Черном не упомянула — и все же ее тень снова оказалась достаточно велика, чтобы мгновенно затмить крошечный проблеск света в душе этой девочки. *Уж не ее ли тени* так сильно боится Алиса? От чего она так хочет убежать?

— Разве ты не стала бы скучать по родным, уехав в Париж? По родителям? По сестре?

Алиса молча покачала головой. Тот всплеск надежды, что осветил ее лицо, погас; теперь глаза ее опять мрачно горели затаенным гневом.

— Неужели ты решилась бы и деда бросить? *Уж по нему-то* ты точно стала бы скучать.

Это был пробный выстрел, но я слышала в ее голосе искреннюю любовь и нежность, когда она говорила о старом Маджуби и о посаженном им деревце хурмы.

Алиса отвернулась, и я заметила, как по щеке у нее покатились слеза. Сейчас она выглядела совсем юной, даже моложе Анук, и я, не задумываясь, обняла ее и прижала к себе. Она на мгновение застыла, но потом расслабилась, опустила голову мне на плечо и тихо, почти беззвучно, разрыдалась, скрестив руки на груди и изо всех сил вцепившись ногтями себе в локти.

Пусть выплачется, решила я. Это иногда помогает. Нас окутывал такой мощный аромат персиков, что порой он казался почти невыносимым.

Снаружи ветер упрямо стучался в окно. Когда дует Отан, здешние фермеры специально обрывают листья на фруктовых деревьях, чтобы уменьшить силу сопротивления ветвей, а зреющие фрукты стряхивают прямо на землю. Чужаку подобное обращение с садом может показаться чуть ли не жестоким, но если этого не сделать, ветви будут попросту поломаны, а урожай загублен. То ухаживаешь за этими деревьями, как за больными детьми, говаривала моя подруга Фрамбуаза,^[39] а то берешь и безжалостно раздеваешь их догола. Собственно, и с настоящими детьми примерно то же самое. Излишняя чувствительность порой вредна всем.

Я не выпускала Алису из объятий, пока ее рыдания не начали стихать. Затем спокойно спросила:

— Алиса, что случилось в ту ночь?

Она лишь молча посмотрела на меня.

— Пойми, я хочу тебе помочь. Но сперва мне нужно понять, что с тобой происходит. Скажи, почему ты, совсем еще юная девушка, вдруг решила, что жить больше не стоит?

Я боялась, что она так и не ответит. Но Алиса, помолчав, вдруг заговорила прерывающимся голосом:

— Кто-то однажды сказал мне: «Когда наступает месяц рамадан, двери рая открыты настежь, а двери ада, где горит дьявольский огонь, крепко закрыты, и сами дьяволы закованы в цепи». Это означает, что если человек умрет во время рамадана...

Она умолкла и снова отвела глаза.

— То он не попадет в ад? — закончила я за нее.

— Наверное, для вас это звучит довольно-таки дико?

— Ты так думаешь, потому что я не мусульманка? Но я ведь и не христианка, и в ад я не верю. Однако твои слова вовсе не кажутся мне такими уж дикими. Просто душа твоя полна горя и смятения.

Алиса только вздохнула.

— Но это пройдет, — продолжала я. — Даже если что-то кажется тебе абсолютно безнадежным, какое-то решение проблемы все же отыщется. И я обещаю: мы такое решение найдем. Тебе не придется справляться со своим горем в одиночку.

Она еле заметно кивнула в знак благодарности и сказала:

— Только вы никому об этом не говорите. Об этом нельзя говорить ни с кем из моей семьи. Да и вообще ни с кем. Обещаете?

— Обещаю.

Она села за стол и принялась водить концом пальца по старым шрамам на деревянной столешнице. Снаружи ветер словно удвоил силу, заставляя

поскрипывать старые свесы крыши и все время что-то шепча и насвистывая. Такой ветер всегда делает Розетт особенно разговорчивой; и я очень надеялась, что сегодня ветер поможет мне разговорить Алису.

— Ты можешь сказать мне все, что угодно, — сказала я. — Держу пари: что бы это ни было, мне доводилось видеть вещи и похуже.

— Похуже? — переспросила Алиса.

А я подумала: сколько же мест я повидала в жизни, сколько лет провела в странствиях, сколько пережила за эти годы... Смерть матери, потерю друзей, миллион обиденных жестокостей и миллион неожиданных вспышек нежности...

Я видела восход солнца над горами, на которые никогда не ступала нога человека; видела, как солнце садится, скрываясь за зданиями таких городов, где каждая пядь пространства кишит людьми, и все они толкают друг друга и отчаянно сражаются за жизнь. Я рожала детей. Я любила. Я изменилась куда сильнее собственных ожиданий. Я видела, как одни люди умирают в глухих переулках, а другие ухитряются выжить в самых невероятных обстоятельствах; я знала счастье, и беспросветную тьму, и горькое горе; но единственное, в чем я и до сих пор совершенно уверена: жизнь — это великая тайна; жизнь — это вечные перемены; жизнь — это то, что моя мать называла магией, а магия жизни может все...

Я попыталась объяснить все это Алисе. Очень трудно выразить подобные вещи словами. Впервые с тех пор, как я приехала в Ланскне, я пожалела, что моей *chocolaterie* больше нет; мне не хватало аромата тающего шоколада, серебряного горшочка и чайных чашек на кухонном столе — всего того, что позволяет легко разговаривать и без слов. У меня не было желания бросать вызов вере Алисы. Но рамадан не позволял мне прямо сейчас взять и сварить для нее шоколад. А значит, я не могла утешить ее так, как у меня получается лучше всего; квадратный кусочек шоколадной плитки, если сунуть его в рот, способен порой исцелить что угодно; а иногда он действует как волшебная шапка-невидимка из детских сказок...

Вдруг за окном послышался какой-то странный звук — словно кто-то царапал оконное стекло. Может, просто ветка куста или дерева стучится к нам в дом, раскачиваемая безжалостным ветром? Но, подняв глаза, я увидела за окном чье-то лицо; и этот кто-то пытался заглянуть внутрь сквозь полузакрытые ставни, прижав к стеклу круглый нос. Я заметила, как расширились от изумления два больших темных глаза, увидев и узнав ту, что сидела рядом со мной...

За окном стояла Майя.

Глава восьмая

Суббота, 21 августа

Заметив девочку, Алиса мгновенно скрылась наверху, но Майя уже успела ее разглядеть. Придумывать объяснения было поздно; я отворила дверь и спокойно сказала:

— А, это ты, Майя.

Она улыбнулась мне. Белый Отан чувствовался и в ее глазах, и в растрепанных волосах, и в разрумянившихся щечках. На Майе были брючки из хлопчатобумажной ткани и майка с ромашками. А под мышкой — вязаная игрушка, то ли кошка, то ли кролик; игрушка явно была любимой и поэтому выглядела изрядно потрепанной.

— Ты сама сказала, что мне можно прийти поиграть с твоей маленькой дочкой, — заявила Майя.

— А Розетт сейчас где-то на улице, — сказала я. — Хочешь, я ее позову?

Девочка смотрела куда-то за открытую дверь соседней комнаты.

— Я видела здесь нашу Алису.

Я кивнула.

— Она здесь прячется? — спросила Майя.

— Да, — сказала я.

— А почему?

Я внимательно на нее посмотрела и спросила:

— Ты умеешь хранить тайну?

— Ага. А Оми мне можно рассказать?

Я покачала головой.

— Нет, Майя. Нельзя. Ни Оми, ни дедушке — твоему *джиддо*. Давай это будет только наша с тобой тайна? И мы ее сохраним, хорошо?

— Даже Дуа нельзя сказать? Она моя лучшая подруга.

Я снова покачала головой.

— Нет, ты никому не должна ничего говорить. Алиса живет у нас, потому что сама так хочет. Но ей бы не хотелось, чтобы об этом узнал кто-то еще.

— А почему она у вас живет?

— И чтобы это кто-то узнал, она тоже не хочет.

— Ой, — сказала Майя, — а можно я тоже останусь?

— Не думаю, что это хорошая мысль. Но ты можешь приходить сюда в

любое время, когда захочешь. И до тех пор, пока ты никому ничего рассказывать не будешь. И будешь вести себя очень, *очень* хорошо...

Она сделала шаг от порога и спросила:

— Что это ты такое готовишь?

Я объяснила.

— Ой, а можно я попробую?

— Конечно, можно, но когда все будет готово. Вы с Розетт сможете наклеить на банки этикетки. Как тебе такое задание?

— А можно Дуа тоже сюда придет? Она уже большая, больше меня. Она тоже умеет хранить тайну.

Я вздохнула. Это будет, пожалуй, уже слишком. Но, с другой стороны, Майе всего пять лет и, возможно, Дуа сумеет удержать ее от излишней болтовни. И потом, меня весьма интересовала маленькая дочка Инес Беншарки; если мне удастся с ней познакомиться, я, возможно, сумею кое-что узнать и о ее матери.

— А где Дуа сейчас? — спросила я.

— Дома. Они с мамой занимаются всякими домашними делами. Дуа вообще выходит на улицу, только когда ее мама спит.

— Где же они живут?

— Вместе с Соней, конечно. Но мне там играть не разрешают, и мы с Дуа всегда играем где-нибудь еще. У нас есть одно секретное место, особенное... — Майя вдруг умолкла. — Только это тайна.

Я заметила, что, пока мы с Майей болтали, Алиса тихонько спустилась, села на ступеньку лестницы и сидела там молча, обхватив руками колени, с застывшим от напряжения, бледным лицом. Майя тоже ее заметила и пообещала:

— Не бойся, Алиса, я никому не скажу, что ты здесь. *Обещаю!*

Некоторое время Алиса явно пребывала в смятении, но потом как будто немного расслабилась и спросила:

— Ладно, я тебе верю. Как там все?

Майя пожала плечами.

— Да вроде ничего. Правда, все тебя ищут. А *джиддо* и дядя Саид вообще все время теперь молчат и ни с кем не разговаривают. Оми говорит, что они и *сами хороши*, только я не знаю почему. А еще Оми печет печенье с тмином к сегодняшнему *ифтару*. Она говорит, что не беда, если немного попробовать и проверить, хорошо ли получилось. А *джиддо* считает, что пробует она слишком часто. Он говорит, что там уже и *половины как не бывало*.

Я улыбнулась, представив все это себе. Интересно, а ссора между

старым Маджуби и Саидом возникла из-за главенства в мечети? Оми вполне прозрачно намекнула, что между ними имел место серьезный конфликт. Вот уж действительно ирония судьбы — оба они, и Рейно, и старый Маджуби, в итоге оказались в похожей ситуации, обоих сменили более молодые священники, более открытые новым веяниям.

Примерно так я и сказала Алисе, когда Майя ушла. Девушку, похоже, мои слова очень удивили.

— Так *вот* как вы думаете? Если да, то вы ошибаетесь. Проблема вовсе не в моем дедушке. *Он-то* как раз и не считает, что мы должны жить как в Средние века. *Он* никогда мне не указывает, чем заниматься, что носить, с кем дружить. И *он* никогда не выходит из себя, если я остановлюсь поговорить с кем-то из мальчиков с другого берега реки...

Она вдруг умолкла и отвела глаза.

— А твой отец именно так и поступает? — спро-сила я.

Алиса слегка пожала плечами — очень характерный для девочки-подростка жест — и сказала:

— Не знаю...

И я больше ничего спрашивать не стала. Прогресс и так был налицо. Все свое внимание я теперь переключила на медный котел с персиками, источавшими чудесный осенний аромат. Персики — наверное, самые лучшие фрукты для приготовления джема: сладкие, но все же относительно твердые; после варки их золотистая мякоть приобретает темно-оранжевый оттенок. Мой способ варки джема позволяет кусочкам персика остаться целыми и сохранить не только вкус, но и аромат. Итак, сегодня осталось всего лишь засыпать персики сахаром и оставить до утра, накрыв куском муслина, чтобы дали сок; а утром поварить их несколько минут и большой ложкой разложить по чистым стеклянным банкам, которые мы потом уберем в кладовую на зиму.

Есть что-то очень успокаивающее в ритуале варки варенья. Он всегда связан с мыслью о кладовой, полной припасов, об аккуратных рядах банок на полках, которые так приятно доставать зимним утром, в самое темное время года, когда чашка горячего *chocolat au lait*^[40] с толстым ломтем свежего хлеба, намазанного прошлогодним персиковым джемом, воспринимается как обещание солнечного света. Мысли о полной припасов кладовой — это всегда мысли о доме, о четырех каменных стенах и крыше и о том, что времена года всегда следуют друг за другом, всегда возвращаются с очаровательной привычностью и ты год за годом всегда встречаешь их в одном и то же месте. Вкус персикового джема — это и есть вкус дома.

— Ну вот, — сказала я, накрывая котел чистой тряпицей. — А завтра мы это сварим и разложим по банкам.

Алиса молча кивнула.

И я решила, что не стоит пытаться вновь вызвать ее на откровенность. Неожданное появление Майи нарушило тонкую связующую нить, которую я с таким трудом между нами протянула. Но тем не менее связь *возникла*; и я не сомневалась, что мне со временем удастся снова ее возродить. А пока что к нам в дом приглашены гости, и надо к этому подготовиться: составить меню, что-то испечь. И какова бы ни была тайна Алисы...

Она, как и эти персики, может пока подождать.

Глава девятая

Воскресенье, 22 августа

Отец Анри Леметр сегодня очень занят. Утренняя месса в Ланскне, затем посещение Флориана, Шанси и Пон-ле-Саула. Когда к списку его приходов прибавился Ланскне, ему пришлось отказаться от ежедневных служб в более мелких общинах, но воскресная месса — это для жителей всех селений на берегах Танн по-прежнему святое. И я, стоя на мосту, слышу голоса церковных колоколов, которые доносит сюда ветер Отан: двойной перезвон колоколов церкви Сен-Жером, колокола-близнецы церкви Святой Анны во Флориане и очень характерный звук небольшого колокола часовни в Шанси. Когда воздух буквально пропитан религиозной активностью, мне просто не годится бездельничать, однако я стою здесь без дела и без сутаны, а потому выгляжу как какой-то турист.

И все же прятаться я не стану. Нет, отец мой. И пусть бывшие прихожане думают обо мне что хотят. Вот они идут мимо меня в церковь — мужчины в воскресных костюмах и шляпах, низко надвинутых на лоб из опасений, что их сорвет ветер; женщины в туфлях на высоких каблуках, в которых не очень-то удобно идти по булыжной мостовой, так что походка получается весьма неуверенная, — и на лицах у всех этих людей отражается одновременно и стыд, и какое-то нелепое торжество. Непослушные овцы, которые поняли, что пастушья собака занозила лапу колючкой. Представляю себе их мысли: *Рейно получил по заслугам. Ничего, это пойдет ему на пользу — пусть не думает, что может не считаться с законом.*

Теперь соответствующее распоряжение епископа — только вопрос времени. Возможно, он просто поручит отцу Анри Леметру передать весть о моем переводе на новое место — или в какую-нибудь дальнюю деревню, где моя репутация пока не считается подмоченной, или в один из приходов какого-нибудь большого города, Марселя или Тулузы, чтобы там я *научился ценить* общественное и межрасовое *entente cordiale*. Впрочем, отец Анри настойчиво уверяет меня, что это отнюдь не наказание, а один из способов церкви должным образом использовать имеющиеся у нее человеческие ресурсы, направляя их туда, где они более всего нужны. И не дело, когда тот или иной священник пытается сам решать подобные вопросы. Хороший священник *должен* обладать смирением и готовностью принести церкви любую жертву; он должен постоянно заглядывать в сокровенные глубины

своей души и с корнем выкорчевывать проросшие там сорняки эгоизма и гордыни. Но пойми, отец мой, я ведь прожил в Ланскне почти всю жизнь! Я здесь родился, и этот городок с его булыжными мостовыми и неровными рядами домов мне дорог. Я люблю окрестности Ланскне с их пестрым покрывалом крошечных частных полей и длинных полос фермерских угодий. Люблю этот обжигающий ветер, и эту реку, и это небо. Хотя в целом здешние места ничем особо не примечательны — они дороги только тем, кто считает их своим домом.

На днях я заявил отцу Анри, что у священника нет друзей. В лучшие времена у него есть последователи; в плохие — только враги. Но, если не считать призвания, данных обетов и тому подобного, священник должен быть не просто человеческим, а человечнее всех прочих; и, каждый день проходя по туго натянутому высоко над землей канату своей веры, он должен понимать: если он покачнется и упадет, те, что аплодировали ему вчера, сегодня всей стаей накинутся на него, купаясь в его позоре, как в грязной луже, и будут страшно довольны тем, как низко он пал.

Мои овцы уже почти готовы отвернуться от меня, от своего пастыря. Сегодня утром со мной мало кто поздоровался. Меня приветствовали Гийом Дюплесси и Генриетта Муассон, а вот Шарль Леви смотрел испуганно, да и Жан Пуату — кстати, я был о нем лучшего мнения, — направляясь в церковь, сделал вид, что разговаривает с Симоном Кюссонне и не замечает меня. Почти все меня игнорируют — кто как умеет. Луи Ашрон демонстрирует откровенное презрение; Жолин Дру, похоже, огорчена, но непреклонна. У Жоржа Клермона вид довольно жалкий и виноватый, зато Каро Клермон торжествует и, как всегда, очаровательна.

Ну конечно же, это его рук дело! Вряд ли это удастся доказать, однако...

Неужели вы полагаете, что он действительно уедет?

О да! Это только вопрос времени. У него всегда был такой сложный характер. Помните, когда Вианн Роше...

Ш-ш-ш! Тише. Вон он идет.

Они вереницей тянулись через мост к церкви, низко опуская голову, поскольку ветер дул им прямо в лицо. Погода явно менялась; небо из голубого стало серо-синим, цвета макрели. В ветре я слышал какие-то голоса, вторившие звону колоколов.

А без сутаны он выглядит совсем иначе.

С какой это стати он так на нас пялится?

Должно быть, Отан совсем его с ума свел.

Что ж, Каро, может, он и свел меня с ума. Но я наконец-то

почувствовал в душе полную пустоту — такое ощущение, будто голова моя была полна гремящих семян, но ветер подхватил их и унес прочь. Мне казалось, что я нужен Ланскне; мне казалось, что это селение всегда будет моим королевством, моим приходом, моим убежищем, моим домом. Люди называли меня «отец». А теперь...

— *Отец мой*, — раздался у меня за спиной чей-то голос, — могу я предложить вам что-нибудь выпить?

Жозефина в церковь не ходит. И я всегда знал, по какой причине. Она — в отличие от Каро Клермон — никогда не делала тайны из своей неприязни ко мне; тем более странно с ее стороны искать моего общества сейчас, когда большая часть деревни разделяет ее мнение; а уж то, что она столь гостеприимно приглашает меня к себе, и вовсе кажется чуть ли не извращением.

Возможно, ей просто жаль меня? Чудесно! Только этого мне сейчас и не хватало. Чтобы меня пожалела Жозефина Бонне и отвела к себе домой, точно бродячего пса...

Я обернулся и увидел, что она улыбается.

— Я подумала, что вам бы неплохо сейчас выпить кофе.

— А что, я так плохо выгляжу?

Она пожала плечами.

— Бывало, я видела вас в куда лучшей форме. Послушайте, я испекла яблочный пирог. Не хотите ли отведать кусочек? За счет заведения?

Я даже зубами скрипнул. И все-таки я понимал: она предлагает это с самыми лучшими намерениями, хотя у нее нет ни малейших причин любить меня или предлагать мне утешение; но тем не менее она открыто выражает мне сочувствие, словно бросая вызов Каро и ее ядовитым жабам. Из всех людей, которых я когда-либо здесь обидел, именно Жозефина, как мне казалось, должна была бы проявлять какое-то сочувствие ко мне. Я вдруг почувствовал, что тронут, сказал:

— Вы очень добры.

И пошел за ней — может, и не совсем как собака, но почти столь же покорно. Наш епископ, наверное, одобрил бы это, подумал я. А вот Вианн Роше, наверное, восприняла бы происходящее со смехом, как шутку.

Жозефина принесла мне пирог со взбитыми сливками, а в кофе плеснула капельку коньяку. У нее круглое лицо и коротко подстриженные светлые волосы, и она совершенно не похожа на Вианн Роше, но все же в ее манере вести себя есть что-то от Вианн. Например, привычка тихонько ждать, улыбаясь одними глазами. Я ел; как ни странно, оказалось, что я страшно голоден. Хотя я и думал, что в последние дни напрочь утратил

всякий аппетит.

— Вианн пригласила меня на обед, — сказала Жозефина. — Надеюсь, вы не откажетесь пойти со мной?

Я покачал головой.

— Спасибо, но, по-моему, не стоит...

— Я была бы так рада, если бы вы согласились.

Я посмотрел на нее с подозрением. Это что же, какой-то трюк, имеющий целью меня унижить? Да нет, она, похоже, и не думает смеяться. Наоборот, насколько я понимал, выглядела она скорее озабоченной; и руки у нее на коленях как-то беспокойно двигались, как это часто бывало когда-то, еще до первого приезда сюда Вианн Роше. В те времена Жозефина Мюска была в Ланскне таким же изгоем, каким теперь стал я; каждую неделю эта печальная молчаливая женщина исповедовалась мне в своих наклонностях клептоманки, а ее муж, Поль-Мари, исповедовался в том, что регулярно совершает над ней насилие.

Возможно, именно поэтому она меня и возненавидела. Потому что я знал все ее тайны. Потому что я был единственным, кто знал, что муж ее бьет. И все же позволял Полю-Мари расплачиваться за столь тяжкий грех всего лишь неоднократным прочтением «Аве, Мария», но сам ни во что не вмешивался. С тех пор Жозефина в церкви и не бывает. Ведь Бог ее не защитил. Но, что гораздо важнее, я тоже не защитил ее — я был связан по рукам и ногам святыми обетами и тайной исповеди.

И все же сегодня мне показалось, будто вернулась та, прежняя, Жозефина — или, по крайней мере, ее призрак. Теперь она, правда, всем кажется очень уверенной в себе, и, похоже, никто, кроме меня, не замечает, что это не совсем так; люди не видят этой вечной морщинки у нее между бровями; не обращают внимания на то, как при разговоре она отводит глаза — точно лгущий ребенок. Что-то у нее на уме, подумал я; что-то такое, в чем ей хотелось бы исповедаться. Что-то связанное с Вианн Роше...

— Послушай, Жозефина, — сказал я. — Я ценю твою доброжелательность, но спасать меня вовсе не нужно. Ни Вианн, ни тебе. Я вполне способен о себе позаботиться.

Она недоуменно захлопала глазами:

— Так вы думаете, что я *поэтому* вас пригласила?

Ее удивление, несомненно, было абсолютно искренним. Что-то явно ее тревожило, но эта тревога не имела ни малейшего отношения ни ко мне, ни к тем неприятностям, что на меня свалились.

— В чем дело, Жозефина? — спросил я. — Ты поссорилась с Вианн?

— О нет! Вианн — моя самая любимая, самая дорогая подруга...

— В таком случае почему же ты не хочешь идти к ней одна? — Я говорил с нею на редкость мягко; я никогда не разговариваю подобным образом с такими особами, как Каро Клермон. — Разве ты не хочешь с ней повидаться?

Готов признать: целился я наугад. Но Жозефина вздрогнула, и я понял, что попал в цель.

— Не то чтобы не хочу, — промолвила она, — но... люди со временем так меняются... — Она вздохнула. — Я не хочу ее разочаровывать.

— А почему ты думаешь, что разочаруешь ее? — спросил я.

— У нас с ней было столько планов! И она так много сделала, чтобы помочь мне. Я всем ей обязана! А теперь... — Она подняла глаза, посмотрела на меня в упор и спросила: — Месье кюре, вы можете оказать мне маленькую услугу?

— Все, что угодно, — сказал я.

— Я уже восемь лет не хожу в церковь, и мне стало казаться, что дальше так жить нехорошо. Но сейчас вы здесь, и я бы хотела... Скажите, вы не могли бы выслушать мою исповедь?

Это было так неожиданно, что я заколебался.

— Разумеется, но отец Анри был бы...

— Отец Анри меня совершенно не знает, — сказала она. — Да и все мы здесь ему безразличны. Ланскне для него — просто еще одна деревня, еще одна ступенька на лестнице, ведущей в Рим. А вы здесь уже сто лет, отец.

— Ну, не совсем сто... — сухо вато возразил я.

— Но вы меня выслушаете?

— Но почему именно я?

— Потому что вы способны *понять*. Потому что вы хорошо знаете, что такое стыд.

Я молча допил свой *café-cognac*. Жозефина, разумеется, права. Это я знаю хорошо. Я отлично знаком с этой Сциллой, как и с Харибдой моей извечной гордыни, которая столько лет была моей верной спутницей. И голос Сциллы моего стыда вечно звучит в сердце, напоминая о просчетах и падениях, однако Харибда моей гордыни с пылающим мечом заслоняет мне путь к прощению.

Два слова. *Прости меня*. Вот и все, что требуется. И все же я никогда этих слов не произносил. Ни во время исповеди, ни родственнику, ни другу, ни самому Всевышнему...

— Вы примете мою исповедь, отец мой?

— Конечно.

Глава десятая

Воскресенье, 22 августа

Сегодня утром снова пришла Майя и заявила, что хочет помочь Алисе варить персиковый джем. Они с Розетт целых полчаса клеили на банки разноцветные этикетки и все перепачкались, разрисовывая их: Розетт изображала на наклейках своих любимых кроликов, обезьян и летающих змей, а Майя, художница не столь опытная, все же вполне выразительно нарисовала разные фрукты — ананасы, клубнику и огромных размеров кокосы (специально для Оми, объяснила она); на каждой наклейке они печатными буквами писали слово РЕЕСН (а иногда и СНЕЕР).^[41]

В пять лет легко обрести друзей. Все начинается с застенчивого кружения — так поступают и маленькие любопытные зверьки. Ну а языкового барьера в таком возрасте и вовсе не существует; не имеют значения также культура и цвет кожи. Розетт с восхищением трогала золотой браслет с побрякушками у Майи на запястье, а Майя с тем же восхищением гладила рыжие кудряшки Розетт. Через пять минут они уже совершенно освоились; Розетт пела и болтала на своем *личном* языке, и Майя, похоже, прекрасно ее понимала, с восторгом глядя на нее круглыми блестящими глазами.

Я заметила, что Бам, и всегда-то страшно любопытный, сегодня подошел к девочкам совсем близко, желая обследовать гостью. Я видела его совершенно отчетливо, особенно когда он мелькал в солнечных лучах: длинный хвост, усатая мордочка, в глазах так и светится ум. И Майя тоже явно его видела — впрочем, ей ведь всего пять лет.

Покончив с наклейками, обе малышки решили поиграть на улице, Анук ушла на очередное свидание с Жанно Дру, а мы с Алисой остались на кухне; нам еще нужно было наполнить банки персиковым джемом. Алиса с утра была как-то особенно молчалива; лицо замкнутое, глаза пустые. Я попыталась ее расшевелить, но вскоре поняла, что ответной реакции не дождусь.

Возможно, это было связано с тем, что сегодня к обеду мы ждали гостей. Алиса знала, что я пригласила Жозефину с сыном, и, разумеется, понимала, что ее присутствие в доме непременно создаст определенные трудности. Но если бы я внезапно все отменила, это могло вызвать ненужные пересуды. Впрочем, Алиса всегда может просто уйти к себе в комнату. А у меня были личные, *особые* причины стремиться к

откровенному разговору с Жозефиной.

— У нее есть сын, — сказала я, — и ему уже восемь лет, а она так ничего мне об этом и не сообщила.

Я закрывала банки крышками, а Алиса мокрой тряпкой их обтирала. Банки, накрытые целлофаном и перетянутые резинкой, были похожи на бумажные фонарики, наполненные золотистым, как зрелая дыня, светом, а кухня буквально пропиталась умиротворяющими запахами горячего сахара и корицы.

— У кого есть сын? — спросила вдруг Алиса.

Только тут я поняла, что случайно высказала свои мысли вслух.

— У моей подруги, — сказала я. — У Жозефины.

У моей подруги. До некоторой степени эти слова кажутся мне почти такими же незнакомыми, как и слово «дом». Друзья, подруги — их мы всегда оставляли первыми и никогда больше к ним не возвращались; так приучила меня мать; и даже теперь я с некоторой неохотой вызываю к жизни эти слова, словно опасаясь выпустить на волю неких духов, которые могут стать очень опасными.

— А что с ней случилось? — спросила Алиса.

— Она совершенно *себя переделала*, — сказала я.

В общем, полагаю, так оно и есть. Жозефина действительно полностью переделала себя. Разве могла она поступить иначе — после того, что ей довелось пережить? Кстати, я же и стала главной вдохновительницей ее обновления. Я научила ее тем приемам, которыми пользуюсь сама. И теперь впервые за все это время начала понимать, почему моя мать никогда не оглядывалась назад; почему никогда не возвращалась в те места, где когда-то побывала, даже если мы обе успели эти места полюбить.

— Самое сложное в людях то, что они меняются. Порой до неузнаваемости.

— Именно так и случилось с вашей подругой?

Я пожала плечами:

— Возможно.

Медный котел наконец опустел. Похоже, мы с Алисой заполнили все имевшиеся в доме банки. Я всегда занимаюсь готовкой, если душа моя беспокойна; я люблю простые рецепты и с удовольствием мою, чищу и режу, понимая, что, если строго следовать правилам, кушанье никогда тебя не разочарует. Если бы так же просто было с людьми! Если бы так же просто было понять их души — и свою собственную!

— А что она сделала, ваша подруга? — спросила Алиса, заглядывая в

котелок. Потом провела пальцем по кромке; ей явно хотелось его облизать, однако она воздержалась. — Что она сделала для того, чтобы полностью себя переделать?

Хороший вопрос, подумала я. Когда я на днях заходила к Жозефине, она вроде бы страшно мне обрадовалась. И все же я здесь уже больше недели, а она...

— Это трудно объяснить, — честно призналась я, глядя на Алису. — Ведь очень многое в ней осталось прежним. Она, разумеется, выглядит теперь иначе — превратилась в блондинку, сделала короткую стрижку, — но внутри-то она прежняя Жозефина, импульсивная, добрая, порой чуточку сумасшедшая. И все же что-то в ней неуловимо переменялось, сделав совершенно неузнаваемой...

— Может быть, ей есть что от вас скрывать? — предположила Алиса. Я очень внимательно на нее посмотрела, а она продолжила: — Иногда такое бывает, и тогда ты даже с друзьями видаться не в силах. И не потому, что не хочешь их видеть, — просто чувствуешь, что и разговаривать-то с ними нормально не сможешь. — Алиса все-таки сунула палец в рот и старательно его облизала. — *Ну вот.* Теперь я пост нарушила! Что сказала бы моя мать, если б узнала?

— Я уверена, что твоей матери было бы все равно. Им всем сейчас хочется одного: знать, что с тобой ничего не случилось.

Алиса яростно замотала головой.

— Вы не знаете мою мать! Люди думают, что отец у меня такой строгий и неуступчивый, но это совсем не так. Да мать предпочла бы увидеть меня мертвой, чем узнать, что я опозорила семью.

— Я полагаю, — сказала я, — речь не о том, что ты до захода солнца облизала палец, испачканный ва-реньем?

Алиса неуверенно улыбнулась.

— Вы, наверное, считаете, что это глупо?

Я покачала головой:

— Нет, совсем нет.

— Но вы же не верите в религию.

— Ты ошибаешься. Я верю в самые разные вещи.

— Вы же понимаете, о чем я...

— Конечно, понимаю. — Я заставила ее сесть за стол и сама села напротив. Банки с персиковым джемом, стоявшие между нами, светились, как китайские фонарики. — В своей жизни я знала множество верующих людей, и все они верили в разные вещи и по-разному. Одни были хорошие, честные люди, веровавшие всем сердцем; другие использовали религию

как извинительный предлог для собственной ненависти к иноверцам или попросту желали навязать им свои правила...

Алиса вздохнула.

— Я знаю, что вы имеете в виду. Моя мать прямо-таки одержима соблюдением всяких мелких правил, но и слышать не хочет о *настоящем* важных вещах. Она вечно твердит: *не спи на животе, не пользуйся косметикой, не болтай с мальчишками, не носи это, не ешь того, не говори таких слов, не ходи туда...* Дедушка говорит, что Аллаху все равно, что ты ешь и что ты на себя надеваешь, пока у тебя сердце на месте, пока мы все друг другу небезразличны.

— Мне нравится твой дедушка, — сказала я.

— Мне тоже, — сказала Алиса. — Но с тех пор, как они с отцом поссорились, я почти не имею возможности с ним видаться.

— Почему же они поссорились? — спросила я.

— Моему дедушке не нравится *никаб*. Он говорит, что девочки в школе не должны его носить. Он не любит, когда Соня его надевает. Она ведь раньше никогда *никаб* не носила.

— Так зачем же она теперь его носит?

Алиса пожала плечами и сказала:

— Возможно, ей, как и вашей подруге, есть что скрывать.

Я думала над словами Алисы, пока мы с ней готовились к приему гостей. Ну, допустим, лепешки испечь нетрудно, но взбитое тесто для них, приготовленное по старому рецепту — с гречневой мукой и сидром вместо молока, — обязательно должно постоять пару часов. Такие лепешки можно есть и просто так, и с подсоленным сливочным маслом, и с сосисками, и с козьим сыром, и с луковым конфитюром, и со шкварками из утиного жира, и с персиками. Я помню, как пекла их для Ру и речных цыган в тот вечер, когда подожгли их плавучие дома. Я очень хорошо помню тот вечер. Искры над костром взлетали столбом, как фейерверк, и Анук танцевала с Пантуфлем, и Ру — тогда Ру был веселым, много смеялся, сыпал шутками, а свои длинные волосы стягивал на затылке куском лески и по палубе всегда ходил босиком.

Жозефины на той вечеринке, конечно, не было. Бедная Жозефина — она тогда в любую погоду носила свое клетчатое пальтишко и вечно ходила с распущенными волосами, чтобы скрыть синяки, слишком часто украшавшие ее лицо; бедная подозрительная Жозефина, которая никому не верила и уж меньше всего — речным цыганам. А они вели себя совершенно свободно, как им нравилось, и свободно странствовали по всей реке, и причаливали к берегу, где хотели, и всегда готовы были к любым

переменам, если эти перемены оказывались им по душе. Позднее, когда Жозефина сбежала от Поля-Мари, от его вечных оскорблений и побоев, она постепенно стала понимать, какова цена свободы речных цыган, и причиной тому послужило подоженное и вконец испорченное судно Ру; и то, что его друзья уплыли дальше без него; и то, что жители Ланскне не скрывали ненависти к тем, кто остается верен собственным принципам, кто предпочитает видеть звезды, а не уличные фонари, кто не платит налогов и не ходит в церковь; к тем, чье мнение *совершенно не совпадает* с мнением общественности. Сама до некоторой степени превратившись в изгоя, Жозефина теперь относилась к речным цыганам почти тепло. И у нее, бездетной, осиротевший без судна и друзей, Ру неожиданно пробудил материнские чувства. И вот тогда мне показалось, что Жозефина и Ру могли бы стать не просто друзьями, и все же...

Ты хотела, чтобы он принадлежал тебе, Вианн. И что в этом плохого?

На этот раз голос, звучавший у меня в ушах, не принадлежал ни моей матери, ни Арманде Вуазен. Это был голос Зози де л'Альба, которая и до сих пор иногда является мне во сне. Зози де л'Альба, которая спасла мне жизнь, потому что моя жизнь была нужна ей самой, и она ее чуть не заполучила. Зози — свободный дух, похитительница сердец; ее голос мне гораздо трудней игнорировать, чем голос любого другого из тех, кто мне нашептывает.

Ты хотела его заполучить, Вианн, и заполучила его. У Жозефины тогда не было ни малейшего шанса.

Дело в том, что Зози при всем своем коварстве всегда использовала для достижения своих целей скорее правду, чем обман. Она, точно в зеркале, демонстрировала каждому его отражение, вытаскивая наружу его тайную личину. Я знаю, что в каждом человеке таится тьма; я, например, со своей тьмой боролась всю жизнь. Но до появления Зози я и понятия не имела, как много в моей душе этой тьмы, как много в ней эгоизма и страха.

Королева Кубков. Рыцарь Кубков. Семерка Мечей. Семерка Дисков. Карты моей матери; их навевающий сны запах; знакомые лики.

Неужели Жозефина — это та поблекшая от времени Королева Кубков? Неужели Ру был ее Рыцарем? Неужели я — это вечно меняющая свой облик Луна, двуличная, способная оплести их обоих своей пряжей, как паутиной?

К трем часам домой вернулись Анук и Розетт, приведя с собой Пилу; все трое буквально задыхались от смеха, с трудом переводя дыхание после долгого пребывания на ветру.

— У Пилу есть воздушный змей, — рассказывала Анук, а Розетт весьма живо вторила ей с помощью жестов, — и мы все вместе его запускали вниз по течению реки. И с нами был этот его сумасшедший пес — честное слово, настоящий дурень. Один раз он даже прыгнул в реку, пытаясь поймать воздушного змея за хвост! И нам пришлось его оттуда вытаскивать, так что теперь у Розетт в волосах полно речной травы, а от нас так и разит мокрой собачьей шерстью.

— Неправда! — возмутился Пилу. — Влад — никакой не дурень! Он очень умный пес и прекрасно умеет ловить и приносить мне воздушных змеев. Он — настоящий ретривер! Между прочим, его предки — знаменитые собаки-рыболовы из Древнего Китая!

«Собачья рыба, — сказала Розетт с помощью жестов. — *Рыбная собака. Воздушная змеерыба*». И она в порядке иллюстрации исполнила вместе с Бамом короткий, но бурный танец.

Алиса, правда, этого не видела: она умчалась наверх, едва услышав собачий лай.

Анук громко крикнула ей:

— Да все нормально, выходи! Это всего лишь Влад. Ты вполне можешь сюда спуститься. Он тебя не укусит.

Сперва я была уверена, что Алиса ни за что не спустится. Но любопытство в итоге победило застенчивость, и она вначале выглянула из своего убежища, потом чуть спустилась и присела на ступеньке лестницы, поглядывая вниз сквозь перила. Пилу мельком на нее глянул, но его, похоже, куда больше интересовало тесто для лепешек, стоявшее на плите.

— Это к сегодняшнему вечеру? — спросил он.

— Верно. Ты лепешки любишь?

Пилу энергично закивал.

— Особенно когда их жарят прямо на костре! Речные люди всегда так делали. И ели их с сосисками и сидром.

— И часто тебе доводилось видеть речных людей? — спросила я. — Мне казалось, они давно уже сюда приплывать перестали.

— Нет, все-таки приплывали иногда, только я еще совсем маленьким был, а потом в Маро стало совсем беспокойно. Вот тогда, по-моему, мой отец с ними и уплыл насовсем. — И Пилу, пожав плечами, принялся изучать готовившиеся на плите кушанья.

А я снова вспомнила о Королеве Кубков, поискала в лице Пилу черты Ру, но никакого сходства не обнаружила. Светлые кудрявые волосы, выгоревшие на солнце; круглое лицо; курносый нос. В целом он, пожалуй, похож на Жозефину, особенно глаза, а вот от Ру в нем абсолютно ничего

нет. С другой стороны, Пилу, как и Розетт, любит и умеет рисовать...

Я вспомнила абстрактную картину в баре у Жозефины; вспомнила, какие у нее были глаза, когда она упомянула об отце Пилу. А потом вдруг вспомнила, что она, собственно, об отце Пилу *вообще ничего не сказала*; просто заявила, что Пилу — ее сын и больше ничей. Именно так отвечала и я сама, когда меня спрашивали об отце Анук; но как раз это-то меня и встревожило, когда я услышала те же слова от Жозефины; и встревожило, пожалуй, куда сильнее, чем следовало.

— Когда у тебя день рождения, Пилу?

Его, казалось, удивил мой неожиданный вопрос.

— Семнадцатого сентября, а что?

А у Розетт — двадцатого декабря. Какие близкие даты. Какие ужасно близкие!.. Но какое это, собственно говоря, может иметь значение, даже если мои подозрения оправдаются? Ру ведь не придает абсолютно никакого значения тому, что Анук — не родная его дочь. Почему же в *данном случае* должно быть иначе? И все же мысль о том, что Ру мог *это* знать и скрывал, что знает... Скрывал в течение восьми лет, четыре из которых прожил непосредственно здесь, в Ланскне, работая то у здешних фермеров, то на своем судне и снимая комнату у Жозефины...

Рыцарю Кубков есть что скрывать. Его лицо на карте, точно мрамор прожилками, испещрено мелкими трещинками-морщинами. Королева держит свой кубок с таким томным видом, словно жидкость в нем вызывает у нее тошноту. Дети, забрав с собой Влада, поднялись наверх и как-то удивительно там притихли. Ладно, пусть играют. Я прихватила с собой телефон и вышла на улицу, решив немного пройтись.

Ни одного послания от Ру! И телефон у него снова выключен! Я быстро набрала:

Ру, пожалуйста, свяжись со мной! Ты мне нужен...

Разумеется, *такой* текст я посылать не стала. Мне никогда и никто не был *нужен*! Если Ру захочет со мной связаться, он это сделает сам. И потом, что я ему скажу? Нет, мне нужно видеть его лицо. Нужно прочесть цвета его ауры...

Погода снова меняется. Я это еще раньше почувствовала, когда разговаривала с Оми на мосту. Ветер по-прежнему силен, но теперь у облачков в небе, похожих на ангельские лики, словно появилась грязная подкладка. Первая капля дождя упала мне на лицо, когда я снова поднималась к нам на холм...

Итак, грядет Черный Отан.

Черный Отан

Глава первая

Понедельник, 23 августа

Конечно, отец мой, я не могу рассказать того, что мне поведала Жозефина. Исповедь — официально она принята или нет — есть тайна, и предать тайну исповеди никак нельзя. Но, закончив свой рассказ, она, бедняжка, была бледна, как привидение, а я не находил слов, чтобы хоть как-то ее утешить и успокоить.

— Я просто не знаю, что же мне ей сказать, — растерянно повторяла Жозефина. — Она так гордилась тем, какая я стала! И ведь мир действительно распахнул предо мною все свои двери. Я готова была расправить крылья и улететь отсюда. А теперь что? Я осталась прежней, такой же, как все. И живу по-прежнему в Ланскне, на том же месте, и по-прежнему держу кафе, и потихоньку старею...

Я заметил, что, на мой взгляд, стареть ей еще рано, но она лишь нетерпеливо на меня глянула и воскликнула:

— А ведь я столько надеялась совершить! Столько разных мест повидать! Она словно напоминание о моих напрасных надеждах; а ведь она *все это* сделала ради меня! И у меня теперь такое чувство, будто я... — Жозефина в отчаянии стиснула кулаки. — Ах, да какой *смысл* сожалеть? Некоторые люди всю свою жизнь сидят, ожидая одного-единственного поезда, а под конец выясняется, что они даже до железнодорожной станции добраться не сумели.

— Вы исполнили свой долг, — сказал я.

Она поморщилась.

— Мой долг!

— Ну да. Кому-то из нас ведь нужно исполнять свой долг. Не могут же все быть такими, как Вианн Роше, — постоянно перебираться с места на место, ни к одному из этих мест толком не привязываясь, и никогда не брать на себя ответственность ни за что.

Она выглядела удивленной:

— Вы ее осуждаете?

— Я этого не говорил, — возразил я. — Но убежать от ответственности может каждый. Порой, чтобы остаться на прежнем месте, требуется гораздо больше усилий.

— Значит, вы именно так и собираетесь поступить? — спросила Жозефина. — Неужели вы сможете отказаться от вашей церкви и остаться

здесь?

Пришлось указать ей — причем довольно жестко, — что это она выразила желание исповедоваться, а я этого делать отнюдь не собирался.

Она улыбнулась.

— А *сами-то* вы когда-нибудь исповедуетесь, месье кюре?

— Конечно, — солгал я. Хотя, разумеется, это *не совсем* ложь. В конце концов, я ведь исповедуюсь перед *тобой*, отец. — Нам всем порой нужно с кем-то поговорить откровенно.

Она снова улыбнулась — улыбается она одними глазами.

— А знаете, мне с вами гораздо легче говорить, когда вы не в сутане.

Вот как? А мне без сутаны почему-то труднее общаться с людьми. В церковном облачении все как-то проще. Без него я — словно судно без якоря; так, одинокий голос среди великого множества других голосов, и никому, в общем-то, нет дела до того, что этот одинокий голос пытается сказать. Да и кому есть до меня дело? Кто теперь стал бы меня слушать?

Вианн мы нашли в саду; она пыталась разжечь под решеткой огонь. На ней были джинсы и блузка без рукавов; длинные волосы перевязаны желтым шарфом. Она ухитрилась отыскать относительно защищенное от ветра местечко, но огонь все равно разгораться не желал: воздух был слишком влажен от непролитого дождя. По всему саду Вианн развесила маленькие бумажные фонарики, но почти все их загасил ветер.

Она обняла и поцеловала Жозефину и улыбнулась мне.

— Я рада, что вы к нам зашли. Вы ведь останетесь, пообедаете с нами?

— Нет, нет. Я зашел только для того...

— Не надо мне ничего объяснять. Иначе сейчас вы скажете, что чересчур заняты делами своего прихода.

Пришлось признаться, что ничем таким я не занят.

— В таком случае поешьте с нами, ради бога. Или, может, вам есть *необязательно*?

Я улыбнулся.

— Вы очень добры, мадам Ро...

Она толкнула меня в плечо:

— *Вианн!*

А Жозефина сказала:

— Извините, месье кюре. Если б я знала, что она собирается применить насилие, я бы вас с собой не привела.

Вианн рассмеялась:

— Проходите в дом, выпейте по стаканчику вина. Дети уже там.

Я последовал за обеими женщинами в дом и неожиданно испытал некое замешательство, или удивление, или еще что-то, что даже определить не сумел бы. Но было очень приятно сидеть у плиты на старой кухне Арманды, которая показалась мне куда более тесной, чем обычно, — вероятно, потому, что четверо детей и весьма неопрятного вида собака играли за кухонным столом в какую-то шумную игру.

Игра была связана с громкими криками, лаем собаки, разбросанными по столу цветными карандашами и листками бумаги для рисования, уже покрытыми множеством выразительных рожиц, изображенных Розетт. Дети были настолько увлечены своим занятием, что мое появление прошло совершенно незаметно. Вскоре я различил среди них Алису Маджуби — она, впрочем, переменилась настолько, что узнать ее оказалось довольно трудно. На ней была вполне европейская одежда — голубая рубашка и джинсы; волосы коротко подстрижены — асимметричное каре примерно до подбородка; но самое удивительное — она смеялась! Ее маленькое живое личико прямо-таки светилось от возбуждения, вызванного игрой; похоже, все страшные воспоминания о недавних событиях полностью испарились из ее головы.

И я вдруг внутренне вздрогнул от мысли, что Алиса в свои семнадцать лет — в сущности, еще совсем ребенок, и все же ее сестру примерно в том же возрасте успели выдать замуж. В семнадцать лет человек еще балансирует на зыбкой грани между взрослостью и детством, и мир его полон всяких немислимых, зачастую воображаемых препятствий; иной раз ему кажется, что его жизненный путь вымощен битым стеклом, а уже на следующий день он представляется ему выстланным яблоневыми лепестками. Почти достигнув райских кущ, мы более всего стремимся поскорее оставить их позади. Я заметил, с каким выражением лица Вианн смотрела на детей, и мне показалось, что ее одолевают примерно те же мысли. Ее дочери, Анук, всего пятнадцать, но в ее глазах уже светится буйство, жажда воли, обещание странствий, бесконечные дороги, бесчисленные впечатления, яркие зрелища... Что там говорила Жозефина? *Некоторые люди всю свою жизнь сидят, ожидая одного-единственного поезда, а под конец выясняется, что они даже до железнодорожной станции добраться не сумели.* Анук до станции уже добралась. И я чувствую, что ей подойдет любой поезд.

Она обернулась, словно прочла мои мысли.

— Месье кюре!

Разумеется, тут же обернулись и остальные дети. Алиса на мгновение, похоже, слегка смутилась, но потом изобразила на лице легкое презрение,

даже вызов.

— Я никому ничего не сказал, — поспешил заверить я. — И никому не скажу, пока ты сама этого не захочешь.

Она застенчиво улыбнулась и отвела глаза. Это весьма характерный жест для них с сестрой: подбородок вниз, голову чуть влево; глаза потуплены, ресницы лежат на щеках. У Алисы этому движению теперь вторила и прядь волос, падавшая на щеку. Эта девочка прямо-таки невероятно красива, несмотря на свою юность — а может, как раз благодаря ей. Мне даже стало немного не по себе, со мной это часто бывает при виде женской красоты. Я ведь священник и не должен был бы замечать красивых женщин. Но поскольку я все-таки мужчина, я всегда их замечаю.

— Я решила полностью перемениться, — сообщила мне Алиса. — Вот и разрешила Анук и Розетт подстричь мне волосы.

Анук тут же с улыбкой пояснила:

— С одной стороны получилось немного короче, чем с другой, но, по-моему, все равно клево. Алиса теперь выглядит просто круто, вам не кажется?

Я сказал, что тут я не судья. Зато Жозефина, обняв Алису, сказала:

— Ты выглядишь прелестно!

Алиса улыбнулась ей.

— Вы ведь тоже так поступили, да? Решили полностью перемениться и сделали это.

По лицу Жозефины промелькнула какая-то тень.

— Тебе так кажется? Кто тебе сказал, что я полностью переменилась?

— Вианн.

И снова этот взгляд чуть искоса — словно легкая рябь на поверхности Танн.

— Да, Вианн, наверное, права, — сказала Жозефина. — Ну, что там у нас творится с тестом для лепешек?

Ее замешательство потонуло в восторженных воплях детей, и Алиса, по-моему, ничего не заподозрила. А вот Вианн явно что-то почувствовала — у нее невероятное чутье на невысказанные секреты и нерассказанные истории. Ее глаза, темные, как кофе-эспрессо, способны, кажется, разглядеть даже тени в человеческой душе.

Я оглядел гостиную. С тех пор как приехала Вианн с девочками, кое-что здесь изменилось, только я не смог бы сказать, что именно стало иначе. Может, виноваты свечи, что горят на каждой свободной поверхности? Или маленькие красные саше, подвешенные «на счастье» к притолоке входной двери? А может, дело в благовониях — сильном аромате сандалового

дерева? Или в доносящемся из-за окна запахе опавших листьев, который смешивается с запахом жарящихся на сливочном масле лепешек и щедро посыпанных специями сосисок, поджаренных на решетке?

— Надеюсь, вы достаточно проголодались? — спросила Вианн Роше.

И я вдруг почувствовал, что страшно хочу есть. Дождь уже практически висел в воздухе, и мы решили все же обедать под крышей, хотя большую часть кушаний Вианн готовила снаружи, чтобы дым от жарящейся еды сразу уносило ветром.

Она подала на стол и лепешки, и поджаренные сосиски, и утиное конфи, и террины из гусиной печени, и сладкий розовый лук, и жареные грибы с душистыми травами, и маленькие головки савойского сыра, запеченные в золе, и *pastis gascon*,^[42] и ореховый хлеб, и хлеб с семечками аниса, и оливки, и разные перцы, и финики. Из напитков имелись сидр, вино и *флос*, пенящийся напиток с фруктовыми соками для детей. Даже для собаки была приготовлена целая тарелка всяких остатков; наевшись, Влад свернулся клубком у огня и уснул, время от времени подрагивая хвостом и бормоча сквозь сон что-то смутно неприличное.

А снаружи набирал силу Отан, и уже слышен был стук первых дождевых капель по оконным стеклам. Вианн подбросила в очаг еще несколько поленьев, Жозефина поплотнее затворила дверь, а Анук запела песенку, которую я тоже слышал когда-то очень давно; это была печальная старинная песенка о ветре и о том, что он всегда берет то, что ему причитается:

V'la l'bon vent, v'la l'joli vent...

У Анук был приятный, хотя и непоставленный голосок; пела она, похоже, без малейшего стеснения. Розетт стала подпевать, помогая себе своими обычными жестами, а Пилу аккомпанировал им обеим, отбивая ритм по столешнице, хотя в его действиях было куда больше энтузиазма, чем умения.

— Давай, Алиса, — сказала Анук, — подпевай и ты.

Алиса смутилась:

— Но я совсем не умею петь.

— Так ведь и я не умею, — сказала Анук. — Ну же, давай!

— Но я *не могу*. Я не знаю как.

— Петь умеет каждый, — заявила Анук. — И точно так же каждый умеет танцевать.

— Только не у нас в доме, — возразила Алиса. — Они ничего этого не умеют. Во всяком случае, никогда больше этого не делают. А я раньше часто пела, когда маленькая была. Мы с Соней вместе пели. И очень любили подпевать певцам, которых слышали по радио, и даже танцевали под их песни. Даже мой дедушка иногда пел — раньше... — Она понизила голос. — До того, как появилась *она*.

— Ты имеешь в виду Инес Беншарки? — спросила Вианн.

Алиса кивнула.

Опять эта женщина!

— Надо сказать, брат очень о ней заботится, — заметил я.

— Он ей не *брат*, — бросила Алиса. И сколько же презрения было в ее голосе!

Я вопросительно посмотрел на нее.

— А кто же он ей тогда?

Алиса пожала плечами.

— Никто толком не знает. Одни говорят, что она его жена. Другие уверены, что она его любовница. Но, как бы то ни было, она над ним имеет прямо-таки невероятную власть. До пожара он то и дело к ней бегал.

Я глянул на Вианн.

— Вы это знали?

— Да, мне это сразу в голову пришло.

Я отпил глоток вина.

— Как же так? — сказал я. — Неужели вы за какую-то неделю ухитрились узнать о жителях этой деревни больше, чем я за столько лет?

Должно быть, в моем голосе прозвучала обида. Вполне возможно. Все-таки я *обязан* был бы знать, что творится в моем приходе. Все-таки люди именно *ко мне* приходят на исповедь — однако Вианн Роше со своей шоколадной лавкой успела узнать о Ланскне куда больше, чем я когда-либо знал. Вот пожалуйста, даже эти *maghrebins* беседы с ней ведут! И за восемь лет отношение к ней ничуть не изменилось.

Я выпил еще вина.

— Ох уж эта женщина! — сказал я. — Я же *чувствовал*: она что-то такое скрывает! А выглядит такой благочестивой, вечно кутается в покрывало. Ведет себя так, словно каждый мужчина только и хочет немедленно ее изнасиловать. Вечно глаза долу опустит, нос презрительно задерет, тогда как все это время...

— Ну, этого вы никак *знать* не можете, — сказала Вианн.

— Раз уж ее сородичи так считают... — начал было я, но она прервала меня:

— И все-таки это всего лишь слухи.

Наверное, она права. Вот проклятье, и почему она так часто бывает права?

— А как поживает ее дочка? — спросил я.

— Дуа? Она очень милая девочка, — сказала Алиса. — Отца своего она никогда не знала. По ее словам, он умер, когда она была совсем маленькая, — похоже, она действительно в это верит. Кариму, по-моему, на нее абсолютно наплевать. Он с ней даже никогда не разговаривает. Айша Бузана говорит, что *собственными ушами* слышала, будто Инес ей вовсе не мать и она вроде бы украла Дуа еще в младенчестве, поскольку сама детей иметь не могла. — Алиса чуть понизила голос. — А сама я слышала, как люди говорят, будто Инес вообще не женщина, а что-то вроде джинна, такой *аамар*,^[43] который нашептывает детям всякие *васваас*, а потом предает их в руки Шайтана.

Я впервые слышал из уст этой девушки столь долгую речь; ведь прежде от нее и нескольких слов подряд трудно было дожидаться. Возможно, дружеское окружение и отсутствие постоянного бдительного присмотра сделали свое дело. Я заметил, что ест Алиса очень мало — пощипала лепешку да отведала немного фруктов; вина она, разумеется, совсем не пила. И все-таки лицо ее разругалось, голос звучал возбужденно, хотя, возможно, и несколько истерично.

— На самом деле сама ты в это не веришь, — заметил я.

Она пожала плечами.

— Я не знаю, чему мне верить. Оми Аль-Джерба говорит, что духов *амаар* можно встретить повсюду. Что они живут среди нас. И даже выглядят совсем как мы. Но внутри они не люди, и единственное, к чему они стремятся, это нанести нам вред.

— Я совершенно точно знаю, кого ты имеешь в виду, — сказала Анук, наклоняясь к ней. — Я тоже знала такую *амаар*. Она называла себя Зози де л'Альба и притворялась нашим другом, но на самом деле она и человеком-то не была — так, *нечто*, не имеющее тени...

— Довольно, Анук, — сказала Вианн и положила руку Алисе на плечо. — Если люди с таким подозрением относятся к Инес, то почему же они отдают в ее школу своих детей?

Алиса пожала плечами.

— А сперва никто к ней с подозрением и не относился. И потом, Карима у нас все так любят.

Я невольно хмыкнул, а Вианн спросила:

— А ты что, не любишь его?

Алиса отвела глаза и еле слышно ответила:

— Нет.

Но даже в неярком свете очага я успел заметить, каким ярким румянцем вспыхнули ее щеки. Вианн тоже с явным интересом наблюдала за ней, но дальше развивать тему не стала и моментально заговорила о другом; пожалуй, только я один и заметил столь неожиданный поворот в беседе. Остальную часть вечера мы обсуждали совсем иные проблемы и провели время так приятно, что я страшно удивился, когда посмотрел на часы и увидел, что уже миновала полночь.

Глянув в сторону Жозефины, я встал:

— Что-то я слишком засиделся. Пожалуй, пора и честь знать.

Жозефина вскочила:

— Мы с Пилу тоже пойдем.

Ветер был все еще очень силен; в нем чувствовался запах реки и острый, как перец, запах дождя. Крупные капли жалили кожу и шипели на поверхности реки, как рассерженные осы, угодившие в оставшуюся после летнего дождя лужицу. Пилу вел Влада на поводке; пес всячески поносил мрачные тучи, несшиеся по небу, и все пытался ловить падавшие на тропинку листья. В Маро еще многие не спали; почти в каждом доме горел свет, и гирлянды разноцветных лампочек, натянутые поперек узких улочек, раскачивались на ветру, точно светлячки.

Спортзал Саида был, разумеется, закрыт, и все же я почувствовал укол невнятной тревоги. Есть такие места, которые именно *так* действуют на человека; кажется, что там даже кирпичи и штукатурка источают враждебность. Я проводил Жозефину и Пилу домой, в кафе «Маро», затем добрался до улицы Свободных Граждан и вскоре подошел к дому.

Я не слышал, что они за мной идут. Все заглушал равномерный рев ветра и не менее громкий шум воды в Танн. И потом, я выпил больше вина, чем привык, и голова моя была какой-то странно легкой. Небо надо мной то и дело меняло цвет, становясь то темным, то светлым, — быстро летящие облака то закрывали огромную яркую луну, то позволяли ей светить в полную силу, а тени от облаков метались, как живые, по изгородям и стенам домов. Я чувствовал, что порядком устал, но спать мне пока не хотелось. Слишком много мыслей крутилось в голове. Алиса Маджуби, Вианн Роше, Инес Беншарки, Жозефина...

Внезапно я почувствовал у себя за спиной какое-то движение. Двойная тень метнулась ко мне — двое незнакомых мужчин, от которых исходил легкий запах табака, смешанный с запахом *кифа*; лица обоих были скрыты клетчатыми шарфами...

Первый удар, нанесенный в плечо, застал меня врасплох. В Ланскне *не бывает* преступлений. Большинство жителей до сих пор даже входную дверь никогда не запирают. Единственная разновидность насилия, которая здесь встречается, это так называемое домашнее насилие; да еще случаются кулачные бои между мальчишками. А грабежей или серьезных драк у нас не было более десяти лет...

Все это промелькнуло у меня в голове, когда я рухнул на землю. Дальше все помнится смутно. По-моему, во второй раз меня ударили чем-то вроде увесистой дубины, а когда я попытался встать на колени, кто-то хорошенько вмазал мне кулаком в лицо и бросил:

— Ты это заслужил, грязная свинья!

После чего на меня обрушился град ударов — и кулаками, и ногами. Никакого оружия у меня, разумеется, не было, и оказать сопротивление я не смог. Упав на землю, я успел только свернуться в клубок и постарался как можно лучше защититься от ударов. А они так и сыпались — в основном меня били по ребрам и по спине. Ощущение легкости в голове еще усилилось; странно, боль я вроде бы чувствовал, но при этом словно наблюдал за происходящим со стороны.

— Свинья, — снова услышал я тот же голос. — Учти, это война. Мы ведь тебя предупреждали, чтоб держался подальше. Если снова будешь совать нос, куда не следует, мы тебя так проучим, что пожалеешь, что и на свет родился.

И он нанес мне последний, отлично нацеленный удар в бедро — в тот самый длинный мускул *rectus femoris*, при повреждении которого у человека и возникают мучительные судороги, сопровождаемые нестерпимой болью; после чего мои неведомые враги исчезли в ночи, бросив меня, задыхавшегося от страшной боли, на пыльной дороге. Несколько минут я слышал лишь грохот крови в ушах, заглушавший даже рев ветра.

Когда прекратились судороги и я вновь обрел способность двигать ногами, я еще некоторое время лежал на земле. Я был весь в грязи; рубашка разорвана; сердце выпрыгивало из груди. Я никогда не участвовал ни в одной драке, даже когда учился в школе. И меня никто никогда не бил с такой злобой.

Говорят, человек способен инстинктивно понять, сломано ли у него что-нибудь. По всей видимости, у меня было сломано сразу несколько костей, хотя тогда я толком еще этого не признавал. Кровь моя буквально горела от выброса адреналина; если б я был способен нормально держаться на ногах, я без малейших колебаний бросился бы следом за теми, кто на

меня напал, в глубь Маро (думаю, если б я их действительно нагнал, они, скорее всего, избили бы меня до полусмерти). Похоже, в данном случае гнев мой действовал, как настоящий анальгетик, затмевая сильнейшую боль, — все-таки у меня были сломаны два пальца и по крайней мере одно ребро, а также здорово покалечен нос; теперь, при свете дня, он являет собой весьма впечатляющее зрелище, особенно в сочетании с роскошными фингалами под глазами.

Кто же те, что на меня напали? Я представления не имел, как это узнать. Такие шарфы носят в Маро очень многие, а голоса мужчин были мне незнакомы. Но почему они избрали своей жертвой именно меня? И не предприняли ни малейшей попытки ограбления? Неужели это все-таки запоздалая месть за пожар в школе? Да, вероятнее всего. Но кто-то их явно подвигнул на это. И потом, что они имели в виду, сказав: «Учти, это война»?

Я осторожно поднялся с земли; адреналин продолжал бессмысленно гудеть у меня в жилах; дождь совсем разошелся, я наконец начал по-настоящему чувствовать боль. До дома было рукой подать, но даже это небольшое расстояние показалось мне бесконечным.

Дорогу перебежала какая-то косматая собака, потом остановилась, подошла, обнюхала мою руку, и я узнал пса Пилу.

— Домой! Домой иди! — велел я ему.

Он повилял хвостом и двинулся следом за мной.

— Влад, иди домой!

Но он по-прежнему игнорировал мои приказания. Едва добравшись до входной двери, я обнаружил, что Влад стоит рядом, виляя хвостом и тяжело дыша.

— Домой! — повторил я более строгим тоном. — Ты ошибся, я совсем не *тот* Франсис, который любит животных. Сейчас я совсем другой.

Пес вопросительно посмотрел на меня и залаял.

Я выругался себе под нос. Вообще-то, мне следовало бы отвести собаку домой. Но было уже очень поздно; лил дождь, а собачий лай перебудил бы всех соседей. И потом, мне совсем не хотелось, чтобы Жозефина и Пилу видели меня в таком состоянии.

— Ну ладно, можешь войти, — сказал я Владу. — Но спать будешь на кухне. И не лаять!

Пес, который, похоже, понимал каждое слово, вошел и тут же последовал за мной в спальню. Сил спорить с ним у меня не было совершенно, и я, бросив изгаженную кровью и грязью одежду на пол, рухнул на постель и тут же уснул, а когда проснулся — еще до рассвета от

сильной боли, — то обнаружил, что пес спит рядом, вытянувшись поперек кровати. Я понимаю, отец мой, мне следовало бы выразить возмущение и прогнать его, но я был настолько слаб, что втайне даже испытывал некую благодарность за то, что рядом со мной — живое существо. Я погладил Влада по голове и, убаюканный воем ветра, снова провалился в сон.

Глава вторая

Понедельник, 23 августа

А утром я почти не мог пошевелиться. Мышцы за ночь совсем застыли; такое ощущение, что каждая отдельная часть моего тела объявила войну всем остальным. После горячего душа стало немного легче, и все равно я был настолько малоподвижен, что минут пятнадцать по крайней мере у меня ушло только на то, чтобы одеться. Пальцы на правой руке так сильно распухли и так ужасно болели, что я даже не сумел завязать шнурки на ботинках.

Но я все-таки сварил себе кофе и даже покормил собаку. Еды в доме, правда, было маловато. Но, увидев в зеркале свое изуродованное лицо, я решил, что лучше пока все же из дома не выходить — если, конечно, я не горю желанием подарить Каро и ее кофейной группировке самый роскошный материал для сплетен за все последние годы.

Оставался вопрос: как быть с собакой? Мне не хотелось просто так отпускать Влада, и я позвонил в кафе, надеясь, что там включен автоответчик.

Но трубку взяла сама Жозефина. Я объяснил ей, что собака у меня, и попросил прислать за псом Пилу.

— А может, лучше вы к нам придете? Позавтракаем вместе? — предложила она.

— Я... нет, сегодня утром я очень занят, — солгал я, хотя прекрасно известно, что лгать я умею очень плохо.

И Жозефина, разумеется, об этом догадалась — должно быть, по моему голосу, — потому что спросила:

— У вас все в порядке?

— Конечно.

— По вашему голосу я бы этого не сказала.

Вот проклятье! Пришлось признаться:

— Ну... в общем, вы правы. У меня случилась небольшая неприятность. Когда я прошлой ночью возвращался домой.

— Какая неприятность?

Я в отчаянии покачал головой и сказал:

— Да ерунда, забудьте. Просто пришлите сынишку, чтобы он забрал собаку. Я бы и сам отвел, да у меня времени нет.

Я повесил трубку, пребывая отчего-то в сильном раздражении.

Понятия не имею, откуда оно взялось. Возможно, связано с близким полнолунием — полная луна часто действует на нервы людям восприимчивым. Священнику ведь полагается знать такие вещи. Полнолуние у многих вызывает беспокойство. А на пике полнолуния характеры возбудимых людей и вовсе становятся взрывными, да и у обыкновенных людей чувствительность усиливается. Влюбленные ссорятся, соседи вступают в перепалку друг с другом, люди вспоминают всякие старые размолвки. Завтра отцу Анри Леметру во время исповеди придется выслушать немало всяких пустяковых жалоб. Как ни странно, но мысль об этом вдруг даже немного меня развеселила. На этот раз все это не мои заботы. Пусть этим занимается отец Анри. Возможно, тогда он поймет, с чем ему придется иметь здесь дело.

Я заранее привязал пса к столбику калитки. Но вскоре ко мне постучались, и в щель меж неплотно прикрытыми ставнями я, к своему ужасу, увидел на крыльце не только Пилу, но и его мать. Жозефина была в резиновых сапожках и большом черном дождевике с поднятым воротником; дождевик, похоже, раньше принадлежал Полю. А Пилу надел чью-то парку, явно на несколько размеров больше, чем нужно.

Жозефина снова постучалась, и я, буквально на сантиметр приоткрыв дверь, сказал ей:

— Собака снаружи!

— Могу я войти?

— Э-э-э... я бы предпочел, чтобы вы этого не делали, — сказал я.

— Всего на минутку, — сказала она и вошла. — Боже мой, Франсис!

Что случилось?

Я даже зашипел от нового приступа раздражения.

— Я ведь, кажется, просил вас не входить?

— Что случилось? — словно не слыша, повторила она и смертельно побледнела. Зато мальчик, стоявший у нее за спиной, смотрел на меня с откровенным восхищением.

— *Вот это круто!* — воскликнул он. — Вы что, дрались?

— Нет.

Похоже, ответ его разочаровал. А Жозефина принялась действовать: повернулась к сыну и велела ему:

— Пилу, быстро отведи Влада домой и передай Мари-Анж, чтобы она пока что присмотрела за баром. Потом возьми у меня в комнате аптечку скорой помощи — знаешь, такая большая коробка с красным крестом на крышке? — и принеси мне...

— Но я совершенно не нуждаюсь в медицинской помощи, —

раздраженно сказал я.

Жозефина издала какой-то нечленораздельный возглас, сняла дождевик, швырнула его на стул и осталась в бледно-голубом свитере и черной юбке. Ее короткие светлые волосы намокли и торчали в разные стороны, как колючки. Вид у нее был одновременно и озабоченный, и взбешенный.

— Франсис Рейно, если вы *немедленно* не расскажете мне, что случилось, я сообщу *всем* своим клиентам, что вы подрались у меня в баре, после чего мне пришлось вправлять вам мозги!

— Хорошо, хорошо.

И я рассказал ей все. Она слушала, не веря собственным ушам.

— Вы думаете, это из-за того пожара?

Я пожал плечами:

— А из-за чего же еще?

— Но ведь это *не вы* подожгли школу!

— Думаю, с вами мало кто готов согласиться.

— Значит, тут кругом одни идиоты! Ладно, теперь посидите-ка спокойно и позвольте вас осмотреть.

Следующие полчаса я провел в глубочайшем смятении, а Жозефина с помощью своей аптечки обрабатывала мои травмы. Это просто невозможная женщина!

Я ни словом, ни делом не смог ей воспрепятствовать. Кстати сказать, действовала она очень умело. Смазала ссадины заживляющим кремом «Арника», самые глубокие раны ловко зашила с помощью хирургической нити, наложила плотную повязку на ребра и сломанные пальцы...

— Когда это вы успели приобрести навыки квалифицированной медсестры?.. Ух, как больно!

— Не дергайтесь, — сказала она. — Когда я вышла замуж за Поля-Мари, мне вскоре пришлось узнать, что делать, если тебе поставили фонарь под глазом или сломали руку. Снимите-ка рубашку.

— Но, Жозефина...

— Я сказала, снимите рубашку, месье кюре! Или, может, мне лучше пригласить сюда доктора Кюсонне? Уж он-то моментально разнесет эту новость по всей деревне.

Я неохотно подчинился. Наконец она окончила возиться со мной и спросила:

— Ну что, разве вам теперь не лучше?

Я пожал плечами.

— Не знаю. У меня все тело болит.

— Неблагодарный! — Она улыбнулась. (Я, кажется, уже говорил, что улыбается она одними глазами?)

— Спасибо вам, Жозефина, — сказал я. — Я очень вам благодарен, но буду благодарен еще больше, если вы никому об этом не скажете. Мое положение в глазах епископа и без того уже достаточно пошатнулось, но если он узнает об *этом*... тогда все...

Она посмотрела на меня.

— Ваша тайна в безопасности. Не беспокойтесь, я хорошо умею хранить секреты. — И она с коварной улыбкой наклонилась, поцеловала меня в щеку и тут же исчезла за дверью в пелене дождя — точно сон о солнечных летних деньках.

Благослови меня, отец мой, ибо я согрешил. Ну, по крайней мере, *согрешил бы*, будь у меня такая возможность. Возможно, все дело в событиях прошлой ночи, вызвавших у меня настоящий стресс, а возможно, в прикосновении женских рук к обнаженной коже. Так давно женские руки не касались моего тела! И какой же стыд охватывает меня, когда я вспоминаю, как Жозефина скрывала когда-то свои синяки и ссадины; как она надевала темные очки, хотя небо было затянуто тучами; как постоянно носила это свое пальто, точно доспехи; как она запиралась в своей комнате и по несколько дней оттуда не выходила, отговариваясь «мигреньями».

Неужели она поэтому помогла мне? Потому что знает, каково это — чувствовать себя жертвой, чувствовать, что тебя опозорили? Но я не заслужил ее доброго отношения. Я же знал, что Поль-Мари — жестокий насильник, но ничем ей не помог: меня сдерживала тайна исповеди. Да и что я мог с ним поделаться, отец мой? Я же не имел права вмешиваться. А вот Вианн взяла и вмешалась. Вианн Роше, которая прилетает к нам вместе с ветром и всем возвещает перемены...

Этот ветер! Почему он дует? Почему вообще должны быть какие-то перемены, отец мой? Мы были счастливы раньше — ну, по крайней мере, большинство из нас — и вполне всем довольны. Почему же все обязательно должно быть иначе?

Говорят, Белый Отан приносит безумие, а Черный Отан — хаос и отчаяние. Не то чтобы я так уж верил в эти сказки, но ветер снова переменялся, и отчего-то впервые в жизни я, похоже, чувствую его мрачный призыв. Ланскне от меня отрекся — от меня отrekliсь прихожане по обе стороны реки. И моя церковь от меня отеклась или, по крайней мере, вот-вот это сделает. В такие мгновения особенно соблазнительно звучит голос этого ветра, ветра, который странствует налегке, который

летит куда хочет...

Глава третья

Вторник, 24 августа

Еще сильнее визгливое пение ветра и барабанный стук дождевых капель. В последние два дня дождь почти не прекращался. Он грохочет в водосточных желобах, стекает по оконным стеклам, миллионами крошечных точек висит в воздухе и заставляет нас сидеть взаперти, точно узников. Черный Отан неистовствует, точно банда преступников: он срывает с каштанов листья, а с людей шляпы, выворачивает зонты, безнадежно разрушает прически и рисует на поверхности реки свое безумное граффити.

Анук и Алиса почти весь день слушали музыку и смотрели телевизор, а Розетт рисовала своих обезьянок, хотя сегодня перешла к изображению слонов. Девочки, похоже, вполне счастливы, хоть им и приходится сидеть дома. Только одна я не знаю покоя и все смотрю в окно, а по нему все текут и текут дождевые струи. И все время чего-то жду — но чего? Я и сама не знаю.

Сегодня днем я решила сходить к Жозефине, надев старый дождевик Арманды и ее резиновые сапоги. Но Жозефины в кафе не оказалось, и Мари-Анж сказала, что не знает, когда она вернется. Редкие прохожие на улицах выглядели весьма уныло. Небо было темным, как в ноябре. Проходя мимо церкви Сен-Жером, я заметила, что дверь в мою бывшую *chocolaterie* плохо закрыта и, мотаясь на ветру, печально постукивает — точно передает сигналы какого-то полузабытого кода.

Бат-бат-бат. Бат-бат. Бат-бат.

Впрочем, я здесь больше не живу и за этот дом не отвечаю. Но там по-прежнему живут призраки, которые сейчас толпятся у дверей, отталкивая друг друга, и с плачем требуют внимания. Я, разумеется, знаю, как их прогнать, но это призраки меня самой, и моей Анук, и Ру, и Рейно, и Жозефины, и Арманды, моего дорогого старого друга, чье лицо, точно печеное яблочко, покрыто тысячью морщин. Я помню, как Арманда залезла на высокий табурет у стойки, а ее длинная черная юбка немного задралась, и из-под нее выглянул подол ярко-красной нижней юбки; как она пила шоколад с ложечки для сахара; как она читала вместе с Люком стихи, пока за мальчиком не явилась Каро...

Я огляделась. На площади было пусто. Шуршала, задевая за леса, пленка, которой от непогоды укрыли крышу. Ремонтные работы из-за

дождя пришлось приостановить. Сейчас там, конечно, никого нет, говорила я себе. Там нет людей, зато полно волшебства и призраков прошлого.

Бат-бат-бат. Точно взгляд из-под ресниц. Точно глаз, подмигивающий из разверстой могилы. *Зайди внутрь, Вианн, говорит эта приоткрытая дверь. Мы все здесь. Твои старые друзья. И твой Черный Человек, и твоя мать, и твое прошлое. И воздух здесь по-прежнему горький, как шоколад, и пахнет сладостно, как ладан. Попробуй. Испытай на вкус...*

И я вошла внутрь.

Кто-то явно пытался убрать мусор и привести все в порядок. Пол был почти чист, стены выскоблены и готовы к покраске. Если бы я смотрела верным образом, то теперь почти смогла бы увидеть призраки давних обитателей этого дома — женщину с шестилетней девочкой, входящих в нежилое помещение, где на полу лежит серый ковер пыли и в каждом углу — печаль и запустение. Но и сейчас здесь все выглядело точно так же; и сейчас здесь не было никого, кто мог бы разогнать тени громкими звуками пластмассовой трубы или начал бы колотить по дну кастрюльки деревянной ложкой и кричать: «Эй, злые духи, вон отсюда!»

Но я уже знала, как тут все можно переделать. Стены покрасить желтой краской, а синей нанести узор по трафарету; поставить барную стойку и возле нее, может, пару высоких табуретов. В воздухе сильно пахло дымом, влажным, застарелым, но если распахнуть окна и двери, окурить помещение сухим шалфеем, натереть полы смесью соды и лавандового масла...

Злые духи, вон отсюда! Да, я легко могла бы все тут совершенно преобразить. Дом — это всегда отражение его хозяев, пусть даже прежних, а этот дом, безусловно, меня узнал. Как легко он принял бы нас обратно; как легко можно было бы восстановить прошлое!

Бат-бат.

Но этот дом не знает покоя. Дергается, шевелится. Скрипят половые доски, хлопают двери, шепчут что-то сломанные оконные рамы с выбитыми стеклами. А наверху, на втором этаже, в том «вороньем гнезде», где когда-то была комнатка Анук, слышатся чьи-то шаги.

И *это* никакое не привидение.

— Эй, кто там? — крикнула я.

В ответ — молчание; но затем над лестницей, ведущей в маленькую комнатку на чердаке, где когда-то жила Анук, возникло чье-то маленькое, очень смуглое личико в черном обрамлении *хиджаба*. Широко раскрытые темные глаза с тревогой смотрели на меня.

— Я тебя испугала? — сказала я. — Извини, но я не знала, что здесь кто-то есть. Я когда-то давным-давно здесь жила — задолго до того, как вы с мамой сюда переехали. У меня здесь была шоколадная лавка. Может, ты о ней даже слышала?

Девочка даже не пошевелилась. В черном *хиджабе* ей можно было дать лет двенадцать.

— Ты, должно быть, Дуа? — сказала я. — А меня зовут Вианн. Скажи, твоя мама дома?

Она покачала головой.

— Там, наверху, раньше была комнатка моей дочери, — снова заговорила я. — Интересно, там сохранилось круглое окошко прямо в крыше, похожее на иллюминатор? Она любила смотреть в него по ночам и воображать, что плывет на пиратском корабле.

Дуа осторожно кивнула. У нее за спиной послышалось какое-то царапанье, пыхтение, и рядом с ее лицом возникла мордашка Майи, сладкая, как шоколадный батончик.

— Ой, это же Вианн! — закричала Майя. — Давай, залезай сюда! А то мы уж думали, что это *мемти*^[44] Дуа.

Я вопросительно посмотрела на Дуа:

— Можно?

Она по-прежнему колебалась.

— Да она хорошая, — сказала ей Майя, — и тайну хранить умеет. Она уже *сто лет* о нашей Алисе заботится, но никому ничего не сказала. Поднимайся, Вианн! Посмотри, как у нас тут здорово!

Я поднялась по лесенке и через люк проникла в комнатку на чердаке. Там тоже довольно сильно пахло дымом, но, насколько я смогла разглядеть, ущерб был минимальный. И вообще в комнате мало что изменилось с тех пор, как в ней жила Анук: несколько полок с книгами, маленькая кровать, письменный стол с компьютером, несколько игрушек, парочка постеров на стенах — какие-то певцы, которых я не знаю. На полу, на подушках, сидели еще трое детей — среди них Пилу, — а между ними стояла картонная коробка, из которой доносилось какое-то странное царапанье и поскуливание.

— Ого, сколько вас! Ну, здравствуйте! — сказала я. — Не ожидала, что встречу тут целую компанию.

Пилу улыбнулся и сказал мне:

— Вот, познакомьтесь: это Дуа. Майю вы уже знаете, а эти двое, — он небрежно махнул в их сторону рукой, — Карина и Франсуа.

Последняя парочка смотрела на меня настороженно. Франсуа,

старшему, было лет двенадцать, а маленькая Карина казалась примерно ровесницей Майи. На обоих — джинсы и майка. Они были очень похожи, и я догадалась, что это брат и сестра.

— Ну и что у вас тут творится? — спросила я.

— У нас творятся всякие ужасы! — с энтузиазмом воскликнул Пилу. — Пираты. *Контрабанда...*

— Прекрати, Пилу, — сказала Дуа мягко, но властно. И посмотрела на меня. — Извините, его иногда за-носит.

Я заглянула в коробку. На меня таращили глазенки два черно-белых щенка, которым, по всей видимости, было не больше пяти недель от роду. Пухлые, курносые и игривые, они карабкались друг на друга, стремясь выбраться из коробки, и счастливо, по-щенячьи рычали.

— Ясно. — Я взяла одного щенка, и он тут же тяпнул меня за палец.

— Он хороший, только все время кусается, — сказал Пилу. — Я хочу его назвать Кусака.

— Чьи они? — спросила я.

— Ни чьи. Наши, — моментально ответила Майя.

— Ага. Значит, *это* и есть ваша тайна? — улыбнулась я ей. — Должна сказать, тайны хранить вы умеете отлично. — Я заметила встревоженный взгляд Дуа и сказала: — Не беспокойся. Со мной ваша тайна в полной безопасности.

Она глянула на меня с подозрением. Обернутое черным хиджабом лицо Дуа выглядело каким-то особенно маленьким и чуть угловатым; у нее был остренький подбородок, зато глаза просто поразительные: темная радужка точно обведена золотистыми концентрическими кругами.

— Месье Ашрон хотел их утопить, — сказала она, — а Франсуа и Карина притащили их сюда. Это было как раз перед пожаром. С тех пор мы о них и заботимся. Люк тоже знает о них — он ведь здесь работал. А больше никто. Вот теперь, правда, еще и вы знаете.

— Они такие *умные и хорошенькие*, — прибавила Майя. — А здесь все равно уже никто не живет, и никому нет дела, смогут ангелы сюда пробраться или нет.

— Ангелы? — удивилась я.

— Это в Коране так сказано. Моя Оми говорит, что если в доме есть собака, тогда ангелы туда войти не смогут.

— Ты, наверно, хотела сказать, что туда *кошка* вой-ти не сможет, — сказал Пилу.

— Никакая не кошка, — возразила Майя, — а вовсе *ангелы*.

— Ты, Дуа, кажется, упомянула месье Ашрона? — спросила я и

посмотрела на Франсуа и Карину. — Ты Луи Ашрона имела в виду?

Мне ответил Франсуа:

— Да, он наш папа. Только его удар хватит, если он узнает, что мы сюда ходим. Он не любит *maghrebins*. И щенков тоже не любит. Он говорит, что если *maghrebins* хотят жить во Франции, то пусть живут по-нашему, а иначе, как он считает, они тащат страну к социально-экономическому коллапсу.

Я улыбнулась.

— Тогда вам лучше ничего ему не говорить ни о щенках, ни о вашем убежище, — сказала я. — А твоя мама, Дуа, знает, где ты пропадаешь?

Дуа покачала головой:

— Нет. Она считает, что я с Майей сижу.

— А твоя мама знает, Майя?

— Моя мама думает, что я у Дуа! — Майя погладила щенка. — А мне нравится ходить сюда. Тут так хорошо. Игрушки всякие есть. Дома мне не разрешают играть в игрушки.

— Это правда, — с искренним возмущением сказал Пилу. — Вы, наверно, знаете, что им религия запрещает иметь даже плюшевые игрушки, или Барби, или хотя бы солдатиков?

— Дома-то у меня есть игрушки, — сказала Майя. — Лошадка и принцесса из мультика. Но здесь мне с игрушками играть не разрешают. Мемти их убрала. Только вот эту оставила. — И она вытащила из-под мышки какой-то предмет, в котором я узнала ту самую вязаную игрушку, которую она держала в руках, когда мы с ней впервые познакомились. Это было некое существо цвета вареной овсянки и с ушами — вполне возможно, кролик. — Это Типо. Он мой самый большой друг. Его Оми для меня связала. — Майя нахмурилась и прибавила: — А дядя Саид говорит, что игрушечные животные — это *харам*.^[45] Я слышала, как он говорил это моему джиддо.

— Вы представляете? — снова возмутился Пилу. — Ну с какой стати Бог станет обращать внимание на какие-то игрушки?

— Порой трудно понять, почему другие люди верят в то, а не в другое, — уклончиво ответила я.

— Но... это же просто *мягкие игрушки*? — изумился Пилу. — И потом, они считают, что музыка — это тоже грех, вы об этом знали? И танцы тоже, и вино, и сосиски...

— *Сосиски*? — удивленно переспросил Франсуа.

— Не только. На самом деле у них вообще почти все *charcuterie*.^[46]

грехом считаются, — со знанием дела сообщил Пилу. — Кое-что, правда, они есть *разрешают*. Но только *мусульманскую* разновидность такой еды. Вкус почти такой же, как у обыкновенной, но продается она в особых магазинах и только в больших городах — ну там, в Бордо, например, — а стоит не меньше чем десять евро за упаковку.

Пилу и Франсуа выразительно переглянулись. А я повернулась к Дуа и спросила:

— Где же ты теперь живешь?

Она пожала плечами:

— С дядей и тетей.

— С Каримом и Соней?

Она кивнула.

— А тетя Соня тебе нравится?

Она слегка передернула плечиками, будто в недоумении, и сказала:

— Вообще-то она ничего, только очень неразговорчивая. Алиса мне нравилась куда больше.

Я заметила, что она, говоря об Алисе, употребила прошедшее время.

— *Нравилась?* Значит, ты считаешь, что она домой не вернется?

И Дуа снова недоуменно передернула плечиками. Даже не пожала ими, а лишь слегка качнула; это был жест такой же естественный, как мысль, и такой же сложный, как танцевальное па.

— Скажи, почему все-таки Алиса убежала из дома? — спросила я.

Дуа покачала головой и прошептала:

— Моя мама говорит, что она совершила *zina*.^[47]

Мне захотелось спросить, какой грех способен подтолкнуть юную девушку к самоубийству, но я знала: для мусульманской женщины такой грех только один. *Зина* — слово, которое звучит, словно чье-то имя или, может, название цветка — но такого, который, расцветая, вызывает лишь отвращение, который следует вырвать с корнем еще до того, как он успеет распуститься. Мы с матерью прожили в Танжере не очень долго, но и полугода мне вполне хватило, чтобы понять многое. Мать-одиночка и ее ребенок всегда были там объектом презрения и позора; даже и теперь прав у них нет почти никаких, а уж двадцать лет назад их и вообще не было. Будучи европейками, мы с матерью выступали чем-то вроде исключения. Кое-кто даже с нами *здоровался*. Впрочем, внешне мы достаточно сильно отличались от местных женщин — да к тому же весьма уважительно относились к их вере — и благодаря этому как-то проскользнули сквозь ячеи плотной сети всеобщего осуждения. Но женщины, которые забыли

haya — сложное понятие, означающее одновременно и «скромность», и «стыд», — сочувствия в тамошнем обществе почти не находили. Среди знакомых матери было несколько таких незамужних женщин с детьми, отвергнутых собственной семьей и не имевших возможности ни работать, ни требовать социальной защиты хотя бы для своих рожденных вне брака детей. Впрочем, близко познакомиться с этими женщинами ей так и не удалось — слишком глубока была пропасть, нас разделявшая, — но мне все-таки удалось кое-что о них узнать. Одну бросил любовник, обещавший на ней жениться, как только узнал, что она беременна. Другую изнасиловали, причем целая банда молодчиков, которые приговаривали при этом, что она, шлюха, ничего иного и не заслуживает. Мать плакала, слушая эту историю, — а мою мать не так-то легко было заставить плакать; той девочке было всего девятнадцать, когда мы с ней познакомились; она с утра до ночи работала на рыбоконсервном заводе и там же ночевала. Родившийся после того случая ребенок — девочка — умер вскоре после рождения. Но она успела дать дочери имя: Рашилла. Моя мать так и не смогла понять, как вера, которая учит прощать, может быть такой безжалостной и холодной, как стена льда, по отношению к самым бедным и уязвимым членам общества. Нам казалось, что повсюду — в Риме, Париже, Берлине и Праге — мы видели немало проявлений самых нелепых предрассудков, но все это оказалось сущей ерундой по сравнению с Танжером; там обесчещенные, подвергнутые всеобщему ostracismu женщины выстраивались в ряд у мечети и просили милостыню, а их добродетельные сестры проходили мимо, не обращая на них внимания, — отводили глаза и прикрывали лицо покрывалом, демонстрируя собственную скромность и непримиримость.

Вот он, *настоящий* грех, говорила моя мать, когда мы с ней спешили уйти подальше по раскаленным добела улицам, где под безжалостным солнцем пронзительно вопили рыночные торговцы и муэдзины, соперничая друг с другом и требуя к себе внимания прохожих. Да, эти добродетельные женщины совершали *настоящий* грех, отводя в сторону взгляд и делая рукой короткий, отстраняющий жест. Впрочем, мы и раньше часто видели это — в Париже возле Нотр-Дам и в Риме у ворот Ватикана. И даже здесь, в Ланскне, я *всегда* узнавала в глазах таких людей, как Каро Клермон, это выражение — презрение, освященное церковью и воспринятое истинно верующими праведниками.

— Кое-кто совершает вещи и похуже, чем *зина*, — сказала я и сразу почувствовала, что мои слова несколько шокировали Дуа. Решив сменить тему, я спросила: — А у Алисы есть бойфренд?

Дуа кивнула:

— Да, раньше был. Она с ним по Интернету общалась. Но потом отец отобрал у нее компьютер. И я тогда разрешила ей пользоваться моим — она им и пользовалась, пока здесь не случился пожар.

— Ах вот как... ясно.

Значит, дружба по Интернету. У Анук нет компьютера. В Париже она часами сидит в интернет-кафе на бульваре Сен-Мишель и болтает с друзьями — чаще всего с Жаном-Лу, которому приходится использовать виртуальные средства общения, чтобы хоть как-то компенсировать слишком частое пребывание в больнице.

— А в реальной-то жизни она с ним знакома? Может, он и сам из Ланскне?

И снова Дуа кивнула в знак согласия:

— Может быть. Мне тоже так кажется. Но она никогда не говорила, откуда он.

— Понятно.

И я вдруг действительно все сразу поняла. Это общение по Интернету объясняло все. Игру в футбол на площади; кофейные утренники у Каро Клермон, которые так внезапно закончились, и разочарованность самой Каро, связанную с арабской общиной, и тот холод, который возник в отношениях между жителями самого Ланскне и бульвара Пти Багдад.

В мире Каро терпимость, «толерантность», означает, что она читает *правильные* газеты, время от времени употребляет в пищу кускус и называет себя «либералкой». Однако она никогда бы не позволила собственному сыну влюбиться в какую-то *maghrebine*. Что же касается Саида Маджуби, которого обитатели Маро воспринимают как своего духовного лидера и наставника, то это человек настолько ограниченный рамками своей веры и традиций...

Ладно. Я решила уйти и позволить детям спокойно забавляться со щенками. Дети, как ни странно, готовы очень многое принять благосклонно. Даже дети Ашрона существуют, не попадая под мертвящий луч предрассудков, столь свойственных их родителям. Детям не требуется много времени, чтобы совершенно забыть о существующих между ними различиях. Картонная коробка со щенками, тайное убежище в заброшенном доме. Если бы и для нас, взрослых, мир был столь же прост! Но мы обладаем порой прямо-таки сверхъестественной способностью фокусировать свое внимание именно на *различиях*; такое ощущение, будто мы, исключая из своего общества *других*, тем самым укрепляем собственное чувство идентичности. Но за время наших с матерью

странствий я успела понять, что люди повсюду примерно одинаковы. Под покрывалом, бородой, сутаной всегда действует один и тот же механизм. И в наших поступках — моих и моей матери, хотя она-то верила, что это не так, — не было никакой магии. Просто мы способны видеть несколько дальше других, способны заглянуть за пределы того хаоса, который создан видением других. Мы видим цвета человеческой души. Цвета сердца.

Когда я вышла на улицу, дождь по-прежнему лил как из ведра. Крупные капли с такой силой ударились о мокрую землю, что брызги отскакивали в разные стороны, как искры петарды. Но теперь я уже знала, что нужно делать. По-моему, я знала это с самого начала. С самого первого дня здесь, когда я увидела ее, неподвижно стоявшую на солнце, по самые глаза закутанную в покрывало и, точно василиск, наблюдавшую за толпой.

Я вытатила мобильник и позвонила — нет, на этот раз не Ру, а Ги, своему поставщику, и заказала все необходимое для изготовления шоколада. Правда, на этот раз заказ был весьма скромнен: всего пара ящичков шоколадной глазури и кое-какая необходимая утварь. Но недаром моя мать всегда говорила: *в иные дни действует только магия*. Нет, это, конечно, не настоящая, высокая магия, ею мы и не владеем, но именно самая простая, *домашняя*, магия и требовалась в тот момент.

И я снова устремилась под проливным дождем на поиски Инес Беншарки.

Глава четвертая

Вторник, 24 августа

На улицах Маро не было ни души. Черный Отан вырвался на свободу и набирал силу. Серое небо приобрело красноватый оттенок, и на его фоне капли дождя казались почти черными. Те немногие птицы, что осмелились бросить ветру вызов, не выдерживали натиска и отступали; их сносило, как газетные листы, прямо на баррикады клонившихся под ветром деревьев, росших вдоль берега реки. В воздухе чувствовался запах морской соли, хотя до моря часа два езды, и было очень тепло, несмотря на дождь и ветер; однако этот влажный, насыщенный молочно-белым туманом теплый воздух был неприятен и словно насыщен гнилостными испарениями. И меня не покидало ощущение, что за каждым окном, за каждым ставнем кто-то наблюдает за мной, — это было очень знакомое, даже слишком знакомое чувство, помнившееся мне по многим иным местам, встречавшимся на пути.

Здесь, в Ланскне, люди очень настороженно относятся к чужакам. Это я хорошо знала. Детей предупреждают, чтобы они ни в коем случае не разговаривали с чужими. То, как мы одеваемся, иная манера говорить, даже еда, которую мы предпочитаем, — все это отличает нас от здешних жителей, делает *иными*, а значит, потенциально враждебными, опасными. Я помню, как в первый наш приезд в Ланскне повела Анук в школу — господи, как же смотрели на нас обеих мамыши, буквально впиваясь глазами в каждую мелочь, которая отличала нас от них! Разумеется, в первую очередь в глаза им бросилась наша *чересчур* яркая одежда; затем — наш магазин *напротив церкви*; затем — наличие у меня ребенка при отсутствии на пальце обручального кольца. Теперь-то я стала здесь почти своей. Если не считать Маро, разумеется, — там буквально через каждый сантиметр пространства словно натянуто невидимое проволочное ограждение, о которое ничего не стоит споткнуться — и тогда сразу же нарушишь тот или иной закон или невольно пересечешь некую границу.

Но все же и в Маро есть дом, где, насколько я знаю, меня воспринимают отнюдь не враждебно. Возможно, из-за персиков, а может, из-за того, что семья Аль-Джерба жила здесь еще в те времена, когда Маро считался частью Ланскне, а не неким «арабским поселением».

К зеленой двери этого дома я и направилась. Сточные канавы у меня под ногами вполне могли заменить собой целый оркестр; водосточные

желоба что-то возбужденно декламировали. С волос ручьями текла вода, мокрые пряди так и липли к лицу; рубашка и джинсы, хоть и были прикрыты старым дождевиком Арманды, промокли насквозь. Я постучалась, но дверь — во всяком случае, мне так показалось, — открылась далеко не сразу. Я довольно долго ждала на крыльце, прежде чем Фатима впустила меня в дом. На ней был синий, расшитый блестками кафтан; лицо встревоженное, растерянное. Но при виде меня взгляд у нее сразу стал озабоченным.

— Вианн! Что с тобой? Ты же насквозь промокла...

Не прошло и минуты, как я уже сидела на подушках у горящего огня, Ясмина умчалась за сухими полотенцами, а Захра готовила мятный чай. Рядом со мной возлежала на низенькой кушетке старая Оми; из кухни доносился запах готовящейся еды: кокосовая стружка, семечки тмина, кардамон и почти подошедшее тесто — будут печь хлеб к сегодняшнему *ифтару*, догадалась я.

Оми, одарив меня улыбкой старой черепахи, с легким упреком заметила:

— Ты обещала принести мне шоколад!

Я улыбнулась.

— Обязательно принесу. Я как раз жду, когда мне доставят все необходимое.

— Ну, так поторопись. Я ведь не буду жить вечно.

— Ну, еще неделю-то вы продержитесь?

Оми засмеялась.

— Уж постараюсь. А чего это ты, Вианн, в проливной дождь по улицам бегаешь?

Я уклончиво заметила, что хотела бы повидаться с Инес Беншарки.

— Пф-ф! — от отвращения Оми даже щелкнула беззубыми челюстями. — А *она-то* тебе зачем понадобилась?

Я с наслаждением сделала большой глоток горячего чая.

— Просто так. Она, по-моему, очень интересная женщина.

— Интересная? Ты это называешь «интересная»? Да я бы сказала, что эта женщина приносит одни не-счастья!

— Почему вы так считаете?

Оми пожала плечами.

— Такая уж у нее натура. Знаешь, есть одна старая история — о скорпионе, который хотел перебраться через реку и уговорил водяного быка перенести его на спине. А когда они были уже на середине реки, скорпион ужалил быка, и тот, умирая, спросил: «Зачем же ты меня ужалил? Ведь

если я сейчас умру, ты попросту утонешь». — «Друг мой, я же скорпион, — ответил ему скорпион. — Я надеялся, что и ты это понимаешь».

Я улыбнулась. Эту историю я знала.

— Значит, по-вашему, Инес — скорпион?

— По-моему, некоторые люди предпочтут скорее умереть, чем откажутся от возможности кого-нибудь ужалить, — сказала Оми. — Поверь, ничего хорошего из твоей попытки подружиться с Инес Беншарки не выйдет.

— Но почему?

— Тот же вопрос и бык задал скорпиону. — Оми снова нетерпеливо пожала плечами. — Я же тебе говорю, Вианн: некоторых людей никак не исправишь. А за некоторыми и вовсе тянется такой ядовитый след, что любого сразу отравит, стоит ему тот след пересечь.

Ах, Оми, поверь, я хорошо знаю, что это за ядовитый след, — сама несколько раз его пересекала. За некоторыми людьми действительно тянется целый шлейф яда, даже когда они изо всех сил стараются быть хорошими. Порой, лежа ночью без сна, я думаю: а что, если я и сама такая? Разве с помощью своего дара я достигла чего-нибудь действительно стоящего? Что я подарила миру? Сладкие мечты и иллюзии, мимолетные радости, обещания в четверть фунта весом? Но мой-то собственный путь был при этом буквально усеян неудачами, болью и разочарованиями. Неужели я и сейчас надеюсь, что мой шоколад способен что-то изменить?

— Оми, мне необходимо ее увидеть, — сказала я.

Она посмотрела на меня.

— Да уж, думаю, что тебе это и впрямь необходимо. Но ты все-таки подожди немного, пусть хоть волосы просохнут. Чайку выпей.

Что я и сделала. Мятный чай был удивительно хорош — ярко-зеленый, пахнувший летом. Пока я им наслаждалась, в комнату вошел черный кот, который тут же устроился у меня на коленях и замурлыкал.

— Хазрату ты явно понравилась, — заметила Оми.

Я погладила кота.

— Ваш?

Она снисходительно улыбнулась и сказала:

— Кошки вообще ничьи; они никому принадлежать не могут. Кошки приходят и уходят, как Черный Отан. Но Дуа дала этому коту имя, и теперь он приходит сюда каждый день, зная, что здесь его всегда накормят. — Оми вытащила из кармана кокосовое печенье, отломала кусочек и протянула коту: — На, Хази. Твое любимое.

Хази протянул изящную лапку и цапнул печенье, а потом с явным

удовольствием принялся его есть.

Оми доела остаток и сообщила:

— Хазрат Абу Хурайра был знаменитый *sahabi*.^[48] Его все называли «кошачий человек», уж очень он кошек любил. Маленькая Дуа назвала кота в его честь. Она говорит, что он бродячий, но, по-моему, он домашний, просто ему еда здесь больше всего по вкусу.

— Интересно, кому она может быть не по вкусу? — сказала я с улыбкой.

— Моя невестка и впрямь готовит лучше всех в Маро. Только не говори ей, что я это сказала.

— Вы очень любите Дуа? — спросила я.

Оми кивнула.

— Дуа — очень хорошая девочка. Ну, может, и *не очень*, зато она всегда может заставить меня улыбнуться. И очень помогает с нашей маленькой Майей.

— Да уж, Майя у вас — сущий сорванец, — улыб-нулась я.

— Она ведь в Тулузе живет, — Оми, судя по всему, считала, что именно этим все и объясняется. — Ясмина приезжает к нам только на рамадан, а в остальное время мы почти не видимся. Ей здесь не нравится. Говорит, что жизнь у нас чересчур спокойная.

— По-моему, она нас недооценивает.

Нас? С чего бы это мне употреблять такое слово? Но Оми, похоже, ничего не заметила. Лишь в нарочитом ужасе всплеснула руками и сказала:

— Да у нас все время что-то случается, какое уж тут спокойствие! Я слышала, и у тебя кое-кто *гостит*?

Я только рукой махнула, сохраняя на лице полную безмятежность.

— Да у нас постоянно гости! Вчера вот вечером приходила Жозефина, хозяйка кафе «Маро», с сыном. И вообще у нас уже пол-Ланские перебивало; то и дело кто-то заходит, причем в самое разное время.

Оми пытливо на меня посмотрела. Под редковатыми, но выразительными бровями глаза ее казались бледно-голубыми, как вены на запястье.

— Ты, должно быть, считаешь, что я вчера родилась? Разве в этой деревне может что-то произойти, а я об этом тут же не узнаю? Впрочем, если ты хочешь поиграть в секреты...

— Это не мой секрет. Я не имею права его раскрыть.

Оми пожала плечами.

— А вот это, пожалуй, справедливо. И все же...

— О каких секретах речь? — спросила Фатима, входя в гостиную

вместе с Захрой и внося огромное блюдо с марокканскими сладостями. — Что, Оми снова вам всякие секреты выбалтывает?

— Как раз наоборот, — сказала я. — Оми всегда ведет себя *очень сдержанно*.

Фатима рассмеялась.

— Ну, *сдержанной* Оми я не знаю! А вы, Вианн, попробуйте наше угощение. Тут у меня и халва, и финики, и кокосовое печенье, и леденцы на розовой воде, и хрустящее печенье с кунжутом. Нет, нет, нет, *не ты*, Оми! — снова засмеялась она, потому что Оми тут же потянулась к блюду. — Сейчас ведь рамадан, ты не забыла?

— Должно быть, забыла, — и Оми подмигнула мне.

Заметив, что Фатима явно чем-то расстроена, я спросила:

— У вас что-то случилось?

Она кивнула:

— Свекор моей Ясмینی заболел. Мохаммед Маджуби. Он ведь теперь к нам переехал, пока Исмаил и Ясмينا здесь. Может, он здесь и останется — жить с Саидом ему не нравится.

Оми громко хмыкнула:

— Скажи уж честно: ему не нравится жить рядом с этой женщиной!

Фатима попыталась ее утихомирить:

— Оми, пожалуйста...

А я в эту минуту посмотрела на Захру. Захра и Ясмينا невероятно похожи внешне, но в то же время они очень разные. Я уже не впервые заметила, как смущается Захра, стоит лишь упомянуть об Инес Беншарки. И я напрямик спросила у нее:

— А что *вы*, Захра, думаете об Инес?

Было заметно, что этот вопрос ее сильно встревожил. В черном хиджабе, заколотом на традиционный манер, Захра выглядела одновременно и старше, и младше своей сестры. Кроме того, она, похоже, отличалась болезненной застенчивостью и говорила всегда еле слышно и монотонно.

— Я... по-моему, она очень интересный человек, — почти прошептала она.

Оми крикнула:

— Ну еще бы! Если учесть, что ты, можно сказать, сама в том доме почти *поселилась*...

Захра покраснела:

— Соня — моя лучшая подруга!

— Ах, Соня? Вот как? А мне казалось, ты туда не для того ходишь. Все

пялишься на этого молодого красавца, как овца!

Щеки у Захры уже пылали. Казалось, она вот-вот выбежит из комнаты...

Я решительно встала и сказала:

— Ну что ж, значит, мне повезло. Я как раз хотела попросить кого-нибудь из вас показать мне, где живет Инес Беншарки. Может, вы меня проводите, Захра? Правда, на улице сильный дождь...

— Конечно, провожу. — Ее тихий голос звучал абсолютно невыразительно, но в глазах светилась благодарность. — Я сейчас принесу ваш плащ. Он почти высох.

Когда она вышла, я услышала, как Фатима негромко сказала Оми:

— Ты слишком строга к девочке.

Оми захихикала:

— Это *жизнь* к ней строга. Ей нужно учиться жить. Она же в стакане воды утонет. Уже утонула.

Я повернулась к ним и с улыбкой сказала:

— *Язак Алла*. Благодарю вас за гостеприимство и в следующий раз непременно принесу шоколад. Я как раз жду посылку.

Пока я надевала сапоги у порога, Захра стояла рядом, держа в руках мой плащ.

— Не обращайтесь на Оми внимания, — тихо, все так же невыразительно сказала она. — Она уже старая и привыкла говорить все, что ей в голову придет. Даже если мысли в ее голове катятся на одном сломанном колесе. — Мы с ней вышли на крыльцо. — Здесь совсем недалеко. Я вам покажу.

Дома в Маро, разумеется, не имеют номеров. В этом проявляется одно из забавных свойств Ланскне. Даже названия улиц не признаны официально, хотя считается, что район *подвергся полной реконструкции* и, возможно, названия все же со временем появятся. Рейно говорил, что Жорж Клермон возглавляет кампанию по превращению Маро в «памятник истории» (и, если этот проект будет утвержден, сам Жорж, разумеется, окажется в нем главным), но таких селений, как Ланскне, в этой части Танн слишком много, как много и совершенно очаровательных маленьких *bastides*; впрочем, хватает и старых кожевенных цехов, дубилен и сыромятен, живописных каменных мостов и средневековых виселиц, а также статуй загадочных святых, так что местным властям нет особого дела до какой-то одной улицы с деревянными домами-развалюхами, уже наполовину съеденными рекой. Похоже, только почтальон возражает против подобного беспорядка: для него отсутствие названий улиц и

номеров домов — действительно большое неудобство. Если кому-то в Маро приходит в голову привести в порядок одно из допотопных строений и поселиться в нем, невзирая ни на какие правила *планирования и реконструкции*, то вряд ли его станут останавливать; скорее всего, никто на это и внимания не обратит.

Захра спряталась под свой *никаб*, собираясь проводить меня до дома Беншарки, и теперь ее взгляд поверх покрывала казался абсолютно непроницаемым. *Никаб* явно прибавлял девушке смелости и уверенности в себе. У нее даже походка стала другой. Повернувшись ко мне, она спросила:

— Почему вы непременно хотите повидаться с Инес?

— Я раньше жила в том доме, где была ее школа, — сказала я.

— Ну, это, по-моему, причина недостаточно веская.

— Возможно.

— Вас к ней тянет, верно? — сказала Захра. — Тянет, я же вижу. Вы не первая. Все мы так или иначе соприкасались с Инес. Когда она сюда приехала и открыла школу, эта идея всем показалась просто замечательной. Ведь с местной школой у нас без конца возникали проблемы из-за этой противной особы, Жолин Дру: она все хотела запретить нашим девочкам носить *хиджаб*. Между прочим, брат Инес сперва очень подружился со всем семейством Маджуби, и некоторое время все шло просто отлично...

Мы добрались до конца бульвара. Дальше начинались заброшенные дома. В самом последнем из них дверь была выкрашена красной краской.

— Вон там и живут все Маджуби. В том числе и Карим с Соней.

— Но не Инес?

Захра покачала головой:

— Нет, она там больше не живет.

— А почему? Там что, места мало?

— Не поэтому, — сказала Захра. — В общем, сейчас вы ее всегда можете найти *там*...

И она показала куда-то в сторону реки, где у самой воды росло несколько фиговых деревьев, а над торчавшими из земли переплетенными корнями, чем-то напоминавшими очертания готической церкви, высился старый причал. Именно там обычно речные крысы причаливали свои суденышки в те времена, когда каждый год приплывали сюда. Приглядевшись, я увидела, куда указывает мне Захра: под деревьями виднелось небольшое речное судно с низкой посадкой, выкрашенное черной краской.

— Так она сейчас живет на этом судне? — изумилась я.

— Она его арендует. Это судно всегда здесь стояло.

Я знаю. Я его сразу узнала. Слишком тесное, чтобы там поместились двое взрослых, но все же вполне способное приютить женщину с ребенком. Особенно если им не требуется много места или они не притащили с собой слишком много вещей...

Не думаю, чтобы это стало проблемой для Инес Беншарки. Но...

— А как же Дуа? — спросила я.

— Вообще-то, большую часть времени она проводит у нас. Мы за ней присматриваем, а она помогает нам управляться с нашей маленькой проказницей Майей. Иногда она ночует у Инес, а иногда у нас. Но на *ифтар* она всегда к нам приходит.

— Но почему Инес поселилась на судне?

— Она говорит, что там чувствует себя в безопасности. И потом, на это судно, похоже, никто не предъявлял никаких прав, может, оно никому и не нужно.

Это меня не удивило. Его владелец не был здесь больше четырех лет. Вот только зачем было Ру оставлять здесь свое судно, если он не собирался сюда возвращаться?

А может, он и восстанавливал его не для себя, а для кого-то другого?..

Для кого же?

Мать-одиночка с ребенком, живущие на его судне. Нежелание Ру ехать со мной в Ланскне, хотя — я знала это совершенно точно — он все это время поддерживал связь с некоторыми своими здешними друзьями. Нежелание Жозефины сказать мне, кто отец ее сына. Четыре года назад Ру еще не уехал отсюда. Пилу тогда было, наверное, около четырех. С ним, пожалуй, уже вполне можно было пуститься в плавание. Во всяком случае, с четырехлетним мальчиком Жозефина запросто могла решиться на путешествие вверх по реке...

Просил ли ее Ру уехать с ним вместе? Отказала ли она ему? Или он сам передумал? Ждала ли она, что он снова к ней вернется, пока он жил в Париже со мной?

Столько вопросов без ответа. Столько сомнений. Столько затаенных страхов. Времена года неизменно сменяют друг друга; ветер времени разносит в разные стороны возлюбленных и друзей, точно осенние листья. Моя мать никогда не оставалась с одним и тем же мужчиной дольше двух-трех недель. Она говорила: *по-настоящему твоими остаются только дети, Вианн*. И я долгие годы следовала этому девизу. А затем на своем пути я встретила Ру и решила, что у каждого правила есть исключения.

Возможно, я ошиблась. Теперь мысль об этом без конца крутилась у

меня в голове. Возможно, я и приехала сюда, чтобы понять *это*.

— Что с вами? Вам нехорошо? — с тревогой спросила Захра, заставив меня очнуться от горьких мыслей.

Я повернулась к ней:

— Нет, все нормально, спасибо. Скажите, Захра, что заставило вас начать носить *никаб*? Ведь ни ваша мать, ни сестра его не носят.

Судя по глазам — только они и были видны над скрывавшим лицо покрывалом, — мой вопрос поставил ее в тупик.

— Это дело рук Инес? — спросила я.

— Возможно. Но только отчасти. Впрочем, мне пора. Теперь вы знаете, где она живет. — И Захра еще раз указала на выкрашенный черной краской старый плавучий дом, некогда принадлежавший Ру. — Только вряд ли она станет разговаривать с вами.

Захра ушла, а я осталась стоять под дождем на том конце бульвара, что упирается в реку. Тучи на небе стали еще темнее — вряд ли этой ночью удастся увидеть хотя бы проблеск полной луны. Церковный колокол прозвонил четыре часа; звон тяжелым эхом повис в воздухе, буквально пропитанном влагой. Я стояла и смотрела на судно Ру, безмолвное, неподвижное, уткнувшееся носом в речной берег, и думала об Инес Беншарки. Оми назвала ее скорпионом, пытающимся пересечь реку верхом на быке. Но ведь в той истории скорпион утонул...

И как раз в эту минуту у меня в кармане зазвонил мобильный телефон. Я вытащила его, посмотрела на экран. Там высветился номер.

Ну, естественно! Кто еще мог позвонить в такой момент?

Разумеется, это был Ру.

Глава пятая

Вторник, 24 августа

Невозможно что-либо долго сохранять в тайне. Во всяком случае, в Ланскне точно невозможно. Я всего два дня не выходил из дома, а по деревне уже поползли слухи. И я никак не могу винить Жозефину или даже Пилу. Я знаю, что это не они. Все началось тем утром, когда ко мне в очередной раз зашел Шарль Леви, желая пожаловаться, что у него опять пропал кот.

Чуть-чуть приоткрыв дверь, я сказал ему, что плохо себя чувствую и разговаривать не в состоянии. Но на Шарля Леви подобные отговорки не действуют. Он опустился на колени прямо на пороге и принялся изливать мне душу через почтовую щель! Голос его дрожал от сдерживаемых эмоций.

— Это все она, Генриетта Муассон! Представьте, отец мой, она сманивает моего Отто! Она его кормит и называет Тати! Разве это не похищение? Ведь она обманом завлекает его к себе!

Я из-за двери спросил:

— А вам не кажется, что вы принимаете это слишком близко к сердцу?

— Но эта женщина украла моего кота, отец! Как же я могу не принимать это близко к сердцу?

Я попытался его урезонить:

— Ей просто одиноко, только и всего. А вот если бы вы попытались по-хорошему поговорить с нею...

— *Но я же пытался!* Однако она все отрицает! Говорит, что уже много дней никакого кота не видела. А у самой весь дом рыбой пропах!..

У меня дико болела голова. И сломанные ребра тоже. И у меня совершенно не было настроения все это выслушивать.

— Месье Леви! — заорал я из-за двери. — Разве Господь не велел нам *возлюбить ближнего своего, как самого себя?* Или, может, я ошибаюсь? Или, может, Он велел нам без конца жаловаться на соседей, используя для жалоб любые, даже самые безосновательные, предлоги и повсеместно сея семена разногласий? Неужели Иисус стал бы грубо ворчать на одинокую старую женщину только потому, что она время от времени подкармливает Его кота?

Снаружи была тишина. Затем в почтовую щель донесся голос:

— Простите, отец. Я не подумал.

— Десять «Аве».

— Хорошо, отец.

И после этого по деревне моментально распространился слух, что месье кюре принимает исповеди через почтовую щель. Следом за Шарлем Леви явился Жиль Дюмарен — якобы спросить насчет взносов в церковный цветочный фонд, а на самом деле исповедаться и попросить совета насчет матери. Затем пришла Генриетта Муассон и потребовала отпустить ей грехи, совершенные в те незапамятные времена, когда сам я еще пребывал в материнской утробе. Затем постучался Гийом Дюплесси и спросил, не нужно ли мне чего. Затем притащилась Жолин Дру — чуяла, что происходит нечто необычное, и жаждала сообщить подробности своей подруге Каро Клермон. Затем объявилась и сама Каро и с деланой надменностью ровным тоном обвинила меня (через дверь, разумеется) в желании что-то скрыть от общественности.

Сидя на коврике у двери, я сказал:

— Пожалуйста, Каро, уходите.

— Не уйду, пока вы не скажете мне, что с вами происходит! — заявила она звонящим голосом. — Вы что, слишком много выпили, да?

— Разумеется, нет!

— Тогда откройте дверь!

Поскольку дверь я открыть отказался, ей пришлось уйти; но вечером она вновь вернулась — уже с отцом Анри. Я решил, что надо притвориться, будто меня нет дома. Каро, разумеется, тут же подошла к окну и стала вглядываться в щель между ставнями. Я понял, что просто так она не сдастся, и открыл дверь.

— Боже мой, Франсис!

Да, *Анри*, я знаю, какое впечатление это производит. Повреждения, правда, по большей части поверхностные, но все равно выглядят они весьма устрашающе. К своему удивлению, я обнаружил, что меня почти рассмешило выражение недоумения и недоверия, которое буквально застыло на их лицах. Нашему епископу нужен был хотя бы малейший предлог, чтобы отослать меня отсюда, и теперь, похоже, он его получил. Конечно, в данном случае моей вины нет никакой, сказал отец Анри, думая совершенно иначе, но сам факт нападения на такого человека, как я, на *священника*, свидетельствует о том, что я не могу больше требовать от жителей Ланскне должного к себе уважения. А стало быть, если я желаю добра моей пастве и забочусь о собственной безопасности, продолжал отец Анри, мне лучше перевестись в другой приход. Возможно, понадобится около недели, чтобы все это устроить, но уже было ясно: колеса

завертелись. По словам отца Анри, меня, скорее всего, переведут в какой-нибудь большой город, чтобы я «смог улучшить свои социальные навыки», читая проповеди для более широкой аудитории, и «научился понимать нужды мультирелигиозного общества».

Разумеется, запудрить мне мозги ему не удалось. Я прекрасно понимал, что меня *наказывают*. Возможно, наш епископ даже не представляет себе, сколь мучительно для меня подобное наказание. Для него ведь все приходские священники одинаковы, точно пешки. Но я-то прожил в Ланскне почти всю свою жизнь, и отослать меня отсюда значит вырвать из моего сердца огромный кусок. Я понимаю, что не всегда был достаточно открыт людям и далеко не всегда проявлял должное смирение. Возможно, я излишне упорно сопротивлялся переменам и даже оказывал определенное неповиновение местным властям. Да и к речным людям я далеко не всегда относился сердечно. Я порой действительно бывал нетерпелив с прихожанами — и уж тем более с этими «магрибцами». Короче говоря, я, пожалуй, и впрямь вел себя в Ланскне, как в своем удельном княжестве: сам учреждал определенные законы и вообще играл роль местного диктатора и судьи. И все-таки отослать меня отсюда...

Понемногу спускалась ночь, а у меня по-прежнему болело все тело. Снаружи слышался победоносный скрежет Черного Отана; с того берега реки, из Маро, доносился клич муэдзина.

Autan blanc, emporte le vent.

Autan noir, désespoir. [\[49\]](#)

И я впервые испытал страх. Нет, отец, не страх — отчаяние! Этот ветер, который так часто приносил мне удачу, теперь схватил меня за шиворот. Он прогнал речных крыс, заставил Вианн закрыть *chocolaterie* на площади перед церковью, — и я считал, что он на моей стороне, что отныне я всегда буду стоять непоколебимый, как скала, исполненный решимости...

Но сегодня этот ветер подкрался к самым моим дверям, и я уже не чувствую себя столь непоколебимым. Никто здесь больше не хочет, чтобы я остался. И мне страшно, отец мой. Я боюсь, что на этот раз ветер унесет именно меня.

Глава шестая

Вторник, 24 августа

Его голос звучал ошеломляюще близко, будто Ру стоял всего в нескольких метрах от меня. Сердце вдруг как-то подпрыгнуло, закружилось — точно волна, на поверхности которой скопилось столько мусора, что сама она и подняться толком не может. Вот и верь ему! — внезапно разъярилась я. Уже сто раз мог бы позвонить, поддержать меня! Нет, ему понадобилось звонить в самый неподходящий момент, что, в общем-то, вполне для него типично.

Я быстро нырнула под свес крыши одной из старых дубилен.

— Ру! Ну где же ты был? — возмутилась я. — Я тебе столько эсэмэс отправила...

— Куда-то сунул телефон и никак не мог найти. — Я прямо-таки видела, как он пожимает плечами. — А ты хотела мне сообщить что-то важное?

Нет, это же просто смешно! Что тут можно сказать? Разве могла я сейчас пересказать ему все свои мысли, страхи и растущую убежденность в том, что целых четыре года он мне лгал — точнее, позволял верить, что мы могли бы стать настоящей семьей...

— Вианн? — осторожно окликнул он меня.

Пришлось вспомнить, что его голос по телефону всегда звучит несколько настороженно. Жаль, что я не могу сейчас видеть его глаза, подумала я. Но еще больше жаль, что я не могу видеть цвета его ауры.

— У нас тут был разговор с Жозефиной, — сказала я. — Оказывается, у нее есть сын, а я и не знала.

По ту сторону словно опустили занавес молчания.

— Ру, почему же ты раньше ничего мне не сказал?

— Я обещал ей, что не скажу.

Как просто это звучит в его устах! Но за ширмой простых слов прячутся тысячи извивающихся теней.

— Значит... ты знаешь, кто отец мальчика?

— Да, но обещал, что не скажу тебе этого.

Я обещал. Такого обещания для Ру более чем достаточно. Для него прошлое вообще не имеет значения. Даже я весьма приблизительно представляю себе, откуда он родом и кто такой. Он никогда не говорит о своем прошлом. Вполне возможно, он вообще о нем забыл. Это, кстати,

одно из качеств, которые я в нем люблю, — упорное нежелание позволить прошлому испортить настоящее. И все же именно это качество и делает Ру опасным. Человек без прошлого — почти что человек без тени.

— Ты оставлял здесь судно? — спросила я.

— Да. Я подарил его Жозефине.

И снова это молчание — между нами словно воздвигли звуконепроницаемый экран.

— Ты подарил его Жозефине? Но зачем? — снова спросила я.

— Она все говорила, что хочет уехать, — очень осторожно сказал Ру; голос его звучал монотонно, почти равнодушно. — Говорила, что хочет немного попутешествовать, хотя бы подняться вверх по реке и чуточку повидать мир. А я был страшно обязан ей за все, что она для меня сделала, — приютила на зиму, давала работу, готовила еду. В общем, я подарил ей это суденышко. Решил, что мне оно больше не понадобится.

Теперь все это предстало передо мной так четко, словно было выбито на шоколадных скрижалях. Но хуже всего то, что я давно все поняла, поняла какой-то тайной частью своей души, той самой ее частью, которая позволяет мне общаться с матерью.

Значит, ты думала, что способна осесть на одном месте? — тут же услышала я в ушах ее голос. — Неужели ты не догадываешься, Вианн, что и я не раз предпринимала подобные попытки? Увы, таким, как мы, этого не дано. Мы отбрасываем слишком длинную тень. И сколько бы мы ни старались сохранить обретенную нами маленькую радость и свет любви, все тщетно; все под конец исчезает.

— Ты когда возвращаешься? — спросил Ру.

— Пока не могу точно сказать. Мне еще нужно тут кое-что сделать.

— Что именно?

Ах, как близко звучал его голос! Я представила себе, как он сидит на палубе, залитой солнцем, поставив рядом жестянку с пивом, и Сена темнеет у него за спиной, точно полоска пляжа, а силуэт моста Искусств на фоне летнего неба кажется совершенно черным. Я все это видела перед собой очень отчетливо, точно в каком-то светлом сне. Но, как это часто бывает во сне, абсолютно не чувствовала собственной связи с привидевшейся сценой, и та все ускользала от меня, пятилась куда-то во тьму...

— По-моему, тебе следовало бы поскорее вернуться домой, — сказал Ру. — Ты же говорила, что поедешь всего на несколько дней.

— Я помню. Но я не особенно задержусь. Мне только...

— Нужно еще кое-что сделать. Да, я понимаю. Но, Вианн... ведь

всегда будет это «кое-что». А потом и еще кое-что. Эта проклятая деревня как раз такая. Ты и оглянуться не успеешь, как проторчишь там полгода, а потом вдруг поймаешь себя на том, что выбираешь материю на занавески.

— Ерунда какая! — сказала я. — Я пробуду здесь еще максимум несколько дней. — И вдруг вспомнила, что звонила своему поставщику Ги и заказала шоколадную глазурь. — Самое большее — неделю. — Я все-таки решила, что стоит внести соответствующую поправку. — И потом, — продолжала я уверенно, — если ты так по мне соскучился, взял бы и сам сюда приехал!

Ру помолчал. Потом сказал:

— Ты же знаешь, что я не могу этого сделать.

— Почему же нет?

Он снова долго молчал, и я прямо-таки физически чувствовала, как сильно его все это огорчает.

— Почему ты мне не доверяешь? — наконец спросил он. — Почему нельзя, чтобы все было просто и ясно?

Потому что все очень *непросто*, Ру! Потому что, как бы далеко ты ни ушел от дома, река под конец все равно приведет тебя назад. А еще потому, что мне дано видеть больше, чем я хочу, — даже в тех случаях, когда я вообще предпочла бы ослепнуть...

— Это что, из-за Жозефины? *Неужели ты действительно мне не веришь?*

— Не знаю...

И снова это жуткое молчание — точно ширма, по которой мечутся черные тени. Потом Ру сказал:

— Ладно, Вианн. Надеюсь только, оно того стоит.

И все. Мне осталось лишь слушать в трубке странный шум, похожий на звуки прибоя, — так бывает, когда поднесешь к уху морскую раковину...

Я стояла и качала головой. Щеки мои были мокры. Кончики пальцев онемели от холода. Это все моя вина, твердила я себе. Не следовало мне тогда вызывать этот ветер. Он всегда сперва кажется таким безобидным, таким милым и естественным, чуть ли не беспомощным, но в любой момент способен резко перемениться. И тогда крошечный мирок, который мы с таким трудом строили для себя, не устоит под его напором и будет попросту сметен с лица земли.

Неужели Арманда это предвидела? Неужели догадывалась насчет Ру и Жозефины? Но могла ли она тогда догадаться, что ее письмо, точно бомба, разнесет в клочки мою жизнь с Ру? Вот что, оказывается, бывает, когда прочтешь письмо, присланное от мертвого человека. Нет уж, лучше и

впрямь никогда не оглядываться назад, как это делает Ру, — не оглядываться назад и не отбрасывать тени.

Впрочем, теперь уже слишком поздно. По-моему, Арманда и это предвидела. Господи, зачем я вообще вернулась в Ланскне? Зачем мне понадобилось встречаться с этой Женщиной в Черном? Наверное, по той же самой причине, по какой и скорпион укусил быка, прекрасно зная, что этот укус означает смерть для них обоих. Просто потому, что у нас не было выбора — ни у нее, ни у меня. Просто потому, что мы связаны с нею...

Дождь прекратился, но вой ветра достиг той дрожащей ноты, когда рвутся телефонные провода; он пронзительно причитал, *точно по покойнику* — Черный Отан словно обретал некий голос и способность говорить. *А на что ты рассчитывала, Вианн?* — твердил он. — *Неужели ты думала, что я тебя так просто отпущу? Что я навсегда отдам тебя кому-то другому?*

Я спустилась с бульвара Маро к старому причалу, где был пришвартован черный плавучий дом, воссозданный Ру после давнего пожара. Мощные страшноватые деревья с вылезшими из земли переплетенными корнями и сам берег реки обеспечивали ему вполне сносное укрытие, но всего в нескольких метрах от берега Танн превращалась в буйного лохматого зверя: на поверхности воды крутился мусор и каменная пыль, принесенная с гор, обломки плавника и сломанные ветки, обвитые обрывками кабеля и проволоки. Если бы кто-то вздумал искупаться в такой реке, это было бы равносильно самоубийству, ибо даже на мелководье она вела себя предательски. Если бы Алиса прыгнула с моста вчера ночью, а не шесть дней назад, Рейно ни за что не удалось бы ее спасти; да и сам он, кстати сказать, вряд ли сумел бы выплыть. Я подошла еще чуть ближе к причалу и крикнула:

— Инес Беншарки, вы здесь?

Я знала, что она дома; я прямо-таки кожей чувствовала ее взгляд и потому сделала еще шаг вперед. Ветер взметнул мои волосы, хлестнув по лицу; земля, насквозь пропитанная водой, чавкала под ногами.

— Инес?

Легко можно было себе представить, как она исподтишка следит за мной своими дикими подозрительными глазами. Зря я не прихватила с собой какой-нибудь подарочек; но персики почти кончились, да я и понятия не имела, с помощью какого подношения можно отыскать подход к этой женщине. Под черным покрывалом Инес скрывалось столько разных личин. Оми она представлялась скорпионом; Захре — подругой; старому Маджуби — разрушительным началом; Алисе — человеком, внушающим

ужас...

А Кариму?

Я снова окликнула ее. На этот раз вроде бы внутри плавучего дома слышались какие-то звуки, потом открылась маленькая дверца, и на палубе появилась женщина в *никабе*.

— Что вам нужно? — Голос у нее был низкий, с едва заметным акцентом. И все же было в его звучании некое несоответствие; так бывает, когда музыкальное произведение исполняют не в том ключе.

— Здравствуйте, меня зовут Вианн Роше, — сказала я, протягивая руку.

Она даже не пошевелилась. Глаза ее над прямо-угольником *никаба* абсолютно ничего не выражали, точно темные пуговицы. Я стала говорить что-то из заранее подготовленного — что, мол, жила когда-то в бывшей *chocolaterie*, что сейчас остановилась в Маро, что хочу помочь ей и Дуа...

Инес выслушала меня, не проронив ни слова. Стоя на палубе речного суденышка с низкой посадкой, она казалась идущей по воде; у нее за спиной разыгравшаяся Танн вздымала целые облака тонкой водяной пыли. На таком фоне Инес вполне можно было принять за привидение. Или за ведьму.

— Я знаю, кто вы такая, — наконец сказала она. — Вы приятельница священника Рейно.

Я улыбнулась.

— Да, мы с ним давние знакомые. Но приятелями были далеко не всегда. Вообще-то, он однажды даже пытался выгнать меня из города.

Но и после этих слов в глазах Инес ничего не отразилось. Руки ее в черных перчатках висели вдоль тела совершенно безжизненно. Маленькие ступни прятались под черной *абайей* — собственно, живыми казались только глаза, но и они словно застыли и ничего не выражали; и вся она порой казалась мне просто игрой света; под ее *никабом* и *абайей* вполне мог быть только воздух и больше ничего.

— Некоторые говорят, что это Рейно устроил пожар, но это неправда, — сказала я. — Он — несмотря на все свои недостатки — человек, в общем, хороший. Не трус и не подлец в отличие от того, кто этот поджог совершил. А теперь Рейно пытаются заставить взять вину на себя...

— Так вы поэтому пришли? Чтобы за него заступиться?

— Нет. Я подумала, что вам, возможно, нужна помощь, — сказала я.

— Спасибо. Она мне не нужна. — Голос ее звучал абсолютно ровно.

— Но ведь вам приходится жить на этом *суде-нышке*...

— Ну и что? — Голос Инес Беншарки звучал чуть насмешливо. — Или

вам кажется, что на таком суденышке трудно жить? Поверьте, мне доводилось жить и в куда худших условиях. А в этой стране жить вообще гораздо легче, чем у меня на родине. Легче и проще, да и люди здесь мягче и ленивей.

Она даже заговорила чуть громче от нескрываемого презрения, и глаза ее над покрывалом тоже презрительно прищурились. Вот теперь я наконец отчетливо различала цвета ее ауры; они так и сияли в сумеречном полумраке, царившем под деревьями, и делали простую черную ткань ее *абайи* похожей на дорогой муаровый шелк. Я тут же — совершенно инстинктивно — попыталась прочесть ее мысли, и мне это удалось; ощущение после этого у меня было такое, словно я вернулась с целой охапкой награбленных сокровищ. Я видела корзину алой земляники; пару желтых шлепанцев; чье-то запястье, обвитое бусами из черного гагата, как браслетом; лицо какой-то женщины, отражающееся в зеркале. И шелка, чудесно вышитые разноцветные шелка — легкий газ, похожий на туманную паутину, украшенный самоцветами шифон, белоснежное свадебное платье. И шелк цвета золотистого шафрана, и багровый, как ягоды шелковицы, и зеленый, как лесная листва...

Невероятно много цвета! Ошеломляюще много. Не увидев этого, я бы никогда не догадалась, что между Инес и Каримом действительно существует родственная связь; достаточно было лишь слегка сцарапать с нее эту черную искусственную оболочку, и сразу проявились такие яркие цвета, которые скрыть невозможно...

Инес вздрогнула так, словно я прикоснулась к некой запретной, самой интимной части ее души. Глаза ее гневно расширились, и я наконец-то увидела, каков их настоящий цвет, — они оказались зелеными, но временами этот темно-зеленый цвет казался почти черным; и все же в нем словно растворена была капелька золота.

— Прекратите это! — резко сказала она.

Я протянула к ней руку.

— В этом нет ничего страшного, Инес. Я больше не буду так делать. Я понимаю...

Она рассмеялась — лихорадочным, нервным смехом.

— Так вы, значит, понимаете? Считаете, что способны *понять все*? И всего лишь потому, что вам дано видеть чуть больше, чем всем прочим слепцам?

— Я ведь приехала сюда не просто так, — сказала я. — Я получила письмо от мертвого человека. И в нем говорилось, что я здесь нужна. А потом я увидела *вас* во время...

— Увидели... и что подумали? Вот бедная, угнетенная мусульманская женщина в *никабе*? Несчастливая жертва *кюффаров*?^[50] Истерзанная запуганная вдова, которая с радостью примет любую милость, сколь бы снисходительной и пренебрежительной она ни была? Любое предложение дружбы или... шоколада? Да я и так все знаю о тебе, *Вианн*... — Она помолчала, заметив мой изумленный взгляд, и продолжила: — Знаю, как ты появилась здесь восемь лет назад и всех очаровала, всех заставила буквально влюбиться в тебя — даже этого отвратительного священника. Ты думаешь, я не слышала бесконечных рассказов об этом? Думаешь, Карим мне ничего не рассказывал? Та женщина из кафе только и делает, что говорит о тебе. Как и тот старик с собакой, и булочник Пуату, и флорист Нарсис. Судя по их рассказам, ты просто ангел, прилетевший из *Jannat*,^[51] чтобы спасти всех нас. А теперь Фатима Аль-Джерба и ее мать тоже подхватили эту заразу — ах, все они просто обожают *шоколадную женщину*, которая думает, что понимает нашу культуру, потому что когда-то побывала в Танжере...

Я слушала ее молча, ошеломленная глубиной и силой ее презрения. Такого я от нашей первой встречи никак не ожидала; я не думала, что она до такой степени откроет все шлюзы и на меня хлынет поток яда. *Скорпион*, сказала про нее Оми. Теперь я тонула в потоке ядовитого презрения, как бык в реке, и хуже всего было то, что виновата во всем была исключительно я сама. Бык из старой притчи был в той же степени рабом собственной натуры, что и скорпион — своей. Разве в глубине души я *не хотела* быть укушенной? Не хотела получить доказательство того, о чем и так уже давно втайне знала? Доказательство того, что ничто не вечно; что даже магия может потерпеть неудачу и все, ради чего мы трудимся, что мы любим, в итоге упирается в ту же глухую стену...

Не *этот ли* урок я пришла сюда получить? Не *затем ли* вернулась в Ланскне?

— Я знаю, что ты прячешь у себя Алису, — сказала Инес.

Я вздрогнула; мне вдруг стало холодно.

— Ты думаешь, я ничего не слышу и не вижу? Ты думаешь, если я ношу *никаб*, то ни на что не обращаю внимания и только ты одна обращаешь внимание буквально на каждую мелочь? Ты думаешь, что если ты не можешь разглядеть меня под моим покрывалом, то и я *ничего* разглядеть не могу, *ничего* не замечаю?

— Во-первых, при чем здесь твой *никаб*? — сказала я. — А во-вторых, Алису я вовсе *не прячу*. Она живет у меня по собственному желанию и

пытается решить, как ей быть дальше.

Инес насмешливо хмыкнула — это был довольно грубый горловой звук:

— Ты, наверное, уверена, что помогаешь ей?

— Но кто-то же должен ей помочь, — сказала я. — Она пыталась покончить с собой.

Инес пристально посмотрела на меня своими золотисто-зелеными глазами. Несмотря на долгополую *абайю*, было заметно, как она грациозна, какая у нее прекрасная осанка и прямая, как у танцовщицы, спина. Да и глаза были просто потрясающие; должно быть, она — невероятная красавица.

— Ты рассуждаешь, как ребенок, — сказала она. — Как ребенок, который увидел выпавшего из гнезда птенчика, подобрал и отнес домой. А дальше случится одно из двух. Либо птенчик вскоре умрет, либо выживет и даже проживет еще день-другой, и тогда ребенок отнесет его обратно и вернет родителям. Вот только родители не примут птенчика, поскольку он весь пропитался запахом человека. И ему останется только умереть от голода, или его съест кошка, или до смерти заклюют другие птицы. И хорошо, если ребенок об этом никогда не узнает.

Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки.

— Но здесь совсем иной случай, — возразила я. — И Алиса — не птенчик.

— Разве нет? — удивилась Инес. — Сейчас ты еще скажешь, что она и пост соблюдала, и волосы *не остригла*.

— Тебе об этом Майя рассказала? — спросила я.

— Зачем мне слушать рассказы пятилетнего ребенка? Или, думаешь, одна ты хорошо все видишь и замечаешь?

И я вдруг вспомнила слова Алисы о том, что Инес Беншарки — *амаар*, злой дух в человеческом обличье, посланный свращать невинных. Я и сама не раз слышала подобные обвинения во время своих долгих странствий, ибо такие люди, как мы, обладающие внутренним видением, часто воспринимаются другими как некое зло. Моя мать называла себя ведьмой. И ей это нравилось. Но я никогда себя так не называла. Это слово несет в себе слишком большой груз печальных историй и всяческих предрассудков. Те, кто считает, будто слова не имеют силы, ничего не понимают в природе слов. Слова, использованные в нужном месте и в нужное время, способны положить конец тому или иному режиму, или превратить любовь в ненависть, или послужить основой для зарождения новой религии, или даже вызвать войну. Слова — пастухи лжи; и зачастую лучших из нас они

ведут на убой.

— Моя мать была ведьмой, — зачем-то сказала я.

Инес рассмеялась:

— Мне следовало догадаться!

И с этими словами она резко повернулась и исчезла за дверью своего черного плавучего дома; но я все же успела еще раз увидеть промельк ярких красок, похожих на цветные прожилки в мраморном шарике. А потом дверь закрылась — и я осталась стоять на берегу Танн. И Черный Отан по-прежнему свистел в проводах, и дождь вдруг полил с новой силой.

Глава седьмая

Вторник, 24 августа

Полночь. Дождь прекратился. Но небо закрыто тучами и черно, как агат. Августовское полнолуние — то самое, что, согласно легендам, приносит нам множество проблем, — ныне явилось нам, точно жалкий проситель-оборванец, в грязных лохмотьях облаков. При полной луне я никогда толком не мог спать. А теперь еще и сломанные пальцы ужасно болели. И в мыслях было сплошное напряжение, и в душе непокой. Я заранее предвкушал завтрашний день как некую лавину — телефонных звонков, визитеров, — готовую вот-вот на меня обрушиться.

За окнами свирепствовал ветер. Я чувствовал, что этот ветер способен увлечь меня за собой, как любопытного мальчонку. Я вдруг с глубочайшим изумлением осознал, как мало у меня собственных вещей — дом принадлежит церкви, как и вся мебель в нем, а также большая часть книг и картин. В общем, брезентовый рюкзак с оторванной лямкой — тот самый, с которым я уехал отсюда в семинарию много лет назад, даже думать не хочется, как много лет назад это было, — легко вместит все мои пожитки. Облачение священника я, разумеется, оставляю, а что у меня имеется, кроме него? Пара рубашек, джинсы, три майки, носки, белье да еще толстый, связанный вручную свитер, который я ношу зимой, когда холодно. Шарф. Шапка. Зубная щетка. Расческа. Копия трактата святого Августина, которую ты, отец, подарил мне, когда я был еще ребенком. Отцовские часы. Твои четки из зеленых стеклянных бусин, дешевенькие, но я их очень люблю. Коричневый конверт с фотографиями, документами и прочими бумагами. Немного денег. Совсем немного. Сорок пять лет, аккуратно уложенные в один-единственный рюкзак.

Итак, почему, зачем я его сложил? Это же просто смешно. Я же никуда не собираюсь. Во-первых, мне просто некуда идти. А во-вторых, сейчас глубокая ночь, да еще и дождь льет. Однако я уже вижу, как спускаюсь с крыльца с рюкзаком на плече и, оставив ключ в замочной скважине, выхожу за калитку и иду по пустынной улице. На мне старая куртка и грубоватые походные ботинки; я отчетливо чувствую небо у себя над головой. Небо, должно быть, покажется совсем иным человеку, которому некуда пойти, у которого нет дома. И дорога тоже наверняка покажется мне иной. Пожалуй, более жесткой и твердой, хотя мои поношенные ботинки очень удобны. Думаю, что смогу просто идти несколько часов подряд,

прежде чем возникнет необходимость задуматься, что все-таки делать дальше.

Ах, отец мой, как привлекательна подобная возможность! Знать, что с каждым шагом я все дальше от отца Анри Леметра! Не нести никакой ответственности ни перед кем! Не делать вечно вынужденный выбор. Думать только о том, где бы переночевать, что бы поесть, свернуть направо или налево. И, расставшись с бренными желаниями, поручить себя его величеству Случаю, господствующему во Вселенной...

Случаю?

Да, отец мой, я понимаю, конечно, что у Господа на все есть свой план. Но в последнее время мне все труднее поверить, что Его план осуществляется столь же гладко, как был Им задуман. И чем больше я об этом размышляю, тем чаще Бог представляется мне таким занудой-бюрократам, который и *хотел бы* помочь, да не в силах: прямо-таки завален работой — и бумажной, и связанной со всевозможными заседаниями; так что если Он вообще нас видит, то только из-за стопок счетов и отчетов о текущей работе, которые высятся у него на рабочем столе. Вот почему Ему необходимо иметь так много священников — они же делают Его работу! — и епископов, которые за священниками присматривают. Я отлично Его понимаю и совсем на Него не в обиде. Но, с другой стороны, всякая попытка жонглировать слишком большим количеством шариков всегда приводит к плачевному результату: несколько шариков непременно упадет и раскатится в разные стороны.

Этот ветер как-то сумел прочистить мне мозги. Всемирная история полна рассказами о тех, кто расстался с привычной жизнью, променяв ее на вечные странствия, вечное пребывание в пути. Один из них — тот, в честь кого я получил свое имя, — святой Франциск Ассизский. Возможно, когда-нибудь я совершу путешествие в Ассизи.

Похоже, я задремал; проснувшись, я почувствовал страшную скованность во всем теле и увидел перед собой рюкзак, прислоненный к входной двери. Пытаясь стряхнуть с себя остатки сна, я все старался, но никак не мог вспомнить, когда это я его там оставил. Затем все-таки вспомнил, и мне вдруг стало страшно. Уверенность, которую я испытывал буквально пару часов назад, с приближением рассвета странным образом растворилась в воздухе, ускользнула от меня. Обычно утром я первым делом иду к Пуату за круассанами или *pains au chocolat*. Сегодня не пошел: не хочу показываться в таком виде и давать повод Пуату болтать обо мне с каждым жителем нашей деревни. И потом, я настолько плохо себя чувствую, что дойти в таком состоянии до булочной и вернуться домой

значит подвергнуть себя почти непреодолимому соблазну и после завтрака остаться дома; а ведь я уже решил, что уйду отсюда навсегда.

Я сварил кофе и поджарил в тостере ломоть зачерствелого хлеба. Поджаренный хлеб всегда пахнет гораздо лучше, однако запаха хлеба оказалось достаточно, чтобы я вспомнил, что давно голоден. Теперь мне уже не под силу с такой легкостью терпеть голод, как когда-то. Я уже и перед Пасхой строгий пост не держу. Но если я покину свой дом, мне, по всей видимости, все же придется как-то приучать себя к голоду. Святой Франциск, разумеется, питался ягодами и кореньями; наверное, ему этого хватало, чтобы как-то себя поддерживать. Но мне, боюсь, будет трудно не получить к завтраку привычный круассан.

Я посмотрел на небо. Оно все еще было темным. До рассвета оставался по крайней мере час. Мне не хотелось, чтобы кто-то заметил, как я ухожу, особенно жители Маро, которые встают на рассвете, собираясь на утреннюю молитву. Но я знал, что мне придется пройти по их территории, если я намерен следовать течению реки. Такой план казался мне наиболее разумным. Да, надо поскорее спуститься вниз по реке и отойти от Ланскне достаточно далеко, чтобы уж точно не встретить никого из знакомых. Расстаться со всем сразу и навсегда — так сказал я себе; и никаких объяснений, никаких прощаний ни с кем — даже с Вианн, даже с Жозефиной...

Особенно с Жозефиной.

Я покончил с завтраком. Что ж, пора идти.

Я отнес посуду в раковину и вымыл ее. Полил цветы. Снял постельное белье, загрузил в стиральную машину и включил средний цикл стирки. Надел ботинки и дождевик. Вскинул на плечо рюкзак — на ту лямку, которая не была оторвана. Выключил в доме свет.

Сказал «до свидания».

Вышел за дверь и шагнул в темноту.

Королева Скорпионов

Глава первая

Среда, 25 августа

В Маро я держался боковых улочек. Я и забыл, как рано здесь встают люди. Повсюду вдоль бульвара уже светились окна — теплые разноцветные прямоугольники света, желтые, красные, голубые, зеленые. *Так вот что значит быть изгоем*, думал я. Но почему-то ощущение это было мне приятно. Чувствовалось в нем нечто романтическое. Возможно, быть изгоем — это просто уметь видеть вещи как бы со стороны. Я посмотрел на часы. Шесть утра. Скоро раздастся клич муэдзина. К этому времени я рассчитывал уже оказаться за пределами Маро. Не желая выходить на бульвар и заодно стремясь обойти стороной спортзал, я свернул на узкую улочку, ведущую к старому причалу. Когда-то к нему пришвартовывали свои суда речные крысы, но теперь этим причалом практически никто не пользовался. Я знал, что от причала по берегу реки тянется тропа, по которой раньше тянули на бечеве баржи, поднимая их вверх по течению, и тропа может привести меня напрямик в Пон-ле-Саул, где я сяду на автобус до Ажена, а там...

В Париж? В Лондон? В Рим?

Великое множество дорог, способных увести меня как можно дальше от дома, густой паутиной опутывают каждый уголок географической карты...

Нет, не надо слишком много думать о том, что мне предстоит. Лучше действовать по порядку, шаг за шагом, в четкой последовательности. Я заметил, что уровень реки еще больше поднялся. Если так и будет продолжаться, вода вскоре подмоет берега и зальет бульвар. Впрочем, в Маро к наводнениям привыкли, там даже дома на берегу, особенно те, что стоят ближе к воде, построены на сваях, чтобы не зависеть от довольно частых колебаний уровня воды в Танн. Но сами дома старые, и дерево, из которого они построены, выбелено, покороблено, изуродовано временем и непогодой; некоторые дома, правда, укреплены металлическими подпорками, но и подпорки эти успели изрядно проржаветь и еле держатся. С каждым годом такие постройки все ближе к полному разрушению, и, чтобы их отремонтировать, потребовалось бы, наверное, целое состояние. Возможно, как-нибудь зимним днем ржавые подпорки не выдержат — и весь ряд старых уродливых домишек, выстроившихся вдоль бульвара Маро, с треском рухнет прямо в Танн, точно жутковатые костяшки домино,

и на берегу не останется ничего, кроме обломков трухлявого дерева и кусков штукатурки.

Может, это и неплохо?

А, все равно! Мне больше нет до этого никакого дела. Я порвал с Ланскне. И уже решил, что должен делать дальше. А все остальное пусть решает сама река.

И тут вдруг заметил черный плавучий дом, пришвартованный к старому причалу в тихой заводи и уткнувшийся носом в берег, точно спящий человек, уронивший голову на согнутую в локте руку. Неужели снова речные цыгане? Да нет, конечно. Они здесь давно не бывают. Но из трубы на палубе явно вился дымок — а может, пар. И в окошке светился свет. Там явно кто-то жил.

Я инстинктивно отступил назад, в тень деревьев, которые, как ширма, отгораживают берег реки от бульвара, почти упирающегося в этот берег; мне совершенно не хотелось, чтобы меня заметили обитатели плавучего дома. Кто бы они ни были. Все это больше меня не касается. А на бечевую тропу я прекрасно могу выйти и по другому переулку.

Но, едва успев скрыться под деревьями, я заметил, что в мою сторону движется какой-то человек. Издали он выглядел довольно хрупким — явно женщина, вся в черном с головы до ног, лицо ее было почти полностью скрыто под покрывалом. Ты, отец, наверное, думаешь, что в сумерках *maghrebines* просто невозможно отличить одну от другой, но ее я узнал сразу — по походке. Это была Соня Беншарки.

Она, похоже, мчалась со всех ног, а потому чуть не налетела на меня. Я еще издали услышал, как она, задыхаясь от бега, торопливо и шумно хватается ртом воздух. Она заметила меня слишком поздно, и глаза ее над черным *никабом* мгновенно расширились от ужаса и удивления. Опасаясь, что она может закричать, я шагнул к ней и сказал:

— Не бойся, Соня, это я, Франсис Рейно.

Но это, по-моему, испугало ее еще больше. Она все-таки вскрикнула — негромко, каким-то задушенным голосом, — и я поспешил пояснить:

— Я тут случайно оказался. Я просто гулял. И уж никак не хотел напугать тебя.

Естественно, то, что я «просто гулял», никак не могло объяснить, зачем у меня на плече висит полный рюкзак. Но уж к этому-то мне совсем не хотелось привлекать ее внимание. И вообще, с какой стати она тут оказалась? Одна у реки... в такую рань?

— Соня, — спросил я, — у тебя что-то случилось? Что-то нехорошее,

да?

Она издала какой-то странный горловой звук, но ничего не ответила.

— Прошу тебя, скажи. Я же не могу оставить тебя в таком состоянии. Твой отец знает, что ты здесь?

— Нет, — прошелестела она еле слышно.

И я вспомнил об Алисе. Нет, это просто несправедливо! Ведь я всего лишь хотел уйти отсюда навсегда. Ах, отец мой, ну почему мне так трудно это сделать? И сколько еще препятствий Господь вздумает поставить на моем пути?

Я же не обязан отвечать за эту женщину! И за Алису тоже! И за Инес Беншарки! Все то плохое, что случилось со мной в течение последних нескольких недель, — это результат моего вмешательства в дела, за которые я не несу никакой ответственности. Ну что ж, пусть все на этом и кончится. В конце концов, в Маро есть свой священник, вот пусть он сам и разбирается с паствой.

И вдруг я почувствовал сильный запах бензина. Боже мой, она что, облила себя бензином?

— Что ты здесь делала? — спросил я чуть более резко, чем хотел. — И почему от тебя буквально разит бензином? Неужели ты собиралась совершить самосожжение?

Соня заплакала:

— Вы не понимаете...

— Сейчас мы пойдем к твоему отцу, — сказал я, крепко сжав ее запястье, — и пусть он сам с тобой поговорит; в конце концов, это его дело.

— Нет! Нет! — Она затрясла головой, дрожа всем телом, и выронила канистру с бензином, которую прятала под покрывалом.

В этот момент отчаяние, которое я испытывал в течение последних недель, достигло уровня самовозгорания. А гнев сделал меня безжалостным. Да, отец мой, я это понимаю и отнюдь не горжусь этим.

— Да что с вами такое?! — воскликнул я. — Сперва твоя сестра, теперь ты! Вы что все, с ума посходили? Неужели ты действительно хочешь умереть? Неужели действительно веришь, что если умрешь во время рамадана, то Бог отправит тебя прямо в рай?

Она беспомощно посмотрела на меня.

— Но я вовсе не хочу умирать.

— Тогда чего же ты хочешь?

Ее ответа я не расслышал и повторил значительно громче — она даже слегка вздрогнула от испуга:

— Чего же ты хочешь?

— Я только хотела, чтобы Инес отсюда уехала.

Господи, снова все упирается в эту женщину!

— Да кто она такая, эта чертовка? Каким неведомым способом она сумела всех в Маро заразить своим безумием? — Я заставил себя немного помолчать. Потом спросил: — погоди, а как именно ты хотела заставить ее отсюда убраться? — И я ткнул пальцем в канистру с бензином. — *Что* ты собиралась поджечь, Соня?

Всемиловитый Боже! Вот он, выпавший мне жребий! Каждое новое открытие было словно удар по голове. Судно, где поселилась Инес. Канистра с бензином. Соня. Горящая школа. Гнусные надписи на арабском языке. Слово «шлюха». И *тот* пожар, который перевернул мой мир, превратил меня в парию, в изгоя — как для Маро, так и для Ланскне. *Тот* пожар не только стоил мне репутации; я из-за него даже почти утратил гордость...

— Значит, это *ты* тогда устроила пожар? — догадался я. — Но зачем?

— Я хотела, чтобы она убралась отсюда! — отчеканила Соня, и каждое ее слово звучало так, словно она вбивает молотком в деревяшку крошечные металлические гвозди. — Я хочу, чтобы ее здесь больше не было! Пусть возвращается туда, откуда явилась! Никому и в голову не приходило, что она останется здесь навсегда. Она говорила, что приехала только на свадьбу. Пусть уедет — и тогда Карим всегда будет только моим, как это и должно было бы быть. Но пока она рядом...

— Ты же людей погубить могла, — попытался я вразумить ее. — Инес, или ее дочь, или кого-то из тех, кто бросился им на помощь...

Соня покачала головой.

— Я была очень осторожна, — сказала она. — Я подожгла только парадную дверь, но знала, что сзади есть пожарный выход. И потом, я бросала в окна камешки, чтобы наверняка их разбудить.

Я просто дар речи потерял. Неужели именно Соня пыталась спалить школу? Та самая Соня, которая мне всегда так нравилась. Соня, которая играла с мальчишками в футбол на площади, а потом пила в кафе у Жозефины коктейль «Diabolo»...

— Ты вообще-то имеешь представление, какое зло всем причинила? Ты же знаешь, что теперь в поджоге обвиняют именно меня!

— Мне очень жаль, что так получилось.

— Еще бы! И ты полагаешь, что твоих извинений мне достаточно? — Я так разозлился, что не в силах был сдерживаться. Мой голос с треском разрывал тишину, точно звуки пожара. — Поджог, попытка убийства, одна ложь, громоздящаяся на другую...

Как ни странно, Соня больше не плакала. Хотя я, пожалуй, даже ожидал этого. Однако голос ее, хоть и звучал по-прежнему еле слышно, был столь же тверд, как и в начале нашего разговора.

— Я на четвертом месяце беременности, месье кюре, — сказала она. — Если муж сейчас со мной разведется, я останусь совершенно одна. И ничего не получу. А он сможет либо остаться здесь, либо вернуться в Марокко — как захочет. У меня же нет никаких прав. Это вы понимаете?

— Но с чего ему с тобой разводиться? — удивился я.

— Он это сделает, если узнает, кто устроил пожар в школе. Я же вам сказала: он преклоняется перед Инес. И от отца мне ждать помощи нечего. Он любит Карима, как родного сына. Даже еще сильнее. А моя мать... и вовсе уверена, что Карим — ангел, спустившийся с небес, чтобы всех нас спасти. Что же касается Инес...

Соня не договорила и отвернулась. Муэдзин уже начал скликать народ в мечеть. Надо сказать, этот клич в форме речитатива довольно музыкален — если рассматривать его, так сказать, вне *данного* контекста. Дымовая труба старого дубильного цеха обеспечивает неплохой резонанс, и она достаточно высока, чтобы призыв муэдзина разносился по всей округе. *Haууа la-s-salah. Haууа la-s-salah.*^[52] Еще пара минут — и улицы оживут, наполнятся народом. Тогда уж мне точно не уйти незамеченным.

— Карим ходит к ней по ночам, — сказала Соня. — Я же слышу, как он потихоньку встает с постели. А потом возвращается, весь пропахший ее духами. *Пропахший ею.* Я точно знаю, это к ней он ходит! Я же все чувствую. Все вижу и слышу, только сказать ничего не могу. Она его околдовала. Опутала своими чарами. И его, и меня.

Нет, отец мой, это же просто смешно! Я ведь перестал носить даже облачение, и вот вам пожалуйста: я снова выслушиваю исповедь!

— Ведъм и чаровниц не существует, Соня, — сказал я строго. — А ты говорила с Каримом?

— Нет.

— Почему?

— Я пыталась. Но он сразу начинает сердиться. А мать с отцом упрекают меня, что я не проявляю должного послушания. Говорят, что мне следовало бы брать пример с Инес, стараться быть столь же скромной и почтительной.

— А что говорит твой дед? С ним ты не пыталась поговорить откровенно?

Впервые в ее глазах мелькнул призрачный улыбки.

— Мой дорогой джиддо! С ним я могла бы поговорить, только он с

нами больше не живет, и я теперь очень редко с ним вижусь. У дедушки с отцом вышла ссора; отец говорит, что *джиддо* оказывает на меня дурное влияние. А *джиддо* недоволен тем, что отец занял его место в мечети. Дедушка теперь живет в доме Аль-Джерба, вместе с семьей моего дяди Исмаила. Я слышала, в последнее время он болеет. И он, наверное, скоро умрет...

— Мне очень жаль, — сказал я.

И понял, что мне действительно жаль. Мохаммед Маджуби так давно живет здесь, и я, несмотря все на наши разногласия, всегда считал его человеком честным и порядочным. Если он умрет, после него в арабской общине наверняка возникнет ощутимая пустота. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь сказал то же самое и обо мне...

— Ступай домой, — сказал я Соне. — Переоденься: от тебя так и разит бензином.

Она неуверенно на меня посмотрела.

— И вы не скажете Кариму? Или отцу?

— Нет. Но только в том случае, если ты оставишь Инес в покое. Какие бы между вами трения ни возникали, вам следует честно решать проблемы. Честно и открыто. И, разумеется, с помощью слов, а не таких опасных вещей, как бензин.

— Но вы *обещаете* не говорить им?

— Я уже сказал: если ты немедленно прекратишь все подобные глупости.

Она вздохнула и пообещала:

— Хорошо.

— Две «Аве».

Она изумленно на меня посмотрела, и я поспешил добавить:

— Я пошутил.

По-моему, только священник смог бы понять подобную шутку. Но Соня поняла и улыбнулась — правда, одними глазами; и мне это очень понравилось.

— *Jazak Allah*, кюре, — сказала она на прощанье и ускользнула прочь.

Глава вторая

Среда, 25 августа

Всю ночь мне снились сны, один за другим, а на рассвете я проснулась, услышав, как тихонько щелкнула задвижка на входной двери. Спала я на диване в гостиной и тут же, спустив с него ноги, увидела у порога какую-то неясную тень — хрупкую фигурку, с головы до ног закутанную в черное, даже лицо было прикрыто платком.

— Алиса, это ты?

Я включила свет. Она так и стояла под дверью; из-под плотно повязанного *хиджаба* виднелись только глаза. Но это была не Алиса. Теперь-то я хорошо видела, что это еще совсем ребенок, девочка, куда более худенькая, чем Алиса, и ростом поменьше; черная одежда на ней оказалась вовсе не *абайей*, а каким-то чужим пальто, на несколько размеров больше, чем ей нужно.

— Господи, Дуа!

Она чуть повернулась, глядя прямо на меня. Ее маленькое бледное личико как-то странно застыло. И вдруг она сказала неожиданно взрослым голосом:

— Мне необходимо поговорить с Алисой.

Я встала и накинула халат.

— Конечно, сейчас. Что-нибудь случилось?

Она лишь молча глянула на меня. Это был тот самый взгляд, каким Анук лет с девяти одаривала меня в том случае, если я говорила или спрашивала что-нибудь *особенно глупое* — с ее точки зрения, разумеется. И я сказала:

— Хорошо, я ее разбужу.

Дуа проследовала за мной в маленькую спальню Алисы. Оказалось, что Алиса уже проснулась и смотрит, как по стеклу бегут струи дождя. Увидев Дуа, она тут же вскочила, и они стремительно обменялись несколькими арабскими фразами, из которых я практически ничего не поняла, кроме слова *джиддо*; однако было ясно, что дело явно не терпит отлагательств. Собственно, говорила в основном Дуа, а Алиса внимательно ее слушала, время от времени вставляя то какое-то замечание, то вопрос. Потом она сказала мне:

— Я должна идти.

— Что случилось?

— Дедушка очень болен. Он хочет меня видеть.

Теперь я вспомнила, что в прошлый раз Фатима вскользь упомянула о болезни старого Маджуби, но я так спешила поскорее отыскать Инес, что почти не обратила внимания на ее слова. Вспомнила я и то, что у старика возникли какие-то разногласия с Саидом — а может, с Инес? — и он временно перебрался в дом Аль-Джерба. А также вспомнила единственную нашу встречу, когда мы так приятно побеседовали. Мне он тогда очень понравился — понравились его глаза мальчишки-проказника и озорные шутки. Какова бы ни была его болезнь, думала я, она навалилась на него как-то слишком быстро.

— Что с ним? — спросила я.

Алиса пожала плечами.

— Никто не знает. А он не говорит. И врачу показываться не желает. И есть ничего не хочет. Только читает свою книжку или весь день спит. Он просил, чтобы я пришла. И мне придется туда пойти. — И она, немного поколебавшись, попросила: — Пойдемте со мной, а? Пожалуйста!

Я улыбнулась.

— Конечно. Пойдем вместе. Только дай мне одеться.

Уже через пять минут мы вышли из дома; дождь по-прежнему молотил неторопливо и размеренно. Алиса опять надела *хиджаб*; скрытое его складками, лицо ее казалось совсем маленьким и каким-то угловатым. В Маро отчего-то сильно пахло морем; этот солоноватый запах, какой бывает при отливе, напомнил мне о морских бухтах и странствиях, о пляжах в рассветном полумраке, об отпечатках босых ног в черном иле у кромки воды, о детях, роющихся в песке в поисках раковин сердцевидок. Танн за одну ночь подмыла берег и затопила дальний конец бульвара, где образовалось нечто вроде мелкого озерца, в котором отражалась мечеть с белым минаретом, напоминая некий мираж. Еще немного, думала я, и здешние дома тоже затопит; сперва зальет подвалы, а потом вода начнет подниматься и польется из прохудившихся канализационных труб, переполненных коллекторов и сточных канав, и дома один за другим станут погружаться в мерзкую жижу...

Увидев, что мы явились втроем, Фатима не сказала ни слова, лишь махнула рукой, чтоб поскорей входили в дом и снимали мокрую одежду и обувь; все это она быстро прибрала и проводила нас в гостиную. Там сидели Захра и Оми, одетые и полностью готовые к походу в мечеть; устроившись на подушках, они играли в какую-то игру, очень похожую на шашки. Майя, торчавшая возле матери на кухне, едва услышав, что мы пришли, тут же появилась на пороге. Никто, похоже, мне не удивился.

— Насколько все плохо? — спросила Алиса.

Оми покачала головой.

— Кто его знает? Он перебрался к нам пять дней назад. Сказал, что ему лучше пока пожить у нас. И с тех пор ни с кем почти не разговаривает, ничего не ест и даже в мечеть не ходит. Сидит и читает свою книгу да иногда в окно смотрит. Иной раз кажется, будто он всякую надежду утратил, когда Саид занял его место. Может, если *ты* с ним поговоришь, так он... — Оми пожала плечами. — *Иншалла*. Попробовать стоит.

Алиса некоторое время молчала. Она, казалось, что-то обдумывает, яростно отменяя одну мысль за другой.

— Кто-нибудь еще знает, что я здесь? — спросила она.

Фатима положила руку ей на плечо.

— Я тебе клянусь: мы никому ничего не говорили. Но ты ведь знаешь: здесь ничего утаить нельзя. Люди говорят. Всякие догадки строят.

— А кто-нибудь *из них* сюда приходил? — спросила Алиса. — Соня? Мой отец? Карим?

— Нет. Саид вообще считает, что мы зря потакаем старику, и сказал, что навещать его никто не станет, пока он не согласится домой вернуться. — Фатима вздохнула и покачала головой. — Оба хороши, упрямые, как старые мулы! Ни один не уступит. Сейчас со стариком Медхи. Я уверена, старик обрадуется, когда вас обоих увидит.

Она повела нас наверх по узенькой лестнице. Комната старого Маджуби находилась в задней части дома, в мансарде, и окнами смотрела на реку. Одно-единственное, но довольно большое треугольное окно впускало достаточное количество света, хотя его несколько закрывали низкие деревянные отвесы крыши, побелевшие от старости и насквозь прогрызенные древесными жучками. Старый Маджуби сидел у окна; колени укрыты клетчатым пледом; лицо бледное, осунувшееся. Рядом на прикроватном столике лежал третий том «Отверженных», примерно посередине которого торчала закладка. Возле старика стоял мужчина — я догадалась, что это и есть Медхи, муж Фатимы, — седоволосый, с небольшим брюшком и добродушным лицом, которое сейчас выглядело весьма озабоченным.

Я осталась возле двери, а Алиса бросилась к деду и крепко обняла его за шею обеими руками. Потом она стала что-то тихо рассказывать ему по-арабски — страстно, настойчиво, чуть запинаясь. Конечно, я ничего не понимала, но видела, что лицо старика все больше оживает; всего несколько минут, и в нем как бы возродился призрак той яркой личности, с которой я познакомилась всего несколько дней назад.

— Алиса... — прошелестел он. И его глаза медленно повернулись ко мне. — И мадам Роше, не так ли? Та самая, что приносит персики на рамадан?

— Друзья зовут меня просто Вианн, — сказала я.

— Я перед вами в долгу. — Он поднял руку — это был странный, изысканный жест; казалось, мне дарует милость старый король. — Вы спасли мою маленькую Алису.

Я улыбнулась.

— Ну что вы, — сказала я, — это вовсе не я, а наш месье кюре; вот он действительно заслуживает благодарности.

Маджуби кивнул.

— Да, я так и понял. И вы, я надеюсь, передадите ему мою благодарность.

Алиса опустилась возле кресла старика на колени; весь пол в комнатке был застлан ковром. Рука Маджуби, болезненно желтоватая и казавшаяся бесформенной, как кусок плавника, покоилась на голове девушки; старик что-то тихо говорил ей по-арабски; я уловила только слово «зина», грех.

Алиса молча слушала его, потом тихо заплакала и прошептала:

— Я не хочу, чтобы ты умирал, *джиддо*. Ты должен показаться врачу.

Старый Маджуби покачал головой.

— Я не умру, обещаю тебе. По крайней мере, пока эта книга не будет дочитана до конца. А это, если ты помнишь, *очень длинная* книга, и вся написана по-французски, и шрифт в ней довольно мелкий, а глаза мои уже далеко не так остры, как прежде...

— Не шути, *джиддо*. Тебе надо внимательней относиться к своему здоровью. И хотя бы немного есть. И врача надо обязательно пригласить. Ты стольким людям здесь нужен!

Старый Маджуби вздохнул:

— Неужели?

— Конечно! Вы очень многим здесь нужны, — поддержала я Алису. — Хотя кое-кто, возможно, и не хотел бы в этом признаваться. Но как раз те люди, которые отказываются от вашей помощи, зачастую больше всех в ней и нуждаются.

Возможно, мне показалось, но после моих слов его старые глаза как будто вспыхнули ярче.

— Вы имеете в виду моего сына Саида?

Я пожала плечами.

— А вы что, думаете, он вполне готов к тому, чтобы занять ваше место и со всем справиться без вашей помощи и подсказки? Или вы как в той

марокканской пословице? — Я процитировала: — «Если в полдень он скажет, что наступила ночь, то скажете ли вы: *Смотри, вон звезды?*»

Он оценивающе посмотрел на меня:

— А вы, мадам, пожалуй, нравились мне больше, когда всего лишь приносили персики.

Я процитировала еще одну пословицу:

— «Для мудреца достаточно кивка, а для глупца не хватит и пинка...»

Он трескуче рассмеялся.

— А вы знаете много наших поговорок, мадам! А такая вам известна: «Мудрой женщине всегда есть что сказать, но она чаще всего помалкивает»?

— Никогда не считала себя мудрой и никогда этого не утверждала, — сказала я. — Я всего лишь неплохо умею делать шоколадные конфеты.

Теперь уже он смотрел на меня прямо-таки сияющими глазами, которые тонули в густой паутине морщин.

— А ведь вы мне снились, мадам Роше, — сказал он. — Когда я пытался получить *istikhaara*. Мне снились вы, а потом она. Будьте осторожны. Держитесь подальше от воды.

Алиса, озабоченно на него глянув, сказала:

— Пожалуй, тебе лучше немного отдохнуть, де-душка.

Он улыбнулся, и взгляд его вновь стал серьезным.

— Видите, как она меня пилит, эта девочка? *Альхумдуллила*, я надеюсь, вы еще к нам зайдете? Но все же не забывайте того, что я вам сказал.

Теперь было видно, что старик действительно устал. Я положила руку Алисе на плечо.

— Пойдем. Пусть он немного отдохнет, если сможет. А ты, наверное, еще и завтра сумеешь его на-вестить.

Она посмотрела на меня.

— Ах, Вианн, вам не кажется...

— Мы обязательно придем завтра. Обещаю. А пока ему лучше немного поспать.

Алиса неохотно последовала за мной в гостиную, где Майя играла с Оми в «шашки», крепко прижимая к себе кота Хазрата.

— Ну что, теперь *джиддо* уже получше? — спросила она, задрав мордашку нам навстречу. — *Мемти* говорит, что *джиддо* слишком устал и не может со мной играть, а Оми всегда жульничает.

— Ничуть я не жульничая, — возразила Оми. — Я очень старая, а значит, непогрешимая. — И она улыбнулась мне своей беззубой, словно смятой улыбкой. — Как там старик? Он с тобой поговорил?

— Немного.
— Это хорошо. Тебе следует еще его навестить. И принеси ему какую-нибудь свою шоколадку.
— Конечно, принесу, — кивнула я.
— Только особенно не откладывай.

Мы отправились домой — разумеется, под дождем, — и я спросила:
— Алиса, а что такое *istikhaara*?
Ее, похоже, удивил мой вопрос.
— Ну, это такой способ попросить у Аллаха совета и наставлений. Сперва мы молимся, потом ложимся спать, и во сне нам может явиться ответ на нашу мольбу. Только получается это далеко не всегда. Да сны зачастую и понять-то нелегко.

Как и карты, подумала я. Их лики — точно сосуды, в которых плотными слоями лежат различные значения. «Держитесь подальше от воды», — сказал старый Маджуби. Ну да, притча о быке и скорпионе...

Но почему старику снилась именно я? Какого совета у Бога он искал? А может, он всего лишь пытался предупредить меня, чтобы я держалась подальше от Инес Беншарки? Если это так, то он, пожалуй, запоздал со своим советом. Что, если этот скорпион уже успел меня ужалить?

— Алиса, почему ты тогда прыгнула в реку? — напрямик спросила я. — Из-за Люка Клермона?

Она вскинула на меня удивленные глаза:

— Из-за Люка?

Я улыбнулась.

— Дуа мне говорила, что вы с ним переписывались по Интернету, но ты постоянно боялась, что кто-нибудь в семье об этом узнает...

Алиса продолжала изумленно смотреть на меня, и в глазах ее отражалось полное непонимание:

— Из-за Люка?!

— Я знаю, что раньше вы часто вместе играли в футбол на площади. На мой взгляд, это абсолютно нормально. Да и твои родители раньше относились к этому совершенно иначе. И все в Маро тогда было иным. Но Люка я знаю достаточно давно. Характер у него независимый. Если он действительно тебя любит, то его не остановят никакие внутрисемейные разногласия; он воспротивится даже воле родителей, если они вздумают ему ее навязывать. Ты же не пожелала мириться с волей своей семьи. В общем, я думаю, все будет хорошо. Обещаю. А если и ты его любишь, разве может это кончиться плохо?

Я ожидала совсем иного проявления чувств. Думала, она заплачет или, может, наоборот, вздохнет с облегчением. Однако во взгляде ее по-прежнему читалось полное непонимание, а на лице отражалось не больше эмоций, чем на поверхности только что испеченного каравая хлеба. А потом Алиса вдруг рассмеялась — только смех был какой-то невеселый, нервный и звенел в воздухе, точно заряды шрапнели.

— Так вот что вы, оказывается, подумали! — еле сумела вымолвить она. — Значит, вы считаете, что я влюблена в Люка Клермона?

— А разве нет? — растерянno спросила я.

Она снова засмеялась и не ответила.

— Но тогда в кого, Алиса? — снова спросила я. — И почему это считается грехом?

— А я-то думала, вы способны *проникнуть в суть* вещей! — с презрением бросила она, и меня резануло, до какой степени она в это мгновение показалась мне похожей на Инес. В плотно обхватывающем голову *хиджабе* она казалась значительно старше своих семнадцати лет; ей можно было бы дать лет тридцать, а то и больше. — Я думала, вы не такая, как все. А на самом деле вы тоже ничего не понимаете. Да и никто здесь ничего не понимает!..

И Алиса вдруг заплакала — навзрыд, хватая ртом воздух; этот лающий плач был странно похож на ее только что отзвучавший нервный смех. Я хотела ее обнять, но она меня оттолкнула.

— Ну что ты, Алиса, что ты? — Я снова попыталась ее обнять, и на этот раз она не стала вырываться, но застыла в моих объятьях, как мертвая. — Прощу тебя, расскажи мне все, попробуй объяснить, что с тобой приключилось. Я, разумеется, далеко не все понимаю, но и судить тебя ни в коем случае не стану. Уж это-то я могу тебе пообещать.

Алиса довольно долго молчала, и я решила, что она мне так и не ответит. Мы стояли с ней, обнявшись, под проливным дождем и слушали шум стремительного потока Танн и вой ветра, упорно срывавшего листья с деревьев. Потом Алиса шевельнулась, глубоко вздохнула и, посмотрев мне прямо в глаза, промолвила:

— В одном вы правы: я действительно влюблена. Но не в Люка.

— А в кого?

Она вздохнула.

— А вы разве еще не догадались? Мне казалось, что вы давно уже это поняли. Ведь вы же его видели! Все здесь просто с ума по нему сходят. Соня, моя мать, Захра, Инес... — Она горько улыбнулась. — Я влюблена в Карима Беншарки.

Глава третья

Среда, 25 августа

И она рассказала мне все. Говорила она яростными короткими фразами. Мы уселись с ней под деревьями в конце бульвара Маро, и она выдала мне настоящую исповедь.

— Он был так хорош собой, — рассказывала Алиса, — что все сразу в него влюбились. Хотя сперва, когда он еще только приехал, боялись, что он окажется слишком ученым, а может, и занудой. Наш отец очень много о нем рассказывал, но в его рассказах Карим представал каким-то уж очень правильным и скучным. Но стоило ему здесь появиться, и все девушки разом стали кокетничать, всячески стараясь привлечь его внимание. В общем, вы же его видели, верно?

Глаза как дикий мед, голос как шелк...

— О да, я его видела.

— Ну вот, — Алиса пожала плечами. — Моя сестра просто с ума по нему сходила. А ведь такие скандалы родителям устраивала, пока с ним не познакомилась! Твердила, что замуж не хочет, что они не имеют права ее принуждать. Даже из дому хотела сбежать. А потом увидела его — и все. С тех пор она только о нем и говорила. А все наши бывшие подружки — Айша Бузана, Джалила Эль Марди, Рана Джаннат — тут же сами принялись строить Кариму глазки и сплетничать у Сони за спиной; твердили, что она недостаточно серьезна, что она не настоящая мусульманка. Они доказывали это тем, что мы с ней когда-то играли с мальчишками в футбол на деревенской площади. Из-за подобных сплетен мать страшно нервничала — представляете, какой был бы скандал, если бы Кариму все это стало известно! Но ему, похоже, на слухи было наплевать. Он со всеми тут же подружился. Помог Саиду привести в порядок спортзал, и все молодые мужчины сразу начали туда ходить. Теперь этот зал у них вроде мужского клуба; они там с друзьями встречаются. Но потом приехала она...

— Инес, — уточнила я.

Алиса кивнула.

— Значит, она приехала не вместе с Каримом?

Алиса покачала головой.

— Нет, она приехала вроде бы специально на свадьбу. Как его единственная родственница. И он так ее любит, так о ней заботится... —

Она с отвращением фыркнула. — Все время ходит только в *никабе*. Даже дома! Даже в присутствии моего отца. Притворяется страшно добродетельной, а в глазах у нее одна злоба! *Это-то* вы, наверно, заметили?

Когда-то я бы, наверное, сказала, что не верю в зло. Но теперь я стала умнее.

Я думала об Инес Беншарки; о том, как презрительно она смотрела на меня своими миндалевидными темными глазами; о том, как старательно она пыталась скрыть цвета своей ауры. Неужели скорпион злобен только потому, что у него нет выбора и ему остается только жалить свои жертвы? Я сама была виновата в том, что наше с Инес первое свидание прошло так неудачно. Сама позволила ей загнать меня в тупик. Сама вломила к ней с самыми добрыми намерениями, наивная дура. Короче, вела себя по-любительски. Ничего, в следующий раз все будет иначе.

— Я не думаю, что в ней так уж много злобы, — сказала я.

Алиса пожала плечами.

— Вы ее просто не знаете! Когда она руководила этой школой, все девчонки ее боялись. Она никогда не улыбается, никогда не смеется, никогда не снимает свой *никаб*. Это из-за нее теперь столько девочек его носит. А еще, конечно, из-за того, что Карим вечно повторяет: женщина в *никабе* выглядит королевой...

— Он, похоже, очень предан Инес, — сказала я.

Алиса поморщилась:

— Вот уж точно, *предан*. Она — единственная женщина, которую он действительно любит. Не знаю, правда, что он в ней такого нашел. Возможно, она очень красива. А может, она просто ведьма, *амаар*. Я знаю только, что никакая она ему не сестра.

— Почему ты так в этом уверена? — спросила я.

— Потому что *знаю*. Потому что *вижу*, как он на нее смотрит. Точнее, *не* смотрит. Когда она рядом, он сразу совсем другим становится. И *все* становятся другими. Она словно та капля горечи, которая способна изменить вкус чего угодно.

— А Захре Аль-Джерба она нравится, — сказала я.

— Да Захра хочет стать такой, как она! *Стать* ею. — В голосе Алисы отчетливо слышалось презрение. — Она ведь никогда такой не была: никаких разговоров о политике не вела, *никаб* не носила. А теперь подражает Инес буквально во всем. Говорит, что мы должны потребовать возвращения того, что принадлежит нам по закону. Она так ведет себя, чтобы произвести впечатление на Карима, только напрасно, он ее вряд ли

когда-нибудь заметит.

— Расскажи мне о Кариме, — попросила я.

Алиса вздохнула.

— Я что-то замерзла, — сказала она. — Может, мы лучше домой пойдем?

— Конечно, давай пойдем домой. Поговорить можно и по дороге.

Как и многие другие жертвы, она во всем винила только себя. Была уверена, что, должно быть, как-то сама его спровоцировала. Возможно, тем, что носила европейское платье, к которому он не привык. Вот если бы она носила *никаб* или хотя бы покрывала голову *хиджабом*, то, возможно, ничего бы и не случилось. Но Алиса была слишком молода и наивна, она привыкла к обычной жизни французского городка, привыкла играть с мальчишками в футбол на площади, слушать современную музыку, смотреть телевизор. Она и сама не заметила, как *это* случилось. А когда заметила, было уже слишком поздно; *zina*, грех, уже стоял рядом с ними обоими.

— Сперва мы друг к другу даже не прикасались, — рассказывала она, — только иногда разговаривали наедине. Но я уже тогда понимала, что этого делать не следует. Карим хотел мне помочь. Он пытался молиться вместе со мной; но я во время молитвы думала только о нем — о его прекрасном лице, о его легкой походке, о его губах, нежных, как персик...

По ее словам, у Карима как раз начались проблемы с Соней. Первая брачная ночь была для Сони очень болезненной, снова пробовать она не хотела и всячески избегала секса. Карима это обижало, он чувствовал себя одиноким. Наконец он все рассказал Алисе, зная, как они с Соней близки, и рассчитывая на ее помощь. Но к этому времени и дружба Алисы с Каримом не просто окрепла, но начала потихоньку превращаться в нечто совсем иное.

— Когда мы с ним впервые поцеловались, это было ужасно, — продолжала Алиса. — Карим во всем винил себя. Меня он полностью оправдывал и говорил, что ему, наверное, придется от нас съехать. Но тогда ему пришлось бы как-то объяснить причину этого поступка моей сестре. В итоге мы решили прибегнуть к *дуа*, то есть к молитве, и воспринимать ее слова как руководство к действию, а также постарались больше не оставаться наедине. Карим стал почти все время проводить в спортзале. А я начала носить *никаб*. Но все равно нам было нелегко, ведь мы по-прежнему жили в одном доме. Я надеялась, что если я буду вести себя серьезней, буду иначе одеваться и как можно чаще молиться, то все снова встанет на свои места. Но в душе моей уже успело возникнуть нечто такое, что совершенно

не желало вставать на свое место. И однажды ночью он пришел ко мне в спальню...

Впервые это случилось четыре недели назад. А потом еще дважды. Один раз, когда они случайно остались в доме одни, затем еще раз на задах спортзала. И после этого Карим всегда умолял Алису простить его, а она, разумеется, во всем винила себя.

Тут-то и вмешалась Инес.

— Инес? — удивилась я.

Алиса кивнула.

— Да. Возможно, ей Карим сказал. А может, она и сама догадалась. В общем, откуда-то она все узнала. — Алиса вздрогнула, словно ее пробрало ознобом. — Она держалась очень спокойно, но велела мне держаться подальше от Карима, иначе она все расскажет моим родителям и Соне. А Соня тогда была на третьем месяце беременности. Представляете, как она восприняла бы подобное известие? А под конец Инес глянула на меня поверх своего *никаба* и презрительно бросила: «Ты что, думаешь, ты у него одна-единственная? И такого никогда раньше не случилось? Неужели ты решила, будто отныне он будет принадлежать только тебе? Учти, это совершенно невозможно, ибо он принадлежит мне!»

Мы уже подходили к домику Арманды. Было видно, что там горят все огни, отчего дом выглядел как китайский фонарик — веселый, праздничный, манящий. Должно быть, Анук и Розетт уже встали и завтракают.

Алиса, осторожно на меня глянув, спросила:

— Вы ведь никому не расскажете?

Я покачала головой:

— Конечно, нет.

— Теперь вы понимаете, почему мне пришлось убежать из дома. — Алиса яростно трянула головой. — Она же сама мне сказала, что *он принадлежит ей*. Он полностью в ее власти. А она с тех пор постоянно следит за мной. Следит, надеясь меня поймать и вывести на чистую воду. Она никогда со мной не разговаривает, но я вижу по ее глазам, что она меня ненавидит.

— Почему она перестала жить вместе с вами?

Алиса поморщилась.

— *Джиддо* не нравилось, что она и дома постоянно носит *никаб*. Он вообще не любит, когда женщины носят *никаб*, и считает, что неправильно в наши дни заставлять девочек его носить. Из-за этого они с отцом вечно спорили. А еще он был против того, что отец столько времени проводит в

спортзале. «Держит двор», как дедушка выражается. В общем, дедушка от нас съехал, а вскоре после этого съехала и Инес, сказав, что не хочет становиться причиной семейной ссоры. Только было уже поздно. Она уже успела все вокруг отравить.

Мы стояли на крыльце перед дверью, но в дом не входили. Дождь прекратился — во всяком случае, пока. Даже ветер немного стих. Я уж подумала, не собирается ли Черный Отан лететь дальше.

— Простите, что я так орала, — извинилась Алиса. — Вы могли счесть меня неблагодарной. А я стольким вам обязана!

Я улыбнулась.

— Ничем ты мне не обязана. Давай-ка поскорей заходи внутрь, пока не простудилась.

Анук и Розетт на кухне готовили завтрак — поджаривали на сковородке вчерашние круассаны. На плите стоял полный котелок горячего шоколада, благоухавшего ванилью и специями. Алиса сняла *хиджаб*, пригладила влажные волосы и спросила:

— Можно мне тоже немножко? Из этого котелка?

— Конечно. Только как же рамадан?

Она криво усмехнулась.

— Я и так уже нарушила слишком много правил. Чашка горячего шоколада ничего не изменит. Мой *джиддо* вообще говорит, что законы ислама превратились в покрывало, скрывающее истинное лицо Аллаха. Люди боятся смотреть по-настоящему. Их волнует только то, что на поверхности.

Я налила ей чашку шоколада. Он был очень хорош — во всяком случае, значительно лучше, чем можно было предположить — я ведь знала, что в кладовой у Арманды сохранилась лишь какая-то древняя банка с порошком какао. Я похвалила Анук, а она вдруг воскликнула:

— Ой, я и забыла! Тебе ведь посылка пришла! Я все вниз снесла, там холоднее.

Вот и отлично. Я очень надеялась, что мой заказ придет вовремя. Целый ящик всяких припасов: несколько блоков шоколадной глазури, несколько пакетов порошка какао, коробки, рисовая бумага, ленточки, формочки... Посылка, в общем, не особенно большая, но мне вполне хватит, чтобы выполнить все обещания.

— Я думаю, начать надо с трюфелей, — сказала я.

— Конечно, — поддержала меня Анук. — А мы тебе поможем, хорошо?

— Именно на это я и надеялась.

Розетт, отвлекшись от завтрака, подняла на нас глаза и радостно заухала. Даже она умеет делать трюфели — это самые простые из всех шоколадных конфет; их достаточно обвалить в порошке какао и аккуратно разложить по коробочкам, выстланным рисовой бумагой. Для приготовления смеси не нужен даже термометр для сахара; достаточно хорошего чувства времени и чуткого обоняния, чтобы не упустить тот момент, когда сахар начнет таять и нужно будет быстро влить в него ложку сливок, чтобы он не подгорел, а потом добавить немного корицы и глоток куантро...

— Я обещала Оми Аль-Джерба, что обязательно приготовлю для нее что-нибудь вкусное. И старому Маджуби я тоже обещала. А потом, есть еще Гийом, Люк Клермон...

— Жозефина и Пилу, — прибавила Анук.

— Пилу! — протрубила Розетт.

— И непременно нужно немного оставить для Жанно.

Анук радостно и открыто улыбнулась:

— Конечно!

Я хорошо знала, что означает эта ее улыбка. Вот и еще одно препятствие, способное осложнить наше возвращение в Ланскне, а также наш обратный путь домой, в Париж. В последнее время я была настолько поглощена собственными делами, что уделяла Анук гораздо меньше внимания, но по ее осторожно-веселому тону все же догадалась: Жанно Дру куда сильнее занимает ее мысли, чем она хотела бы мне признаться. Значит, Черный Отан принес еще и это — словно тень чего-то такого, что я постоянно чувствую, но лицом к лицу с этим пока предпочла бы не встречаться. Я хорошо помню, какой я сама была в пятнадцать лет. Мне понадобилось лет двадцать, чтобы возвести стену, разделяющую секс и любовь. А тогда я была слишком молода. Вот и Анук сейчас слишком молода. Я тогда никого не желала слушать. И она тоже никого слушать не будет...

В общем, я решила вернуться к шоколаду. Шоколад безопасен. Он существует в рамках особых правил. Если он пригорит, значит, вы просто неправильно следовали инструкции. А любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума. Впервые с тех пор, как у нас появилась Алиса, я испытала нечто вроде сочувствия к Саиду и Маджуби и его жене. Они уже потеряли одну девочку и сейчас очень близки к тому, чтобы потерять вторую. Пока я возилась с трюфелями — отмеряла и перетирала шоколадную глазурь и медленно растапливала ее на плоской сковороде, по капельке добавляя ликер, — я все

думала: испытывают ли родители Алисы те же чувства, что и я? Неужели они безучастно смотрели, как Любовь крадет у них дочь и неотвратно увлекает ее на иную орбиту? Или они были настолько заняты, что так и не заметили, как в их семью пришла Любовь?

Я должна снова повидаться с Жозефиной. Я должна снова повидаться с Инес Беншарки. Я должна найти совершенно определенные ответы на те вопросы, которые заставляют меня оставаться в Ланскне. В клубах пара, поднимавшегося над котелком с шоколадом, я видела их лица: глаза Жозефины смотрели на меня поверх покрывала Инес Беншарки; Королева Кубков в своем черном одеянии осушала до дна горькую чашу засухи...

Пары шоколадной смеси густы и богаты ароматами с оттенками цитрусовых и корицы. На мгновение у меня даже голова слегка закружилась; передо мной в дымке вращались яркие краски карнавала. Гадать по шоколаду — дело ненадежное, ближе к мечтам, чем к действительности; такое гадание скорее способно пробудить безудержные фантазии, а не подсказать что-то конкретное, чем можно было бы воспользоваться. Шоколадная масса дрожит, словно готовясь рассыпаться на великое множество темных конфетти, каждое из которых — точно эфемерный промельк, сверкнувший, как искра на ветру, и тут же погасший. В долю секунды передо мной вроде бы возникло лицо Ру, но затем оказалось, что это не Ру, а Рейно, бредущий с низко опущенной головой по берегу Танн и очень похожий на бродягу — небритый, бледный, на плече рюкзак с оторванной кожаной лямкой. Интересно, что бы это могло значить? И почему Рейно? Он-то какую роль играет во всем этом?

Шоколадная смесь была готова. Еще десять секунд — и она бы наверняка подгорела. Я быстро сняла глубокую медную сковороду с огня; скоро шоколад остынет, пар рассеется, а вместе с ним исчезнут и все краски, и непонятные, едва промелькнувшие образы. Пожалуй, сегодня стоит позвонить Рейно. Или, может, завтра. Да, наверное, завтра будет лучше. В конце концов, никакой срочности нет. Рейно — далеко не главная моя забота. Другим я нужна больше.

Глава четвертая

Среда, 25 августа

Вот тогда-то мне и надо было уйти, отец мой, но улицы Маро уже начали заполняться людьми, направлявшимися в мечеть, и я остался; спрятался под деревьями, поглядывая то на бульвар, то на берег реки. Мне по-прежнему был хорошо виден черный плавучий дом, что приткнулся к самому берегу в излучине реки — в точности как в те времена, когда здесь останавливались речные крысы. Но теперь, поскольку я уже знал, кто живет в этом доме, душу мою терзали весьма противоречивые чувства.

Речные люди всегда служили в Ланскне источником ссор и споров. Они не платили налогов, ходили куда и когда хотели и работали тоже когда хотели или если в том возникала необходимость. Некоторые из них были довольно честными, во всяком случае, честнее прочих, но ведь так легко нарушить закон, если знаешь, что завтра тебя уже здесь не будет, если у тебя нет ни общины, способной тебя защитить, ни необходимости хранить верность кому бы то ни было. Вот поэтому я и не люблю речных людей: от них обществу никакого толка, они вообще предпочли как бы отрезать себя от основного направления развития общества. Кстати, по той же причине я ненавижу *никаб* — тебе, отец мой, я могу в этом признаться, ведь ты не расскажешь об этом нашему епископу; да, я ненавижу *никаб*, потому что он позволяет тем, кто его носит, полностью отгородиться от остальных и презирать даже те простейшие способы установления взаимоотношений между людьми, которые могли бы хоть немного сблизить нас, представителей двух различных культур.

Улыбка, простое приветствие — интересно, отец мой, *сам-то ты* когда-нибудь пробовал сказать «привет» или «добрый день» женщине в *никабе*? Они отказывают нам даже в таких мелочах. Я всегда старался проявлять чуткость. Учил себя приспосабливаться к их верованиям. Но в Коране нет ни слова о том, что эти женщины *обязаны* прятать свое лицо. Они сами предпочитают носить *никаб*, желая оттолкнуть нас от себя. И не отвечают на наши тщетные попытки понять их веру и образ жизни.

Вот, например, Инес Беншарки. Я ведь всего лишь хотел помочь ей почувствовать себя в Ланскне как дома. И *чем* все это обернулось? Ну ладно, теперь за нее в ответе отец Анри. Флаг ему в руки! Пусть теперь он попытает счастья там, где я потерпел неудачу. А я наконец-то от *нее* свободен.

Все эти мысли бродили у меня в голове, пока я наблюдал, как последние из жителей Маро входят в мечеть. Улицы вновь опустели, и сейчас я мог бы уйти, никем не замеченный. Но я никуда не ушел, а зачем-то двинулся прямо к причалу.

Я понимаю, отец мой, это был совершенно неразумный поступок. Ведь я мог бы покинуть Ланскне, не попрощавшись даже с друзьями. Ничего не сообщив даже епископу. Но я отчего-то не мог уйти, не повидав ее — женщину, которая со дня своего появления в Ланскне ни разу даже лицо свое мне не показала, ни разу не ответила на мои приветствия и лишь в крайней необходимости неохотно роняла несколько слов. Почему же меня так тянет к ней? Соня сказала, что она ведьма, и я ответил, что ведьм на свете не существует. Но я солгал, отец мой. Я и прежде был знаком с несколькими ведьмами.

Я подошел еще чуть ближе к уткнувшемуся в берег судну. Дождь почти прекратился, сменившись тончайшей изморосью. Над трубой плавучего дома вилась струйка дыма. Кстати, эта Инес Беншарки вполне могла бы уже вернуться к себе на площадь Сен-Жером, если б тогда позволила мне помочь с ремонтом. Но нет, ей приятней было вышвырнуть меня из своего дома, точно вора какого-то! Вполне возможно, именно она натравила на меня тех мерзавцев, которые тогда ночью меня избили. Кстати, что это они все повторяли? Ах да: *Это война. Держись от нее подальше...*

Но теперь-то я знаю, кто на самом деле устроил пожар. Я наконец могу очистить свое имя от клеветы; одно слово епископу — и меня восстановят в прежней должности. А отец Анри Леметр и Каро Клермон пусть подавятся своими сплетнями. И пусть все в Ланскне узнают, что я был обвинен несправедливо...

Но тогда я предам доверие Сони Беншарки. Ведь она передо мной *исповедалась!* Неофициально, конечно, но это была *самая настоящая исповедь*. А тайна исповеди священна. Значит, даже если мне и удастся поговорить с Инес, я все равно не смогу сказать ей правду. Пожалуй, лучше все же уйти прямо сейчас, сохранив остатки былой гордости. Да, надо уйти прямо сейчас. И все же...

Этот плавучий дом похож на причаленный к берегу гроб, а эта женщина прячется под своим покрывалом, точно за шторкой в исповедальне... Господи, *что* я надеюсь от нее услышать?! Может, это *мне* в первую очередь необходимо исповедаться?

Я подошел еще ближе. По поверхности Танн, точно камешки, молотили крупные капли дождя. Черный плавучий дом слабо светился в

зеленоватом свете зари. Я, должно быть, простоял там, под деревьями, очень долго, потому что через некоторое время на улице вновь послышались звуки голосов, напомнив мне, что утренний намаз закончен и люди расходятся по домам.

На судне по-прежнему было тихо. Но я был уверен: она там. Я поднял с земли камешек и метнул его. Камень ударился о палубу, два раза подскочил — и снова воцарилась тишина.

Но через некоторое время дверь тихо отворилась, и на палубу вышла *та* женщина. Я был уверен, что меня она не заметила; однако она продолжала всматриваться в полумрак, царивший на берегу под деревьями, хотя испуганной отнюдь не выглядела. И я понял: она кого-то ждет.

Может, Карима Беншарки? Впрочем, мне нет до этого дела. Но я все же не мог уйти; стоял и смотрел на нее сквозь ветви деревьев, чувствуя себя одновременно и виноватым, и странно возбужденным. В этом было нечто от тайного наслаждения, свойственного вуайеристам: находясь снаружи, подглядывать за тем, что внутри, и при этом твердо знать, что тебя никто не видит...

Женщина прошла по палубе. Уверенная, что находится в полном одиночестве, она двигалась легко и изящно, как танцовщица, и шаги ее были почти бесшумны. Ветер, точно партнер по танцу, подхватил ее черное одеяние, и я вдруг увидел под ним яркий проблеск чего-то бирюзового.

Это меня слегка удивило. Мне казалось, что на ней абсолютно все должно быть черного цвета, как если бы ее тело было обернуто несколькими слоями черной обгоревшей бумаги. А она вдруг подняла вверх обе руки, словно желая, чтобы ветер подхватил ее и поднял над землей, затем заложила руки за голову и развязала тесемки своего *никаба*, скрывавшего лицо...

Нет, отец мой, ее лица я не увидел, ибо она не обернулась. Так и стояла лицом к реке, и *никаб* черным флагом трепетал в ее пальцах. Ах, если б только она обернулась...

Я понимаю, отец мой, сколь греховно это звучит. И могу сказать в свое оправдание только то, что, должно быть, в эту минуту Черный Отан лишил меня ра-зума. Я громко окликнул ее по имени. Она уже начала поворачиваться ко мне, но тут у меня за спиной раздался какой-то звук, и мне что-то набросили на голову — возможно, куртку или шарф. Потом меня с силой толкнули в спину, я неловко упал на колени, а кто-то навалился на меня сзади, своим весом придавив меня, распластанного, к земле, и согнутой в локте рукой сдавил мне горло. Я тщетно пытался оторвать от себя его руку. Я задышался. Перед глазами у меня уже расцвели

черные хризантемы...

Я знал: давление на сонную артерию даже средней силы максимум через десять секунд способно вызвать потерю сознания, а через минуту, если давление не ослабнет, наступит смерть.

Я чувствовал, как налетевший Черный Отан, холодный, стремительный, безжалостный, заполняет мою голову, пожирая мой разум и увлекая меня куда-то во тьму.

Autan blanc, emporte le vent.

Еще две секунды...

И меня не станет.

Глава пятая

Среда, 25 августа

К тому времени, как мы наконец вышли из дома, уже миновал полдень. Задержались мы отчасти из-за Розетт — сперва она помогала мне делать трюфели, а потом захотела помочь их разнести. И вот теперь она шла впереди в своих красных резиновых сапогах и не пропускала ни одной лужи, во весь голос распевая: «Бам бам БАМ, БАМ бадда-БАМ!» Анук с Алисой остались дома, а я тащилась следом за Розетт и тщетно пыталась обуздать свои грешные мысли.

Я боролась с искушением позвонить Ру, прекрасно зная, что ему больше нечего мне сказать. И потом, если даже мои подозрения в какой-то степени справедливы, то именно я, а вовсе не Ру и не Жозефина, оказалась в затруднительном положении. Моя мать была права: я не предназначена для жизни с одним и тем же мужчиной. И Ру никогда не был мне по-настоящему *нужен*. И мне не следовало тогда вмешиваться в их отношения с Жозефиной.

Ветер, пожалуй, чуть ослабел, но дождь хлестал с прежней, совершенно безжалостной силой. Сегодня, правда, дождь был теплый, как материнское молоко. Я все думала об Инес Беншарки и о том, почему Соня и Алиса так уверены, что Инес — любовница Карима. А что, если и Жозефина теперь воспринимает меня всего лишь как любовницу Ру? Как подлого скорпиона, как ведьму, которая отравила ей жизнь?

Понимаю, мне, наверное, следовало бы уехать отсюда прямо сегодня. Мне следовало бы вернуться домой, пока я еще могу это сделать. Хотя не слишком ли поздно? Я уже настолько втянута в жизнь Маро. И не могу бросить Алису. И мне пока не удалось разобраться в проблеме Инес Беншарки. Да и Рейно я обещала помочь — он так хочет очистить свое честное имя и восстановить репутацию. Не прошло и двух недель, а я уже опутана полудюжиной тайн: я знаю, что Дуа прячется от матери в комнатке на чердаке, а Оми поедает кокосовое печенье в знак презрения к рамадану; я много еще чего знаю, но таков уж Ланскне. С виду он совершенно безобидный — старые покосившиеся домишки, штокрозы, цветущие под прикрытием стен. Но это лишь уловка, способ завлечь в свои сети неосторожного. Подобно росянке, заманивающей насекомых своими медовыми тычинками, чтобы затем пожрать их, Ланскне затягивает меня все глубже и легко удерживает с помощью созданных им тайных связей...

На мосту я увидела Пилу с Владом; они ловили рыбу и уже промокли насквозь, но ни тот, ни другой, похоже, не обращали никакого внимания на столь ничтожную неприятность — во всем мире подобная беспечность свойственна только маленьким мальчикам и собакам.

— Я тут шоколадные конфеты сделала, — сказала я. — Хочешь попробовать?

Пилу просиял. Улыбка у него на редкость заразительная; но даже при всех моих нынешних знаниях я не находила в нем ничего общего с Ру. Глаза у Пилу, безусловно, материнские, и эту неугомонность, эту чрезвычайную энергичность он тоже унаследовал от нее, хотя в нем нет ни капли той неловкости, которая так свойственна Жозефине. Умный и счастливый мальчик. Но если *те* мои подозрения справедливы, то именно я украла у него отца.

Я выбрала для Пилу молочно-шоколадный трюфель и сказала:

— Мне кажется, этот тебе понравится больше всего.

Но я *не стала* говорить, что знаю, какие шоколадки на самом деле его любимые, — мои фирменные шоколадные квадратики с клубникой и черным перцем; у меня попросту не было ни времени, ни нужных припасов, чтобы приготовить любимое лакомство для каждого. С другой стороны, все мальчишки очень любят молочный шоколад. И Пилу, разумеется, слопал мой трюфель, причмокивая от удовольствия. Розетт с большим любопытством наблюдала, как он его ест.

— Ого! Просто удивительно! — сказал он. — Неужели это вы сделали?

— Да, это как раз то, чем я обычно и занимаюсь, — улыбнулась я. — Скажи, твоя мама дома?

— Не знаю. Думаю, она пошла провести нашего кюре. — Пилу улыбнулся, заметив, как я удивлена, и пояснил: — Она ему *rain au chocolat* по утрам приносит.

— *Rain au chocolat*? — еще больше изумилась я.

Я знала, конечно, что бывшие разногласия между Рейно и Жозефиной в основном устранены, но представить себе, как моя давняя подруга приносит Рейно булочки к завтраку, я все же была не в состоянии; мне это казалось столь же немыслимым, как и возможность каких-то авансов с ее стороны, поощряемых нашим кюре. Так могла бы вести себя, скажем, Каро Клермон — до пожара в школе, разумеется. С другой стороны...

И я вдруг поняла, что не видела Рейно с воскресного вечера, хотя на прошлой неделе он заходил к нам каждый день — приносил утром свежий хлеб. Правда, в последние три дня его не было, и я решила, что дождь

заставил его отказаться от привычных утренних прогулок. Только сейчас я вспомнила видение, что явилось мне, когда я готовила шоколадные трюфели: Рейно, бредущий куда-то в полном одиночестве...

— А что, наш кюре нездоров? — спросила я Пилу.

— Вообще-то мне об этом говорить нельзя... — замялся он.

— И *мне* тоже нельзя говорить?

Пилу пожал плечами и нехотя сообщил:

— Ну, он, по-моему, с кем-то подрался. С кем-то из Маро. Дуа говорит, что там полно плохих людей. И все они обвиняют в том пожаре нашего кюре. В общем, он пока сидит дома. По крайней мере, пока все не утихнет.

Ну вот, теперь все стало ясно.

— Ладно, я поняла. Пожалуй, я и ему отнесу несколько трюфелей.

Большую часть дня мы с Розетт старательно выполняли данные мною обещания. Отнесли целую коробку трюфелей Нарсису, щедро снабжавшему нас фруктами и овощами. Вторую коробку мы подарили Люку; он не только позволил нам пожить в домике Арманды, но и прислал письмо, без которого мы могли бы вообще сюда не приехать. Третью коробку мы вручили Гийому, строго наказав ни в коем случае *не кормить* шоколадом собаку. И с каждым визитом я все сильнее чувствовала, как щупальца хищной «росянки» все плотнее обвивают, опутывают нас обеих сладкими нитями, делая наш отъезд из Ланскне все более затруднительным.

Розетт жестами пояснила: «*Мне здесь нравится*».

Конечно, ей здесь нравится. Здесь так спокойно, уютно. Совсем не так, как в Париже с его мрачными пригородами и безликой толпой.

«*А можем мы тут остаться? А Ру может к нам сюда приехать?*»

Ох, Розетт! Что же мне делать?

Мы добрались до кафе «Маро», как раз когда церковный колокол прозвонил четыре часа. Жозефина стояла за стойкой бара и, поздоровавшись с нами, тут же предложила выпить горячего шоколада. Похоже, она нам страшно обрадовалась, но цвета ее ауры сказали мне, что ей все же отчего-то не по себе. Я вручила ей коробку изготовленных мною трюфелей — очень темный шоколад в оболочке из белого; такие трюфели я называю «*Les Hypocrites*».^[53]

Она тут же попробовала один и воскликнула:

— *Восхитительно!* Ты не утратила ни капли мастерства. Подумай, что ты могла бы сделать, если б только... — Она так резко оборвала начатую фразу, что я услышала, как она невольно лязгнула зубами.

Если б только *что*? Если бы я переехала сюда навсегда? Не это ли она пытается мне сказать? И почему мысль об этом вызывает у нее такую панику?

Я улыбнулась.

— Ну, практики у меня было хоть отбавляй. И потом, я подумала, что ты с удовольствием съешь именно такой трюфель.

В кафе народу было совсем немного, заняты были лишь несколько столиков. В глубине зала, чуть дальше барной стойки, я заметила Мари-Анж: она то и дело выглядывала из-за занавески из бусин, отгораживавшей вход в задние помещения, и пыталась обратить на себя внимание хозяйки. Я поднесла к губам чашку с шоколадом. Вкусно. Конечно, этот шоколад был не настолько хорош, как мой, но все же...

Мари-Анж принялась яростно жестикулировать, и Жозефина, глянув наконец в ее сторону, сказала:

— Извини, Вианн. Мне надо идти. У меня срочные дела.

— Что-нибудь случилось?

Она покачала головой и улыбнулась. Но было заметно, что улыбка эта поверхностная, призванная лишь скрыть смятение, таящееся в глубине.

— Нет, нет, ничего страшного. Прошу тебя, сиди спокойно и пей шоколад. Знаешь... в кафе всегда столько всяких дел...

Я снова оглядела предельно тихое кафе. Два молодых человека пили легкий коктейль «Дьяболо» с мятным сиропом; Пуату перекусывал, собираясь перед обедом вновь открыть булочную; Жолин Дру и Бенедикта Ашрон, заказав черный кофе, пристально следили за тем, что происходит на улице. Ни та, ни другая не сказали мне ни слова, но я видела, как они исподтишка наблюдают за Розетт, которая, устроившись под столом и тихонько ухая, играла с Бамом. На какое-то мгновение мне показалось, что все дело в Розетт, что именно в ней причина той неловкости, которую испытывает Жозефина; многим людям бывает не по себе, когда они сталкиваются с чем-то необычным. Вот и у Жолин с Бенедиктой моя девочка явно вызывала непонятную тревогу и раздражение...

А может, это из-за того, кто отец Розетт?

Я протянула дамам коробку с трюфелями и предложила:

— Не хотите ли попробовать? Эти трюфели я называю «*Hypocrites*». Не сомневаюсь, это ваши любимые.

Жолин тут же засуетилась:

— Но я... не ем шоколад!

Бенедикта смотрела на меня свысока. Поблекшая блондинка с сахарной улыбкой и чрезмерным количеством украшений, она всегда

считала себя естественной наследницей Каро Клермон.

— Вряд ли вы найдете здесь много женщин, которые станут есть шоколад, — сказала она. — Мы должны следить за фигурой, не так ли?

— Да, действительно, — с улыбкой сказала я.

Аура Бенедикты пылала желтовато-зелеными оттенками желчи. Розетт под столом запела тоненьким голоском, невероятно похожим на птичий. Бенедикта сладким, как сахарный сироп, тоном заметила:

— Какая милая у вас девочка! Как жаль, что она совсем не говорит!

— О нет, иногда она говорит, и очень много! — возразила я. — Дело в том, что обычно она ждет, когда ей будет что сказать. Жаль, что далеко не все так поступают.

— Извините, мадам... — сказал кто-то у меня за спиной.

Я обернулась и узнала Шарля Леви, который живет на той же улице, что и Франсис Рейно. В былые времена он не был завсегдатаем моей *chocolaterie*, но мы тем не менее хорошо знали друг друга. Шарль — очень приятный старик, всегда аккуратно одетый и весьма щепетильный. Рядом с ним стояла Генриетта Муассон, пожилая дама, которую я тоже прекрасно знала со времен существования моей шоколадной лавки. В руке Генриетта держала розовый кошачий ошейник, украшенный металлической подвеской в форме сердечка; вид у старушки был встревоженный и растерянный.

— Я подумал, что, возможно, вы сумеете нам помочь... — смущенно продолжал Шарль Леви. — Дело в том, что мы ищем месье кюре...

— Но ведь сегодня среда, — сказала ему Жолин. — Вы же знаете, что по средам он у нас не работает.

Шарль Леви недовольно на нее глянул и пояснил:

— Нет, нам нужен не отец Анри. Я ищу кюре Рейно.

Жолин приподняла выщипанную в ниточку бровь.

— Рейно? А он-то вам зачем понадобился? Всем известно, что он совсем спятил.

— Вот как? В прошлое воскресенье, когда мы с ним виделись, он мне показался абсолютно разумным и здравомыслящим, — сказала я.

— Ну а Каро его видела вчера! И она считает, что у него полное размягчение мозгов и это лишь вопрос времени... Впрочем, у него ведь всегда была к этому некоторая склонность, как вы знаете.

Шарль, не обращая на нее внимания, снова обратился ко мне.

— Я полагаю, вы с месье кюре в дружеских отношениях, — сказал он. — Дело в том, что я не раз говорил с ним о моем коте. О моем Отто, которого мадам Муассон частично усыновила. Я очень люблю этого кота,

мадам, но кюре Рейно заставил меня понять, что, возможно, ее потребность в общении с ним сильнее моей. И вот теперь Отто исчез, а мадам Муассон подозревает меня.

Генриетта презрительно на него посмотрела и заявила:

— Мой Тати никогда бы не убежал!

— Он все-таки *кот*, — возразил Шарль, — и рано или поздно он, конечно, убежал бы. А вот если бы вы звали его *по имени*, которое он понимает, на которое *откликается*...

— Отто — имя *грязных бошей*! — с отвращением воскликнула Генриетта.

— Мой дед тоже был немцем, — заметил Шарль.

Генриетта презрительно хмыкнула:

— В таком случае ничего удивительного, что этот кот не хочет у вас жить! И вы еще будете мне рассказывать, что он удрал просто так!

Она показала мне розовый ошейник. На подвеске в виде сердечка было выгравировано имя: *ТАТИ*.

— Ошейник я нашла у реки, — сказала она. — Мой Тати просто *обожает* свой ошейник!

— У реки? — Я нахмурилась. — А ваш Отто, или Тати, случайно не черный котик с белым пятном на мордочке?

— Вы его видели! — воскликнул Шарль.

— Думаю, да. Хотя в Маро, насколько я знаю, он носит имя Хазрат и проявляет настоящую страсть к кокосовому печенью.

Генриетта горестно взывала:

— О нет! Только не в Маро! Не у этих *maghrebins*! Рядом с ними даже коту находиться небезопасно! Они же сделают из моего Тати кошачий кебаб...

Я заверила ее, что ее Тати отправился с визитом в один очень хороший дом, где к нему относятся как к самому почетному гостю, и пообещала вскоре узнать о нем и сообщить ей. Хотя мне и не удалось до конца успокоить пожилую даму, она все же согласилась присесть и съесть трюфель. Шарль присоединился к нам — но лишь после того, как удобно усадил Генриетту.

— Спасибо вам, мадам Роше, — тихо сказал он, стараясь, чтобы его не подслушали Жолин и Бенедикта. — Я заходил к месье кюре и пытался поговорить с ним, но он, похоже, больше ни с кем разговаривать не желает. Даже через почтовую щель.

— Через почтовую щель?

— Ну да, — подтвердил Шарль. — Через эту щель он даже исповеди

принимал, когда ему не разрешили заниматься этим в церкви. Во всяком случае, после того, как там всем стал заправлять отец Анри.

— Этот *извращенец*! — тут же высказалась Генриетта. — Вы знаете, мадам Роше, он ведь прятался в исповедальне, когда я в последний раз заглянула в церковь! Еще и оделся как настоящий священник, *pardi*.^[54]

— Отец Рейно и *есть* священник, — заметил Шарль.

— По-моему, *извращенцам* не полагается служить в церкви! — отрезала Генриетта.

Шарль взял еще одну шоколадку, явно чтобы успокоить нервы, и шепнул мне на ухо:

— Видите, какая она? Чем скорей мы найдем Отто, тем лучше. Мой кот, похоже, действует на нее успокаивающе.

— Я его найду. Обещаю, — пообещала я им обоим.

Но после встречи с этими стариками тревога моя вновь проснулась. С Рейно явно что-то случилось. Не выходит из дома, опасаясь нападения, выслушивает исповеди через почтовую щель в двери, и мне он привиделся в парах шоколада каким-то странным. Короче говоря, Франсис Рейно в последнее время вел себя столь необычно, что Каро Клермон успела распространить слух о том, что он теряет разум...

Я забрала Розетт с Бамом и то, что еще осталось от трюфелей, и вышла из кафе. Неясная тревога, которая и так не покидала меня, теперь еще усилилась, заставив меня направиться напрямик к дому Рейно. Я постучалась, но ответа не последовало. Ставни были открыты, и я заглянула внутрь, но там, похоже, не было ни души. На всякий случай я снова постучалась. И снова мне никто не ответил. Тогда я слегка нажала на ручку двери, и дверь открылась.

Она была не заперта. Само по себе это не вызвало у меня особого удивления. В Ланскне по-настоящему никогда не водилось преступников, и люди даже сейчас по большей части не давали себе труда запираť дверь дома на замок. Несколько лет назад там, правда, поймали одного воришку, как мне рассказывал Нарсис; им, естественно, оказался кто-то из семейства Ашрон. Но с тех пор ничего подобного в Ланскне не случилось.

Нет, в доме явно никого нет. Собственно, я сразу это поняла. В пустом доме и звуки немного иные. Однако в воздухе еще чувствовался слабый запах хлеба, слегка подгоревшего в тостере, — похоже, комнаты не проветривали по крайней мере сутки. Я прошла в спальню; простыни с кровати были аккуратно сняты; подушки без наволочек лежали на голом матрасе. Вокруг все было тщательно прибрано; нигде ничего не валялось; цветы недавно политы; на кухне ни одной грязной тарелки; пластмассовая

решетка в раковине вымыта и заботливо перевернута вверх дном. В прачечной, прямо в стиральной машине, я обнаружила кучу чистого и высушенного белья; оно все еще пахло свежестью, словно его отправили в стирку только нынче утром. В ванной комнате было столь же пусто, как и на кухне: ни полотенце на сушилке, ни зубной щетки на стеклянной полочке.

А не мог ли Рейно уехать отсюда насовсем?

Я снова переместилась в гостиную, где на полу играла Розетт, что-то тихо напевая и приборматывая. Эти звуки да еще тиканье часов на каминной полке — вот и все признаки жизни, которые здесь еще оставались. Некоторые люди всегда оставляют в доме, где жили когда-то, какую-то часть самих себя, но в этом жилище не осталось никаких следов пребывания Франсиса Рейно — ни отпечатков его ног, ни его тени, ни даже привидения.

— Куда же он делся? — громко спросила я.

Розетт подняла ко мне лицо и крикнула: «Бам!» Это было приглашение поиграть.

Я покачала головой.

— Не сейчас, Розетт. Я думаю. Куда он мог пойти, ничего нам не сказав?

«На реку», — тут же с помощью жестов ответила Розетт, словно это было абсолютно очевидно.

На реку. Мысль о реке заставила меня похолодеть. Танн после целой недели проливных дождей сильно вздулась и наверняка стала предательски опасной. И потом, разве старый Маджуби не предупреждал меня, чтобы я остерегалась реки? Перед моими глазами вдруг возник Рейно: он стоял у парапета и смотрел в воду. Это видение окончательно лишило меня покоя.

А что, если Каро права? Что, если у Рейно действительно случился нервный срыв? Что, если стресс, который он испытывал в течение последних недель, привел его к самоубийству? Да нет, не может быть! На него это совсем не похоже. И все-таки...

Люди меняются, — донесся до меня из темноты чей-то шепот, и я узнала голос матери. — В конце концов, ведь и ты сама очень изменилась, верно? И ты, и Ру, и Жозефина...

А потом я услышала голос Арманды: *Ты все пыталась спасти меня, помнишь? Точно так же, как когда-то — свою мать. Но мы обе все равно умерли.*

— Бам! — сказала Розетт. — Бам бам, бадда-бам!

Это правильно, Розетт. Ты скажи этим призракам, скажи им всем,

чтобы оставили нас в покое! Я знаю, это просто Черный Отан, отыскав потайную лазейку, делает мои мысли такими беспокойными, а меня заставляет сомневаться в утрате здравого смысла. Рейно, возможно, просто пошел прогуляться, и завтра утром мы снова его увидим. А пока что мы должны еще отнести в Маро несколько коробок с трюфелями: кокосовые — для Оми, с розовым маслом и кардамоном — для Фатимы и ее дочерей, с перцем чили — для старого Маджуби, трюфели с перцем согревают душу и придают мужества. Есть и еще одна коробка — для Инес, она перевязана красной шелковой лентой. Такой подарок способен преодолеть любые преграды, существующие между представителями разных культур; такой подарок может вызвать улыбку даже на самом мрачном лице; он может даже повернуть время вспять, и мы вновь окажемся в самой простой, самой сладостной, самой счастливой поре своей жизни. В прошлый раз, попытавшись поговорить с Инес, я потерпела неудачу. Но на ту встречу я пришла без оружия и без должной подготовки. Теперь все будет иначе.

На этот раз я принесу ей то, что она любит больше всего.

Глава шестая

Среда, 25 августа

Вряд ли я так уж долго пробыл без сознания, но очнулся я в полной темноте. Ужасно болела голова, да и спина тоже; нетрудно догадаться, что те, кто принесли меня сюда, не особенно со мной нежничали.

Вот только что значит «сюда»? Я осторожно сел. Похоже, какой-то подвал: пол выложен плиткой и запах подвальный. И воздух сырой, холодный. В нем отчетливо чувствовался запах плесени и какого-то гнилья.

Рядом явно протекала река: я хорошо различал ее хриплый торопливый рев — ее пению мешали груды мусора, принесенного паводком и вертевшегося на волнах, как Джаггернаут.^[55]

Я крикнул:

— Эй! Здесь кто-нибудь есть?

Мне никто не ответил.

Я мог бы крикнуть и еще раз, но не стал. Я догадывался, что меня бросили сюда, скорее всего, те же люди, которые избили. Но если это действительно так, то, наверное, не стоит лишний раз с ними встречаться?

Я решил немного осмотреться. Двигаясь в полной темноте на ощупь, я все же сумел определить, что нахожусь в весьма просторном помещении величиной с бальный зал. Я обнаружил также несколько пустых упаковочных клеток из дерева, груды битой штукатурки, подмокшую картонную коробку, пачку старых газет и каменную лестницу примерно в дюжину ступеней, ведущую к запертой двери. С моей стороны в двери не было даже ручки, и я загрохотал по деревянной панели кулаками. Но никто не пришел. А дверь явно была крепкая. Впрочем, там, наверху, за ревом реки стук моих кулаков вряд ли был кому-то слышен.

Ах, отец мой, я понимаю, это глупо, но я даже почти не испугался. Точнее, я просто не мог поверить, что все это происходит со мной в реальности, что я и впрямь *нахожусь в темнице*; гораздо легче было считать это кошмарным сном, вызванным затянувшимся стрессом, усталостью и болью (кстати, пальцы по-прежнему причиняли мне острую боль). И лишь через некоторое время страх потихоньку заполз ко мне в душу и устроился там, словно незваный гость, который постепенно забирает власть над всем домом. Я заметил, что окружавшая меня тьма не беспросветна: во-первых, дверь над лестницей обрамлял неясный прямоугольник дневного света, а во-вторых, высоко над полом в дальней

стене виднелось подобие окошечка, забранного решеткой, напоминавшей решетку в моей исповедальне, и в это окно тоже просачивалось бледное сияние дня.

Теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, начала вырисовываться и некая перспектива. Я уже способен был различать форму предметов и угрожающий блеск воды на полу. Здание явно стояло на довольно крутом склоне, и нижний конец подвала оказался уже затоплен; это навело меня на мысль, что я нахожусь, по всей видимости, под одной из допотопных дубилен Маро. Поскольку уровень воды в реке все эти дни неуклонно поднимался, мой подвал вскоре — с поистине угрожающей быстротой! — будет весь залит водой. Я не раз видел, как происходит нечто подобное; и в первую очередь страдают строения, которые стоят ближе всего к воде; именно по этой причине большая часть домов на бульваре Маро приговорена.

Примерно час назад из-под решетки на окне начал просачиваться тонкий ручеек воды, который теперь превратился в сплошной неторопливый поток. Вода почти бесшумно стекала по стене и самым зловещим образом скапливалась в дальнем углу подвала. Еще через час лужа распространилась почти до середины моей темницы.

Почему я здесь оказался? Кто меня сюда бросил? Неужели меня пытаются запугать? Признаюсь: я действительно испугался. Но гораздо сильнее разозлился. Кто-то осмелился сделать со мной *такое!*.. *Со мной*, представителем Святой католической церкви!..

Ты, конечно, можешь сказать, что я сам все бросил и ушел. Что я должным образом не исполнил свой долг. Что я бежал, как тать в ночи, никому ничего не сказав о своих дальнейших планах. Да, отец, теперь я, пожалуй, готов признать, что зря так поступил, ведь никому и в голову не придет, что я *пропал*. Возможно, через несколько дней кто-нибудь зайдет ко мне и поймет, что меня давно уже нет дома. Но даже если кого-то это и встревожит, то откуда он узнает, где меня искать? И до какого уровня за это время может подняться вода в темнице?

Полагаю, ты мог бы сказать, что это послужит мне хорошим уроком. Что мне вообще не следовало уходить из дома. Что священнику нельзя просто взять и уйти от Бога и своего призвания. Вот только Бог никогда не разговаривает со мной, как это делаешь ты, отец мой. А в последнее время я все чаще ловил себя на мысли, что мое призвание, точнее, моя профессиональная деятельность — это всего лишь способ привнести хоть какой-то порядок в мир, который становится все более странным, исполненным хаоса. Но без церкви я и впрямь незащищен; это доказывают

и те затруднения, что выпали на мою долю в последнее время. Подобно Ионе^[56] я был проглочен и оказался в животе чего-то неведомого и слишком большого, чтобы сражаться с ним в одиночку.

Я подтащил упаковочные клетки к дальней стене и сложил их в подобие пирамиды. Взобравшись на нее, я смог сквозь решетку увидеть, что находится снаружи. Но смотреть было практически не на что: мне была видна лишь кирпичная стена какого-то здания, выходившего, скорее всего, в узкий переулок, в тот момент затопленный вышедшей из берегов Танн. Из-за окна доносились смешанные запахи: мочи, хлорки и еще какого-то дезинфицирующего средства, к которым примешивался более слабый запах *кифа*, а также ароматы специй и готовящейся еды. Переулок был, видимо, совсем крошечный; скорее всего, просто проход между домами — вряд ли более метра в ширину, — соединявший главную улицу Маро с берегом реки. Даже в хорошую погоду такими проходами пользуются нечасто, и вероятность, что меня услышит кто-то из прохожих, была крайне невелика.

Ко всему прочему мне еще и страшно хотелось есть — мой желудок давно уже был пуст и бурно протестовал против столь жестокого обращения, ведь я пропустил по крайней мере одну трапезу. Решив немного поесть, я изучил набор продуктов, которые перед уходом сунул в рюкзак; к сожалению, еды оказалось очень немного — я планировал купить кое-какие припасы в дорогу уже после того, как покину Ланскне. Пара банок тунца в масле, немного вчерашнего хлеба, яблоко, бутылка воды. Я с трудом удержался от того, чтобы съесть сразу все.

Но немного утолив мучивший меня голод, я гораздо острее почувствовал страх. Примерно каждые двадцать минут я подходил к двери и принимался барабанить в нее кулаками, словно надеясь, что она каким-то чудом вдруг откроется, хотя прекрасно понимал, что она так и останется запертой. В подвале было холодно — гораздо холодней, чем снаружи, — и вскоре меня стал бить озноб. Я вытащил из рюкзака свой огромный зимний свитер и надел его под куртку. Шерсть грубая, колючая, но мне сразу стало как-то спокойней и уютней. Когда я закрывал глаза, журчание воды, стекавшей по стене, даже понемногу меня убаюкивало. Казалось, я нахожусь на берегу моря, а доносившийся издали рев Танн смутно походил на грохот прибоя. Я прибегнул к старой, еще детской моей фантазии, давным-давно позабытой: будто я вышел в открытое море и плыву навстречу новой жизни. Я не вспоминал об этой игре с тех пор, как уехал в семинарию.

Вот, Франсис Рейно, что случается с мальчиками, которые убегают из дома, чтобы стать моряками и уплыть в далекие моря.

Это твой голос, отец. Я знаю, ты прав. И мне бы следовало попросить у Господа прощения. Но ничего не могу с собой поделать: душа моя охвачена возбуждением, даже, пожалуй, восторгом. Наверное, из-за этого я и не могу молиться. Но никакого раскаяния не испытываю.

Интересно, что за морское чудище меня проглотило? И прав ли ты, обвиняя меня? И стало ли случившееся наказанием за мой побег? Или, может, я *всю жизнь* прожил внутри этого чудовища, даже не подозревая о том мире, что находится снаружи?

Глава седьмая

Среда, 25 августа

Должно быть, я немного поспал. Сколько, не знаю, но когда проснулся, уже спускалась ночь и маленький прямоугольник света, видневшийся за решеткой окошка-продуха, померк и приобрел красноватый оттенок. Я весь застыл от лежания на каменном полу, казалось, у меня болит каждая мышца. И все же я как-то умудрился уснуть. Наверное, вследствие чрезмерной физической и душевной усталости.

Я снова взобрался на пирамиду, сложенную из старых упаковочных клеток, чтобы проверить, не видно ли из окошка чего-то нового. При этом я, разумеется, не мог не заметить, что лужа на полу стала значительно шире и глубже; пробираясь к окну, я насквозь промочил свои старые прогулочные ботинки.

Ветер совсем стих, да и дождь прекратился. Стоя на груди клеток и прижимаясь лицом к решетке, я чувствовал, что запах готовящейся пищи стал гораздо сильнее. Ну естественно. Ведь здешние жители едят после захода солнца, а то и в полночь или даже позднее.

Я прикинул, стоит ли снова звать на помощь. Может, все-таки кто-нибудь услышит меня и освободит из заточения? Да и, в конце концов, сколько еще мои тюремщики намерены держать меня здесь? Это же просто нелепо! Чем больше я об этом думал, тем сильнее все смахивало на чью-то неудачную проделку, на шутку, зашедшую слишком далеко.

Вода продолжала вливаться в мое зарешеченное окошко — видимо, подвальный продух — и беспрепятственно стекать по стене на пол. Возможно, где-то рядом проходила одна из старых, давно не используемых газовых или канализационных труб — как бы то ни было, сильно поднявшаяся речная вода по этой трубе теперь направлялась как раз в мою сторону, и заткнуть протекающую трубу у меня не было никакой возможности. К сожалению, я все же предпринял такую попытку, но единственное, что мне удалось, это насквозь вымочить одежду и обувь.

Я снова влез на грудь клеток и стал звать на помощь.

Никто, разумеется, не пришел. Никто не откликнулся. Из брюха «кита» мой голос, видно, доносился еле слышно.

Я кричал, пока не охрип. Пять минут или, может, десять. Я чувствовал аромат пекущегося хлеба, сложные запахи соусов, щедро сдобренных специями и маслом, аромат розовых лепестков и жарящейся баранины,

горохового теста и каштанов...

— Помогите! Я здесь! Это Франсис Рейно!

У меня уже голова кружилась от крика. Сейчас я бы обрадовался кому угодно — даже тем, кто на меня напал, — лишь бы снова не остаться в одиночестве, наедине с собой. Я даже несколько удивился, осознав это. Никогда раньше я не питал такой неприязни к собственной компании. Сейчас даже лицо отца Анри Леметра, похоже, было бы для меня поистине манной небесной среди Аравийской пустыни. [\[57\]](#)

— Помогите! *Пожалуйста*, помогите!

Я даже толком не знал, к кому взываю. Быть может, к тебе, отец? А может, к самому Господу Богу? Но мне никто не ответил, и в конце концов я слез со своей вышки и вернулся на лестницу — эта лестница вскоре стала единственным местом в подвале, не залитым водой. Я завернулся в куртку и попытался снова уснуть, и мне, похоже, это удалось; а может, я просто впал в некое тупое беспамятство, из которого меня через какое-то время вывел гулкий стук, доносившийся сверху.

Бум, бум, бум, бум.

Стук был настойчивым и ритмичным, похожим на далекий грохот барабана.

Бум, бум, бум, бум.

Музыка? Нет, не думаю. Маро — не то место, где часто услышишь музыку. И потом, в этом ритмичном стуке чувствовалось нечто *органическое*, некая едва уловимая неровность, словно биение сердца, страдающего аритмией. И я подумал, отец мой: а что, если это бьется сердце проглотившего меня кита, которому снятся новые победы?

И вдруг до меня дошло. Я наконец-то понял, где нахожусь! Этот звук, похожий на биение великанского сердца, был грохотом работающего тренажера.

Я находился в подвале под спортзалом Саида.

Глава восьмая

Среда, 25 августа

Возвращаясь домой по мосту, мы любовались невероятно эффектным закатом. Дождь наконец прекратился, и небо на западе сияло эффектным сочетанием лимонных и розовых полос, которые словно выглядывали из-под зловеще-серого, цвета слюды, тяжелого покрывала туч. А когда мы оказались на том берегу, все дома стали алыми в лучах закатного солнца, каждое окошко светилось, как листовое золото, и за домами сверкала Танн — полноводная, великолепная, гладкая, как шелк.

Впереди под ветвями деревьев прятался плавучий дом Инес Беншарки. Внутри горел свет, над дымоходом вилась ленточка бледного дыма. Я вытащила последнюю коробку — в ней были темные и светлые трюфели, обваленные в порошке какао, сдобренном специями: кардамоном для душевного спокойствия, ванилью для более нежного вкуса и зеленым чаем, лепестками розы и тамариндом, способствующими душевной гармонии и доброжелательности. Обернутые в тонкие листочки «золотой» фольги, трюфели были похожи на маленькие аккуратные шарики для рождественской елки, которым просто придали приятный аромат. Ну разве можно отказаться от такого чудесного подарка?

Розетт, конечно, тут же направилась к воде. Бам обожает купаться, а Розетт плавает почти так же хорошо, как Ру, и совершенно не боится воды. Палкой с заостренным концом она не только измеряла глубину реки, но и выуживала на берег всякий мусор, показавшийся ей интересным. Когда я подошла к причалу, она уже успела «спасти» из воды несколько замечательных веток, пробку от шампанского и кукольную голову, которой и увенчала грудку выловленных трофеев, точно охотник-каннибал.

— Только в воду не лезь, — сказала я ей, поскольку Бам уже скакал на позолоченной закатом поверхности реки, точно плоский камешек, каким «пускают блины».

— А что это там такое в воде? — услышала я вдруг чей-то голосок и, обернувшись, увидела Майю, которая, видно, уже довольно давно наблюдала за нами, прячась в одном из переулочков, точнее, узких проходов между домами, ведущих к реке.

Вдоль бульвара Маро таких проходов, наверное, с полдюжины; они, пожалуй, недостаточно широки для взрослого, но для пятилетнего ребенка в самый раз. На Майе были надеты ярко-розовые резиновые сапожки и

свитер с вывязанной на груди лягушкой. Под мышкой у нее виднелся Типо, тот вязаный зверек неопределенной породы, с которым она была неразлучна.

— Это Бам, — сказала я. — Дружок Розетт. Он особенный: не всякий может его увидеть. Я думаю, ты наверняка ему понравилась.

Круглые глазенки Майи стали еще круглее.

— Так, может, он джинн? Мой *джиддо* говорит, что джинны есть повсюду. И некоторые очень даже дружелюбные. А некоторые — *настоящее порождение шайтана*.

Я улыбнулась и сказала:

— Нет, Бам — просто обезьянка. Дома у Розетт мало друзей. Там, где мы живем.

— Вот бы и у меня была обезьянка! А откуда этот Бам взялся?

Я попыталась объяснить:

— Это одна из тех вещей, которым меня научила моя мама. Такое небольшое волшебство. У Анук тоже есть похожий дружок. Только не обезьянка, а кролик. Его зовут Пантуфель.

Майя надула губки, похоже собираясь заплакать:

— Я тоже хочу такого звериного дружка!

— Ну так это же очень легко, Майя. Ты только закрой глазки и представь его себе. Кого ты хочешь?

Майя так крепко зажмурилась, что даже вздрогнула всем телом. Розетт улыбнулась и слегка пощекотала ее. Майя захихикала.

— *Перестань*, Розетт! — Она открыла глаза и с улыбкой посмотрела на Розетт. — Давай лучше посмотрим, не появился ли где-нибудь здесь мой джинн.

И обе девочки бросились бегом к дощатому настилу на берегу, подпрыгивая в своих резиновых сапожках, как два ярких мячика.

Я пошла следом за ними, приговаривая:

— Только в воду не упадите. На причале, наверное, скользко.

Розетт только засмеялась в ответ и принялась напевать: «*Бам-бам-бам! Бам-бадда-бам!*»

Вскоре и Майя стала ей подпевать, хотя энтузиазма у нее было куда больше, чем умения петь. Обе с воодушевлением отбивали ритм по доскам причала и в итоге подняли такой шум, что дверь плавучего дома приоткрылась и оттуда выглянула Инес Беншарки.

— Я подумала, что вам, может быть, тоже захочется попробовать мои трюфели, — сказала я. — Я и для Фатимы немного захватила. И для ее матери тоже, я ей давно обещала, и для старого Маджуби.

Она молча кивнула. Сегодня ее черный *никаб* был оторочен тоненькой серебряной полоской, которая придавала чертам удивительную четкость и чудесным образом подчеркивала красоту глаз.

Я вручила ей коробку, завернутую в рисовую бу-магу.

— Попробуйте, — сказала я. — Это ваши любимые.

— Вот как? — Голос ее звучал сухо.

Разумеется, наверняка это трудно определить, особенно если перед тобой такой замкнутый человек, но трюфели она все же взяла, хотя с некоторой неохотой.

— Вы их, конечно, попробуете только после заката, — поспешила сказать я. — Но не правда ли, *пахнут* они замечательно?

Инес молча держала сверток в руке, и я подумала: наверное, сквозь покрывало запах трюфелей ощущается не столь отчетливо. Но она вдруг сказала своим странным голосом — одновременно и музыкальным, и неприятно скрипучим:

— К сожалению, обоняние у меня не очень хорошее. Извините.

Я заметила, что она с любопытством поглядывает на Розетт и Майю, приплясывавших от нетерпения в начале узкого прохода, ведущего на бульвар, и пояснила:

— Это моя маленькая Розетт.

Инес что-то сказала по-арабски, обращаясь к Майе.

Девочка посмотрела на нее с явным вызовом и надула губки.

Инес еще что-то сказала, но уже более резким тоном и слишком быстро для того, чтобы я успела разобрать хоть слово.

Майя сердито топнула ножкой в розовом сапоге, что-то шепнула на ухо Розетт и бросилась бежать по проходу между домами, потом еще разок остановилась, махнула Розетт на прощанье и скрылась за углом.

— Что вы ей сказали? — спросила я у Инес.

— Только правду. Что опасно играть на причале. Что ее мать не знает, где она. Что ей не следует одной приходить сюда.

— Она пришла не одна, а со мной.

Инес промолчала.

— А может, правда в том, что вам не нравится, когда Майя играет с Розетт?

Инес то ли пожала плечами, то ли слегка наклонила голову — тот же жест, к которому часто прибегала Алиса, желая обозначить двойственное отношение к чему-либо.

— Розетт — совершенно нормальная девочка, — заметила я. — Очень дружелюбная, готовая всех любить. А у Майи здесь совсем нет друзей...

— Майя — совершенно испорченный ребенок, — сказала Инес, и в ее голосе неожиданно прозвучала нежность. — Точно так же были испорчены и Алиса с Соней. Если родители позволяют своим детям играть с детьми *кюффаров*, позволяют ходить к ним домой, играть их игрушками, ласкать их собак, им не следует удивляться, когда дочери вдруг перестают их слушаться, а сыновья становятся бродягами...

— Но Майе всего пять лет! — изумилась я.

— И вскоре она должна будет научиться носить *хиджаб*. А дети в школе будут ее обзывать и спрашивать, почему она не ест *харамной* пищи, почему не слушает их музыку, почему не носит такую же одежду, как они. И даже если ее родители проявят *должную толерантность*, как вы любите выражаться, и позволят ей играть игрушками, коротко стричь волосы и смотреть по телевизору мультики, она все равно будет считаться *maghrebine* — а не одной из *ваших* детей, и одной из *наших* она тоже больше не будет.

Я не так уж часто даю волю гневу, но в тот раз я по-настоящему рассердилась. Гнев подобен огню без дыма, это такое голубое, почти невидимое пламя, которое, однако, сильно обжигает.

— Не все здесь так считают, — сказала я.

— Может, и не все, но таких, кто нас ненавидит, куда больше, чем тех, кто относится к нам спокойно. Даже здесь, в Ланскне. Неужели вы думаете, я не слышу, что говорят обо мне? *Никаб* не лишает меня ни слуха, ни зрения. В Марселе, например, мужчины постоянно таскались за мной, нагло спрашивая, как я выгляжу под *никабом*. А однажды, когда я стояла в очереди в супермаркете, какая-то женщина попыталась его с меня сорвать. И каждый день я слышу что-нибудь вроде: «Ты *нездешняя*. Ты *не французенка*. Ты *антиобщественное существо*. Ты *ненавидишь кюффаров*. Ты *отказываешься от нашей пищи*. Ты *симпатизируешь террористам*, а иначе с чего бы тебе *лицо-то скрывать?*» — Инес говорила отрывисто, резко. — Каждый день я слышу, как кто-нибудь говорит: ничего, скоро носить *никаб* запретят по закону. Какое им дело до того, что я ношу? Неужели я должна уж совсем *от всего* отказаться?

Она вдруг умолкла, словно у нее не хватило дыхания, и я заметила в цветах ее ауры неожиданные оттенки. Возможно, Инес просто не привыкла свободно разговаривать с незнакомыми людьми. Затем она развернула бумагу, чуть приподняла крышку принесенной мной коробки и сказала:

— Вы правы. Запах действительно чудесный.

Я улыбнулась.

— Вы их позже непременно попробуйте. А это отдельный пакетик для

Дуа.

— Вы знаете мою дочь?

— Да, мы уже познакомились, — сказала я. — По-моему, Дуа — очень одинокая девочка.

И снова я заметила перемену в ее цветах: удивление словно открыло дорогу голубым тонам печали и сожалений.

— Нам пришлось гораздо чаще переезжать с места на место, чем я хотела бы. Но здесь Дуа живет хорошо. Дома-то у нее никого из родных не осталось.

— Мне очень жаль, что ваш муж так рано погиб, — сказала я, и аура ее сразу запылала алыми красками, точно закат. — Зря вы думаете, что мы такие уж разные. Мне ведь тоже пришлось очень много переезжать с места на место — в юности с матерью, а затем с Анука. Я знаю, что такое не иметь дома. Знаю, каково это, когда каждый на тебя пялится. Когда такие люди, как Каро Клермон, относятся к тебе свысока только потому, что никакого *месье Роше* не было и нет...

Я чувствовала, что она слушает очень внимательно, и понимала: какую-то связь между нами мне все-таки удалось создать! Пусть это дешевая магия, зато она всегда действует. Всегда. От завернутой в рисовую бумагу коробки с трюфелями, которую Инес держала в руках, исходил мощный поток соблазнительных ароматов: горького шоколада, растопленного со сливками, подслащенного ванильным сахаром и сдобренного лепестками роз, красных, как сердце... *Попробуй. Испытай меня на вкус. Познай наслаждение.*

Инес вдруг посмотрела мне прямо в глаза, и в ее глазах я увидела собственное отражение. На мгновение мне показалось, что я окружена золотистым ореолом на фоне неба, ярко освещенного закатными лучами.

А она, по-прежнему пристально уставившись на меня, сказала:

— Мадам Роше, при всем моем уважении к вам заявляю: у нас с вами нет ничего общего. Я — вдова, несчастная, но вряд ли достойная порицания женщина. Я была вынуждена уехать за границу в связи с обстоятельствами, которые оказались сильнее меня. У меня есть ребенок, которого я растила в скромности и послушании. А вы — совсем другое дело; вы — просто незамужняя женщина, имеющая двоих детей, но не имеющая ни веры, ни настоящего дома. И все это, согласно традициям нашей культуры, делает вас попросту шлюхой.

С этими словами она затянутой в черную перчатку рукой протянула мне коробку с трюфелями, повернулась и мгновенно исчезла внутри своего плавучего дома; и в эту самую минуту на том берегу зазвонили колокола,

созывая людей к мессе, а я так и осталась стоять, держа в руках подарочную коробку с шоколадом и понимая, что все это на редкость глупо и бессмысленно, а слезы уже жгли мне глаза, так что казалось, будто с небес идет огненный дождь.

Глава девятая

Среда, 25 августа

Шлюха. Так вот какого она обо мне мнения! Меня, конечно, обзывали и похуже, но никогда — с таким холодным желанием ужалить. *Скорпион*, сказала Оми. Да, именно скорпион — яд, яд, яд в каждом слове, во всем... Я уронила коробку с трюфелями на причал и почти бегом бросилась назад, на бульвар. Мне казалось, будто я тону, будто меня привязали к каменной глыбе и теперь она вместе со мной погружается на дно равнодушной Танн.

Ну, а чего ты, собственно, ожидала, Вианн? — раздался у меня в ушах чей-то голос. — *Это же всего-навсего шоколад. Второсортная, жалкая разновидность магии, тогда как ты легко могла бы заставить Хуракан...*

Голос был так похож на голос матери! И все же в нем не чувствовалось ни капли материнского тепла, ибо то был голос Зози де л'Альба. Ее голос до сих пор порой врывается в мои сны. Зози никогда бы не позволила каким-то сентиментальным переживаниям помешать ей достигнуть цели. Она невосприимчива к любым ударам; любой яд словно проскальзывает сквозь нее, не причиняя никакого вреда.

Ты слаба, Вианн, вот в чем твоя проблема, — продолжала она, и в глубине души я понимала: она права. Да, я слаба, потому что мне далеко не безразлично, что обо мне подумают другие люди; потому что я хочу быть кому-то нужной; потому что даже скорпион, который и живет-то ради того, чтобы ужалить, может рассчитывать, что я протяну ему руку помощи...

Но это же просто глупо, — сказала Зози. — *Так ведь любому может прийти в голову, что ты сама хочешь, чтобы скорпион тебя ужалил.*

Неужели это действительно так? Неужели я сама себя обманываю? Неужели меня притягивают неудачи? Неужели мой порыв помочь Инес был вызван желанием навредить себе?

Я вела Розетт домой, и улицы, по которым мы шли, казались мне насквозь пропитанными презрением и враждебностью. Мы миновали спортзал; у его дверей вполголоса беседовали несколько мужчин в *джеллабах* и молитвенных шапочках *такийях*. Но стоило нам поравняться с ними, и мужчины тут же умолкли, выжидая, когда мы пойдем дальше.

Дома я приготовила обед, который должен был понравиться всем — вкусный домашний суп, хлеб с оливками и запеченный в духовке рисовый

пудинг с персиковым джемом, — но сама была настолько встревожена, что не смогла съесть ни крошки. Вместо обеда я выпила кофе и села у окна, тупо глядя на редкие фонари, горевшие на бульваре Маро, и страшно тоскуя по дому, по Ру, по нашему суденышку, по моей маленькой *chocolaterie*, по Нико, по матери и по всем тем простым и знакомым вещам, которые больше уже не казались мне такими уж простыми.

Ру был прав. Почему я все еще здесь? Ведь я совершила ошибку, приехав сюда; ужасную, губительную, глупую ошибку. Как я вообще могла поверить, что шоколад способен разрешить любую проблему? Молотые бобы южноамериканского дерева, немного сахара, щепотка специй. Сладкая выдумка, и смысла в ней не больше, чем в горстке пыли на ветру. Арманда написала, что я нужна в Ланскне. Но что, собственно, я сумела сделать с тех пор, как мы сюда приехали? Только и делаю, что пытаюсь пинком открыть двери, которым следовало бы оставаться закрытыми!

Вчера вечером Ру *просил* меня вернуться домой. Ру, который никогда ни о чем не просит! Ах, если б он попросил меня об этом неделю назад, до всего этого! А теперь уже слишком поздно. Все получилось совершенно иначе, чем я планировала. Моя вера в него сильно поколеблена, а моя дружба с Жозефиной поставлена под сомнение. Даже Рейно, которому я обещала помочь, совсем загрустил с тех пор, как я здесь появилась. Почему же я осталась? Чтобы помочь Инес? Но ведь совершенно ясно, что она не желает моей помощи. Да и с Розетт и Анук вышло как-то несправедливо: зачем я привезла их сюда, позволила завести друзей — а может, и не просто друзей, — заранее зная, что все это ненадолго?

С Анук, кстати, творится что-то непонятное. Особенно я это чувствую в последние дни. Сегодня, например, она как-то чрезмерно весела, а вчера была задумчива и мрачна. Ее цвета, точно осеннее небо, буквально в мгновение ока меняются от серого к пурпурному, а затем вдруг становятся синими. Неужели она что-то от меня скрывает? Неужели что-то терзает ее душу? У нее ведь никогда ничего толком не узнаешь, хотя я подозреваю, что к переменам в ее настроении имеет самое непосредственное отношение Жанно Дру. Эта ее манера отводить в сторону глаза, это ее невинное выражение лица... С другой стороны, она часами не выпускает из рук мобильник, то посылая кому-то эсэмэс, то что-то разыскивая в Сети, и вид у нее при этом совершенно обреченный. А потом вдруг обреченность сменяется оживлением, потоком болтовни, ослепительным девичьим сиянием, похожим на вялотекущую лихорадку. Это, пожалуй, еще одна веская причина для того, чтобы поскорее уехать из Ланскне. И все же...

В девять часов в дверь постучали. Открыв, я увидела на пороге Люка

Клермона, запыхавшегося и слегка смущенного. Мне не нужно было читать цвета его ауры — и так было понятно, что его послала Каролина.

Он вошел и уселся за кухонный стол, но от предложенного кофе отказался. Алиса, естественно, тут же ускользнула наверх, но потом потихоньку снова спустилась. Она, конечно, теперь выглядит совершенно иначе — с короткой стрижкой, в поношенных джинсах, — но что бы она ни говорила насчет нелюбви к Люку, одно мне совершенно ясно: *он-то* в нее влюблен. Прямо-таки просиял, стоило ему ее увидеть, а глаза у него стали почти такими же огромными, как у Розетт.

— Только никому не говори, что я здесь, — быстро скомандовала Алиса.

— Л-ладно. — Он глянул на нее из-под падавшей на глаза длинной челки. Заикание, от которого он с возрастом практически избавился, вдруг появилось снова. — Ты что, из д-дома ушла?

Алиса пожала плечами.

— Мне почти восемнадцать! И я могу делать все, что захочу.

Теперь я заметила в глазах Люка зависть. Расстаться с Каролиной Клермон — задача непростая. Хотя Люк и старше Алисы, хотя у него даже есть собственный дом, но мать по-прежнему накрывает всю его жизнь своей слишком длинной тенью, выбраться из-под которой ему пока не удалось. Некоторые люди до конца дней своих из-под чужой тени выбраться не могут — уж поверь мне, Люк, я-то знаю!

Он, словно извиняясь, посмотрел на меня:

— Моя мать сказала, что вы заходили к Рейно...

— Да, — сказала я, — я к нему заходила. Только его не оказалось дома.

— В том-то все и дело! — воскликнул Люк. — Его нет дома со вчерашнего дня. М-м-мать только что проверяла: его и сейчас дома нет. Она позвонила отцу Анри, но и тот его не видел. М-мать думала, м-может, он у вас... — Заикание вновь вернулось к нему — легким призраком детства. Он явно чувствовал себя неуверенно. — Мне, честно говоря, совсем не хотелось у вас об этом спрашивать, но люди начинают беспокоиться, и...

Я покачала головой.

— Нет, Люк, к сожалению, я тоже его не видела.

— Простите. Я ведь только... Интересно, куда он мог пойти? На него это совсем не похоже — просто взять и исчезнуть, никому ничего не сказав. Это как-то *неразумно*...

На самом деле очень даже разумно. И я прекрасно знаю, каково ему сейчас. Сколько бы попыток мы с ним ни предпринимали — и он, и я, —

все равно Ланскне нас отвергает. В конце концов, мы с Рейно не такие уж и разные. Нас обоих одинаково влечет Черный Отан. Мы оба познали здесь, в Ланскне, и горькое разочарование, и печаль, и предательство. То, что Рейно привиделся мне столь странным образом, когда я готовила шоколад, меня несколько удивило, однако я все время чувствовала: видение правдиво, это случилось с ним на самом деле...

— Почему же он мог уйти из дома? — Я невольно продолжала размышлять вслух. — Потому что он не мог больше противостоять этому. Потому что думал, что подвел тебя. Он просто пытался помочь, но сделал только хуже. И подумал, что тебе будет лучше без него. И, возможно, он прав... — Я поняла, что говорю уже не только о Рейно. — Некоторые вещи — некоторых людей — спасти нельзя. Есть некий предел, и дальше его доброжелательность других людей и их готовность что-либо сделать не распространяются. Мы можем быть только такими, какими *созданы*, а не такими, какими надеются или хотели бы видеть нас другие... — Я умолкла, заметив, что Люк смотрит на меня во все глаза, и завершила тираду: — Я, собственно, всего лишь хочу сказать, что иногда лучше всего просто уйти. Такие вещи я хорошо знаю. Есть у меня такое особое умение.

Он с недоверием посмотрел на меня.

— Неужели вы действительно так считаете?

— Я знаю, понять это трудно, однако...

— О, *понимаю*-то я отлично! — Он вдруг страшно разозлился. — Вы просто мастер всяких уходов и исчезновений, верно, Вианн? Моя бабушка всегда говорила, что вы от нас уедете, вы и уехали. Прямо сразу. В точности как она предрекала. Но она была уверена и в том, что когда-нибудь вы обязательно вернетесь. Даже письмо вам написала. И вот вы опять за свое, опять говорите, что «иногда лучше всего просто уйти»? Неужели вы думаете, что все это случилось бы, если бы вы *тогда* здесь остались?

Я в изумлении уставилась на него. Неужели это действительно Люк Клермон? Маленький Люк, который когда-то так сильно заикался, что с трудом мог закончить предложение? Люк, который тайком читал стихотворения Рембо, пока его мать торчала в церкви?

У меня в ушах кто-то довольно захихикал. Но теперь это был голос не моей матери и даже не Зози; это был голос Арманды, и его оказалось очень трудно заглушить. *Вот это да! Молодец, мой мальчик! Скажи, скажи ей! Порой даже ведьме нужно, чтобы ей просто сказали.*

Пытаясь не обращать на Арманду внимания, я сказала ее внуку:

— Это несправедливо. Тогда я *вынуждена* была уехать. Тогда мое

путешествие еще не было завершено. Мне нужно было самой попробовать и найти...

— И вы нашли? — сердито спросил он.

Я пожала плечами:

— Вряд ли.

Гневные слова Люка еще долго крутились у меня в голове и после того, как он ушел, а дети улеглись спать. Конечно, это несправедливо и очень странно. И потом, Франсис Рейно — не ребенок. У него наверняка имелись причины для ухода. Но внутренний голос упорно твердил: *Неужели ты думаешь, что все это случилось бы, если бы ты тогда здесь осталась?*

Если бы я тогда осталась в Ланскне, Ру ни за что не уехал бы от Жозефины. И пожара в *chocolaterie* не случилось бы. И Рейно никогда бы не обвинили в поджоге. И с *maghrebins* отношения были бы дружескими, а Инес Беншарки и ее братец никогда бы не обрели в Маро такой поддержки.

Я послала Ру эсэмэс:

Извини. Я собиралась поехать домой. Но больше уже не знаю, что значит «домой». Слишком много тут всяких событий. Попытаюсь позвонить еще раз. В.

Интересно, он поймет? Ру, как и Розетт, живет настоящим и терпеть не может всякие «а что, если» или «если бы только». Конкретные места не имеют над ним власти; он сам устраивает себе дом где хочет. Если б только я могла быть такой, как Ру! Если б могла оставить прошлое в прошлом!

Но прошлое всегда рядом, всегда в моих мыслях; сожаления о былом отступают в лучшем случае на какой-то миг. В детстве я любила сады и огороды: аккуратные ряды бархатцев, заросли лаванды у стен дома, ухоженные овощные грядки с капустой, луком-пореем, луком-репкой, картофелем.

Да, тогда мне очень хотелось иметь садик. Хотя бы немного травы в горшке с землей. Но мать говорила: «К чему столько беспокойства, Вианн? Ты их выращиваешь, поливаешь, но в один прекрасный день вынуждена ехать дальше. И все: о них больше некому заботиться. И они умирают. Так зачем же вообще их выращивать?»

Но я все равно вечно пыталась что-нибудь вырастить. Герань на подоконнике. Желудь, посаженный под зеленой изгородью. Россыпь полевых цветов на обочине дороги. Все равно что, лишь бы оно могло пустить корни и расти, лишь бы могло все еще быть там, если я вдруг снова

туда загляну...

Я вспомнила, как Рейно с мрачным видом сражался у себя в саду с ежегодным нашествием одуванчиков, зеленые язычки которых торчали повсюду — на клумбах, на овощных грядках, на аккуратно подстриженной лужайке. Если он не вернется, сад за какой-то месяц весь зарастет. Одуванчики выйдут на марш, пересекут садовую дорожку и вторгнутся на лужайку, рассыпая полки своих парашютистов в сером, кипящем влагой воздухе. Лаванда паутиной оплетет садовую ограду и пробьется наружу сквозь щели в каменной кладке; плющ запустит свои щупальца в пространство меж расшатавшимися каменными плитами фундамента и поднимется по стенам. На клумбах воцарится анархия. Ряды георгинов рухнут, обвитые побегами ипомеи, и этот шустрый выюнок вострубит победу в нежные раструбы своих цветов. Ну а потом сад начнут захватывать сорные травы.

Рейно, где же вы?

Я попыталась раскинуть карты. Но картина вырисовывалась такая же неопределенная, как и прежде. Снова выпал Рыцарь Кубков, затем восьмерка Кубков — отчаяние, разврат. Неужели Рыцарь Кубков — это действительно Рейно? Его лицо скрыто в тени и кажется слишком пьяным, так что наверняка утверждать невозможно. Карты — кстати сказать, весьма дешевые — уже все в пятнах от слишком частого использования. А вот и спутница Рыцаря, Королева Кубков, а между ними Любовники — Жозефина и Ру? — и Башня, разрушенная, обваливающаяся. Брошенный жребий. Разрушение. Перемена. Но кто управляет этими переменами?

Именно ты.

Рыцарь кубков

Глава первая

Четверг, 26 августа

Должно быть, я снова уснул, отец мой, потому что видел сны. Вижу я их нечасто — эту привычку я, похоже, утратил, — но на этот раз сны буквально кишели, как саранча, обгладывая меня до костей, высасывая досуха, и весь мир вокруг был полон шелеста их крыльев. Я проснулся совершенно измученный, чувствуя, как одеревенело все тело. Грудь болела по-прежнему, а изуродованная рука сильно распухла, и время от времени ее пронзала прямо-таки нестерпимая боль. Я не раз пожалел, что не прихватил с собой из дома какие-нибудь болеутоляющие таблетки.

Из дома... Господи, какой я был дурак! Вообразил, что смогу убежать от преследующих меня теней! Что смогу, как Вианн Роше, идти, куда подует ветер! Вот в чем моя главная ошибка, отец. Господи, дай мне возможность вернуть все на круги своя!

Маленький прямоугольник забранного решеткой окошка вновь посветлел и стал отчетливо виден. Значит, наступил день. Вода из прохудившейся канализационной трубы все это время продолжала стекать по стене, и теперь огромная лужа на полу почти достигла лестницы, ведущей к двери. Я прикончил остатки съестных припасов и, обдумав создавшееся положение, пришел к выводу, что в целом перспективы отнюдь не благополучны.

Должно быть, я провел в подвале не менее суток, но за это время туда никто так и не заглянул — ни для того, чтобы объяснить причину моего заточения, ни (и это, разумеется, было бы лучше всего) чтобы выпустить меня отсюда. Я надеялся, что днем тот, кто меня запер, все же струсит, а может, решит, что наказания уже достаточно, и позволит мне убраться восвояси. Но никто не пришел, и теперь моя прежняя оценка сложившейся ситуации стала казаться мне чрезмерно оптимистичной. Интересно, сколько еще меня намерены держать в этом подвале? И, главное, *почему* я здесь оказался? *Кто* решил стать моим судьей, *кто* намерен судить меня?

К грохоту беговой дорожки у меня над головой, похожему на ровное сердцебиение великана, время от времени присоединялись звуки еще каких-то тренажеров. Вот уж не предполагал, что в спортзале у Саида действительно активно тренируется столь большое количество людей! Нет, я, конечно, знал, что зал пользуется популярностью, просто не подозревал, как много представителей мужского населения Маро туда заходят — и, по

всей вероятности, с самыми различными целями. Со временем я даже научился различать звуки: глухой стук беговой дорожки, поскрипывание гребного тренажера, постукивание педалей «велосипедов», кажущиеся очень близкими и вполне целенаправленными удары об пол поднимаемых тяжестей. В зале также явно играли в спортивные игры, мне был слышен топот множества ног по полу и приглушенные крики болельщиков, время от времени подбадривавших игроков. Чем они там занимаются? Просто поддерживают физическую форму? Или упражняются в боевых искусствах? Трудно сказать. Но, судя по шуму, в зале находится по крайней мере половина мужского населения Маро. И, увы, никто даже не подозревает, что я совсем рядом, в подвале.

Я снова попытался позвать на помощь. И, разумеется, никто меня не услышал. Во всяком случае, никто ко мне не пришел. Однако на полчаса всякая активность наверху прекратилась, и я догадался, что наступило время молитвы. Во время этого перерыва до меня стали доноситься совсем другие звуки: какое-то неприятное царапанье *внутри* стен. Крысы, догадался я. Они в этих подвалах просто кишат. Потом снова загрохотала беговая дорожка.

Я взобрался на груды клетей и выглянул наружу. Дождь на время прекратился. Но вид из окна был столь же безлик и безнадежен, как и вчера: какая-то кирпичная стена, груды мусора возле нее и одуванчики, проросшие меж камнями. Я приготовился снова крикнуть, позвать на помощь...

И тут увидел чье-то круглое любопытное личико: девочка смотрела на меня как бы вверх ногами, низко склонив голову между широко расставленными ногами в ярко-розовых резиновых сапожках и изумленно моргая темными, цвета кофе-эспрессо, глазами.

— Ты что, джинн? — спросила Майя.

Глава вторая

Четверг, 26 августа

После беспокойной ночи, проведенной в каком-то полусне, я отправилась проверять, не вернулся ли Рейно. Оказалось, что я не одинока. Возле его дома я обнаружила Каро Клермон со свитой; Жолин и Бенедикта как раз проверяли заднюю дверь жилища. Вскоре стало ясно, что Каро воспринимает исчезновение кюре как нечто в высшей степени подозрительное, а может, и зловещее.

— Я полагаю, отцу Анри следовало бы немедленно проверить счета нашего прихода за последние несколько месяцев, — вещала она, когда я подошла. — Как бы то ни было, а дыма без огня не бывает! Особенно если учесть все последние события...

Каро метнула в мою сторону неодобрительный взгляд. Видимо, мое присутствие она также сочла событием необычным. Ее голубые глаза — они настолько бледного цвета, что кажутся припудренными, — медленно осматривали меня с головы до ног, точно посыпая толченым мелом.

— Разумеется, если Рейно неким образом замешан в истории с той девицей...

— С какой девицей? — спросила я.

Каро слегка усмехнулась — весьма натянуто, надо сказать — и небрежно бросила:

— Одной из тех, что живут в Маро. Луи Ашрон на прошлой неделе около полуночи видел у моста какую-то девушку. Судя по всему, *maghrebine*.

Я пожала плечами.

— Ну и что?

— Ну и то! *Кто* она? Луи говорит, что на ней был *никаб*.

— Половина тамошних женщин носят *никаб*, — заметил Шарль Леви, наблюдавший за этой сценой из-за ограды своего сада.

— И вы полагаете, что половина тамошних женщин назначают полночные свидания месье кюре? — Голос Каро был сочен и сладок, как *baba au rhum*.^[58]

— Может, и назначают. — Это уже вступила Бенедикта. — Я слышала, что Жозефина Мюска, например, в последнее время ужасно с ним подружилась.

Каро и Жолин одновременно глянули на меня, и Каро сказала:

— Ну, Жозефине это не впервой!

— Что вы хотите этим сказать? — вежливо осведомилась я.

Она одарила меня очередной своей сиропной улыбкой.

— Она же *ваша* подруга, вот у нее и спросите. А что касается Рейно, то его поведение в последнее время было... мягко говоря, *неправильным*. Я уверена, с ним что-то происходит. Я уже позвонила отцу Анри. Он выяснит, что в данном случае нужно делать.

Я оставила их дожидаться отца Анри и двинулась к площади Сен-Жером. Если кто и знает, куда мог исчезнуть Рейно, то это, скорее всего, Жозефина. Однако ядовитые намеки Каро все же довольно сильно меня задели.

Ну, Жозефине это не впервой.

Разумеется, Каро никогда не любила Жозефину. А незамужняя мать-одиночка в Ланскне всегда являлась предметом сплетен и пересудов. И я не должна была бы — ведь теперь-то я достаточно хорошо знаю Каро! — позволять подобным инсинуациям действовать мне на нервы. И все-таки... что, если Каро знает, кто отец Пилу?

В кафе я не обнаружила ни души. Даже в баре было пусто. Я окликнула Жозефину, но ответа не последовало. И Мари-Анж, наверное, была выходная. Неожиданно я, точно ребенок, обрадовалась, что никого не застала: *значит, мне вовсе не обязательно с ней встречаться!* И вдруг заметила некое странное движение за занавесом из стеклянных бусин, который отделял бар от жилых помещений, находившихся в задней части дома.

— Жозефина! — снова окликнула я ее.

— А кто ее спрашивает? — услышала я мужской голос.

— Это Вианн. Вианн Роше.

На мгновение воцарилась полная тишина. Затем занавес раздвинулся, и оттуда на инвалидном кресле выехал седовласый мужчина. Сперва я его не узнала, потому что первым делом в глаза мне бросились инвалидное кресло и две беспомощных ноги, аккуратно прикрытые клетчатым пледом. Но затем разглядела знакомые темные глаза, улыбку и довольно красивое, хотя и жестокое лицо, а также мускулистые руки, торчавшие из-под засученных рукавов джинсовой рубахи.

— Ну, привет, вездесущая сука!

Это был Поль-Мари Мюска.

Глава третья

Мне показалось, словно меня с силой толкнули в грудь. И не из-за «милого» приветствия Поля, а от неожиданности. Черты его лица не претерпели особых изменений. Седые волосы были так коротко подстрижены, что отчетливо проступали контуры черепа. Он, пожалуй, несколько похудел; исчезла жесткость, даже грубоватость, прежде столь ему свойственная, уступив место некой свирепой красоте. Но выражение лица было прежним, и взгляд тот же — оценивающий, смутно враждебный, подозрительный; и все же в глазах порой мелькали шутливые искорки, делая его похожим на добродушного тролля.

— Что, не ожидала меня увидеть? — сказал он. — Слышал я, что ты в Ланскне вернулась. А вот тебе моя сука вряд ли обо мне говорила. Да и зачем? Я ведь для бизнеса теперь не гожусь.

Я глаз не отвела и спокойно ответила:

— Если ты имеешь в виду Жозефину, то о тебе она действительно не упоминала.

Он хрипло рассмеялся, закурил «галуаз» и сказал:

— Она терпеть не может, когда я здесь курю. И терпеть не может, когда я пью. Ну что, виски?

Я покачала головой.

— Нет, спасибо.

Он налил себе двойную порцию из бутылки, стоявшей на барной стойке, и сказал:

— А ведь я это кафе построил, можно сказать, на пустом месте. И при мне оно работало как часы. Целых шесть лет! Конечно, теперь ей нравится делать вид, что оно всегда ей принадлежало и мне она ни гроша не должна. Действительно, с какой стати? Я ведь только имя свое ей дал да заботился о ней — платил за ее наряды, терпел ее дурное настроение; а стоило между нами кошке пробежать, и она меня из дому вышвырнула, точно шелудивого пса! — Он снова безрадостно засмеялся и выдул из ноздрей кольцо дыма. — Полагаю, за это мне тебя надо благодарить. Это ведь ты ей внушала всякую чушь. Ну что ж, надеюсь, теперь ты довольна. — Он отхлебнул виски. — Ведь я-то угодил *в точности* в то самое дерьмо, где ты и хотела меня видеть.

Я посмотрела на него.

— А что с тобой случилось?

— Тебе-то какое дело? Или, может, теперь решила заняться мной? Когда я в полчеловека превратился?

Я проверила его ауру. Ее цвета, как я и ожидала, были такими же грязными, как и прежде, и среди них по-прежнему мелькали сердитые всполохи дымно-красного и неприятно-оранжевого, похожего на обгорелую апельсиновую корку. Но в этом мраке виднелись и проблески жизни: магазинная стойка, полки с оптикой, какой-то предмет, горящий на обочине дороги... Вот он, мой Рыцарь Кубков, поняла я: этот рассерженный, сломленный человек, исполненный презрения ко всему на свете.

— Вечно тебя к убогим тянуло. К самым безнадежным. К речным крысам, например. К этой старой суке Арманде. И к моей Жозефине... — Он снова злобно, даже с ненавистью, хохотнул. — Уж она-то небось тебя удивила. Кто бы мог подумать, что в ней такое таится? Вышвырнула меня из моего же собственного дома, да еще и полицией пригрозила, а когда я через полгода вернулся, чтоб забрать кой-какие свои вещички, оказалось, что она уже подцепила этого своего рыжего и он строит ей судно! Да к тому же еще и беременна! Ничего не скажешь, веселые были деньки. — Он судорожно затянулся сигаретой и запил ее последним глотком виски. — Но ты, конечно, все это уже знаешь, — и он снова одарил меня своей безрадостной улыбкой. — Скажи только, вы с ним по очереди или сразу все втроем? Так или иначе, а он, должно быть, уж больно вам *обеим* по вкусу пришелся, раз вы...

— *Заткнись*, Поль! — раздался у меня за спиной чей-то хриплый голос.

Я обернулась и увидела Жозефину. Она стояла совсем рядом, и лицо ее было бледно от гнева.

Поль снова рассмеялся своим безрадостным смехом и вмял сигаретный бычок в опустевший стакан.

— Оп-ля! А вот и наш палач явился! Ну, *теперь* худо мне придется. — Он одарил Жозефину широкой, полной ненависти улыбкой. — Между прочим, мы с Вианн просто болтали по-дружески за стаканчиком виски. Старых друзей вспоминали, старую любовь... А у *тебя* как утро прошло, моя прелестница?

— Я сказала: *заткнись*! — рявкнула Жозефина.

Поль пожал плечами.

— Или что? Что ты со мной сделаешь, любовь моя?

Но Жозефина, не обращая на него внимания, повернулась ко мне:

— Я все собиралась рассказать тебе, правда собиралась. Просто не знала, с чего начать.

Бледность уже исчезла с ее лица, сменившись ярким румянцем, и я практически впервые со дня своего приезда вдруг почувствовала в ней ту прежнюю печальную, неуклюжую, неразговорчивую Жозефину, какой она была восемь лет назад; ту, что крала у меня с прилавка шоколадки просто потому, что не могла удержаться.

Меня вдруг буквально захлестнула волна печали. Что же с ней случилось, с Жозефиной Бонне, лелеявшей такие великие, такие смелые планы и мечты? Мне казалось, я вырвала ее из лап Поля-Мари. Но теперь вдруг выясняется, что она так и осталась его узницей. Что же все-таки случилось? И нет ли в том моей вины?

Жозефина быстро на меня глянула и сказала:

— Давай пройдемся. Мне что-то вдруг захотелось подышать свежим воздухом.

Поль усмехнулся и закурил еще одну сигарету.

— Иди, иди, оправдывайся.

Следом за Жозефиной я вышла на улицу, но сразу начинать разговор ей явно не хотелось, и мы просто прошлись немного — мимо церкви, через площадь и вниз по вымощенной булыжником улице к реке. Но когда мы вышли на мост, она остановилась и, облокотившись о парапет, стала смотреть на воду. Бешеный поток под нами цветом напоминал чай с молоком.

— Вианн, мне так жаль... — начала она.

Я посмотрела на нее.

— Ты не виновата. Это же я отсюда уехала. И оставила вас обоих. С моей стороны это был чистый эгоизм. Ну и чего, собственно, *можно было ожидать?*

— Я не понимаю... — Вид у нее был крайне смущенный.

— Я знаю насчет Пилу, — сказала я.

Она смотрела на меня и явно ничего не понимала:

— Насчет Пилу?

Я улыбнулась.

— Пилу — чудесный мальчик, Жозефина. И ты совершенно справедливо гордишься им. Я бы тоже гордилась. А что касается его отца...

Ее лицо исказилось.

— Пожалуйста, не надо...

Я положила руку ей на плечо.

— Да все нормально. Ты не сделала ничего плохого. Во всем виновата я. Это же я вас свела. А сама взяла и уехала. Да и потом, когда Ру приехал

в Париж, я решила не обращать внимания ни на что, хотя все говорило...

Жозефина как-то странно на меня посмотрела и переспросила:

— Ру?

— Но... разве ты не его имела в виду? — удивилась я. — Ты ведь хотела мне признаться, что Ру — отец Пилу, так?

Она покачала головой:

— Нет. На самом деле все гораздо хуже.

«Хуже? Куда уж хуже?» — подумала я.

Она села на парапет.

— Я правда хотела тебе рассказать. Но все никак не могла придумать, как это сделать. Ты так мной гордилась — тем, на что я решилась тогда: оставила мужа, взяла кафе в свои руки. Но ведь я в конце концов так и не сумела догнать тот поезд...

— Зато у тебя есть Пилу, — напомнила я ей.

Жозефина улыбнулась.

— Да. Пилу. И все это время я лгала ему, потому что правда была для меня невыносима. И точно так же я лгала тебе, Вианн, потому что мне хотелось, чтобы ты думала, будто я все-таки добилась в своей жизни чего-то большего...

Я хотела возразить, но она остановила меня.

— Пожалуйста, Вианн, дай мне договорить. Я так хотела, чтобы ты мной гордилась. И чтобы Ру тоже мной гордился. В мечтах я была в точности такой, как ты, — таким свободным духом, который летит куда хочет. Никаких связей, никакой семьи. Поль уехал. Ты тоже покинула Ланскне, и я всю строила планы об отъезде, но тут вдруг обнаружила, что беременна. — Жозефина умолкла, и на лице у нее появилось какое-то странное выражение: нежность, смешанная с горькой печалью. — Сперва я просто поверить не могла. Я ведь думала, что не могу иметь детей. Мы с Полем так долго пытались завести ребенка, и вдруг, стоило ему уйти из дома... — Она пожала плечами. — Более неудачного времени и придумать было нельзя. Я же совершенно готова была уехать. Но Ру убедил меня остаться — по крайней мере, до рождения ребенка. А потом, когда я его увидела...

— Ты в него влюбилась.

Она улыбнулась.

— Да, так и было. Влюбилась. А потом, когда Пилу подрос и начал задавать вопросы об отце, я стала ему врать: рассказывала, что его отец — пират, моряк, солдат, авантюрист, да кто угодно, только не Поль Мюска, только не тот жалкий трус, который избивал жену, но сразу сбежал, стоило

ей против него восстать!

Я так и уставилась на нее.

— Поль-Мари? — с недоверием промолвила я. — Так это он — отец Пилу? Но я думала, что вы с Ру были...

Она покачала головой.

— Нет. Этого так и не произошло. Хотя могло бы произойти, если бы все сложилось иначе. Но мы с ним были и остались только друзьями. Помоему, он уже тогда был твоим. Но когда Поль-Мари вернулся и обнаружил, что Ру все еще здесь, а я беременна...

— Ты позволила Полю думать, что это не его ребенок? — спросила я.

Она кивнула.

— Я не могла сказать ему правду, это было выше моих сил. Ведь он ни за что не отпустил бы меня, если б узнал. Он такой. Когда он вернулся, я была на восьмом месяце, и пришлось... Ах, Вианн, это было так отвратительно!

— Могу себе представить.

Да, я легко могла себе это представить: Поль-Мари с багровым от ярости лицом; Ру, пытающийся защитить Жозефину, и она, цепляющаяся за последнюю соломинку в надежде спастись. Поль, разумеется, был пьян и весьма агрессивен, и он наверняка настаивал на *своих правах* — на определенной доле доходов, которые дает кафе, на том имуществе, которое он бросил, когда бежал из Ланскне. Он, безусловно, и не сомневался, что Ру — отец ребенка Жозефины, а она позволила ему принять это на веру и не предпринимала ни малейших попыток сказать правду.

— И что же случилось потом? — спросила я.

— Все как обычно. Поль вдребезги разнес бар, страшно ругался, обзывал меня по-всякому, потом сел на свой мотороллер и уехал. А вскоре явилась полиция и сообщила мне, что он попал в аварию.

Поля отвезли в больницу. Ближе, чем Жозефина, родни у него не было. А когда она узнала, что он никогда больше не сможет ходить, то позволила ему вернуться домой. Как же иначе она могла поступить? Она же понимала, что это отчасти и ее вина. Это ее ложь привела в движение целую цепь событий, которые для Поля-Мари закончились столь плачевно; вот почему она не смогла уйти от ответственности, но правды ему так никогда и не сказала. Тем более у него не было ни работы, ни сбережений. Жозефина выделила ему отдельную комнату в кафе «Маро» и открыла постоянный счет в баре. В глубине души она все еще слабо надеялась, что со временем Поль-Мари встанет на ноги, но этого так и не произошло. И в этом она тоже винила себя. Так промелькнули эти восемь лет, и они

продолжали жить вместе, сцепленные друг с другом обстоятельствами и любовью, которая с каждым днем все росла. Бедный Поль-Мари! Бедная Жозефина!

А затем в голове у меня кое-что начало проясняться. Испытывая глубочайшее сочувствие к Жозефине, я не сразу сумела уловить главное для себя: Ру никогда меня не предавал. Он не был отцом Пилу. Хотя Жозефина, возможно, ему очень нравилась. Однако когда пришлось делать выбор, он выбрал меня. Все мои подозрения, сомнения и страхи оказались в итоге всего лишь *васваас*, нашептываниями шайтана, как выражается Оми, и принес их мне Черный Отан. Но я почему-то не испытывала особой радости. Странно. Ведь с моей души только что сняли огромную тяжесть. Однако я по-прежнему ощущала ее присутствие, хоть и знала, что ее там больше нет; но вместо нее появилось нечто темное, нашептывающее мне на ухо всякие подозрения о том, к кому я некогда испытывала одну лишь нежность...

Почему ты мне не доверяешь? — сказал мне Ру. — *Почему нельзя, чтобы все было просто и ясно?*

Возможно, в этом и заключается разница между нами, Ру. Ты веришь, что жизнь действительно может быть простой и ясной. Для других, возможно, это и так — но не для меня. Почему я тебе не доверяю? Наверное, потому, что всегда чувствовала: ты никогда до конца мне не принадлежал, и мне тебя не удержать, если — раньше или позже — ветер переменится и ты...

Я прогнала эту мысль. Она может и подождать. Пока что я нужна Жозефине.

Я обняла ее и сказала:

— Ничего страшного. И ты ни в чем не виновата.

Жозефина улыбнулась.

— Именно так и Рейно сказал.

— Ты ему рассказала?

А вот это действительно меня удивило. Ведь Жозефина никогда толком и в церковь-то не ходила! Сама мысль, что она кому-то исповедуется, рассказывает о своей тщательно хранимой тайне — рассказывает именно *Рейно*, а не кому-то еще! — казалась мне совершенно невероятной. Все это было абсолютно не похоже на Жозефину.

Она улыбнулась.

— Да, рассказала. Правда, странно? — сказала она. — Но мне необходимо было *хоть с кем-то* этим поделиться, а он... просто оказался под рукой.

Ага, теперь я, кажется, начинала что-то понимать. Это же было в цветах ее ауры; в ее внезапно вспыхнувшем румянцем лице; в ее печальном и полном надежды взгляде. *Любовники*. Почему же я не замечала этого раньше? Королева Кубков и ее изувеченный Рыцарь — это Жозефина и Поль-Мари. Но те *Любовники*...

Неужели Жозефина и Рейно?

Неужели это возможно? С первого взгляда они казались абсолютно неподходящей парой, и все же в них, безусловно, было что-то общее. Оба — личности несколько ущербные; оба — люди одинокие, скрытные. Оба угодили в сеть бесконечных сплетен Ланскне. Но у обоих в душе скрыты такие качества, о каких они и сами толком не подозревают: упрямство, ум, душевная сила, нежелание сдаваться врагу.

— Он тебе нравится? — спросила я.

Она отвела глаза и промолчала.

— А ты не знаешь, где он сейчас?

Она молча покачала головой. Потом вдруг сказала:

— Он просто исчез, и все. И я не знаю, куда он мог деваться. Только я чувствую: *она* наверняка имеет к этому какое-то отношение! — И Жозефина мотнула головой в сторону моей бывшей *chocolaterie*. — *Та женщина*. И те люди из Маро.

Мало-помалу я вытянула из нее всю историю — о мерзкой надписи на двери месье кюре, о его неудачной попытке привести в порядок бывшую шоколадную лавку, о том, как ночью в воскресенье на него напали и жестоко избили, и о том, какое страшное предупреждение он получил от этих людей.

Это война. Держись от нее подальше.

Война? Неужели именно так им представляется выход из сложившейся ситуации? И, собственно, кто с кем будет воевать? Церковь с мечетью? Чадра с сутаной? Или же это просто традиционная неприязнь Ланскне к чужакам — к речным крысам и прочим изгоям, а теперь еще и к обитателям Маро? Теперь одно название «Маро» они воспринимают сугубо негативно, а его жителей считают «захватчиками», «оккупантами», хотя на самом деле слово «*Marauds*» — это всего лишь искаженное «*marais*», «болото», поскольку этот район расположен на низком берегу Танн и регулярно подвергается затоплению...

И снова я задумалась о Рейно. Неужели кто-то смог запугать его угрозами нового насилия, чем и заставил его уйти? Что-то не похоже на месье кюре. Он столь же упрям, как и я сама. Да он непоколебим, как скала! Его никаким ветром с места не сдвинешь!

Ну... и где он? Кто-то же должен это знать. Кто-то же должен был видеть, как он уходит. Если не в Ланскне, то в Маро, ведь именно там местная дорога выходит на шоссе. И снова мне вспомнилось видение в клубах шоколадного пара: Рейно, в полном одиночестве бредущий с рюкзаком по берегу реки.

Свидетельствовало ли это видение о неких грядущих событиях? А может, все это уже произошло? Но тогда где он сейчас? Спит в придорожной канаве? Или его до смерти забили в каком-нибудь темном переулке? Вот уж никогда не думала, что меня будет так тревожить судьба Франсиса Рейно! Но, лицом к лицу столкнувшись с возможным итогом нынешнего конфликта, я поняла: да, меня его судьба действительно тревожит. И даже очень.

— Мы его найдем, — заявила я скорее себе, чем Жозефине, которая смотрела на меня во все глаза. — Мы его найдем и приведем домой, как бы далеко он ни ушел. Я обещаю тебе: мы непременно его найдем.

Жозефина улыбнулась; улыбка у нее вышла печальной, но полной надежды.

— Когда ты так говоришь, я почти верю, что все на свете возможно.

— Так и есть, — сказала я. — А теперь пойдем со мной.

И, миновав мост, мы углубились в Маро.

Глава четвертая

Четверг, 26 августа

Я смотрел в ясные карие глаза, уставившиеся на меня из-за решетки, и думал: а хорошо ли она меня видит? Наверное, не очень. Скорее всего, я кажусь ей просто бледным пятном, и даже мою протянутую руку она едва ли толком различает в темноте подвала. Мое первое инстинктивное желание — это, конечно, попросить ее о помощи, но девочка была слишком мала. Кроме того, я боялся, что она испугается и убежит.

— Майя, ты меня не бойся, — сказал я как можно нежнее.

Она опустила на колени и прижалась к решетке лицом, чтобы получше меня разглядеть. Мне были хорошо видны ее коленки, которыми она встала прямо на грубый камень, и краешки ее гольфов, видневшихся из розовых резиновых сапожек.

— Ты что, джинн? — снова спросила она. — Джинны как раз в таких пещерах и живут.

— Нет, Майя, я не джинн.

— Тогда что же ты там делаешь? — спросила она. — Ты что-нибудь натворил? Мой *джиддо* говорит: если сделаешь что-нибудь плохое, полиция может тебя в тюрьму посадить.

— Нет, я ничего плохого не сделал. Просто кто-то затащил меня сюда и запер.

Ее глазенки стали совсем круглыми от изумления.

— И *все-таки* ты джинн! Ты знаешь и как меня зовут, и все такое.

Стараясь говорить как можно мягче и убедительней, я продолжил:

— Пожалуйста, Майя, послушай меня. Я не джинн, и я ничего плохого не сделал. Но меня *действительно* здесь заперли. И мне нужна твоя помощь.

Она показала мне язык.

— Вот как раз *джинн* так бы и сказал! Джинны только и делают, что лгут!

— Пожалуйста, поверь: я не лгу. — Я почувствовал, что говорю с несколько излишней настойчивостью, и постарался сбавить тон: — Прошу тебя, Майя, помоги мне. Неужели ты не хочешь мне помочь?

Майя с сомнением кивнула и протянула:

— Ну ладно.

Я глубоко, с облегчением вздохнул, понимая, что теперь мне надо

тщательно обдумывать каждое слово. Конечно, я мог бы попросить Майю привести кого-то из ее родственников. Но пока я не выяснил, кто меня здесь запер, мысль, что придется объясняться с целой толпой *maghrebins*, уверенных в моей причастности к поджогу их школы, меня несколько пугала, если не сказать больше. И все же в Маро был человек, который непременно помог бы мне, если бы только мне удалось как-то с ним связаться.

И я, стараясь говорить как можно мягче и убедительней, спросил:

— Ты знаешь Вианн Роше?

Майя кивнула и сказала:

— Ну да, это *мемти* Розетт.

— Правильно, — подтвердил я. — Ступай отыщи Вианн и скажи ей, что я здесь. Скажи так: там, в подвале, сидит Рейно и ему нужна помощь.

Она помолчала — похоже, обдумывала мою просьбу, — потом спросила:

— Это тебя, что ли, так зовут?

— Да, меня. — О Боже, дай мне терпения! — Пожалуйста, иди скорей. Я здесь со вчерашнего дня сижу, и вода все время поднимается. А еще здесь полно крыс.

— Крыс? *Вот круто!*

Мне стало ясно, что эта девочка слишком много времени проводит в компании Жана-Филиппа Бонне. Я снова тяжело вздохнул. *Дыши глубже, Франсис. Сосредоточься.*

— Я подарю тебе все, что захочешь. Игрушки, сладости. Только поскорей отыщи Вианн и все ей расскажи.

Майя немного подумала и спросила:

— Все, что захочу? Это как три желания в «Алад-дине»?

— Да, все, что захочешь!

Девочка, похоже, снова погрузилась в тяжкие размышления. Затем, видимо придя к решению, вскочила и сказала:

— Ладно.

И передо мной вновь мелькнули ее розовые сапожки, а глаза мои обожгли слезы благодарности — а может, в них просто попала пыль.

— Мое первое желание — пусть мой *джиддо* опять будет здоров! — сказала Майя, глядя на меня сквозь решетку. — А два других я придумаю потом. Пока, джинни! Скоро увидимся.

— Нет, погоди! — воскликнул я. — Майя! Пожалуйста, послушай меня!

Но розовые, как жвачка, сапожки уже исчезли.

Я выругался про себя — и на латыни, и по-французски — и слез со своей пирамиды из упаковочных клеток на пол. И в ту самую минуту, когда я, стоя по колено в холодной, дурно пахнущей воде, решил, что вряд ли можно придумать положение хуже моего, за дверью послышались чьи-то шаги.

Я быстренько убрался подальше от клеток, поскольку в замке уже скрежетал ключ. На секунду у меня возникло желание наброситься на своих тюремщиков, ошеломить их и тут же выскочить за дверь, но потом я понял, что все это пустые фантазии, ибо меня в моем нынешнем состоянии и женщине ничего бы не стоило оттолкнуть от двери и сбросить с лестницы.

Дверь открылась. На пороге стояли трое мужчин. Карима Беншарки я узнал сразу — по силуэту. Двое других были совсем молодые, я догадался, что это ребята из спортзала. Оба держали в руках горящие факелы, а у Карима в руках была канистра. Я уловил запах бензина.

— Что вы за люди, вас же ничему научить невозможно, — сказал Карим.

И я понял, что по-прежнему нахожусь в чреве кита.

Глава пятая

Четверг, 26 августа

— Возникло недоразумение, — сказал я. — Выпустите меня отсюда, и я все объясню.

Карим швырнул канистру на пол. Судя по звуку, она была пуста.

— Хорошо, месье кюре, тогда объясните: что это такое? Мы видели, как вы держали в руках эту канистру, когда шпионили за моей сестрой.

— Это вовсе не... — начал было я и умолк.

Я вспомнил Соню. Это наверняка ее канистра. Она выронила ее, когда, можно сказать, была мною поймана на месте преступления. Но ведь потом она исповедалась предо мною. Разве я мог рассказать *о таком* ее мужу?

— Я вовсе за ней не шпионил, — сказал я. Это была ложь; как ложь это и прозвучало. — Я просто хотел с ней поговорить.

— И поэтому прятались за деревом?

Я с ходу стал еще что-то выдумывать, но почти сразу понял, что у меня ничего не получается. Некоторые люди — прирожденные лжецы, но я, увы, не из их числа. И я попытался воспользоваться иной уловкой.

— Карим, вы позволите спросить вас кое о чем? — начал я. — Как долго, по-вашему, вам удастся держать меня взаперти? Лучше отпустите меня прямо сейчас, и я обещаю, что не стану предпринимать против вас никаких действий.

Оглядываясь назад, я понимаю, до чего нахально прозвучало в ту минуту подобное заявление. Один из молодых людей что-то сказал Кариму. Карим нетерпеливо ему ответил, и они быстро обменялись еще несколькими фразами на арабском языке.

Я начинал нервничать. Пришлось снова обратиться к Кариму:

— Послушайте, вы должны мне верить. Я никогда не пытался поджечь вашу школу. И никогда не нападал на вашу сестру. Напротив, я всегда старался помочь ей.

Карим стоял спиной к открытой двери, и на фоне светлого прямоугольника лицо его казалось абсолютно непроницаемым. Но я отчетливо ощущал исходившую от него враждебность — точно электростатическое поле. Он снова о чем-то заговорил со своими приятелями. Затем обратился ко мне:

— Что вы сделали с моей невесткой?

Этот вопрос застал меня врасплох.

— Как вы сказали?

— Что вы сделали с Алисой Маджуби? Где она? И почему неделю назад ее видели ночью в вашем обществе?

Я глубоко вздохнул, перевел дыхание и сказал:

— Алиса в полной безопасности. Но ко мне это происшествие не имеет ни малейшего отношения. Девочка сейчас живет у друзей. Так она сама захотела. Я к этому никакого касательства не имею.

Карим еле заметно кивнул.

— Ясно. Но мадам Клермон утверждает, что вас видели ночью у реки с некой молодой женщиной.

— Да ничего подобного... — начал я и осекся, чувствуя, *как жалко это звучит*. — Я наткнулся на нее совершенно случайно. Девочка попала в беду. А я ей помог. Вот и все.

— Точно так же, как помогли и моей сестре?

Я открыл было рот, но так ничего и не сказал.

— Месье кюре, — сказал Карим, — у вас здесь сложилась определенная репутация. Вы неоднократно выражали презрение по отношению к чужакам. Даже отец Анри говорит об этом. Вы — нетерпимый человек. Вам нравится пользоваться своей властью и авторитетом. Вы пытались остановить строительство мечети. Вы часто высказывались против ношения *никаба*. А однажды вы даже пытались самым варварским способом разгромить шоколадную лавку, которая была открыта вопреки вашим религиозным представлениям и традициям. Моя сестра также говорила, что на прошлой неделе вы вломились к ней в дом. А на этот раз мы поймали вас в тот момент, когда вы тайком подглядывали за ее судом, приготовив канистру с бензином, а затем, по всей видимости, намеревались покинуть город...

Я только рассмеялся в ответ — впрочем, исключительно на нервной почве.

— Вы находите это смешным? — спросил Карим.

— Нет, что вы! Конечно же, нет! Только вы ошибаетесь.

Карим презрительно усмехнулся.

— Не думаю, что ваш отец Анри согласился бы с подобным заявлением. Итак, говорите, где Алиса? Чем вы занимались вчера на берегу реки?

Ох, отец, мне бы следовало держать себя в руках, но я вдруг страшно разозлился.

— Я не обязан оправдываться ни перед вами, ни перед кем бы то ни было еще! — заявил я. — У нас в Ланскне все шло хорошо, пока здесь не

появились вы и ваша сестра. С тех пор мне пытались угрожать, на меня совершили нападение, меня обвинили черт знает в чем и насильно держат взаперти. Но я не позволю вам меня запугать! Что же касается Алисы, то я понимаю: вы обеспокоены. Конечно же, она слишком молода, чтобы покидать родной дом. И когда вы меня отсюда выпустите, я обещаю, что все мы сядем вместе и спокойно попытаемся найти решение...

Я не договорил: Карим и его приятели снова обменялись несколькими гортанными арабскими фразами, и он, повернувшись ко мне, бросил:

— Извините, месье кюре, но у меня сегодня очень много дел. Надеюсь, мы еще сможем с вами поговорить — когда я вернусь.

Когда я вернусь? Сердце у меня упало. Я, видно, слишком сильно рассчитывал на то, что он меня отпустит.

— Я не понимаю, чего вы хотите добиться, удерживая меня здесь. Или вам кажется, что вы сможете заставить меня в чем-то признаться? Но в чем? Ваша невестка, Карим, в полной безопасности. Она живет у Вианн Роше.

Последовала пауза. Затем он недоверчиво переспросил:

— У Вианн Роше?

— Да, у нее. А теперь...

— О чем Алиса вам рассказала?

— Ни о чем. Мне она вообще ни слова не сказала. Ну что, теперь-то вы меня отпустите?

Последовала еще одна затяжная пауза. Наконец он сказал:

— Нет, я не могу вас отпустить.

— Но почему? — Мой гнев еще усилился. — Какого черта вам от меня нужно?

Карим еще на шаг приблизился ко мне; я ясно видел его лицо и понимал: то, что я принял за непробиваемое спокойствие, на самом деле было тихой яростью, точнее, бешенством, которое он с трудом сдерживал.

— Моя сестра Инес пропала, — сказал он. — Исчезли и она сама, и ее дочь. Мы обнаружили это вчера после того, как поймали тебя, когда ты пытался поджечь судно, зная, что там спят женщина и ее ребенок. Мы, конечно, могли бы позвать полицию. Но вряд ли они отнесутся к этому делу с должным сочувствием. А потому мы решили оставить тебя здесь, кюре, пока ты не ответишь нам на все интересующие нас вопросы. *Иншалла*. Я очень надеюсь, что в следующий раз ты расскажешь нам всю правду.

С этими словами он повернулся и вышел вместе со своими приятелями, крепко заперев за собой дверь. Я слышал, как ключ несколько

раз повернулся в замке.

Я выругался — опять и на французском, и на латыни. Затем присел на ступеньку — собственно, только там и можно еще было присесть — и стал ждать, надеясь, что Майя все-таки вернется. Господи, думал я, чем же я все-таки настолько прогневил Тебя, что ты так жестоко меня наказываешь! А еще я думал о горячем кофе и свежих круассанах и слушал возобновившийся у меня над головой адский грохот беговых дорожек.

Глава шестая

Четверг, 26 августа

В Маро мы первым делом направились туда, где, как мне казалось, я наверняка найду теплый прием. Однако темно-зеленые ставни дома, где проживало семейство Аль-Джерба, были плотно закрыты. Мы постучались. Дверь нам открыла Захра, как всегда в *никабе*, но даже покрывало не могло скрыть ее явного замешательства.

— Извините, но матери сейчас нет дома, — сказала она.

Я объяснила, что мы ищем Рейно, и спросила, не видела ли она его.

Она покачала головой. Цвета ее ауры ярко вспыхивали под *никабом* — казалось, Захра пребывает в сильнейшем волнении и с трудом его сдерживает.

— Как вам мои трюфели? — спросила я. — А Оми понравились те, с кокосовой стружкой, которые я приготовила специально для нее?

— Оми тоже нет дома, — невпопад ответила Захра.

Да, у нее, безусловно, были какие-то серьезные неприятности. Впрочем, над покрывалом были видны только ее глаза; она с беспокойством смотрела то на меня, то на Жозефину.

— Вы уверены, что не видели Рейно? И ничего о нем не слышали?

Она снова покачала головой и спросила:

— Он что, ваш приятель?

— Да, пожалуй, — ответила я. — Думаю, можно сказать и так.

— Странно, что вы дружите с таким человеком. — Она сказала это ровным голосом, стараясь не выдать своих истинных чувств, но под покрывалом ее аура вспыхивала всеми цветами радуги, точно бушующее пламя.

— Так было не всегда, — сказала я, — и если честно, то сперва мы скорее были врагами. Но это было очень, очень давно. Но с тех пор мы оба успели сильно измениться. А я обнаружила, что страх, который жил во мне, был именно *моим* страхом, он не имел к Рейно никакого отношения, что я смогу стать свободной, лишь отпустив этот страх.

Захра немного подумала над моими словами и сказала:

— Что вы за люди такие? Иногда я вас совершенно не понимаю. Всегда только и разговоров, что о свободе. Там, откуда я родом, считают, что никто никогда не может быть по-настоящему свободным. На все воля Аллаха. Он все видит, все знает.

— Рейно тоже так думает, — сказала я.

— А вы нет?

Я покачала головой.

— А как же Шайтан?

Я пожала плечами:

— По-моему, люди и сами отлично умеют творить зло, без какого бы то ни было вмешательства дьявола. Меня, например, воспитывали с верой в то, что нам следует учиться самим управлять своей жизнью, самим писать для себя законы и самим бороться с последствиями собственных поступков.

Захра как-то непонятно хмыкнула и сказала:

— Как сильно все это отличается от того, чему учат нас! Но если не будет никаких общих правил, разве вы всегда будете знать, как поступить в том или ином случае?

— Вряд ли кто-то способен *всегда* это знать, — сказала я. — Все мы порой совершаем ошибки. Но бездумно следовать правилам, всегда поступать только так, как нам было велено, вести себя как послушные маленькие дети... нет, на мой взгляд, *подобная* идея никак не могла исходить от Бога. Она, скорее всего, исходит от тех, кто использует «волю» Бога как предлог для того, чтобы подчинить себе других. Не думаю, что Богу есть какое-то дело до того, что мы носим и что едим; мне кажется, Ему все равно, кого мы выбираем себе в любимые. И потом, я не верю в такого Бога, который проверяет преданность людей тем, что разрушает их души, практически уничтожает их или же играет с людьми, как маленький мальчик, ковыряющий палкой в муравейнике.

Я так и думала, что Захра станет возражать; но едва она успела начать, как за спиной у нее что-то затопотало, засуетилось, и вынырнула Майя с зажатым под мышкой Типо. Малышка с интересом посмотрела на меня и спросила:

— А Розетт тоже с тобой пришла?

— Сегодня нет.

Она надула губки.

— Но мне так скучно! Можно мне пойти поиграть с Розетт? Я хочу ей кое-что показать. — И маленькая озорница с некоторым коварством посмотрела на Захру. — Один секрет. Но об этом будем знать только я и Розетт.

Захра нахмурилась.

— Майя, будь умницей. *Джиддо* плохо себя чувст-вует.

Карие глазенки широко распахнулись.

— Но я же...

Захра еще что-то сказала ей, на этот раз по-арабски, и Майя снова надула губки.

— *Джиддо* очень скучает по нашему коту, — сказала она, глядя на меня. — Когда *джиддо* еще жил с дядей Саидом, кот всегда сам к нему подходил и сидел у него на коленях. Может, если бы мы кота *поймали и принесли* ему...

Захра, явно теряя терпение, резко сказала:

— Болезнь *джиддо* не имеет к коту ни малейшего отношения!

Я видела, что назревает ссора, и вмешалась, стараясь ее предотвратить.

— Так, может, мне взять Майю с собой? — предложила я Захре. — А вы бы все немного от нее отдохнули. Я прекрасно знаю, что такое маленькая девочка в доме. — Было заметно, что искушение велико и Захра колеблется. — Не беспокойтесь. Она просто побудет у нас и поиграет с Розетт. А потом, еще до наступления *ифтара*, я приведу ее обратно.

Захра все еще колебалась, но потом вдруг резко кивнула — точно птица, клюнувшая орех, — и сказала:

— Ну хорошо, пусть идет. А теперь мне пора. Спасибо, Вианн, что зашли нас проведать.

И она исчезла за зеленой дверью, а мы трое остались стоять у крыльца, и ветер по-прежнему свистел под скосами крыши, и длинная тень минарета тянулась через залитую солнцем улицу, словно стрелка на циферблате солнечных часов.

Жозефина с сомнением посмотрела на меня.

— Ну вот! А ты говорила, что они твои друзья.

— Да, друзья. — Я и сама была озадачена. — По всей видимости, Захра просто чем-то расстроена. Наверное, тревожится о старом Маджуби.

И мы двинулись по бульвару в обратном направлении. Майя бежала впереди, прыгая по лужам, а я рассказывала Жозефине о болезни старика и о том отчуждении, которое возникло между ним и остальными членами его семьи. Я, правда, не стала упоминать о предупреждении старого Маджуби, что мне следует держаться подальше от воды; ничего не сказала я и о том, что он видел меня и Инес во сне. Когда мы проходили мимо спортзала, я заметила, что дверь туда, как обычно, слегка приоткрыта и изнутри несет хлоркой и *кифом*; эти запахи смешивались с типичными запахами Маро — пыли, готовящейся пищи и реки. Я обратила внимание, что Майя как-то слишком поспешно постаралась миновать поворот в переулок, зато даже остановилась на минутку напротив того узкого прохода, что ведет вниз, к дощатым мосткам на берегу Танн. Взрослый, пожалуй, лишь с трудом смог

бы там протиснуться, но для Майи он был достаточно просторен.

— Вон там живет мой джинн, — сказала она, указывая в глубь прохода.

— Правда? — Я улыбнулась. — У тебя есть джинн?

— Угу. И он обещал мне три желания.

— Да ну? И как же его зовут?

— Фокси!

— Как мило.

Я не выдержала и рассмеялась. Эта малышка так напоминала пятилетнюю Анук — такая же живая мордашка и сверкающая улыбка! И она точно так же с наслаждением шлепает по лужам в своих сапожках цвета розовой жвачки. Анук, моя маленькая странница! Я помню, как однажды она явилась из лесу с кроликом по имени Пантуфль, которого, впрочем, могли тогда видеть лишь немногие избранные.

— Малыши, выдумщики, — сказала Жозефина.

— Пилу очень хорошо играет с Розетт. Можно подумать, она его сестренка.

Жозефина улыбнулась. Она всегда загоралась, стоило хоть раз упомянуть Пилу.

— Вот и ты уже поняла, какой он замечательный. Он такой милый-милый! Теперь ты понимаешь, почему я так поступила? Я и мысли не допускала, чтобы делить его с Полем. Ты ведь сама знаешь, какой он, Поль: он сразу постарался бы забить мальчику голову своими дурацкими идеями.

Да, скорее всего, именно так он бы и сделал, подумала я. Но все же этот мальчик — единственный сын Поля. Кто знает, как его могло бы изменить отцовство?

Жозефина по выражению моего лица догадалась, что меня обуревают сомнения, и неуверенно спросила:

— Ты все-таки думаешь, что я поступила неправильно?

— Да нет, но я...

— Я понимаю, — сказала она. — Меня тоже порой мучают подобные мысли. Особенно когда я чувствую себя слабой. А когда я чувствую себя сильной, то сразу гоню такие мысли, потому что Пилу заслуживает гораздо лучшего отца, чем Поль-Мари.

— Ты говорила, что вся твоя жизнь переменялась благодаря Пилу. Но неужели и Поль не заслуживает такой возможности?

Жозефина упрямо покачала головой.

— Ты же знаешь, какой он. Никогда он не переменится!

— Меняться способен любой человек, — возразила я.

Мы пошли дальше, и я вдруг подумала: а вдруг Жозефина права? Ведь некоторых людей действительно не переделаешь. Но, с другой стороны, как тяжела, должно быть, для Поля-Мари вынужденная необходимость жить в одном доме с мальчиком, которого он считает сыном своего соперника. Я вспомнила яркие недобрые глаза Поля, затаившуюся в складках его рта безнадежную ярость. Он похож на зверя, думала я, на зверя, угодившего в западню и свирепо щелкающего зубами, когда кто-то осмеливается подойти слишком близко. Конечно, я не настолько наивна, чтобы поверить, будто такой человек, как Поль-Мари, способен растаять, узнав, что у него есть сын. Но разве он не заслужил, чтобы ему дали хотя бы один, самый последний шанс? И что сотворила эта ложь с самой Жозефиной?

Мы добрались до конца бульвара. В последний раз, когда я сюда приходила, плавучий дом Инес Беншарки стоял прямо возле берега у старой пристани. Теперь он исчез; осталось лишь небольшое аккуратное кольцо каната на столбике, к которому он был привязан. Похоже, Жозефина была просто потрясена исчезновением судна, и только в этот момент я вспомнила, что оно, собственно, именно ей и принадлежало, хотя она им почти не пользовалась. С расширившимися от изумления глазами она спросила:

— Так, по твоим словам, эта женщина жила на моем судне? Да как она посмела без разрешения туда вселиться? И куда, черт побери, она мое судно увела?

Увы, этого я не знала. Я стояла на причале, внимательно вглядываясь в речные берега, но никаких признаков черного плавучего дома не было заметно ни на стороне Маро, ни на стороне Ланскне. А что, если Инес уплыла отсюда навсегда? Хотя на Танн найдется всего несколько мест, где судно такого размера может без опаски причалить к берегу; кроме того, вздувшаяся река сейчас по меньшей мере просто опасна. Мне было известно и что старый мотор на этом судне, которое теперь принадлежит Жозефине, еще тогда пребывал в основном в нерабочем состоянии, так что самое большее, на что могла рассчитывать Инес, это пройти несколько миль вниз по течению и попытаться причалить где-нибудь в Шавиньи или в Пон-ле-Сауле. Но почему она все-таки решилась исчезнуть отсюда? И взяла ли она с собой Дуа? И когда собирается вернуться — если, конечно, вообще намерена возвращаться?

И тут я заметила на берегу нечто. Втоптанное в жидкую грязь, в траве поблескивало ожерелье — во всяком случае, так мне показалось сначала; это была недлинная нитка зеленых стеклянных бус, концы которых соединяла серебряная цепочка. Может, это Дуа обронила? — подумала я и

подняла бусы с земли. Только тогда я разглядела на конце цепочки крестик с распятием...

— Это же четки!

Жозефина подошла ближе, глянула и тут же сказала:

— Это четки Рейно. Я их видела у него дома, на каминной полке. Интересно, что он здесь делал? Тебе не кажется, что это *он* взял мое судно?

Я покачала головой.

— Не кажется. Я все-таки думаю, что это Инес.

А что, если Инес все еще в Маро? Что, если она знает, куда подевался Рейно?

Я попыталась расспросить Майю, однако мои попытки не увенчались успехом. Ее, похоже, куда больше тревожила судьба Дуа, чем исчезновение какого-то судна; собственно, главным образом она волновалась из-за щенков, которых они вместе с Дуа и прочими членами их компании прятали в бывшей *chocolaterie*.

Услышав наш разговор, Жозефина удивленно подняла бровь.

— О каких щенках речь?

Майя испуганно прикрыла рот ладошкой.

— Ой, я не должна была говорить! Это наши щенки. Вертун и Кусака. Мы их там прячем. А месье Ашрон хотел их утопить.

Я посмотрела на Жозефину:

— Как ты думаешь, может, и Дуа тоже там?

Жозефина пожала плечами.

— Проверить, по-моему, стоит.

Глава седьмая

Четверг, 26 августа

Когда мы добрались до старой шоколадной лавки, оказалось, что выглядит она совсем уж неприглядно: дверь забита кусками толстого пластика, как и окна, а также часть крыши, и возле двери прибит грубо сколоченный щит, на котором кое-как написано: «ОПАСНО! БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ!» Зато внутри так и кипела работа. Мы обнаружили Люка Клермона, Жанно Дру, Анук, Розетт, Пилу и, что самое удивительное, Алису, а также Влада, лестницу-стремянку, несколько банок с краской, губки, валики, кисти и в довершение всего картонную коробку со щенками. Ребята успели уже покрасить в веселый желтый цвет весеннего первоцвета стены на кухне, на лестнице и там, где когда-то размещался сам магазин. На одной из стен я увидела незаконченную фреску, которая, впрочем, уже начинала обретать форму. Это было нечто в высшей степени абстрактное — весьма прихотливое сплетение линий, внутри которого как бы проступали очертания некоего животного. Данное произведение весьма напоминало картину, что висела у Жозефины в кафе, и его автором тоже явно был Пилу. Впрочем, остальные тоже работали весьма усердно и вдохновенно, хоть и обращались с краской несколько небрежно и ухитрились «украсить» не только себя и свою одежду, но и Влада, который участвовал в процессе с не меньшим энтузиазмом, хотя, возможно, и не столь продуктивно.

Когда нам удалось наконец проникнуть внутрь, «маляры», увидев нас, так и замерли, и только Влад радостно приветствовал нас громким лаем.

Первым пришел в себя Люк и попытался объяснить:

— Я хотел тут кое-что сделать. Просто немного помочь с ремонтом. И случайно наткнулся на них... — Он указал на Пилу и коробку со щенками. — Ну и подумал: раз уж они все равно тут, то вполне могут тоже принести пользу. В общем, я притащил сюда кое-какие припасы и еще кое-что... — Он помолчал, робко улыбаясь. — Но, похоже, все несколько вышло из-под контроля...

— Похоже, что так, — сказала я, тщетно пытаясь усмирить энтузиазм Влада.

Пилу тут же охотно признался, что Влад, пожалуй, действительно больше мешает, чем помогает. Хотя лично он, Пилу, не сомневается: главная задача настоящего сторожевого пса — это охрана участка и

работающих на нем людей.

— Ну, мам, как тебе? Хорошо у нас получилось? — спросила Анук. Она стояла рядом с Жанно Дру, и оба они были буквально покрыты краской; желтые отпечатки ладоней украшали майку Жанно, и на физиономии Анук, точно посередине щеки, красовался такой же отпечаток. — Правда, мы неплохо поработали?

Я с трудом сумела отыскать нужные слова. Я была потрясена. Снова увидеть, как это место обретает былую яркость — пусть стены покрашены и не слишком умело, — как оно наполняется звуками настоящей жизни, веселым детским смехом, способным изгнать любые тени прошлого, любые слухи...

Злые духи, прочь, прочь отсюда! Я улынулась Анук:

— По-моему, очень хорошо!

Она с явным облегчением вздохнула и воскликнула:

— Я так и знала, что тебе понравится! Люк нас случайно нашел, а я подумала: ничего страшного, если мы здесь все вместе поработаем.

Я с любопытством посмотрела на Алису. На ней была соломенная шляпа, защищавшая волосы от капель краски; казалось, она вместе с хиджабом сбросила с себя все свои тревоги и печали.

— Оказывается, без хиджаба меня никто и не замечает, — сказала она, заметив мой взгляд. — Я проходила мимо булочной Пуату, так в мою сторону никто даже не посмотрел.

— Мы сюда через пожарный выход влезли, — сказал Пилу. — Больше никто не знает, что мы тут. Вот только вы двое и Спутник...

— Спутник? — удивилась я.

— Ну да, мой кот, — сказал Пилу.

— Твой кто? — спросила Жозефина.

Пилу тут же улыбнулся ей своей чудесной летней улыбкой.

— Я его тут на днях поймал, он у щенков хотел еду украсть. И Кусака его цапнул.

— Ага. Ну, теперь ясно.

— А вы не хотите нам помочь? — спросил Пилу. — Мне, например, одному с этой фреской не справиться, а Розетт все время одних обезьян рисует. Причем на всем. А мы еще и до жилых комнат не добрались...

— Не сегодня, — сказала я. — Я ищу вашу подружку Дуа и ее мать.

Я объяснила им, что случилось. Как я и ожидала, никто со вчерашнего дня не видел ни Инес, ни ее дочь. И все-таки, почему Инес столь внезапно покинула Ланскне? И никому ничего не сказала? И где, интересно, наш месье кюре? Похоже, о нем тоже никто ничего не слышал.

Дети вновь с энтузиазмом принялись за покраску стен, и мы, оставив их, вернулись на площадь. Розетт решила присоединиться к Майе, и обе девочки радостно выбежали из бывшей лавки на солнышко. Там всех нас и увидел Пуату, который сидел возле церкви, задумчиво поглощая багет с сыром. Наше появление его, похоже, весьма удивило.

— А вы-то что здесь делаете? — спросил он. — Разве вы не знаете, что теперь тут хозяйка — та женщина в *бурке*?

— Так именно ее мы и разыскиваем.

Он неприязненно поморщился.

— Ну что ж, удачи вам. Только разве она теперь не в Маро живет?

— Да, в Маро. Но мне кажется, она куда-то уехала, — сказала я.

— Может быть. Я ведь тоже давно ее не видел. — Пуату вдруг оживился: — А что, если она с нашим месье кюре убежала? Знаете, он ведь тут работал на прошлой неделе. Решил расчистить помещение, которое сам же и угробил.

И Пуату громко рассмеялся, радуясь собственной шутке, хотя мы с Жозефиной даже не улыбнулись. Впрочем, мысль о том, что исчезновение Рейно может быть как-то связано с исчезновением судна Инес Беншарки, вовсе не показалась мне такой уж невероятной. В конце концов, ведь мы нашли его четки буквально в двух десятках шагов от причала. Так мог ли Рейно взять это судно или *не мог*?

Жозефина считала, что не мог.

— Я уверена, что его *она* взяла, та женщина. Возможно, ей удалось как-то починить мотор. А может, она просто направила судно вниз по реке. Или кому-то продала. Честно говоря, если и так, я особо горевать не стану. Особенно если теперь она больше тут не появится.

— Значит, Карим был прав. Она *действительно* исчезла! — донесся до нас чей-то голос.

Я обернулась. Зрелище было неожиданное и весьма неприятное: к нам через маленькую площадь приближалась Каро Клермон вместе со своим мужем Жоржем, который тащился позади с видом совершеннейшего барана, и отцом Анри Леметром, который одарил меня летучей и совершенно бессмысленной улыбкой, а Майю даже ласково потрепал по голове.

Майя мрачно на него глянула и заявила:

— Мой джинн тебя не любит!

Отец Анри, казалось, был озадачен, но ничего не ответил.

— Мой джинн живет в пещере, — продолжала Майя. — У него там крысы. И он обещал мне исполнить три желания.

Отец Анри широко — до нелепости! — улыбнулся и воскликнул:

— Какой оригинальный ребенок!

— Только жаль, что ей позволяют играть на улице без присмотра, — заметила Каролина, выразительно глянув на Розетт. — Если учесть, сколько неприятных событий произошло в Маро в последние дни, не стоит, на мой взгляд, разрешать детям бегать повсюду одним.

Розетт обозначила свое отношение к этим словам весьма характерным звуком — несколько неприличным, похожим на пуканье, — и в тот же миг острый, как стилет, каблук Каро застрял между булыжниками. Она попыталась его вытащить, но каблук застрял намертво.

— Розетт! — сказала я.

Розетт с самым невинным видом посмотрела на меня и снова издала то же «пуканье». Каблук выскочил из щели так внезапно, что туфля, сорвавшись с ноги Каро, пролетела над всей площадью, и отец Анри бросился ее подбирать.

Майя и Розетт переглянулись и захихикали.

— Вы говорили с Каримом? — спросила я Каро. — Это он сказал вам, что его сестра покинула Маро?

Она кивнула.

— Он наш добрый друг. Очень милый человек; прогрессивный, вежливый и совершенно аполитичный в отличие от старого Маджуби. Ах, если б только все они могли быть такими!

— Не знала, что вы были с ним так близки, — заметила я. — Наверное, и с его сестрой тоже?

— С Инес? Нет! Если честно, лучше б она вообще к нему не приезжала.

Почти то же самое в самый первый раз мне сказала и Жозефина.

— Почему?

Каро поморщилась.

— Эта женщина — просто помеха для всех. У нее со всеми вражда. Карим так старался перетащить общину своих соотечественников в двадцать первый век! А какую поддержку он оказывал своей сестре — а ведь у этой особы характер *отнюдь* не самый уравновешенный — и ее несчастной дочке! Именно Карим первым догадался, что необходимо заменить старого Маджуби; именно благодаря Кариму спортзал стал тем, чем он является сегодня. До его появления это была просто бетонная коробка с несколькими беговыми дорожками, а теперь там настоящий светский клуб, место встречи, куда здоровые молодые люди приходят, чтобы совершенствовать свою физическую форму, а не пьянствовать. —

И Каро, выразительно подняв брови, посмотрела на Жозефину. — Вот если б и у *нашей* молодежи было нечто подобное!

— Раньше они прекрасно играли все вместе, — сказала Жозефина. — Помнится, и ваш Люк с удовольствием играл в футбол с Алисой и Соней.

Каро презрительно фыркнула:

— Вы же совсем не понимаете, каковы их культурные традиции! С их точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы мальчики и девочки играли вместе. Это идет вразрез с их правилами и привычками и может привести к самым различным неприятностям. — Она одарила Жозефину своей леденяще-сладостной, точно сахарная глазурь, улыбкой и сказала: — Уж *вам-то* следовало бы иметь это в виду.

— Почему именно мне? — тихо спросила Жозефина.

— Ну, это же *ваш* мальчик дружит с дочерью Инес Беншарки. А поскольку всем известно, что происходит, когда дети представителей столь различных культур играют вместе... — Каро вдруг умолкла, пытаясь скрыть раздражение, и мне показалось, что в эту минуту она вспомнила, что и ее Люк... — Я, собственно, хотела сказать, что нам следует быть более *толерантными*, более *восприимчивыми*. — И, завершив свою речь, Каро остро глянула на Жоржа, так и не произнесшего ни слова. — Некоторые люди оказываются просто несовместимыми с таким типом сообщества, какое сложилось у нас.

— Вы имеете в виду Инес? — спросила я. — Или, может, Алису Маджуби?

Каро так и подобралась.

— Очевидно, вам об этом известно больше, чем мне! — бросила она и, повернувшись к отцу Анри, сказала: — Идемте, *отец*. У нас еще очень много всяких дел.

И Каро в сопровождении своей свиты гордо проследовала к церкви, где в отсутствие Рейно спешно убирали старинные скамьи для моления, заменяя их более практичными пластиковыми стульями. А вскоре там должны были установить и большие видеоэкраны, которым предстояло возвестить вступление церкви Святого Иеронима в двадцать первый век.

Глава восьмая

Четверг, 26 августа

Жозефина была в ярости.

— Как они могли так поступить с Рейно? Они же знали, как он любит Ланскне и свою церковь! Если бы он был здесь, они бы ни за что не осмелились...

И это, конечно, чистая правда, думала я. Франсис Рейно, как и старый Маджуби, отнюдь не был приверженцем новых веяний. И я далеко не в первый раз удивилась: как эти двое ухитрились стать закоренелыми врагами, ведь у них столько общего?

— Пойдем к нам, — предложила я Жозефине. — Приготовим шоколад, поболтаем. Все равно с этим мы ничего пока поделать не можем.

И мы вернулись в домик Арманды. Я сварила горячий шоколад с кардамоном и испекла персиковое печенье — оно было готово уже через двадцать минут, — используя для этого только что сваренный джем, немного взбитых сливок и ложку арманьяка. Розетт и Майя охотно мне помогали и перепачкали всю кухню; Розетт все время напевала свою песенку без слов, а Майя торжественно вторила ей стихами собственного сочинения и стуком деревянной ложки по столу:

— Домашний джем...

— *Бам бадда-бам...*

— Вианнин джем на рамадан!

Жозефина не могла удержаться от смеха.

— А я-то думала, что мальчишки самые смешные.

— Надо отнести вечером немножко этого печенья моему *джиддо*, — сказала Майя, когда с печеньем было покончено. — Может, на *ифтар* и он несколько штучек съест. Мой джинн его уже немного заколдовал, и теперь он лучше себя чувствует.

— Надеюсь, вскоре твой *джиддо* совсем поправится, — сказала я.

Это не то чтобы *колдовство*, но у каждого из нас есть свои волшебные секреты. Сказанное шепотом слово, тайный знак, щепотка специй. Удачно выпавшая карта. Песня.

Майя улыбнулась и сказала:

— У моего джинна получится. Это было мое первое желание — из трех.

Ну что ж, Майя, может, и получится. Порой случались и более

странные вещи. После посещения старого Маджуби я поняла: его страдания вызваны вовсе не болезнью, а тем, что Оми называет *васваас*: дьявольским шепотом, который пробирается в ваши мысли, вызывает тревожные сны, депрессию, отчаяние. Ссора с сыном. Утрата всеобщего доверия и уважения. То, что его больше не воспринимают как достойного лидера. Уход Алисы из дома, причем при столь загадочных обстоятельствах. Все это как-то разом навалилось на старика и, разумеется, послужило главной причиной его недуга и внезапного одряхления.

— Мы непременно испечем еще такое печенье и возьмем его с собой, когда тебе пора будет возвращаться домой. Кстати, Алиса тоже хотела повидаться с дедушкой. Я уверена, что он вам обеим так обрадуется, что сразу почувствует себя лучше.

— И мой Фокси обязательно сделает так, что он совсем поправится! — сказала Майя.

В пять часов домой вернулась Анук и привела с собой Пилу, Люка, Жанно и Алису. Все они пребывали в прекрасном настроении, хоть и были с головы до ног заляпаны краской. Я отправила их умыться и переодеться, а сама сунула в духовку еще один противень с персиковым печеньем. Влад, от шерсти которого тоже пахло свежей краской, тем временем пробрался на кухню, улегся возле плиты и уснул, подергивая во сне лапами. Я сварила новую порцию шоколада, только добавила туда еще сахара, алтея и сливок, и все мы снова уселись вокруг покрытого шрамами старого кухонного стола Арманды. Мы ели, пили, болтали, смеялись — казалось, мы прожили здесь всю жизнь, а не каких-то две недели.

— Магазин теперь выглядит просто сказочно! — сказала Анук. — Почти так же хорошо, как тогда. Только ему нужна новая вывеска ...

Я внимательно на нее посмотрела. А Анук быстро глянула на Жанно, и он поспешно заметил:

— Если, конечно, кто-то снова захочет устроить там *chocolaterie*. Хотя это совсем нетрудно. И всего-то нужно поставить прилавок, да несколько шкафчиков со стеклянными дверцами, да еще, может, два-три столика со стульями...

Розетт вздохнула и сказала на языке жестов: «*Мне там нравится. Я обезьянок на стене нарисовала*».

— Ну, мы же просто предлагаем, — поддержала ее Анук. — Хотя мне кажется, что никакой школы там больше не будет.

Ох, Анук! Ох, Розетт! В жизни ничего не бывает просто так. Мы вот не собирались надолго здесь оставаться — тем более *селиться* здесь. Мы прожили в Париже дольше, чем в любом другом месте, где я когда-либо

бывала. Отказаться от той нашей счастливой жизни, признать свое поражение — нет, это просто немыслимо!

И потом, у нас ведь есть Ру. Что он-то скажет? Он так старался построить нашу общую жизнь, связать воедино свою привычку к цыганскому существованию и наше желание где-то осесть. И все это бросить сейчас — тем более ради Ланскне? Да Ру счел бы это самым ужасным предательством! Вряд ли он смог бы пережить такое. Вряд ли смог бы адаптироваться. Может ли вообще такая речная крыса, как он, полностью изменить себя? Да и захочется ли мне самой, чтобы он попытался это сделать?

Стук в дверь положил конец моим размышлениям. Жозефина пошла открывать. По-моему, она надеялась, что это Рейно...

Но это был Карим Беншарки.

Он ворвался, отодвинув Жозефину в сторону, как какую-то занавеску, и мне вдруг вспомнился Поль-Мари, каким он был восемь лет назад — пьяный, разъяренный, стремящийся во что бы то ни стало вломиться ко мне в *chocolaterie*. Цвета Карима буйствовали, лицо его пылало, но он был по-прежнему невероятно красив; только сейчас в нем горел какой-то неведомый огонь, опасный, как лесной пожар.

Алиса, увидев Карима, так и замерла. На мгновение эта уловка почти помогла. Он не сразу узнал ее в тесной, забитой людьми комнате. Тем более сейчас, с коротко стриженными волосами, Алиса была настолько не похожа на себя прежнюю, что он мог попросту ее не заметить. Золотистые глаза Карима пристально всматривались в полдюжины повернутых к нему лиц. Затем зрачки его слегка расширились, и он уперся взглядом прямо в Алису.

— Значит, это правда. Ты действительно здесь. — И он повернулся ко мне. — От всей души прошу меня извинить, мадам Роше. Я не собирался вламываться к вам подобным образом. Не знаю, что она вам тут рассказывала, но вот уже несколько дней, как она исчезла из дома, и ее родные...

— Кто вам сказал, что она здесь? — спросила я.

— Это неважно. Они же сказали правду. — И он снова повернулся к Алисе: — О чем ты только думала, когда сбежала из дома? Разве ты не понимаешь, что твои родители с ума сходят от беспокойства?

Алиса что-то ответила ему по-арабски.

Он прервал ее:

— Все это неважно! Идем домой.

Алиса молча покачала головой.

— Идем, Алиса. И оденься как полагается. Твоя мать места себе не

находит...

— Мне все равно, — сказала она. — Я не вернусь домой. И ты не имеешь никакого права мне приказывать.

Карим выстрелил в нее чередой яростных арабских фраз, и лихорадочно горевшие цвета его ауры вспыхнули с новой силой. Затем он решительно шагнул к девушке, но она столь же резко от него отшатнулась и что-то сказала, явно протестуя. Голос Карима зазвучал еще громче и яростней.

— Прекратите! Оставьте ее в покое! — вмешался Люк. — Она живет у Вианн. Здесь она в полной безопасности. И как только она с-сама захочет пойти д-д-домой... — Призрак детского заикания вдруг вновь возник в его голосе, но взгляд Люка был достаточно спокоен, да и сам голос звучал на удивление по-взрослому. — Когда Алиса будет готова вернуться, она вернется. Но пусть она сама сделает выбор.

Несколько мгновений Карим смотрел Люку прямо в глаза. Он явно его не помнил, ведь Люк последние два года почти все время провел в университете. Затем сделал еще шаг к Алисе, и тут Влад вдруг негромко, но грозно зарычал. Карим осторожно глянул на пса и велел:

— Забери свою собаку!

Алиса что-то сказала ему по-арабски, и он, злобно сверкнув глазами, немного отступил от нее.

— Нет, это просто странно! — сказал он. — Ты что, представление здесь хочешь устроить? — Карим презрительно глянул на Люка. — Может, это *он* — причина твоего побега? Какие еще сказки ты тут рассказывала?

— По-моему, — снова заговорил Люк, — вам с-следует уйти.

Карим некоторое время внимательно на него смотрел, потом сказал:

— Я знаком с твоей матерью. Это мадам Клермон, верно? Она всегда оказывала нам большую поддержку. Интересно, что она скажет, если узнает, во что ты вмешиваешься.

На мгновение Люк растерялся. Затем взял себя в руки и без малейших признаков заикания твердо сказал:

— К ней это не имеет ни малейшего отношения. Этот дом принадлежит *мне*. Алиса — моя гостья. И Пилу тоже, а его пес всегда нервничает, если кто-то пытается угрожать моим гостям.

Я заметила в глазах Карима некоторое удивление. На самом деле все мы были удивлены поведением нашего «маленького Люка». Похоже, этот некогда весьма пассивный и мрачный мальчик, страдающий заиканием, наконец-то сумел освободиться от доминирующего влияния матери.

Алиса внимательно наблюдала за происходящим, и лицо ее светилось,

как у человека, который только что нашел ответ на вопрос, который до этого казался ему неразрешимым. В волосах у нее и на лице все еще виднелись брызги желтой краски. Она выглядела сейчас такой невероятно юной и красивой, что щемило сердце.

Карим сделал какой-то протестующий жест — казалось, он скорее оскорблен, чем рассержен тем, что кто-то впервые в жизни сумел воспротивиться его чарам, — и посмотрел на Жозефину, словно призывая ее на помощь:

— Мадам Мюска...

Она только головой покачала.

— Когда-то я очень хорошо была знакома с одним мужчиной, очень похожим на вас, — сказала она. — Но Вианн сумела объяснить мне, что вовсе не обязательно куда-то убегать, чтобы стать полноправной хозяйкой собственной жизни. Теперь и Алиса это поняла. И у нее к тому же есть друзья, которым она небезразлична. Так что она больше не нуждается ни в вас, ни в ком-то еще из тех, кто желает диктовать ей, как себя вести и что делать.

Карим огляделся, явно ища поддержки, но ни в ком ее не нашел.

— А матери я непременно передам от вас привет, — заявил Люк.

И Кариму осталось лишь повернуться и направиться к двери. На пороге он бросил последний — очень опасный — взгляд на меня, на Анук и на Розетт и сказал:

— Осторожней. Это война. Постарайтесь не попасть в перестрелку.

Глава девятая

Четверг, 26 августа

Солнце висело уже совсем низко над горизонтом — вот-вот зайдет, — так что пора было вести Майю домой. Я обещала, что мы с ней отнесем старому Маджуби немного персикового печенья. И я обещала проводить Алису — она хотела повидаться с дедом. В общем, мы сказали всей честной компании «до свидания», и Алиса опять повязала на голову *хиджаб*. Пока она прощалась, я обратила внимание на Анук и Жанно — их цвета горели как-то особенно ярко, точно обещая, что вскоре нам раскроется некая тайна. Затем мы приготовили гостинцы — коробку шоколада и коробку только что испеченного персикового печенья — и двинулись к дому Аль-Джерба.

Алиса шла молча. Анук тоже в основном помалкивала, то и дело проверяя свой мобильник. Майя и Розетт бежали впереди, на ходу играя в какую-то довольно шумную игру, в которой пресловутые *Бам* и *Фокси* играли, похоже, главную роль. Бама я видела вполне отчетливо, он неровными скачками передвигался по булыжной мостовой, не отставая от Розетт, а вот *Фокси*, похоже, еще только предстояло показать себя. Наверное, Майя уже могла его видеть. Интересно, а Розетт тоже? — подумала я.

Добравшись до домика с зелеными ставнями, мы постучались. Дверь открыла мать Майи. На ней был желтый *хиджаб*, джинсы и шелковая *камиза*. Ее хорошенькое личико просияло, когда она нас увидела.

Майя, разумеется, тут же завопила:

— Вианн печенье принесла! Мы его сами пекли! Я помогала!

Ясмина улыбнулась.

— Я очень рада, что вы зашли. Я как раз обед готовила. Входите же! — Она что-то быстро сказала Алисе, та кивнула и пошла вверх. — Пожалуйста, проходите, выпейте чаю. Моя мать и сестра тоже дома.

И она провела нас в гостиную, где Фатима, Захра и Оми сидели на разложенных на полу подушках. Захра, как всегда, была в бесформенной коричневой *джеллабе*; голова повязана *хиджабом*. Фатима что-то шила. Оми, едва я вошла, посмотрела на меня такими печальными глазами — хотя это было ей совершенно не свойственно и противоречило ее веселому проказливому нраву, — что у меня почти не осталось сомнений: старый Маджуби умер.

— Что случилось? — с тревогой спросила я.

Оми вздохнула, пожав плечами:

— Я так надеялась, что моя Дуа тоже у тебя!

— Нет, к сожалению. Ее у меня и не было, — покачала головой я.

— Ее мать с собой увезла, — сказала Фатима. — Карим места себе не находит.

— Правда? — удивилась я. — Вот уж не знала, что Карим и Дуа так близки.

Я не стала рассказывать о недавнем визите Карима в домик Арманды, но Захра, должно быть, услышала в моем голосе неприязнь и вопросительно подняла глаза. А Фатима, ничего не замечая, ответила:

— Карим очень привязан к Дуа.

Оми презрительно фыркнула и тут же прокомментировала:

— Ага! Потому-то он с ней никогда и не разговаривает! Он даже никогда на нее и *не взглянет*, если она вдруг в комнату зайдет! — Она с вызовом посмотрела на Фатиму. — Может, эта женщина и тебя обвела вокруг пальца? Да только она точно не та, за кого себя выдает!

— Оми, пожалуйста! — сказала Захра. — Неужели и без того мало сплетен?

Но Оми, не обращая на нее внимания, продолжила:

— Мне такие вещи хорошо известны. Я, может, и стара, но пока еще не слепа. И я вам вот что скажу: эта женщина наверняка первая жена Карима, а Дуа — их дочь!

Я поспешила вмешаться.

— Я тут кое-что вам принесла, — сказала я. — Домашнее печенье с персиковым джемом. Надеюсь, вы потом его попробуете, когда будет можно.

— Ну, я-то прямо сейчас одну штучку попробую, — заявила Оми.

— Оми, *пожалуйста*...

Я протянула Оми коробку. Она заглянула внутрь.

— Так, значит, *это* и есть твоя магия, Вианн? Пахнет, как полевые цветы в раю. — И, одарив Розетт своей черепашьей улыбкой, Оми спросила: — Ты тоже помогала маме это готовить, малышка?

— Мы все ей помогали, — сказала Ануку. — А я с пяти лет помогаю ей делать шоколадки.

Улыбка Оми стала еще шире.

— Ну, если уж это не заставит старика сойти вниз...

— Он придет, — уверенно заявила Майя. — Я попросила моего джинна сделать его здоровым.

Оми изобразила глубочайшее удивление.

— Вот как? У тебя, оказывается, джинн есть?

Майя радостно закивала.

— Да, и он обещал выполнить три моих желания!

— У Розетт есть воображаемый дружок, — пояснила я, — и, по-моему, Майе тоже захотелось иметь такого.

— А, ясно, — сказала Оми. — И каково будет следующее твое желание? Дай-ка подумать. Может, ты захочешь, чтобы джинн превратил тебя в принцессу? Или сделал меня снова молодой? Или подарил волшебный ковер, сотканный из крошечных бабочек, чтобы ты могла лететь куда угодно, в любую страну, и тебе для этого даже паспорт не понадобился...

Майя строго посмотрела и сказала с упреком:

— Какие ты глупости говоришь, Оми!

Оми захихикала.

— До чего же хорошо, что ты у меня есть! Только ты и помогаешь мне сохранить здравомыслие!

Минут через десять, как бы вопреки пессимистическим предположениям Оми, в дверях гостиной показался Мохаммед Маджуби, несколько усохший, но аккуратно одетый, в белой *джеллабе* и шапочке *топи*. Рядом с ним стояла Алиса, и по ее ясным глазам было видно, что она испытывает огромное облегчение.

Увидев меня, Маджуби поклонился и сказал:

— *Ассалааму алайкюм*, мадам Роше. Спасибо, что снова привели ко мне Алису.

Он протянул к Алисе руку, и девочка бережно взяла ее и сжала в своих руках, а старик что-то тихо сказал ей по-арабски. Затем он обратился ко всем присутствующим в комнате — уже по-французски, хотя и с сильным южным акцентом:

— Вчера у нас с внучкой состоялся разговор, и она обещала мне подумать над тем, что я ей сказал. И вот сегодня, *Альхамдулила*, мы вместе с ней решили вернуться домой. Жизнь слишком коротка, а время слишком драгоценно, чтобы тратить его на глупые ссоры. Завтра я поговорю со своим сыном. Что бы между нами ни случилось, я по-прежнему его отец. — На лице его мелькнула тень улыбки. — Ну а ты, моя маленькая Майя, — спросил он, — чем ты сегодня занималась?

— Мы сегодня печенье пекли! Волшебное! Чтобы ты выздоровел.

— Ясно. Волшебное печенье. — Улыбка старика стала еще светлее. — Только не рассказывай дяде Саиду. Вряд ли он это одобрит.

— Надеюсь, вы присоединитесь к нашему *ифтару*, — сказала Фатима, обращаясь к нам. — Угощения у нас более чем достаточно, на всех хватит. Так что добро пожаловать.

И мы остались. Все расселись на ярких подушках — мужчины по одну сторону, женщины по другую. К нам присоединились и Медхи Аль-Джерба, и муж Ясины Исмаил, очень похожий на своего старшего брата Саида, только без бороды и одетый по-европейски. Мохаммед прочел необходимые молитвы. Алиса совсем притихла, но выглядела вполне довольной. Я умилялась, глядя, как Майя учит Розетт правильно есть: «*Смотри, Розетт, вот как мы это делаем! И, пожалуйста, сядь прямо, не вертись на подушке!*» Кстати, Бам тут же следовал указаниям Майи и сажился до смешного прямо, поблескивая в тени золотистой шерсткой.

Мы начали с фиников — в рамадан это традиционный способ выхода из поста. Затем последовала хурма и суп из розовых лепестков с *crêpes mille trous*, кускус с шафраном и жареный барашек со специями. На десерт подали миндаль, абрикосы, рахат-лукум с кокосовой стружкой, а под конец — принесенное нами печенье и шоколад.

Мохаммед Маджуби ел мало, но одно печенье с блюда, поднесенного Майей, все-таки взял.

— Ты *должен* съесть хотя бы одно, *джиддо*! Ведь мы с Розетт помогали Вианн его делать!

Он улыбнулся:

— Конечно, обязательно съем. Как я могу не съесть? Тем более если это печенье волшебное.

Зато Оми не ведала никаких колебаний. И отсутствие зубов ее не тревожило: сунув в рот шоколадку, она просто позволила ей растаять.

— Это гораздо вкуснее фиников, — сказала она. — А ну-ка, дай мне еще!

Это, конечно, *не настоящая* магия, и все же любая еда, приготовленная с любовью, обладает истинно магическими свойствами. Все дружно нахваливали мои трюфели, да и печенье вскоре доели.

К концу *ифтара* Мохаммед выглядел совсем усталым и вскоре сказал, что, пожалуй, пойдет к себе и приляжет.

— Спокойной вам всем ночи, — сказал он. — Долгий был день. Но завтра будет еще один. — И он выразительно посмотрел на Алису.

— Но ведь еще *совсем рано*... — заныла Майя. — И ты обещал поиграть со мной в шашки...

— Между прочим, скоро полночь, — строго сказала Оми. — А магические шоколадки действуют только до полуночи. К тому же старые

люди быстрее устают.

— *Ты-то* небось не устала! — запротестовала Майя.

— Ну, я вообще неколебима, как скала.

Майя слегка призадумалась, а потом объявила:

— Я знаю, нужно, чтобы наш котик вернулся. Хази сумеет заставить *джиддо* снова стать счастливым. Я попрошу моего *джинна*, пусть он разыщет Хази.

— Вот-вот, попроси, — улыбнулась Ясмина.

Пока Ясмина укладывала Майю спать, Захра решила приготовить мятный чай, и я тоже прошла на кухню, чтобы ей помочь. Остальные продолжали о чем-то беседовать в гостиной. Готовя чай, Захра сняла с головы платок, и я заметила, что она выглядит озабоченной, даже встревоженной.

— Вы все еще беспокоитесь об Инес?

Она пожала плечами.

— Если кто о ней и беспокоится, то только я одна.

— Вы думаете, с ней что-то случилось?

Она снова пожала плечами.

— Кто знает? Возможно, она просто устала от постоянных сплетен.

— А вы верите, что она первая жена Карима?

Захра решительно помотала головой.

— Я точно знаю, что она ему не жена.

Это прозвучало настолько уверенно, что я снова спросила:

— А в то, что она его сестра, вы верите?

Она посмотрела на меня.

— Я знаю, *кто* она. Но мне не следует говорить об этом.

Чай получился крепкий, душистый. Захра всегда кладет в него свежую мяту — две щедрые щепотки на украшенный красивым узором серебряный чайник, такой большой, что поднять его можно только двумя руками. Пар из носика чайника повис в воздухе благоухающим облачком, словно *джинн* из мультфильма об Аладдине.

Я вдруг вспомнила о том *джинне*, про которого все время говорит Майя. Интересно все же, видит ли она своего «друга», как Анук и Розетт видят Пантуфля и Бама? Должна сказать, меня несколько удивляло то, что я до сих пор даже мельком не сумела его разглядеть. Порождения детского воображения обладают очень сильной энергетикой, да и я всегда отличалась повышенной восприимчивостью. Но сейчас, глядя на клубы душистого пара из чайника, я вдруг обнаружила, что вижу нечто совсем иное, похожее на морозные узоры на оконном стекле. Я придвинулась чуть

ближе. И аромат мяты окутал нас обеих.

— Захра, пожалуйста, не волнуйтесь, — поспешила сказать я. — Я просто хочу помочь...

И я попыталась коснуться ее мыслей — очень деликатно, краешком сознания. Это порой дает возможность даже будущее увидеть, хотя чаще я вижу лишь неясные тени да чьи-то отражения.

Корзина алой земляники; пара желтых шлепанцев; браслет из черных гагатовых бусин; лицо какой-то женщины в зеркале. Чье это лицо? Видела ли я его раньше? Может, это лицо Женщины в Черном? Если да, то она просто красавица, гораздо красивей, чем нас пытаются убедить сплетники. И она молода; невероятно молода; в ее лице есть та бессознательная беспечность юности, когда человек попросту не верит, что и он когда-нибудь станет старым, или умрет, или ему придется отказаться от былых иллюзий. Такое выражение лица у моей Анук. Такое когда-то было и у меня.

Я попыталась придать форму душистому пару, как бы причесать его пальцами. Этот запах, запах конца лета, был чистым и сладостно ностальгическим. Перед глазами у меня вдруг возникли гадальные карты моей матери: Королева Кубков, Рыцарь Кубков, Любовники, Башня...

Башня. Разрушенная ударом молнии, на карте она выглядит чересчур хрупкой, чтобы служить защитой. И шпиль на ней тонкий, как осколок стекла, и какой-то совершенно декоративный; и окон в ней нет. Кого — или что — она обозначает?

У нас, здесь, конечно, целых две башни. Колокольня Сен-Жером, приземистая, с белыми оштукатуренными стенами, прямоугольным основанием и толстеньким невысоким шпилем. И минарет; точнее, бывшая труба дымохода, ныне увенчанная серебряным полумесяцем. Какую же из них обозначает карточная Башня? Колокольню или минарет? В какую из них попала молния? Какая из двух выстоит, а какая упадет?

И я в третий раз попыталась что-то разглядеть в клубах пара. Аромат мяты стал сильнее. И я снова увидела Франсиса Рейно, задумчиво бредущего по берегу реки с рюкзаком на плече, ссутулившегося под ударами ветра и дождя. И еще что-то разглядела я у самых его ног; это был скорпион, черный, ядовитый. А он его поднял, и я подумала: если Инес — это скорпион, то, может быть, *Рейно* — тот бык, что согласился переправить скорпиона через реку? Но если все действительно так и есть, то их, скорее всего, уже поздно спасать, ибо они оба неизбежно утонут...

Я видела, с какой подозрительностью наблюдает за мной Захра. Наконец она не выдержала и спросила:

— Что это вы делаете?

— Пытаюсь хоть что-то понять, — сказала я. — Ваша подруга пропала. Мой друг тоже. И если вы что-нибудь о них знаете, это могло бы помочь...

— Я ничего не знаю, — сказала Захра. — Это война. И мне очень жаль, что вы оказались в ней замешаны.

Я удивленно на нее посмотрела:

— Какая еще война?

Она пожала плечами и снова повязала голову платком, скрыв под ним плясавшие цвета своей ауры.

— Война, которую нам никогда не выиграть; война между женщинами и мужчинами, между старыми и молодыми, между любовью и ненавистью, между Востоком и Западом, между терпимостью и традицией. Никто по-настоящему не хочет этой войны, однако она уже разразилась. И никто в этом не виноват. Но я бы, например, хотела, чтобы все сложилось иначе. — Она подняла тяжелый серебряный чайник и подала мне. — Вот, возьмите, пожалуйста. А я захвачу чашки.

— Захра, погодите. Если вы что-нибудь знаете...

Она покачала головой.

— Сейчас я должна вернуться в гостиную. Но мне очень жаль, что с вашим другом так вышло.

Глава десятая

Четверг, 26 августа

Два раза за ночь принимался дождь. В первый раз я услышал его шум в переулке за окном моей темницы и пожалел, что не приберег хотя бы глоток питьевой воды, ибо та бутылка, которую я положил в рюкзак, уже опустела. Во второй раз дождь полил так, что прохудившаяся канализационная труба снова начала пропускать воду, которая ручейком побежала по стене. Было ясно, что река опять готова выйти из берегов, но, несмотря на жуткую сырость, я все же ухитрился немного поспать, плотно закутавшись в куртку. Вот только ноги в мокрых ботинках совершенно окоченели, и я бы, наверное, душу готов был отдать за горячую ванну.

Часы мои встали — должно быть, батарейка села из-за чрезмерной влажности. Но, ориентируясь по крикам муэдзина, грохоту беговых дорожек над головой и далекому звону колокола Сен-Жером, я, в общем, мог определить время. По моим представлениям, было где-то между десятью и одиннадцатью утра, когда дверь в мою темницу опять отворилась и в подвал в полном одиночестве вошел Карим Беншарки. От него сильно пахло *кифом*. И выглядел он сердитым и возбужденным.

Светя карманным фонариком мне прямо в глаза, он спросил:

— Где моя сестра?

Я попытался сказать, что не знаю, но Карим был слишком зол, чтобы меня слушать.

— Что ты ей сказал? Что? Что ты вообще делал у причала тем утром, на рассвете?

Я очень старался говорить спокойно:

— Я ничего ей не говорил. Я вообще с ней не разговаривал. И понятия не имею, куда делась ваша сестра.

— Не лги! Я знаю, ты за ней шпионил! — взвизгнул Карим, и в его голосе появились опасные, острые как бритва нотки. — Что ты там видел, прячась в зарослях у реки? И какие сказки рассказывала тебе Алиса?

— Пожалуйста! — Господи, как я ненавижу это слово! — Пожалуйста, поймите: это какая-то ужасная ошибка. Выпустите меня отсюда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Только отпустите меня!

Он посмотрел на меня.

— Ты, должно быть, уже и есть-пить хочешь?

— Хочу, — сказал я. — Пожалуйста, отпустите меня, и мы все с вами

выясним. Если Инес пропала...

— Что ты видел?

— Говорю же вам: я *ничего* не видел! А почему вы все время об этом спрашиваете?

Он горестно хмыкнул.

— Ха! Да с тех пор, как моя сестра сюда приехала, ты ее ни дня не оставлял в покое! Шпионил за ней; подглядывал из своей церкви; вопросы всякие задавал. Все притворялся, что помочь хочешь. Говори, что она тебе рассказала? *Что ты знаешь?*

— Совсем ничего. Насколько мне известно, ваша сестра, как и вы, всей душой меня ненавидит.

Я чувствовал, что он мне не верит. Но почему? Чего он так боится? Какие тайны они скрывают? Я вспомнил, как Соня говорила мне: «*Он иногда ходит к ней по ночам. Она его околдовала. Он во власти ее чар*». Тогда я отверг все эти обвинения, как обыкновенные фантазии, вызванные ревностью. В конце концов, эта женщина — его сестра. Но... если она ему все-таки не сестра? Как мы можем доказать, *кто* она на самом деле?

— Она ведь вам не сестра, верно? — спросил я.

Он помолчал. Потом спросил:

— Кто тебе это сказал?

— Я догадался.

Карим опять долго молчал, потом, похоже приняв какое-то решение, выключил фонарик, и мне пришлось щуриться, чтобы хоть как-то разглядеть его лицо.

— Хорошо, я дам тебе еще один шанс, — сказал он мне иным, холодным тоном. — В следующий раз я приду не один. Я приведу с собой своих друзей. Тех самых, с которыми ты уже встречался воскресной ночью неподалеку от своего дома. И тогда ты скажешь мне все. А иначе... — Голос Карима стал еще холоднее и словно отдалился от меня. — А иначе мы представим все как несчастный случай. Нам нетрудно сделать так, будто ты утонул в реке. И любые отметины на твоем теле сочтут последствиями того, что тебя слишком долго тащила разыгравшаяся река. Никто ничего не узнает. Да никому, собственно, и дела-то до тебя не будет. Ведь ты здесь далеко не самая популярная личность. Никто тебя даже не станет искать.

И с этими словами Карим повернулся и вышел, заперев за собой дверь. Я снова остался в темноте.

Он, конечно, пытался меня запугать. Это было мне совершенно ясно. Но знаешь, отец, я его не боюсь. Карим не убийца. Он, может, и

организовал то ночное нападение на меня, но ведь убивать меня все-таки никто не собирался. Однако...

И никто ничего не узнает. Да никому, собственно, и дела-то до тебя не будет. Никто тебя даже не станет искать. И это чистая правда, отец мой. Даже если я навсегда исчезну, вряд ли кто-то станет по-настоящему грустить обо мне.

Примерно через час дверь темницы снова приоткрылась, и я вскочил на ноги: я был совершенно уверен, что сейчас передо мной предстанут Карим и его приятели. Но в дверь бочком протиснулась какая-то женщина, закутанная в черное покрывало, и тихо сказала:

— Если вы попытаетесь выйти отсюда, я закричу.

Ее голос был мне незнаком, но женщины, что носят *никаб*, вообще редко с кем-нибудь говорят (разве что друг с другом); вряд ли я кого-то из них смог бы узнать по голосу. Однако я сразу понял, что эта женщина явно молода: по-французски она говорила почти без акцента.

Я мрачно на нее посмотрел:

— Что вам нужно?

И тут я заметил у нее в руках картонную коробку.

— Я принесла вам воду и еду, — сказала она. — Я все это тут, у порога, оставляю. И если вы потом спрячете коробку и мусор, то Карим со своими друзьями ничего не узнают.

— Значит, Кариму неизвестно, что вы здесь?

Она покачала головой.

— Я подумала, что вы, должно быть, есть хотите.

— Ну так выпустите меня отсюда! — взмолился я. — Пожалуйста! Я клянусь вам...

— Простите, — сказала она, — но я пришла только для того, чтобы дать вам поесть.

В принесенной коробке я обнаружил суп в пластиковом стакане, хлеб, оливки и сушеные фиги, завернутые в кусок вощенной бумаги, а также пластиковую бутылку с водой и печенье. Как только женщина исчезла за дверью, я моментально все съел и выпил, а бумагу, стакан и бутылку сунул в картонную коробку и спрятал в одной из пустых клеток.

Я должен отсюда выбраться, думал я, и желательно до того, как вернется Карим с подручными. Эта женщина в черном, что принесла мне поесть... *а что, если это Соня?* Вполне возможно. Но Соню я бы узнал. Да и знает ли Соня, что меня заперли в этом подвале? Если да, то, по-моему, она должна чувствовать себя виноватой. Так, возможно, именно поэтому она и пришла? Что ж, в следующий раз я...

А *будет ли* следующий раз? Может, это последняя трапеза в моей жизни. Последняя трапеза приговоренного. Только бы Майя вернулась...

Боже мой, неужели я совсем пал духом? Однако надежда у меня оставалась только на Майю — последняя тоненькая ниточка, связывающая меня с жизнью, находится в руках пятилетнего ребенка. Вспомнит ли Майя о своем обещании? Может, она давно уже позабыла об игре в джинна и исполнение желаний?

Глава одиннадцатая

Пятница, 27 августа

Миновала еще одна ночь — но я так и не получила ни одного ответа на свои вопросы. И материны карты не помогли. Я сварила детям шоколад со сливками, очень густой и сладкий, и себе тоже налила — в старую чашку Арманды. Ах, если б Арманда была здесь! Я почти слышу, как она говорит, пробуя мой шоколад: *«Если рай хотя бы наполовину столь же хорош, как это, я завтра же перестая грешить»*. Дорогая Арманда! Как бы она смеялась, увидев, как сильно я тревожусь из-за Франсиса Рейно.

«Он прекрасно может сам о себе позаботиться, — сказала бы она. — Пусть побродит. Ему это только на пользу». И все же все мои инстинкты буквально вопят: Рейно в беде! Раньше мне казалось, что спасти нужно Инес Беншарки, но я ошибалась. Спасать надо было *Рейно*! Причем с самого начала.

Как там говорилось в письме Арманды? *«В Ланскне ты вновь понадобишься. Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе, когда это случится»*.

Да уж, такие люди, как Рейно, никогда никого ни о чем не просят и никогда ни на кого не полагаются. Неужели он сам пытался помочь Инес? Неужели этот проклятый скорпион все-таки его укусил?

Отец Анри сообщил в полицию об исчезновении Рейно, но от полицейских пока что никакого толку. Ничто не указывало на то, что месье кюре стал жертвой чьих-то происков; и потом, отец Анри сам же и предположил, что Рейно просто взял отпуск. Что же касается сплетен, что Рейно сбежал из города из-за новых свидетельств, касающихся пожара в бывшей *chocolaterie*, то они, похоже, не нашли ни малейшего подтверждения — к величайшему разочарованию Каро.

Я заглянула в церковь. Там было пусто, только штабеля новых стульев; впрочем, перед исповедальней сидели двое прихожан, я узнала Шарля Леви и Генриетту Муассон. Похоже, они тоже искали нашего пропавшего кюре.

— Он никак не мог уйти насовсем, — сказал Шарль, когда я спросила его об этом. — Он никогда бы нас не оставил. Да и куда ему идти? И потом, кто будет ухаживать за его садом?

Генриетта Муассон была с ним согласна:

— Месье кюре не мог бросить тех, кто хочет перед ним исповедаться! Он и так уже сто лет в исповедальню не приходил. А с этим новым — с

этим *извращенцем*, который у нас в церкви прячется! — я ни за что не стану разговаривать. Скользкий он какой-то, изворотливый.

— Его зовут отец Анри Леметр, — сказал Шарль.

— Я знаю, как его зовут! — с достоинством ответила Генриетта.

Шарль только вздохнул, заметил мне:

— Она совсем расстроена. Лучше я отведу ее домой. — И он с улыбкой повернулся к Генриетте: — Идемте, мадам Муассон. Нам с вами пора домой. Вас Тати заждался.

Жозефина тоже не могла сообщить мне ничего нового. Забежав в кафе, я обнаружила там Поля-Мари, бледного и небритого; вид у него был одновременно растерзанный и странно победоносный.

— Ура! В бой ринулась наша кавалерия! Что, явилась навести порядок? Исцелить больных и страждущих? Излечить хромых? Постойка... — он безрадостно улыбнулся, — сегодня твоим *особым* силам небось найдется немало применения, поскольку мир наш, по-моему, прямо-таки переполнился дерьмом.

— Я никогда не утверждала, что обладаю какими-то особыми силами, — сказала я.

Он хрипло засмеялся, словно зарычал.

— То есть некоторые вещи тебе *не под силу*? Хотя, если верить словам суки, на которой я женат, ты способна практически ходить по воде «аки посуху». А что касается ее выроodka...

— Мальчика зовут Пилу.

— В общем, по его словам, ты что-то среднее между Мэри Поппинс и волшебной феей, которая дарит подарки. Волшебные шоколадки, невидимые любимцы — у тебя в доме все это есть, верно? Ну и что ты еще придумаешь? Лекарство от СПИДа? Я бы, например, вполне удовлетворился парочкой нормальных ног... да, пожалуй, и от минета бы не отказался...

— У Пилу богатое воображение, — прервала я его. — Видимо, они втроем — он, Майя и Розетт — придумали себе какую-то игру.

Поль-Мари соорудил кислую рожу.

— Значит, вот как ты это называешь? *Богатое воображение*? Играет целыми днями у реки с двумя малолетними соплюшками... Нет, *ты*, конечно, можешь называть это «богатым воображением», а на мой взгляд, ему давно пора найти нормальных друзей! *Мальчишек*! Настоящих французских мальчишек, а не эту шваль из Маро...

Но меня на такую наживку не поймает. Поль Мюска вообще любит провоцировать. Как ни в чем не бывало, я спросила:

— А где Жозефина?

Он пожал плечами.

— Взяла утром машину и куда-то поехала — может, судно свое искать. Ну что ж, удачи ей! Говорят, судно речные цыгане угнали, а может, «магрибцы» эти. Только не понимаю, с чего ей так волноваться. А ты понимаешь? Она ведь этим суденышком и не пользуется вовсе — во всяком случае, с тех пор, как этот ее рыжий уехал.

Этот ее рыжий. Я хотела сказать, что он ошибается, но тайна Жозефины — не моя тайна, и я не имела права просто так ее раскрывать.

— Ладно, скажи, что я заходила, — сказала я.

Он насмешливо хмыкнул:

— Ну, если ты считаешь, что у меня только и дел, что выполнять твои поручения...

— А еще скажи, что я зайду завтра, — прибавила я, не обращая внимания на его тон.

— С нетерпением буду ждать, — усмехнулся Поль-Мари.

Глава двенадцатая

Пятница, 27 августа

Вернувшись к домику Арманды, я увидела, что возле него меня поджидает Алиса. В черной *абайе* со спрятанными под *хиджаб* волосами, она выглядела сейчас совсем непривычно, и я чуть не приняла ее за кого-то другого.

— Я хотела поблагодарить вас, прежде чем уйду, — сказала она.

— Значит, ты возвращаешься домой?

Она кивнула.

— *Джиддо* все знает. Он говорит, что это не мой *зина*. А еще он говорит, что Карим не тот, за кого себя выдает, а мой отец — человек хороший, но, видно, слишком падкий на лесть. А про мою мать он сказал... в общем, для нее важнее всего внешний вид. — Алиса коротко и очень печально улыбнулась. — Мой *джиддо*, может, и стар, но в людях он разбирается отлично.

— И он расскажет твоим родителям, что с тобой случилось?

Она покачала головой.

— А ты?

Она пожала плечами.

— *Джиддо* считает, что, если им рассказать, будет только хуже. Все равно назад ничего не вернешь. Мы можем только молиться, чтобы Аллах нас простил, и стараться как-то жить дальше.

Неужели это возможно? — подумала я. Может, и да. Алиса, во всяком случае, считает именно так; со свойственным юности оптимизмом она надеется, что можно стереть прошлое из памяти. Но прошлое упрямо и жестоко, оно оставляет на наших душах тем больше отметин, чем чаще мы пытаемся сами на него воздействовать. Сможет ли Алиса быть счастлива и довольна, живя в своем, таком отличном от нашего, мире?

Я старалась не думать о том, что тогда сказала Инес. *Ты рассуждаешь, как ребенок. Как ребенок, который увидел выпавшего из гнезда птенчика, подобрал его и отнес домой. А дальше случится одно из двух. Либо птенчик вскоре умрет, либо выживет и даже проживет еще день или два, и тогда ребенок отнесет его обратно и вернет родителям. Вот только родители его не примут, поскольку он весь пропитался запахом человека. И ему останется только умереть от голода, или его съест кошка, или до смерти заклюют другие птицы. И хорошо, если ребенок об этом никогда*

не узнает.

Но я-то не ребенок, Инес. И Алиса не неоперившийся птенец. Примет ли ее семья? Надеюсь, что примет. Может быть. А может, и нет. Но если даже не примет, то она, по-моему, достаточно сильна, чтобы выжить и в одиночку, без их помощи. Я видела, как сильно она изменилась даже за те несколько дней, что прожила у нас. Нет, она больше уже не испуганный птенчик, она начинает расправлять крылья. Неужели она действительно сможет, вернувшись в родное гнездо, и дальше притворяться, будто не хочет летать?

Мы проводили Алису до дома Аль-Джерба, где ее уже поджидал старый Маджуби. Внешне он казался спокойным и собранным, но цвета его ауры так и кипели; сквозь серые тона, выдавая тревогу, пробивались языки красно-оранжевого и черного.

— Надеюсь, у вас там все обойдется? — спросила я.

— *Иншалла*, — ответил старый Маджуби.

В дверях показалось личико Майи.

— Я тоже с вами пойду, ладно? Я хочу показать Розетт, где живет мой джинн. И потом, он мне еще одно желание должен.

Розетт посмотрела на меня и знаками сказала: «*Я хочу пойти и посмотреть на Фокси*».

— Хорошо, — согласилась я. — Только далеко от меня не убегайте. — И снова повернулась к старому Маджуби: — Хотите, я пойду вместе с вами?

Он покачал головой:

— Спасибо, но не надо. Мне кажется, будет проще, если мы поговорим с сыном с глазу на глаз. Это давно уже пора было сделать; слишком давно мы с ним так не разговаривали. Гордость и гнев стояли у меня на пути, но я все-таки заставил свою гордость уступить дорогу совести и разуму. И больше уж не допущу ничего подобного. Я был слеп, но теперь я хорошо вижу и надеюсь, что Аллах даст мне сил, чтобы и других тоже заставить прозреть.

— Ладно, — кивнула я. — Но если вам понадобится помощь...

— Я знаю, к кому тогда обратиться, — сказал Маджуби.

Глава тринадцатая

Пятница, 27 августа

Я проснулся от стука по металлической решетке, которой было забрано окошко в моем подвале, и бросился к грудке пустых клеток, теперь почти целиком уже скрывшихся под водой.

— Вианн?

Но это, конечно же, была не она, а Майя, которая вернулась, как и обещала. Она даже подружку с собой привела, что могло бы вселить в мою душу некоторую надежду. К сожалению, этой подружкой оказалась Розетт, которая едва умеет говорить, а если и говорит, то смысла в ее словах немного.

Стараясь не показывать разочарования, я спросил:

— Майя, ты сказала Вианн, что я здесь?

Она кивнула. Стоявшая с ней рядом Розетт смотрела на меня с таким изумлением, что глаза у нее стали круглыми, как церковные тарелки для пожертвований. Эти две малышки были похожи на котят из мультфильма, которые через зарешеченное окошечко подглядывают за очень большой мышью, угодившей в мышеловку.

— Зачем ты привела с собой Розетт?

Вместо ответа Майя показала мне язык и заявила:

— А ты мне еще два желания должен!

Поддавив желание заорать на нее, я вновь попытался до нее достучаться:

— Ты же знаешь, Майя, что мне куда легче было бы исполнить любое твоё желание, если бы я вышел из подвала на свободу.

Девчушки переглянулись, и Майя что-то шепнула на ухо Розетт. Розетт тоже что-то ответила прерывающимся шепотом, то и дело хихикая. Потом обе снова повернулись ко мне, и Майя сказала:

— Мое второе желание — чтобы ты вернул назад кота.

— Господи, *какого еще кота?*

— Сам знаешь. Того, который всегда к нам приходит. Нашего Хази.

— Майя, это же *кот*, мало ли где он бродит, — сказал я. — Откуда мне знать, где он сейчас?

Майя с торжеством посмотрела на меня сквозь решетку и сказала:

— Ты же сумел сделать, чтобы моему *джиддо* стало лучше? Сумел! Только он все еще грустит из-за котика. Пожалуйста, верни нам Хази, а

после этого мы тебя отпустим.

Ох, отец мой, я, наверное, готов был ее убить! Разговаривать с ней — почти как с Генриеттой Муассон: никакого терпения не хватит. И у меня не хватило, так что я буквально взвыл, и оба эти котенка так шарахнулись от решетки, словно на них бросился огромный пес.

— Эй, девочки! Майя, Розетт! Вы уж меня извините, — я поспешно пошел на попятный. — Мне просто очень хочется поскорей отсюда выбраться.

Майя хитро прищурилась:

— Нет уж! Сперва выполни мое желание!

Нет ничего более бесполезного, чем спорить с пятилетним ребенком, особенно если вынужден с ним общаться через забранное металлической решеткой отверстие размером с почтовую щель в двери. Я вернулся к себе на лестницу — теперь уже три нижних ее ступеньки ушли под воду — и попытался не впадать в отчаяние. В конце концов, это лишь вопрос времени; рано или поздно кто-нибудь услышит о новой игре Майи и захочет своими глазами увидеть ее «джинна». А пока надо набраться терпения и верить, что даже в столь абсурдной ситуации все-таки есть смысл. Возможно, через неделю я буду смеяться, вспоминая все это как некое постигшее меня недоразумение. Но в тот момент будущее представлялось мне весьма мрачным. И вода по-прежнему поднималась; пока, правда, не так быстро, чтобы это непосредственно угрожало моей жизни, но все же достаточно быстро, чтобы изрядно действовать мне на нервы. Я, может, и не утону здесь, уныло размышлял я, но уж пневмонию-то вполне могу подцепить. Неужели Господь хочет, чтобы со мной случилось именно это?

Вот и очередной призыв к молитве. *Аллаху Акбар*. Здесь, под землей, все как-то странно резонирует — такое ощущение, будто я провалился в глубь огромной морской раковины и теперь отовсюду слышу шум прибоя, а голоса обычного мира проплывают надо мной по волнам, словно груз, сброшенный с палубы во время кораблекрушения. Сквозь узкое окошко просачивалось немного света — сверкающего, праздничного, разбитого решеткой на отдельные фрагменты; эти лучики света, мерцая, танцевали на стенах, как стая светлячков. Ветер совсем улегся. Дождь тоже перестал. Кажется, Черный Отан наконец-то полетел дальше. Вот и пусть себе летит своей дорогой. Очень мне хотелось на это надеяться.

Аллаху Акбар. Аш-хаду ал-ла.^[59] Как громко звучат эти слова в моей раковине, как настойчиво, точно воспоминания. Это вызывает в моей памяти ту огромную белую дюну в Аркашоне, где мы часто бывали, когда я

был маленьким; я помню свой пробег по ослепительному песку вниз, к морю, и бесконечно долгий подъем назад, на вершину; помню, как солнце отражалось от песка, точно от кованого бронзового щита, и как быстро краснела моя шея и часть спины, пока я лез наверх.

И я вдруг впервые подумал, что, быть может, здесь я и умру — в одиночестве, всеми забытый, никому не нужный. Разве кто-то станет по мне скучать, если я вдруг исчезну? У меня нет ни семьи, ни друзей. Даже мать моя, церковь, предпочла отца Анри. Никто меня особенно и искать-то не станет. Никто даже слезы по Рейно не уронит, кроме разве что самого Рейно...

Глава четырнадцатая

Пятница, 27 августа

Мы шли по бульвару в сторону старого причала. Майя и Розетт бежали впереди; Розетт пела свою песенку без слов, а Майя ей подпевала. Фокси и Бам, похоже, были прямо-таки созданы друг для друга. Чуть прищурившись, я вполне могла разглядеть Бама, легкий оранжевый промельк света, летевший следом за девочками, а вот новый приятель Майи все еще оставался для меня невидимым. Конечно, мне не всегда удастся увидеть «дружков» моих дочерей. Прошло много месяцев — даже, возможно, лет, — прежде чем я сумела хорошенько разглядеть Пантуфля.

В конце бульвара обе девочки вдруг нырнули в какой-то узкий проход, ведущий к дощатому настилу на берегу, и исчезли.

— Не заходите далеко! — крикнула я им вслед. — И держитесь подальше от воды!

Анук посмотрела на меня:

— Как ты думаешь, у Алисы все будет нормально?

— Надеюсь, — сказала я. — Я не могу в это вмешиваться. Чем дольше она оставалась бы с нами, тем меньше у нее было бы шансов вернуться домой.

— Но она же постриглась и все такое. Ей нравится и футбол, и «Фейсбук», и поп-музыка, и она нам даже помогала перекрашивать магазин. Неужели она сможет опять носить это покрывало и никогда не выходить из дома одна?

— Это ее выбор, Анук, — сказала я.

— А как же Люк? Ты же знаешь, он по ней прямо с ума сходит.

— Да, я знаю.

Но Анук явно не собиралась сдаваться.

— Мы же сюда не просто так приехали! Ты должна была тут кое-что исправить.

Это прозвучало так похоже на те слова, которые с упреком бросил мне Люк, что я даже вздрогнула.

— Я не всегда могу вмешиваться и что-то исправлять, — сказала я.

— Тогда какой во всем этом смысл? — гневно воскликнула Анук; у нее даже слезы на глаза навернулись. — Какой смысл в том, что мы для них делаем, если в конце концов спасти мы их все-таки не сможем?

Птенчик, выпавший из гнезда...

— Я никогда не говорила, что собираюсь кого-то *спасать*.

— Неправда! — возмутилась Анук. — Мы же раньше спасали! И сейчас тоже можем. Мы заставляли людей переменить свою жизнь. Жозефина, Гийом, Арманда, Рейно...

А ты посмотри на них сейчас, Анук, думала я. Восемь лет прошло, а что изменилось в их жизни? Кого мы спасли? Да никого. И каков результат? Несколько раздавленных талий, мимолетное тепло воспоминаний? Загляни в кафе «Маро» — Жозефина по-прежнему там. И Поль-Мари тоже — в своем инвалидном кресле. И у Гийома опять пес постарел. И Арманда давно в могиле. А Франсис Рейно... Да что там, все это лишь имена, написанные на песке и сметенные безжалостным ветром...

Анук гневно смотрела на меня; взгляд ее обвинял.

— Ты сдалась, мама! Ты не веришь, что мы способны что-то изменить!

— Я этого не говорила, Анук.

— Ну, все равно. Я и сама могу это сделать. Нет, мы сделаем это вместе, я и Розетт. Мы все устроим для Алисы и Люка. Мы приведем в порядок нашу *chocolaterie*. И тогда тебе *придется* поверить... — Она не договорила, сердито сверкая полными слез глазами.

— В чем дело, Анук? — спросила я. — Почему это вдруг стало настолько важно?

Анук упрямо тряхнула головой, стойкая, как оловянный солдатик, но не ответила.

— Пожалуйста, Анук, скажи мне.

Она отвернулась и долго молчала. Чувствовалось, как она изо всех сил старается взять себя в руки и не выдать свою великую тайну. Моя маленькая незнакомка всегда на удивление стойко оберегает личное пространство; припрятывает и тщательно хранит свои тайны, сокровища и мечты — этакая шкатулка с секретом, которую далеко не сразу сумеешь раскрыть. Я ждала, и Анук в конце концов не выдержала:

— Это все Жан-Лу! — сказала она. — Он совсем не отвечает на мои послания. Обещал, что будет писать, как только его переведут из послеоперационной, но операцию ему три дня назад сделали, а он мне ни одного *мейла* не прислал, ни одного поста в «Фейсбук» не выложил. — Слезы уже ручьем текли у нее по щекам. — И никто о нем ничего не знает. Он вообще никому не пишет. А ведь *обещал*...

Я обняла ее и прижалась лицом к ее волосам.

— Все будет хорошо, Анук. Все непременно будет хорошо.

Так *вот почему* Анук в последнее время стала такой нервной и колючей: вовсе не из-за Жанно, а из-за того, что ее друг, Жан-Лу Рембо...

— Откуда ты *знаешь*! Ты не можешь быть уверена!

Ты права, Анук. Все это только слова. Слова — самая дешевая магия; как и свист, если проходишь мимо кладбища. Но иногда слова — это все, что у нас есть. А иногда даже самые простые слова способны отпугнуть призраков. Не всегда, конечно, но все же...

И тут на берегу явно что-то случилось. Розетт, вместе с Майей игравшая в боковом проходе, громко заухала, как сова, и я, посмотрев в ту сторону, увидела, что под мостом наблюдается некое, совершенно неожиданное, движение. Похоже, там собирался причалить чей-то *плавучий дом*.

Мы бросились к мосту. Да, это *действительно* был плавучий дом, но не тот, на котором уплыла Инес Беншарки. Это было совсем маленькое речное суденышко, выкрашенное темно-зеленой краской; из кривоватой трубы, кашляя, вылетал дымок; на палубе виднелись горшки с цветами. И с моста было видно, что к берегу уже успели причалить еще два таких же суденышка — одно желтое и одно черное.

Розетт и Майя, разумеется, бросились на них смотреть.

Анук повернулась ко мне, снова просияв от радостного ожидания.

— Ты же понимаешь, мама, *что* это означает?

Это означало, что в Ланскне вновь вернулись речные крысы.

Речные крысы

Глава первая

Пятница, 27 августа

Речные крысы. Целое нашествие. Они причаливали к берегу рядом со старой пристанью на своих узких деревянных речных суденышках — теперь таких уже не делают; некоторые были ярко покрашены, а некоторые, совсем невзрачные, напоминали пузатые цыганские фургоны с жестяными печурками и крышами из рифленого железа. К полудню на задах Маро выстроилась добрая дюжина таких судов. Из наших окон, выходивших на реку, их хорошо было видно, а когда наступил вечер, то надо всей Танн вспыхнули огни, слышались оживленные голоса — люди готовили ужин, приветствовали друг друга, в общем, вся эта маленькая плавучая община готовилась к ночлегу.

Анук была убеждена: это некий знак. Она, правда, не знала точно, что он предвещает, но для нее возвращение речных крыс всегда означало перемену ветра.

Что ж, Анук, возможно, ты и права. Ветер-то стих. И небо чистое. На бульваре Маро готовятся в семнадцатый день рамадана прервать пост и наконец по-ужинать. Река звезд над головой, фонари на бульваре, созвездия огней на суденышках, разбросанных вдоль берегов спящей Танн.

Сегодня мы наконец остались одни. Алиса вернулась домой, и у нас все стало по-прежнему. Вот только Розетт, которая обожает речные суда, все просила снова пойти к реке, чтобы на них посмотреть. Анук тоже хотела проверить свою электронную почту, хотя там, конечно же, ничего для нее нет.

Признаюсь, я была рада, когда девочки ушли. В последнее время было слишком много людей, слишком много дел, слишком много беспокойства, и мне казалось, что полчаса в одиночестве хоть немного вернут мне ощущение реальности. Я приготовила себе чашку горячего шоколада и вышла с ней в сад; воздух был все еще прохладен после затяжных дождей, и запахи сырой земли и лаванды еще только начинали пробуждаться вновь. Внизу, подо мной, виднелись огни на улицах Маро. Надо мной сияли звезды.

Я закрыла глаза. Медленно опускаясь на землю, меня окутывали звуки вечера: треск сверчков, звон церковного колокола, скрип старого дома, оседающего на отсыревшую землю, точно старая дама в кресло. Лента музыки — возможно, флейта — повисла над Маро. Восемь лет назад, когда

сюда приплыли речные крысы, я как раз готовилась к своему первому празднику шоколада. Анук было всего шесть. Мы еще были не знакомы с Ру. И Арманда была еще жива. Сейчас, слушая эту далекую музыку, я почти могла поверить, что ничего не изменилось. Я почти могла поверить, что *и сама я* осталась той же.

Все возвращается, — сказала Арманда. — *Река под конец все приносит назад*. Ах, дорогая моя Арманда, если бы только река действительно могла все принести назад! Если б только ты была сейчас со мной! Сколько я могла бы рассказать тебе, сколько тайн, которые узнала, поведать...

Каждый кому-нибудь да исповедуется. Одна из самых привлекательных черт католической церкви — это, безусловно, тайна исповеди и обещание отпустить грехи. Рейно выслушивал исповеди в любой день без исключения. Теперь же, когда в церкви заправляет отец Анри, к исповеди приходят раз в неделю, да и то она обычно приурочена к какой-нибудь службе. Особенно сильно скучают по Рейно некоторые старики. Например, Генриетта Муассон и Шарль Леви, которые, вообще-то, друг с другом почти не разговаривают. Для них Рейно не просто священник; он для них друг, доверенное лицо. Как и старый Маджуби раньше для жителей Маро, как и я, возможно, во времена старой *chocolaterie* — по-своему, конечно. Но *нам-то* к кому обратиться, если и мы хотим исповедаться? Кто, например, выслушает мою исповедь?

Шоколад давно остыл. Я вылила его в кусты. Ночь показалась мне какой-то слишком холодной, и я встала, собираясь вернуться в дом. И вдруг заметила что-то на дереве Арманды. Этот персик мы, должно быть, случайно пропустили, когда на прошлой неделе собирали последние плоды; на ветке висел один-единственный, идеально созревший персик, который каким-то чудом ни капли не пострадал ни от ветра, ни от дождя.

Я сорвала его; запах сперва был слабый, но потом персик согрелся у меня в ладонях и стал пахнуть летом. Я разломила его и откусила кусочек. Персики в конце лета часто бывают совершенно безвкусными, водянистыми, но этот был удивительно хорош, все еще сладок и лишь чуть-чуть отдавал мускусом из-за проливных дождей.

Арманда была права: просто позор — позволять таким прекрасным фруктам пропадать зря. И я подумала, что хорошо бы посадить эту персиковую косточку на могиле Арманды, ей бы, наверное, понравилось. Могила находится у самой кладбищенской стены, и там полно места, а летом ребятишки стали бы туда пробираться тайком и красть персики — на радость Арманде. Я точно знаю, она была бы довольна. И я спрятала

косточку в карман. На той стороне, в Маро, все продолжали прибывать суденышки речных цыган, и от цветных фонарей, горевших на корме, по воде тянулись яркие извилистые следы. Интересно, почему их так много? И почему они прибыли именно сегодня? И нет ли среди них Инес?

Нет, вряд ли. Однако...

Я хорошо знаю, что такое странствующая община. Если кто-нибудь и может разнюхать, куда делась Инес, так это речные крысы. И след Рейно, кстати, они тоже сразу почуют, где бы он ни был; да и Рейно достаточно лишь представить себе, что речные крысы вновь заполонили Ланскне-сунтанн, и он сам вылезет оттуда, где сейчас прячется. Он, может, и переменялся, и теперь это совсем не тот Рейно, который восемь лет назад пытался испортить мой праздник шоколада, однако его недоверие к аутсайдерам осталось прежним. Как только он услышит о прибытии речных крыс, то сразу вернется домой. Все всегда под конец возвращаются домой.

Я посмотрела на часы. Ого, уже десятый час! Розетт пора спать. Я знала, куда они с Анук ушли, — наверняка бродят по дощатому настилу на берегу, надеясь встретить старых друзей. Я решила пойти их поискать, в конце концов, мне туда всего минут десять ходьбы. И спустилась в Маро, где огням, горевшим вдоль бульвара, вторили огни плавучих домов на реке.

В том доме, где живет семейство Аль-Джерба, ставни были полуоткрыты, и я, проходя мимо, увидела, что они ужинают — смеются, оживленно о чем-то беседуют, а на подоконнике спит кот. Так, подумала я, у этого кота по крайней мере три дома! *Оставь кошку в доме, и единственное, чего ей будет надо, это снова выйти наружу. Оставь ее снаружи, и она будет мяукать, пока ее снова не впустят в дом. Люди, в общем, примерно такие же.* Ну что ж, желание Майи исполнилось. Вот если б и всего остального на свете было так же просто достигнуть.

А вот в доме Маджуби ставни были плотно закрыты, и никаких признаков жизни снаружи не ощущалось. Надеюсь, Алиса и ее родные все-таки сумели найти общий язык. И тут я заметила в конце бульвара тень минарета, словно перечеркнувшую тот переулок, где вход в спортзал Саида, и в этой тени — силуэт женщины с большой картонной коробкой в руках. Выбрав местечко потемнее, я на мгновение замерла, и женщина меня не заметила. Она явно спешила и в то же время вела себя очень осторожно, словно явилась тайком. Затем она открыла дверь зала и вошла внутрь...

«Кто бы это мог быть? — удивилась я. — Ведь сейчас все заняты ужином. И с чего бы это женщина-мусульманка вдруг решила войти в

спортзал, где бывают исключительно мужчины?»

Спрятавшись в узком проходе, тянувшемся по другую сторону зала, я дождалась, когда женщина в черном появится вновь. Ждать пришлось не больше пяти минут. Вышла она уже без коробки, с головы до ног закутанная в покрывало, но, приглядевшись, я все же узнала в ней Захру Аль-Джерба. Я тут же вышла из своего темного закоулка и громко ее окликнула:

— Захра!

Ее выдали цвета ауры, как она ни пыталась скрыться под своим *никабом*. И я отчетливо почувствовала, что она охвачена сильнейшей тревогой. Впрочем, она достаточно спокойно сказала:

— А, это вы, Вианн. Я просто принесла кое-какие вещи старого Маджуби.

— В спортзал?

Она пожала плечами.

— Мне не хотелось им мешать. И потом...

— Вам не хотелось встречаться с Каримом.

Она вздрогнула.

— Почему вы так думаете?

Я улыбнулась.

— Да просто вспомнила, как ваша бабушка восхищалась его внешностью. И он ведь действительно очень хорош собой! Не так ли?

— Да, он очень красив, — согласилась она. — И очень опасен. Но не беспокойтесь. Меня он вряд ли сведет с ума.

Я была удивлена ее тоном. После признаний Алисы и после моей собственной встречи с Каримом у меня создалось о нем вполне определенное впечатление. Женщины и мужчины всех возрастов, буквально все — от Оми до Алисы — уверены, что Карим неверен своей жене, но обвиняют в этом, похоже, не его, а Инес. А вот Захра почти насмешливо относится к возможности того, что тоже падет жертвой его очарования. Странно.

— Извините, я должна идти, — сказала Захра, — а то остальные будут гадать, куда это я подевалась.

Она поспешила к дому, а я смотрела ей вслед и думала, что она довольно справедливо охарактеризовала Карима. Однако поведение Захры несколько меня озадачило. Зачем она принесла вещи старого Маджуби в спортзал, да еще так поздно вечером? И почему она с таким явным недоверием относится к Кариму, если все остальные его просто обожают?

Я подошла к дверям зала. Над ними, как всегда, сияла неоновая

вывеска. Внутри стояла тишина. Я слегка толкнула дверь, и она оказалась открытой. Внутри стоял запах хлорки и болота: старые здания в Маро во время паводка моментально затопляет, а сейчас вода в Танн стоит очень высоко. Но помимо этого я не заметила ничего необычного; в темном зале в отблесках рекламы виднелись очертания беговых дорожек и «коней» для опорных прыжков.

— Эй! — на всякий случай крикнула я. — Здесь кто-нибудь есть?

Ответа не последовало.

Я закрыла дверь и вернулась на бульвар. В дальнем конце узкого прохода, ведущего к реке, сияли огни, слышалась музыка, звучали чьи-то звонкие голоса. Речные цыгане явно что-то праздновали. Я прошла по бульвару до спуска к старому причалу и остановилась под деревьями; сквозь ветви я видела на берегу костры и мелькавшие тени людей. Пламя костра всегда меня притягивало, и я вдруг поняла, что незаметно для себя самой уже двинулась к причалу. Кто-то пек картошку в костре, разведенном в металлической бочке, а двое других наблюдали за ним с палубы суденышка. Рядом некто третий упражнялся в обезьяньих прыжках и вопил: «Бам! Бам! Бадда-бам!»

Я вышла из-под деревьев.

— Мама! — закричала Анук. — Мы нашли Жозефину! И ты только посмотри, кого *еще* мы нашли!

Жозефина, сидевшая на причале, встала мне навстречу. Она была в джинсах и грубом свитере, какие обычно носят рыболовы; ее волосы светились, как бледная корона в отблесках огней, отражавшихся в воде.

— Я все хотела пойти тебя поискать, — сказала она, — но...

Я не слушала, что она говорит мне. Все мое внимание было сосредоточено на фигуре человека на берегу; свет костра золотил его лицо, а волосы цвета перца так и пламенели в красноватых отблесках...

— Привет, незнакомка, — сказал человек, обращаясь ко мне.

Ну да, кто же еще это мог быть? — подумала я.

Это, разумеется, был Ру.

Глава вторая

Пятница, 27 августа

Жозефина тут же принялась объяснять:

— Я отправилась искать судно. Думала, если я его найду, то, может быть, найду и Рейно... — Она пожала плечами. — Однако Рейно я не нашла. Зато нашла Ру. И с ним была та женщина.

Ру улыбнулся. У Ру очень заразительная улыбка, легкая и вместе с тем странно неуверенная; улыбка постепенно добралась и до его глаз, но ей мешал застывший там вопрос. Я влезла на причал и обняла Ру. От него пахло дымом костра и еще чем-то неопределимым, но знакомым, как звуки ветра. Возможно, это был запах дома. Я губами отыскала его губы; мы поцеловались, и на какое-то время ответ на тот вопрос был найден.

— Ты что, телефон вообще *никогда* не включаешь? — спросила я.

Он усмехнулся:

— Я потерял зарядное устройство. А потом, когда нашел и прочел все твои послания...

— Теперь это уже не имеет значения, ведь ты здесь. Но где же Инес?

Теперь пришла очередь Ру рассказывать. Оказывается, он приехал сюда поездом два дня назад, встретил в Ажене своих друзей и присоединился к ним. На реке Ру знает каждый от Гаронны до Верхней Танн; он работал практически на каждом судне, и люди инстинктивно ему доверяют. В общем, его старое черное судно они нашли ниже по течению в пригородах Ажена, пришвартованное к берегу в самом неподобающем месте, и на борту по-прежнему находились Инес и Дуа. Судно Ру сразу же узнал; починил мотор и отвел обратно в Ланскне.

— Ну а что же Инес?

Ру пожал плечами.

— Она сказала, что у нее здесь возникли проблемы. Хотя судно она уводить вовсе не собиралась. Но когда оно само поплыло вниз по течению, ей не удалось повернуть назад.

— И она тебе все это рассказала?

— А почему бы ей было все это мне не рассказать?

Да, конечно, люди действительно всегда ему все рассказывают. Есть в Ру что-то такое, что неизбежно вызывает доверие. И куда бы он ни пошел, он, точно дудочник-крысолов, привлекает всех — детей, животных, людей, попавших в беду. И все же в нем чувствуется постоянное желание

сохранить дистанцию, не подпустить к себе слишком близко; и эту дистанцию никому еще не удавалось преодолеть. С этой особенностью Ру связано и его глубокое, хотя и спокойное, нежелание говорить о каких бы то ни было событиях собственного прошлого, объяснять свои поступки, какими бы обстоятельствами они ни были вызваны. Вот и со мной он не пожелал говорить о Жозефине и ни словом не упомянул о существовании Пилу, хотя не мог не понимать, что в данном случае его молчание выглядело по меньшей мере подозрительным.

Но на реке такие вещи вполне разрешаются. Здесь никто не задает лишних вопросов. Дружба может возникнуть, даже если тебе просто одолжат полканистры бензина. На реке есть только настоящее; прошлое оставляют на берегу. Имена чаще всего заменены прозвищами, и документов никаких ни у кого не имеется. Криминальное досье, бывшие ошибки, разбитые семьи — все это в прошлом и теперь не считается. Жизнь в настоящем времени проста и необременительна...

Я снова посмотрела на Жозефину. Мне показалось, что она чем-то встревожена; цвета ее ауры были бледными и какими-то трепетными. Возможно, на нее так подействовала неожиданная встреча с Ру? И в душе моей вновь шевельнулось неприятное чувство. Нет, сказала я себе, это же просто смешно! Скорее всего, Жозефина беспокоится потому, что Рейно так до сих пор и не нашли.

Что же касается Ру...

Похоже, два дня, проведенные на реке, что-то пробудили в его душе. Трудно сказать, что именно, но в его глазах я заметила сияние, какого там не было уже очень давно; собственно, я уж и не помню, в какой момент это сияние погасло. Баржа, переделанная под плавучий дом и пристроенная на перманентную стоянку, — это совсем не то же самое, что легкое суденышко речного цыгана. В Париже речное сообщество совсем иное: там существуют правила, которым обязательно нужно следовать, и налоги, которые непременно нужно платить. А здесь, на Танн, Ру словно вновь обрел свободу. И в душе его произошла перемена, тем более разительная, что он сам еще понятия о ней не имеет.

— А где Инес и Дуа сейчас?

— Я отвезла их назад на машине, — сказала Жозефина, — как только Ру мне позвонил. Я думаю, они пошли домой.

— И ты не видела, куда именно?

Она покачала головой.

— Нет. А что, это важно?

Анук нетерпеливо ждала, когда я на нее посмотрю.

— Мам! Жан-Лу прислал мне эсэмэску!

Я обняла ее и поцеловала.

— Вот и хорошо. Я очень рада. Теперь он, конечно же, вскоре поправится.

— А у нас картошка есть! — без перехода сообщила Анук.

— Какая картошка?

Ру молча указал мне на костер, потом пояснил:

— Я прямо тут нашел, ее на берегу полно. Попробуй картошечку, Вианн. Очень вкусно.

Заостренной палочкой я вытащила из костра печеную картофелину. Шкурка обуглилась, но внутри картошка была действительно очень вкусна: мучнистая, сладкая, чуточку сыроватая. Остальные тоже не терялись, и картошка шла нарасхват; мы ели, устроившись на палубе, и Ру сидел в центре, а Жозефина и я рассказывали ему о Рейно, об Инес, об Алисе — обо всем, что случилось с тех пор, как мы трое приехали в Ланскне...

Надо сказать, рассказывали мы довольно долго, а когда наконец умолкли, Жозефина поспешила домой, чтобы посмотреть, как там Пилу. Мы с Ру остались на палубе одни. Розетт и Анук давно уже забрались в каюту и уснули.

Всходила луна; над Танн висело плотное облако мошкары. Ру подбросил в почти погасший костер горсть сухих стружек и трав; в воздухе мгновенно повис острый смешанный запах лимонного сорго, лаванды, шалфея, яблони и сосновой смолы; это был запах костров моего детства.

— Она все мне рассказала, — сказала я. — И о Пилу, и о том, как солгала Полю-Мари.

— Вот как? — По выражению его лица ничего прочесть было невозможно.

— Ты прости меня.

— За что?

Что я могла сказать? Прости, что решила, будто ты мне солгал? Что подумала, будто ты способен вести нечестную двойную игру, притворяясь, что вся твоя жизнь передо мной как на ладони?

Я пожала плечами.

— Теперь все это уже неважно. Я очень по тебе скучала, Ру. Мы все очень скучали.

Он взял меня за руку.

— Так почему было не вернуться домой? — И в глазах у него был тот же вопрос. — Господи, Вианн, ты же больше здесь не живешь, ты приехала сюда всего на несколько дней, чтобы передохнуть. И вот пожалуйста, ты

снова занимаешься в Ланскне тем же самым, что и в прошлый раз, и снова во все вмешиваешься...

— А ты считаешь, что мне *не следует* ни во что вмешиваться?

Он пожал плечами и промолчал.

— Но ведь это Арманда заставила меня сюда приехать. У нее, безусловно, была причина, чтобы написать мне *оттуда*. Она написала, что здесь кому-то нужна моя помощь...

Ру снова пожал плечами и сказал:

— Ну, такой человек всегда найдется.

— Что ты имеешь в виду?

Он посмотрел на меня. Глаза у него были зеленые, как стекло.

— Возможно, это как раз тебе нужен Ланскне, а не наоборот, — сказал он.

Он ошибался, конечно. Мне Ланскне нужен не был. Но слова Ру словно открыли во мне некую потайную дверцу, за которой таились неведомая страсть и тоска. Почему я все это делаю? — думала я. — Почему всегда откликаюсь на призыв этого ветра? Неужели я никогда не смогу освободиться от беспокойной потребности следовать за ним?

Нет, я не плачу. Я же никогда не плачу!

Мы уселись рядышком на палубе, и я отыскала у Ру на плече то местечко, где моей голове всегда было так удобно; мы долго сидели молча и слушали пение сверчков и лягушек в зарослях тростника. А потом, так и не сказав друг другу ни слова, отползли в тень деревьев и занялись любовью. В небесах сияла луна, и нас окружали запахи влажной земли и зелени, и ночь постепенно спускалась, все вокруг окутывая тьмой. Странно, как за несколько лет в Париже мы успели привыкнуть к маленьким повседневным условностям; я с удивлением вспомнила, что в последний раз мы занимались любовью под открытым небом именно здесь, в Ланскне.

Затем мы вернулись на судно, где все еще крепко спали Анук и Розетт. Ру притащил на палубу одеяла, и мы улеглись прямо на палубе, глядя на Млечный Путь, который проплывал над нами, точно вращающийся фейерверк «огненное колесо»...

Уснула я далеко не сразу. Вокруг стояла тихая ночь, даже лягушки примолкли, а Танн окутал белесый светящийся туман. Я встала, потом некоторое время посидела у костра, глядя в постепенно светлеющее небо. Ру всегда очень легко засыпает; возможно, по той же причине он никогда не помнит, сколько сейчас времени или какой сегодня день недели. В картах Таро ему больше всего подошел бы Шут, который, весело насвистывая,

смотрит в небо, а не себе под ноги, хотя шнурки на ботинках у него развязаны; который словно не замечает никаких помех и препятствий; который всегда говорит правду, иногда даже не сознавая этого...

Но ведь сейчас-то Ру был не прав? Ведь мне никогда не был нужен Ланскне? Да, я, конечно, полюбила этот городок, но все же никогда не чувствовала себя здесь своей. Да это и невозможно — я же свободный дух! Я странствовала так далеко и видела так много, что совершенно не подхожу для жизни в крошечном селении вроде Ланскне-су-Танн. Как странно, до чего здешние узколобые жители сумели завладеть моим сердцем! Что, собственно, в этом Ланскне такого? Самая обыкновенная деревня, каких много на берегах Танн. Есть здесь места и гораздо красивей, например Пон-ле-Саул, а есть и такие, которые, как Нерак, могут похвастаться богатым историческим прошлым. Конечно, свое прошлое есть и у Ланскне, но оно есть и у Парижа, и у Нанта, и у сотен других городов, у сотен и сотен иных общин. И я ни одной из этих общин ничем не обязана. Если они позовут, я могу и не услышать. Так чем это место отличается от других? И по-прежнему ли я такой уж вольный дух? А может, я просто пушинка чертополоха, которая летит туда, куда понесет ее ветер?

На рассвете я вернулась в постель и снова попыталась уснуть. Должно быть, мне все-таки это удалось, потому что когда я открыла глаза, солнце стояло уже высоко, а Ру больше не лежал рядом со мной. В каюте сонно возились дети, и ветер за ночь успел снова перемениться.

Глава третья

Суббота, 28 августа

Прошлой ночью снова приходила та женщина в черном. На этот раз она принесла бутылку с мятным чаем и несколько ломтей холодного жаркого из баранины, завернутых в тонкие лепешки. Я заранее дал себе слово, что на этот раз не стану ни о чем ее молить и вообще буду вести себя достойно. Я молча принял принесенную пищу и лишь один раз поднял на женщину глаза, так как она стояла на пару ступенек выше; собственно, от лестницы только и остались эти две верхние ступеньки, остальные давно скрылись под водой. В результате, чтобы подойти к окну, мне приходилось передвигаться чуть ли не по поясу в воде.

Ей, похоже, стало не по себе, когда она это увидела, и она попыталась меня успокоить:

— Вода скоро перестанет подниматься. Сегодня дождь совсем не шел.

Я только пожал плечами и ничего не ответил.

— Вы здоровы? — спросила она. — Вы плохо выглядите.

На самом деле я совсем не здоров и чувствую себя просто ужасно. С тех пор как меня здесь заточили, я постоянно нахожусь в мокрой одежде, и одному Богу известно, какие микробы и бактерии плавают в той воде, которой затоплен подвал. По-моему, у меня температура, меня постоянно знобит, да и рука все еще сильно болит.

— Я совершенно здоров, — сказал я ей. — И мне тут очень нравится.

Она глянула на меня поверх своей чадры.

— Вианн мне все рассказала. Как вы помогли Алисе. Как вы ее спасли, когда она прыгнула в Танн. И никому ни слова об этом не сказали!

Я снова пожал плечами и промолчал.

— Но зачем же вы все-таки пытались поджечь школу Инес и ее плавучий дом?

Вопроса было вполне достаточно, чтобы я окончательно убедился: это не Соня. Да и голос у Сони, конечно, совсем другой; у этой женщины голос какой-то сухой и чуточку гнусавый. И я предложил ей:

— Поговорите об этом с Соней Беншарки. Она-то прекрасно знает, что я не имею ко всему этому ни малейшего отношения.

— С Соней? Не с Алисой? — удивилась она.

— Просто спросите. А заодно расскажите ей, почему я здесь оказался. Пусть она вам объяснит, как в действительности обстояло дело.

Она долго на меня смотрела, потом сказала:

— Возможно, я именно так и поступлю.

Конечно, у меня нет никакой уверенности, что Соня скажет этой женщине правду. Но, собственно, и выбора у меня нет. Во всяком случае, мне удалось вложить в душу этой неизвестной особы малую толику сомнений.

Я не уверен даже в том, понимаю ли сам, как именно все это со мной произошло. Ведь я всегда исполнял свой долг. Нет, все дело в них, в этих *maghrebins*! Они все до одного просто сумасшедшие. А ведь я так старался помочь им, отец мой! И посмотри, куда это меня привело. Теперь моя жизнь зависит от пятилетней девочки, потерявшегося кота и какой-то странной особы в черном. Если бы я не был так измучен, подобная ситуация, наверное, показалась бы мне почти смешной. Но у меня совершенно не осталось сил; правда, удалось немного поспать, примостившись на двух последних сухих ступеньках, но и этот короткий сон не принес мне облегчения: он был полон таких живых и реалистичных видений, что снами они вовсе не казались. Несколько раз я просыпался, потому что мне казалось, будто кто-то стучится в мое зарешеченное окошко, и я каждый раз лез туда, чтобы проверить, нет ли там кого, и каждый раз оказывалось, что это ошибка. Мой воспаленный мозг, должно быть, начинает играть со мной шутки. Ужасно дерет горло. И голова очень болит. Я с наслаждением выпил весь мятный чай, который принесла та женщина, но не смог проглотить ни кусочка еды. Единственное, чего мне сейчас хочется, это уснуть, пусть даже вечным сном. Просто уснуть спокойно на чистых льняных простынях, положить на подушку голову, которая так нестерпимо болит...

Наступает рассвет. Слышен призыв к молитве. *Аллаху Акбар. Бог превыше всего.* Эти слова — первое, что слышит новорожденный ребенок; первое, что произносят, войдя в новое жилище. *Аллаху Акбар. Бог превыше всего.* Теперь еще полчаса тишины — и беговые дорожки вновь загремят у меня над головой, а на колокольне Сен-Жером зазвонят колокола, мои прихожане соберутся в церкви, и отец Анри начнет служить мессу...

Но разве это мои прихожане? Мне отвратительно даже думать о том, как отец Анри Леметр прибирает к рукам церковь Святого Иеронима, как он заменяет старинные деревянные скамьи пластиковыми стульями и, возможно, уже устанавливает эти дурацкие видеоэкраны. Но даже столь мрачные мысли не способны объяснить, отчего мою душу терзает невыносимое чувство утраты. Я оказался в полной изоляции, а ведь я так мечтал о собственном, законном, крошечном месте в этом мире! Но

признаюсь тебе, отец мой: даже до того, что со мной случилось в последнее время, я никогда не чувствовал себя одним из них. Я никогда не чувствовал, что это мой дом, хоть и родился здесь. Я всегда был отделен от остальных чем-то большим, чем призвание священника. Вот и в эту минуту, стоя по пояс в воде, я понимаю, до чего все это было мне очевидно уже тогда. В одном Карим абсолютно прав: никто здесь по мне не будет особенно скучать. Мне никогда не удавалось по-настоящему затронуть души и сердца этих людей, я лишь изредка наносил уколы их совести.

Но почему это так, отец? Вианн Роше, наверное, сказала бы, что я не умею устанавливать с людьми близкие отношения и всегда держусь особняком. Неужели такое поведение настолько неправильно? Но ведь священник не имеет права проявлять особое дружелюбие к кому-либо из своих прихожан. Ему необходимо поддерживать собственный авторитет. И все же кто я без моей сутаны? Без нее я похож на рака-отшельника, лишившегося своей раковины и ставшего беспомощным перед любым хищником.

Глава четвертая

Суббота, 28 августа, 9:40 утра

В начале десятого Ру вернулся и принес свежие круассаны и *rains au chocolat*. Анук сварила на камбузе кофе, и мы позавтракали на палубе. Затем Розетт ушла на берег играть с Бамом, а Ру сказал мне:

— Я бы гораздо раньше вернулся, но меня все время кто-нибудь останавливал и затевал разговоры.

Я знала, что сегодня мессу служит отец Анри, значит, на площади полно народу. Булочник Пуату получает основной доход по субботам и воскресеньям: чудесные пироги, которые покупают ко второму завтраку, тартинки с фруктами, миндальное печенье, а уж *rain Viennois*^[60] он печет только по выходным и по особым случаям. Прихожане сперва посещают церковь, а потом булочную. В конце концов, и дух ведь нужно питать, причем не Святым Писанием, а свежей выпечкой.

— О Рейно ничего не слышно? — спросила я.

— Нет. Зато этот новый священник, отец Анри, даже специально в сторонку отошел, чтобы поговорить со мной. Сказал, что с уважением относится к моему образу жизни и ко всему нашему бродячему сообществу, но хотел бы знать, когда мы отсюда уберемся.

Я усмехнулась:

— Значит, и в этом отношении никаких перемен?

— Рейно, по крайней мере, был честен.

— А отец Анри, по-твоему, нет?

Ру пожал плечами.

— По-моему, у него слишком много зубов.

Анук в три глотка проглотила завтрак и побежала искать Жанно. Теперь, когда Жан-Лу вышел с ней на связь, ее здешний дружок вновь занял ведущее положение и цвета Анук свежи, зелены и чисты, как невинная юная любовь.

Розетт все что-то высматривала, стоя в начале переулка, ведущего к дороге, и я спросила, что она там хочет увидеть такое особенное.

«Майю, — жестами пояснила она. — И Фокси».

— А, значит, и ты его можешь видеть?

«Нет. Он живет в норе».

— В лисьей норе?^[61]

«Нет. Но хочет оттуда выйти».

— Ага, ясно.

Как это было и с Бамом, и с Пантуфлем, Фокси уже начинает приобретать различные интересные свойства. Бам — коварный проказник, что отражает переменчивую натуру Розетт. Пантуфель — дружелюбный спутник. А Фокси, похоже, воплощает бунтарский дух Майи — возможно, она уже сознает, сколько правил и ограничений ее опутывает. Немаловажно еще и то, что она выбрала себе в друзья лису — самое близкое существо к собаке.

Я выглянула на бульвар и действительно увидела Майю в диснеевских сандалиях и майке с изображением Аладдина. Она явно была исполнена энтузиазма и радостно помахала мне, а потом исчезла в каком-то узком проходе, ведущем к реке. А примерно в трех сотнях метров дальше по бульвару весьма целеустремленно двигалась плотная группа людей, издали походивших на шахматные фигуры — три черные пешки и старый белый король; они явно направлялись к пристани.

Королем был Мохаммед Маджуби. Я узнала его белую бороду, крупное тело, медлительную, величественную поступь. Он, как всегда, был в белой *джеллабе*. Пешками были женщины в *никабах* — на расстоянии было трудно понять, кто это. Но есть ли среди них Инес? От этой группы людей исходило такое напряжение, что людей притягивало к ним, как металлические опилки к магниту. Повсюду вдоль бульвара открывались двери, хлопали ставни, и люди выходили на улицу, глядя вслед Маджуби и его спутникам.

Ру, почувствовав мое волнение, улыбнулся и сказал:

— Вот это да! Можно подумать, к нам направляется приветственная делегация.

Но это была не приветственная делегация. И теперь уже в собравшейся толпе я заметила Алису, Соню и их мать. Саид Маджуби — еще один король! — приближался со своей свитой с другого конца бульвара. Затем я разглядела также Оми, Фатиму, Захру, как всегда в *никабе*, и Карима Беншарки, одетого в привычные джинсы и майку, — он держался на шаг позади них. Карим, судя по его виду, пребывал в ярости, но старался держать себя в руках.

Оми приветствовала меня каркающим смехом.

— Хи-и! Что за цирк!

— А что случилось? — спросила я, но Оми не успела ответить.

Едва приблизившись к причалу, Карим выпустил целый залп скачущих арабских слов и двинулся напрямик к нашему плавучему дому, но путь ему преградил старый Маджуби. Карим попытался оттолкнуть старика в

сторону, но тут уже вмешался Ру.

— Какого черта? Что здесь происходит? — спросил он.

Саид с достоинством к нему повернулся и заявил:

— Ваши суда не могут здесь оставаться. Это все частная собственность.

— Правда? — удивился Ру. — А ваш кюре вроде бы сказал, что мы можем стоять здесь сколь угодно долго.

— Наш кюре?

— Отец Анри, — пояснил Ру.

Последовал еще один залп арабских слов, затем Саид снова повернулся к Ру.

— Я непременно поговорю с отцом Анри, — сказал он. — Возможно, он не сумел полностью учесть, какое воздействие ваше пребывание здесь может оказать на нашу общину.

Старый Маджуби, качая головой, заметил:

— Сейчас ведь рамадан. И мы рады каждому гостю. Конечно, если обе стороны будут соблюдать взаимное уважение. — Он посмотрел на Ру: — И вы, разумеется, можете стоять здесь, сколько хотите.

— Я не думаю... — с явным раздражением начал Саид.

— Неужели мы откажем людям в гостеприимстве? — Голос старого Маджуби звучал негромко, но по-прежнему авторитетно. Саид бросил на него возмущенный взгляд. Старый Маджуби только улыбнулся в ответ.

— Что ж, прекрасно, — сказал наконец Саид. — Мой отец обозначил весьма важный момент: мы не хотим ни ссор, ни споров во время нашего священного праздника. И просим вас об одном: проявлять к нам должное уважение и держаться от нас подальше.

А Карим тем временем уже успел прыгнуть к нам на палубу и заглянуть в камбуз.

— Извините, но это мое судно, — одернул его Ру.

Карим повернулся и уставился на него.

— *Ваше судно?*

Я вышла вперед и сказала:

— Инес вчера благополучно прибыла домой. Разве она сейчас не у вас?

Карим явно был озадачен.

— Нет, у нас ее нет. Так вы говорите, что она здесь, в деревне?

Ру снова рассказал, как нашел свое судно, починил мотор и доставил Инес с девочкой в Ланскне. Пока остальные слушали эту историю, я воспользовалась возможностью и спросила у Алисы:

— Как вчера все прошло?

Она горестно покачала головой.

— Они со мной не разговаривают. Они считают, что я опозорила семью.

— Ничего, они еще просто не пришли в себя, — тихо сказала я. — А как Карим?

Она дернула плечиком.

— С Каримом у меня *все кончено*.

— Ну, это уже кое-что, — одобрила я.

— Но он не оставляет попыток увидеться со мной наедине. Хотя я ему прямо сказала, что больше этого не хочу.

— А как твоя сестра?

— Так себе. — Алиса пожала плечами. — По-моему, ее все время тошнит — ну, из-за беременности. Она теперь со мной почти не разговаривает, но я-то вижу, как ужасно она устала.

Я посмотрела на Соню; та стояла в одиночестве, глядя на реку, и в ее позе было что-то невероятно тоскливое. Я подошла к ней и заметила, что на глазах у нее слезы.

— Что с вами? — спросила я.

Она, похоже, была удивлена. Одно из свойств *никаба* — способность создать иллюзию невидимости, помешать любым контактам с незнакомцами. Глаза Сони — обведенные сурьмой и очень красивые — нервно избегали моего взгляда.

— Вы ведь Вианн Роше, не так ли? — сказала она. — Алиса мне о вас рассказывала.

В ее ровном негромком голоске, доносившемся из-под покрывала, слышалось легкое осуждение.

Я улыбнулась.

— Рада с вами познакомиться, — сказала я. — Я надеюсь, вы с Алисой как-нибудь к нам зайдете?

И снова она удивленно на меня посмотрела. Да уж, Соня Беншарки наверняка не привыкла к подобным приглашениям от незнакомых людей. Ее цвета, прячась под покрывалом, словно кружились в какой-то нездоровой карусели. У этой девушки явно было тяжело на душе. Ее снедали печаль, страх и, возможно, невнятная вина...

Я заметила, что Карим внимательно следит за мной, стоя на палубе судна. Судя по всему, увидев нас вместе, он почувствовал себя не в своей тарелке. Соня тоже это заметила и сразу отошла на пару шагов. Но я последовала за ней.

— Пожалуйста, оставьте меня! — еле слышно воскликнула она. — Мне нельзя с вами разговаривать.

— Но почему?

— Простите... Но, прошу вас, оставьте меня в покое.

И я оставила ее в покое. Вокруг было слишком много людей, так что не стоило пытаться нарушить эту ее скованность. Захра, подойдя ко мне, тихонько сказала:

— Она просто очень застенчивая. Хотя на самом деле она очень милая девочка.

Как и Алиса, подумала я. По крайней мере, как та Алиса, какой она была до появления в ее жизни Карима Беншарки. И я снова посмотрела на Карима; теперь он стоял на причале и разговаривал с Ру. Господи, подумала я, как этот человек сумел обрести такое невероятное влияние в общине Маро? Да, он, безусловно, очень хорош собой. Да, он, безусловно, очень обаятелен. Да, он, если верить рассказам Каро Клермон, немало сделал, чтобы «втащить общину Маро в двадцать первый век». Благодаря его влиянию Саид даже мечетью попытался сделать более прогрессивной, а помощь Карима в усовершенствовании спортзала превратила это место в настоящий молодежный клуб. Тем более странно, что его сестра всеми силами стремится сохранить традиционный облик мусульманской женщины — если, конечно, слухи, которые ходят об Инес, не окажутся правдивыми и под ее покрывалом не скрывается нечто куда более опасное, чем показная скромность.

Но то, что я видела тогда ночью — и снова уже этим утром, здесь, на причале, — предполагает, что и у Карима тоже есть темная сторона. Об этом свидетельствует и его отношение к Алисе, и его лишенная всякого уважения манера разговаривать со старым Маджуби, и то, как нагло он вел себя с Ру. Мне было совершенно ясно, что он способен на неверность, но теперь я начала думать, что он способен и на нечто большее. Агрессивность он уже продемонстрировал. Может, он способен и на насилие? Что, если Соня попросту его боится? А Инес и Дуа? Уж не сознательно ли они его избегают?

Захра по-прежнему наблюдала за мной, но ее взгляд показался мне несколько странным. Такими же глазами она смотрела на меня прошлой ночью, когда мы случайно встретились на задворках спортзала. Действительно ли в той коробке были вещи старого Маджуби? А может, она несла вещи Инес?

Я посмотрела на минарет, высившийся в конце бульвара. Изящный, белый, как кость, элегантный, увенчанный серебряным полумесяцем. А на

противоположном берегу реки — приземистая колокольня Сен-Жером, простенькая, крепенькая, ничем не украшенная. Две башни — одна напротив другой — стояли сейчас на двух берегах Танн, точно фигурки на шахматной доске...

— Вы ведь знаете, где Инес, правда? — спросила я, поворачиваясь к Захре.

Она кивнула.

— Я виделась с ней вчера ночью. И рассказала ей о вашем друге Рейно и обо всем, что здесь происходило. А потом я поговорила с Соней. — Она быстро глянула на Соню и что-то сказала ей по-арабски.

— И что сказала Инес? Она видела Рейно?

— Нет, она его не видела, — покачала головой Захра, — зато я знаю, где он. Простите меня, Вианн. Я это знала почти с самого начала...

Я так и уставилась на нее.

— Но... почему же?

Она пожала плечами.

— Мне казалось, что так я защищаю Инес.

— А теперь?

Она посмотрела на меня и вдруг улыбнулась:

— А теперь Инес сама хочет с вами поговорить.

Глава пятая

Суббота, 28 августа, 10 утра

Десять часов. Конец мессы. Даже здесь, внутри моего «кита», меня продолжает преследовать призрак отца Анри. Конечно, *мои* колокола я узнаю где угодно! И никогда ни с чем не спутаю их голоса! Через минуту отец Анри уже будет сидеть в *моей* исповедальне, выслушивая тайные признания *моих* прихожан, раздавая им в наказание за грехи «Aves», в очередной раз заняв *мое* место...

Стук по решетке. Это снова Майя. Точнее, Майя и Розетт. Две пары маленьких сапожек — одни с принцессами из диснеевских мультфильмов, другие лимонно-желтые. С ними какой-то кот, похоже редкостный обжора, которого Майя крепко прижимала к себе. Время от времени зверь издавал похоронные вопли, и я спросил:

— Значит, ты все-таки нашла своего кота?

Майя одарила меня сияющей, совершенно счастливой улыбкой.

— Да, он нашелся вчера вечером. И я отнесла его *джиддо*.

— Замечательно. — Если честно, я едва держался на ногах, так сильно кружилась голова. И горло очень болело, так что говорил я еле слышно. — Интересно, чего ты потребуешь в следующий раз? Пони? Встречу с папой римским? Поющую шляпу?

— Вот глупости! Шляпы не поют!

Я попытался взять себя в руки. Должно быть, у меня довольно высокая температура, и с этим связано мое странное, легкомысленное, почти непреодолимое желание рассмеяться, а ведь я отнюдь не тот человек — и тебе это прекрасно известно, отец мой, — которому свойственно много смеяться. Я вспомнил Карима Беншарки и его угрозы и постарался сосредоточиться и быть серьезным.

— Скажи, пожалуйста, Майя, ты передала Вианн Роше то, о чем я тебя просил?

— Угу. Я ей все о тебе рассказала.

— И что же она?

— Она сказала, что это очень мило.

Я предпринял еще одну попытку:

— Послушай, Майя. Я вовсе не джинн. Меня посадил сюда Карим Беншарки.

Майя, склонив головку набок, с хитрым видом возразила:

— Если ты не джинн, то как же ты исполняешь желания?

— *Майя!* Ты будешь меня слушать или нет?

— Мое *третье* желание...

Невозможно спорить с неуязвимой логикой детства. Вдруг, впервые за несколько десятилетий, я почувствовал, что вот-вот заплачу.

— Пожалуйста, Майя, послушай меня. Я очень болен. Мне холодно. Я весь изранен и страдаю от боли. Я боюсь умереть здесь... — Внезапно узкое зарешеченное окошко моей темницы превратилось в окошечко исповедальни. Только на этот раз исповедался, *каялся* я, а Майя играла роль исповедника. Выглядело это, наверное, просто смешно, но я уже не мог остановиться. Возможно, из-за температуры, а возможно, потому, что даже пятилетняя девочка лучше, чем вообще никого. — Я священник, Майя, и я очень боюсь умереть здесь. Нелепо, правда? Но в рай я никогда не верил. По-настоящему — никогда. В глубине души — никогда. Вот в существование ада я могу поверить. Но рай, по-моему, это нечто такое, чем успокаивают детей, когда они боятся темноты. Вера основана на послушании, на строгом следовании правилам, на поддержании порядка. Иначе наступит анархия. И это известно всем. Именно поэтому церковь имеет столь прочную иерархию, столь устойчивую пирамиду власти, где каждый на своем месте и каждый получил необходимые знания об основах этой пирамиды. А народ примет то, что мы решим ему открыть. Собственно, и Бог делает то же самое. Порядок. Контроль. Послушание. Ибо если мы позволим людям узнать правду — то есть узнать, что даже у нас самих нет никаких *достоверных свидетельств* Его существования, — то все созданное церковью за последние две тысячи лет мгновенно превратится в прах, в ничто, в горсть никому не нужных бумажек...

Я помолчал, чтобы перевести дыхание. У меня уже все плыло перед глазами. Трое суток без нормального человеческого общения вызвали в моей душе какие-то странные чувства и ощущения. Я потянулся пальцами к решетке — мне казалось, что если Майя меня увидит, то, возможно, поверит моим словам. Но с огромным усилием я сумел лишь коснуться решетки кончиками пальцев.

— Майя, я здесь. *Посмотри* на меня.

Майя прижала лицо к решетке. Розетт присоединилась к ней; я видел, как сияют в солнечных лучах ее рыжие кудри. Обе девочки смотрели прямо на меня — два честных личика, строгие и неумолимые. На мгновение мне показалось, что они мои судьи и готовятся вынести приговор.

— Мое *третье* желание...

Я взвыл. Но воспаленное горло так распухло, а голова так кружилась,

что из уст моих вырвалось лишь жалкое хныканье. А Майя невозмутимо продолжала:

— Мое третье желание — чтобы Дуа вернулась домой. Их судно приплыло обратно, только на нем не было ни Дуа, ни ее *мемти*. А значит, ты должен вернуть Дуа! Ты же вернул нам Хази. А потом я тебя освобожу. Как в мультике про Аладдина.

Я не выдержал и сдался. Это было абсолютно безнадежно. Я отдал все, что имел, и все же этого оказалось недостаточно.

— Мне очень жаль, — прошептал я, сам не зная почему.

Лицо Майи отодвинулось от решетки, а лицо Розетт задержалось еще на мгновение. Я понимал, что разговаривать с ней — попусту тратить время, но видел, что в этих любопытных, круглых, как у птички, глазах светится ум.

— Скажи своей маме, что я здесь, — тихо сказал я. — Скажи об этом *хоть кому-нибудь*. Я тебя умоляю!

Розетт негромко щелкнула. Неужели это означало, что она меня поняла? Потом она приложила руку к решетке. Ощущение было такое, словно она отпускает мне грехи. И в эту самую минуту груды пустых клеток подо мной не выдержала и рухнула; отлетев в сторону, я погрузился в темноту и в воду — фута в три глу-биной.

Вода была очень холодной, и, поскольку погрузился я с головой, меня на пару секунд охватила паника. Я принялся судорожно барахтаться, стараясь поскорее вынырнуть на поверхность и встать на ноги; наконец мне это удалось, я откинул с глаз мокрые волосы и стал пробираться к лестнице.

Глава шестая

Суббота, 28 августа, 10:15 утра

Никто, кроме Оми, не заметил нашего ухода. Но когда мы повернули на бульвар, оставив позади шумную толпу, собравшуюся у причала, я ясно заметила, с каким любопытством Оми поглядывает в нашу сторону из-под весьма свободно повязанного *хиджаба*. Она утверждает, что слишком стара, чтобы носить *никаб*, и говорит со смехом, что в ее возрасте и *хиджаб* — совершенно ненужная предосторожность. Может, она и стара, но зрение у нее острое, а любопытство и вовсе не знает границ, так что я ничуть не удивилась, когда буквально через несколько минут поняла, что Оми тащится за нами следом, хоть и старается держаться на расстоянии. Так, вместе, мы прошли по всему бульвару мимо дома Аль-Джерба и двинулись к мосту, ведущему в Ланскне.

Захра и Соню убедила пойти с нами. Та, правда, сначала отказывалась — похоже, мысль о встрече с Инес не вызывала у нее никакого восторга, — но Захра была настойчива; она что-то тихо и яростно внушала ей по-арабски, в одной из фраз я уловила слово «Карим». Видимо, это Соню в итоге и убедило.

И вот сейчас, оглянувшись через плечо, она сказала:

— А Оми за нами идет!

— Только не позволяйте ей нас нагнать, — предупредила Захра, и мы тут же ускорили шаг.

Оми остановилась и с самым невинным видом принялась любоваться видом с моста. Однако когда мы подходили к площади Сен-Жером, она, отбросив всякое притворство, подхватив юбки и, смешно ковыляя, во всю прыть бросилась нас догонять.

Часы показывали четверть одиннадцатого; месса уже закончилась, но на площади еще кишел народ. Несколько человек играли в петанк на полоске красноватого сланца за церковью; у булочной Пуату выстроилась целая очередь — не меньше двух десятков постоянных покупателей. Кое-кто с большим любопытством поглядывал на Захру и Соню, закутанных в черные *никабы*. Жительницам Маро *никаб* явно дает ощущение защищенности, неprimетности, делает их почти невидимками. А на другом берегу реки черное мусульманское покрывало, напротив, привлекает всеобщее внимание, а закрытое лицо вызывает ненужные домыслы. Жолин Дру как раз выходила из магазина Пуату с коробкой печенья в руках; лента

на коробке была в точности того же бледно-розового цвета, что маленький костюм Жолин, предназначенный специально для походов в церковь, и маленькая шляпка, похожая на коробочку для пилюль. Она с состраданием нас оглядела и проследовала дальше; за ней шлейфом тянулся аромат «Шанель № 5».

Захра остановилась возле бывшей *chocolaterie*. Игроки в петанк теперь уже внимательно следили за нами — несколько пожилых мужчин под водительством Луи Ашрона.

— Пари держу, под этим своим балахоном она очень даже горячая штучка! — сказал он, одобрительно поглядывая на Соню. — Я бы не прочь посмотреть, что у нее под этими одежками.

Ему и в голову не пришло говорить потише; с точки зрения Луи Ашрона, все, кто носит *никаб*, сразу становятся абсолютно глухими и слепыми.

— А я держу пари, что у этого типа пенис меньше моего мизинчика, — ловко парировала Оми, страшно напомнив мне Арманду.

— Оми, ступай домой, — сказала Захра. — Это не имеет к тебе никакого отношения.

Оми захихикала.

— Как это не имеет ко мне отношения? Словно я не знаю, что вы там прячете мою маленькую Дуа!

— Откуда ты это узнала? — спросила Захра.

Оми усмехнулась.

— Мне наш кот сказал.

Захра раздраженно тряхнула головой. Ей вовсе не хотелось устраивать на пороге дома дискуссию: мы и так уже привлекли к себе слишком много внимания.

— Ладно, Оми, ты тоже можешь войти, — сказала Захра, — только никому ничего не рассказывай.

* * *

Захра постучалась. Дверь открыла Дуа, и я даже не сразу ее узнала. Я ведь видела девочку только в черном длинном платье, таком же, как у матери, и волосы она всегда прятала под *хиджаб*, плотно обхватывавший голову и шею. Но сейчас на Дуа была розовая *камиза*, джинсы и кроссовки; волосы она заплела в длинную косу. Мне казалось, что ей лет десять-одиннадцать, не больше, но, как следует ее разглядев, я поняла, что она

несколько старше и ей лет тринадцать-четыре-надцать.

Следом за Дуа мы вошли в отремонтированную *chocolaterie*. Теперь мой бывший магазин выглядел почти так же, как в тот день, когда мы с Анук впервые открыли его двери для покупателей. Каменный пол, правда, был голым, если не считать маленького коврика и нескольких подушек, разложенных вокруг низенького столика; повсюду стоял сильный запах краски и ладана.

— Мой маленький персик! — воскликнула Оми. — Ты, значит, путешествовала вниз по реке?

Дуа кивнула.

— Мы встретили папу Розетт, и он помог нам починить мотор. — Она улыбнулась мне застенчивой улыбкой. — Ее папа такой клевый! Пилу все время только о нем и говорит.

— Твоя мама дома? — спросила я.

Да, она была дома; на ней тоже были джинсы и красная *камиза*, но покрывала с лица она, в отличие от Дуа, так и не сняла. Даже у себя дома Инес Беншарки продолжала скрывать лицо и прятать волосы под черный платок! Это, по-моему, выглядело даже как-то немного непристойно, словно некое извращение, и в этом, безусловно, чувствовалось нечто враждебное. Красивые глаза Инес, как и в прошлый раз, словно подчеркивала тонкая полоска цветной материи, пришитая по краю *никаба*, но смотрели эти глаза безучастно, почти равнодушно.

— Я рада, что вы в безопасности, — сказала я. — А то люди уже начали беспокоиться.

Инес пожала плечами.

— Весьма в этом сомневаюсь. Я здесь далеко не самая популярная личность. — И она повернулась к Захре, которая, как и Соня, сняла с себя *никаб*, едва переступив порог дома. — Я просила тебя привести Вианн Роше, — строго сказала она. — Зачем же ты привела сюда целую комиссию, причем состоящую из дур?

Оми засмеялась.

— Как всегда! Ну до чего ты гостеприимна, Инес! А скажи, чего ты здесь прячешься, зная, что твой братец всюду тебя ищет?

— И сейчас ищет? — Голос Инес звучал сухо.

— Да, и сейчас. Если б ты думала хоть о ком-то еще, кроме себя самой...

— Прекрати, Оми! — сказала Захра. — Ты же понятия ни о чем не имеешь! — Она повернулась к Инес. — Я говорила со священником. Тебе придется рассказать им свою историю.

— Вы имеете в виду Рейно? — удивилась я. — Он что, здесь?

Но куда больше меня удивила Соня — с такой странной настойчивостью она смотрела на Инес. Я впервые видела ее без покрывала, и меня поразило ее сходство с Алисой. У обеих были довольно мелкие, изящные черты лица, огромные выразительные глаза, золотистый «гвоздик» в ноздре, но если Алиса была девочкой живой и яркой, то Соня казалась бледноватой, даже бесцветной. Под глазами у нее пролегли темные круги, а вокруг рта — горестные складки.

— Почему ты убежала? — спросила она у Инес. — Если ты собиралась через день взять и вернуться, то зачем было вообще убегать?

Инес пожала плечами.

— Ты ничего не понимаешь.

— А предполагалось, что я пойму? — спросила Соня. — У нас с Каримом все шло прекрасно, пока не появилась ты. Ты все испортила. Если бы ты оставила нас в покое, у нас с ним, возможно, еще был бы шанс...

Инес разразилась хриловатым смехом.

— Ах *вот* как ты думаешь? Значит, у вас еще, возможно, был бы шанс?

Соня медленно покачала головой.

— Я думаю, что ты очень злая и очень плохая женщина, — сказала она. — И ты никогда его непустишь. Ты приворожила его с помощью каких-то чар, чтобы он больше никому не мог принадлежать. Ты притворяешься такой скромной, такой чистой, но все знают, какая ты на самом деле. И если ты думаешь, что у нас еще *хоть кто-то* верит, что ты его сестра...

У нее перехватило дыхание, и она умолкла, дрожа всем телом и став еще бледнее.

Инес указала на подушки, лежавшие на полу.

— Сядь, — сухо велела она Соне. — Твои драматические переживания могут плохо сказаться на ребенке.

Соня молча повиновалась. Глаза ее горели и были абсолютно сухими. Сейчас она выглядела удивительно юной — даже моложе, чем Алиса, — и было трудно поверить, что эта девочка беременна.

А Инес повернулась к нам и заговорила — странным, каким-то жестким и ломким голосом. Но в цветах ее ауры, скрытых покрывалом, я не заметила никаких признаков нервного напряжения или печали. Скорее чувствовалось презрение. Держалась она совершенно спокойно; такая безмятежность, подумала я, может быть свойственна женщине, оставившей

всякую надежду на спасение.

— Итак, все думают, что я им лгала. Что я не та, за кого себя выдавала. Что я шлюха Карима, а Дуа — его дочь.

Ей никто не ответил. И она продолжала:

— Ну что ж, кое-что из этого можно счесть полуправдой. Но могу вас заверить: я никогда не была ничьей шлюхой.

— Я это знала! — тут же вставила Оми. — Ты ведь его жена, не так ли?

Инес покачала головой.

— Нет. Не жена.

— Я тебе не верю! — сказала Соня. — Иначе зачем ему по ночам ходить к тебе? Зачем выскальзывать из дома, как только он убедится, что я сплю? Почему он ни о ком, кроме тебя, не думает? Почему он точно с цепи сорвался, как только узнал, что ты сбежала?

Инес протяжно вздохнула.

— Я думала, что смогу обойтись без подобных сцен и объяснений. Я думала, наши прежние отношения с Каримом могут наконец быть похоронены и забыты. Я пыталась однажды предупредить тебя, что он опасен, и твою сестру я тоже пыталась предупредить. Но война между мной и Каримом вызвала слишком много несчастий. И я больше не могу хранить молчание. Мне очень жаль, если кому-то мои слова причинят боль. Этого я никогда не хотела.

Соня явно была озадачена.

— Я не понимаю...

— Да, такое ты вряд ли способна понять. — Инес села рядом с нею и обратилась к нам: — Располагайтесь. Садитесь поудобней. Мой рассказ, возможно, займет некоторое время.

Мы уселись на подушки. Оми, быстро сунув руку в карман, вытащила кокосовое печенье и заявила:

— Если твой рассказ будет долог, то я должна сперва немного подкрепиться.

Инес подняла брови:

— Старый Маджуби сказал бы, что ты едешь верхом на осле дьявола.

— На осле дьявола или на овце Шайтана. Мне все равно, я старая. Давай, начинай свою историю!

Инес весело прищурила свои дымчатые глаза, поглядывая на Оми поверх покрывала — сейчас ее взгляд был почти ласков, — и сказала:

— Ну что ж, прекрасно. Сейчас я расскажу вам, кто я такая. Но сперва вы должны усвоить, что я не являюсь ни сестрой Карима, ни его шлюхой,

ни даже его женой. *Альхамидуллила*, я — его мать.

Глава седьмая

Суббота, 28 августа, 10:25 утра

На какое-то время в комнате воцарилась полная тишина. Затем на Инес обрушилась лавина вопросов, восклицаний, возражений. Она — *мать* Карима? Это очень, очень странно! Но даже если это и так, то зачем ей понадобилось это скрывать? Зачем нужно было вызывать излишние подозрения, если она могла получить всеобщее признание и уважение...

Наконец шквал вопросов сам собой затих, и Инес начала свой рассказ. По-французски она говорила с сильным акцентом, это был не живой разговорный язык, а страшно зажатый, болезненно аккуратный язык человека, который учил его по учебникам, причем сильно устаревшим. При этом прекрасные глаза Инес были лишены какого бы то ни было выражения, а голос сух, как осенние листья.

— Я родила Карима в шестнадцать лет, — сказала она. — Я из бедной семьи. Мы жили все вместе в маленьком деревенском домике — мои родители, трое моих братьев, две сестры и я. Когда мне исполнилось десять лет, родители отослали меня в город и отдали в прислуги. Я переходила из дома в дом и в итоге оказалась в Агадире, в одной богатой семье с тремя детьми: двумя маленькими девочками и мальчиком. Сперва я считала, что мне очень повезло. Я ходила в школу. Выучилась читать. Меня учили математике, истории и французскому языку. Я научилась хорошо готовить и умела быстро навести в доме порядок. — Впервые мне показалось, что голос Инес чуть дрогнул, но она быстро взяла себя в руки и продолжила: — Мне было пятнадцать, а сыну моего хозяина, Мохаммеду, восемнадцать. И однажды ночью он пришел ко мне в комнату. Я спала, но он разбудил меня и сказал, что, если я скажу кому-нибудь хоть слово, меня тут же уволят. А потом он меня изнасиловал. Я все рассказала его матери, и она тут же вышвырнула меня вон. Тогда я пошла в полицию и там тоже все рассказала. Но полицейским на меня было наплевать.

Значит, даже в пятнадцать лет, думала я, Инес обладала поразительным упорством. В полиции с ней обошлись, как с обвиняемой (первое, о чем у нее спросили, была ли она должным образом одета). Поскольку прежние хозяева ее выгнали, она попыталась найти работу в другом доме. Но без рекомендаций ее никто брать не хотел. Она спала на улице, попрошайничала, потому что ей нечего было есть, дважды ее арестовывали и на второй раз в полиции ее подвергли тщательному

осмотру, в том числе у гинеколога. Там-то и выяснилось, что она беременна.

— Полицейские пригласили моего отца, — продолжала рассказывать Инес. — Он приехал в Агадир на автобусе — шесть часов в пути в один конец. Но, едва услышав, что со мной произошло, он тут же повернулся и ушел. Домой он вернулся без меня, и мои родные оплакали меня, как если бы я умерла. Я им писала, но мои письма возвращались нераспечатанными. Мать, правда, прислала мне немного денег — совсем гроши, но больше у нее просто не было — и велела передать, что никогда больше не хочет меня видеть. Через шесть месяцев после этого в Центральной муниципальной больнице Агадира родился Карим. — И снова голос Инес слегка дрогнул; на мгновение в ее ровном тоне послышались нотки нежности. — Он был невероятно хорош собой! И я подумала: если бы мои родители смогли его увидеть, они бы...

— Просто в него влюбились, так вам казалось? — спросила я.

Она кивнула.

— Да, но я ошибалась. Я поняла это сразу, как только к ним приехала. Я обесчестила семью. Практически уничтожила все шансы сестер выйти замуж. В итоге хоть я и истратила все имевшиеся у меня деньги, чтобы приехать домой, оказалось, что дома у меня больше нет и возвращаться мне некуда. И тогда я пошла к своему старшему брату — я всегда была его любимицей. Он уже восемь месяцев был женат на моей кузине Харибе. Увидев меня, они, естественно, не испытали восторга, но все же взяли меня в дом. А однажды, когда моей невестки не было дома, явились *они*.

Инес так долго молчала, что Оми не выдержала и нетерпеливо спросила:

— *Кто* пришел-то?

— Компания шутов. Мой дядя. Мой отец. Мои братья. Они сказали, что лучше б я умерла, чем продолжала жить в бесчестье. Что я шлюха, что я забыла *хайаа*, свой стыд. Что только кровью я могу смыть тот позор, который навлекла на всю семью. Что если бы я, как полагается, носила *хиджаб* и вела себя уважительно и скромно, этого никогда бы не случилось. А потом...

И тут Инес расстегнула булавку, державшую ее *никаб*, оттянула покрывало книзу, и мы увидели... Впервые я увидела ее по-настоящему: Королеву Скорпионов, Женщину в Черном, призрак, за которым я гонялась столько лет, что стала уже сомневаться, действительно ли он существует...

Оми от неожиданности хрипло каркнула.

Соня прижала пальцы к губам.

Сама Инес внешне ничем не выразила своего волнения. Захра тоже — я подумала, что она наверняка не впервые видит Инес без покрывала, — но ее аура была буквально пронизана самыми горестными оттенками.

А вот мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что именно я увидела. Я предполагала, что Инес окажется невероятно красивой. Все говорило в пользу этого — ее осанка, исполненные грации движения, цвет и форма ее золотисто-зеленых глаз; и на секунду мне даже показалось, что я вижу перед собой именно такую женщину, ту Инес, какой она *могла бы* быть. На самом деле она была уже не столь молода, как мне представлялось, но все еще замечательно хороша: блестящие волосы, элегантный изгиб шеи, удивительной красоты скулы, разлет бровей; такая красота даже в шестьдесят, даже в семьдесят, даже в восемьдесят лет не увянет, ибо это красота не только внешняя, но и внутренняя — бриллиант внутри куска обычной скальной породы...

А потом я наконец *по-настоящему* ее разглядела. Это напоминало оптическую иллюзию, когда в какое-то мгновение все вдруг встает на свое место — два прекрасных лица любовников сливаются в одном демоническом лике, а профиль человека превращается в бабочку, — и тебе уже кажется странным, что все раньше выглядело иначе.

— Они называют это «смайли»,^[62] — сказала Инес. — Таких, как я, можно порой встретить в Танжере или в Марракеше. Даже в Париже или в Марселе они попадают. И всем нам ножом рассекли лицо *отсюда и досюда, оттуда и дотуда*, — она словно отмеряла нужное расстояние с помощью указательного и большого пальцев от уголков рта до мочек ушей. — Чтобы мы до конца своей жизни помнили, что следует беречь свой *хайаа*. Чтобы каждому, кто на нас взглянет, сразу стало ясно, что перед ним шлюха.

Глава восьмая

Суббота, 28 августа, 10:45 утра

Врача пригласила ее кузина. Он наложил швы — по девять с каждой стороны — блестящей черной ниткой, от которой, когда ее впоследствии удалили, остались маленькие черные пятнышки, похожие на родимые, словно пунктиром помечавшие каждый комочек плоти в бугристом, грубом шве. В результате лицо стало походить на физиономию тряпичной куклы, которую случайно разорвали пополам, а потом неуклюже зашили, не особенно заботясь о том, чтобы края разрыва совпали в точности. Это выглядело не только ужасно, но и невыразимо печально; к тому же одна половина лица у нее осталась неподвижной, безжизненной, как бывает после тяжелого инсульта, — по ее словам, это случилось из-за того, что ножом ей повредили лицевые нервы. Без чадры стало ясно, почему голос Инес звучит как деревянный, невыразительно и ровно; говоря что-то, она практически не двигала губами — только челюстью, точно кукла в руках чревоушателя. Этим шрамам было уже более тридцати лет; они растянулись, образовали «лесенку», сверху их отполировало время. Стоило один раз увидеть эти жуткие ухмыляющиеся шрамы, и уже трудно было отвести от них взгляд, трудно увидеть в ее лице еще что-то, кроме них. Они застревали в горле, как рыбья кость, заставляя давиться и хватать воздух ртом. А если представить себе, что эти шрамы появились на лице шестнадцатилетней девочки, почти ровесницы Анук...

— И вот я вернулась в Агадир, — продолжала Инес своим «деревянным», лишенным интонаций голосом. — Я носила покрывало и спала на улице. В моей стране обесчещенной женщине никто не придет на помощь. Такие женщины не имеют никаких прав, они не могут даже дать фамилию своему ребенку. Религиозные приюты их тоже не принимают. Их гонят отовсюду. Но мне наконец удалось отыскать так называемый дневной центр помощи, основанный какой-то швейцарской организацией. И вот там люди отнеслись ко мне очень хорошо, хотя никто из них мусульманином не был. Они не только мне помогли, но и позаботились о ребенке. А потом подыскали мне работу в мастерской по пошиву одежды. Там же, в подвале, я и ночевала вместе с Каримом и с утра до ночи сидела за машинкой. Я шила платья, сари, шарфы, строчила расшитые шлепанцы. Карим рос. Я много и тяжело работала. Муж и жена, которым принадлежали мастерская и магазин, были ко мне очень добры. Мужа звали Амаль Беншарки. Я

сказала ему, что мой муж со мной развелся, и он не стал задавать лишних вопросов.

Когда Кариму было три года, умерла жена Амаля Беншарки. Детей у них не было. Амалю было уже пятьдесят два, и почти все его родственники жили во Франции. Он предложил Инес выйти за него замуж и обещал дать ее сыну свою фамилию.

— На то, что сотворили с моим лицом, ему было наплевать, — сказала Инес. — Так или иначе, никто бы и не увидел моего лица, я же все время носила *чадру* — так в Агадире называют покрывало. Амаль чувствовал себя одиноким. Он тосковал по жене, родня его жила далеко. По-моему, ему просто хотелось, чтобы кто-то был рядом, готовил бы ему еду, поддерживал в доме порядок. В общем, ему скорее была нужна служанка, а не жена. Ну а я вполне могла быть служанкой. Практики у меня хватало. — Губы Инес чуть дрогнули. Это была почти улыбка. Ее рот был удивительно похож на рот ее красавца-сына, точнее, *был бы* похож без этих шрамов. Но если уста Карима были подобны разрезанному пополам персику, то уста Инес походили на жутковатую ухмылку разрубленной тыквы, которая не развалилась только благодаря сохранившейся по краям разреза плоти. И любая попытка улыбнуться делала эту кошмарную гримасу еще страшнее.

Оми сочувственно улыбнулась и спросила:

— Значит, за него ты и вышла замуж?

На лице Инес опять появился тот жуткий призрак улыбки.

— Да, я собиралась выйти за него замуж. Но тут родня Амаля что-то заподозрила. Явились его братья, стали задавать вопросы. Даже отец его из Франции приехал. Я не сумела ничего придумать и в итоге рассказала всю правду. — Она пожала плечами. — На том, естественно, все и кончилось.

Амаль Беншарки дал Инес денег и выправил документы, чтобы она смогла уехать из Агадира. Документы были на имя его покойной жены; просто в ее паспорт вклеили фотографию Инес. Она воспользовалась этими документами — дала Кариму фамилию и переехала из Агадира в далекий Танжер, надеясь затеряться в большом городе.

— Я стала Инес Беншарки, вдовой торговца текстилем из Агадира. Я воспитывала сына, зарабатывая на жизнь тем, что шила одежду — строчила на машинке прямо дома. Кариму я тоже сказала, что его отец умер еще в Агадире, но мальчик подрос и начал задавать разные вопросы. К моей первоначальной лжи добавлялась одна новая ложь за другой. Я отправила его в школу. Я отдавала ему все, ничего для него не жалела. Я хотела, чтобы он ходил в мечеть, чтобы у него были хорошие друзья, чтобы он пользовался уважением. Он был красивый мальчик. Я понимаю, что сама

его испортила. Да, я сама в этом виновата. Но, кроме Карима, у меня больше ничего не было в жизни. Говорят, что рай обретаешь у ног матери. А для меня раем был мой сын Карим. Аллах был так добр, позволив мне иметь сына. И я хотела, чтобы у моего сына было все.

Кошмарная улыбка вновь исказила лицо Инес. И все же стоило ей заговорить о Кариме — и она вновь становилась красавицей.

— Денег катастрофически не хватало, — продолжала Инес, — и когда Карим немного подрос и уже мог сам о себе позаботиться, я отправилась в Испанию на сбор клубники. Это была тяжелая работа. Часы, проведенные на плантациях, казались бесконечными. Зато там хорошо платили, гораздо больше, чем я смогла бы заработать дома, и я была не в силах сопротивляться подобному искушению. Карим, умница, так хорошо учился! А я так хотела, чтобы он поступил в университет! Но образование стоит больших денег, я никогда не смогла бы столько заработать в Танжере пошивом одежды. В тот год я провела в Испании целых три месяца, а мой сын оставался дома один, без присмотра. Наверное, я вообще недостаточно строго следила за Каримом. Но он всегда казался мне таким хорошим мальчиком, таким уважительным. На следующий год я снова поехала в Испанию. Кариму только-только исполнилось семнадцать. И на этот раз, пока меня не было, он изнасиловал девушку, угрожая ей ножом.

Девушку эту звали Шада Идрис; двадцать два года, не замужем. Карим познакомился с ней в чайной. Матери он заявил, что она обыкновенная шлюха — она носила джинсы и туфли на высоких каблуках-шпильках, а волосы укладывала в модную прическу и лишь чуть-чуть прикрывала голову разноцветным *хиджабом*. Она сама согласилась встретиться с Каримом. И он подждал ее вместе с приятелями.

Сперва он полностью отрицал свое участие в групповом изнасиловании. Инес он рассказывал, что только смотрел. Однако же оставил у себя трофей — нитку бус из черного гагата, которую Шада Идрис носила на руке как браслет. Инес нашла эти бусы у сына в комнате и заставила во всем признаться.

В полиции Карим заявил, что девушка сама попросила его заняться с ней сексом и, потом, девственницей она давно уже не была. Жила она вместе с двумя другими женщинами в центре города возле большой мечети, и все они по очереди присматривали за детьми, пока остальные были на работе. Да, у этой Шады тоже был незаконный ребенок — маленькая девочка по имени Дуа...

— Мой маленький персик! — сказала Оми, быстро глянув на Дуа.

Инес кивнула.

— Не беспокойтесь, она все знает. Она всегда знала всю правду. Это Карима я воспитывала в неведении, и вы сами видите теперь, каким он вырос. А Дуа хорошо знает, что *зина*, грех, — как скользкая рыбка, которая никак не хочет, чтобы ее поймали, и прыгает из одной руки в другую... — Инес снова улыбнулась. — Так или иначе, ребенок Шады не был преступником и не имел никакого отношения к тому преступлению. *Это* я своему сыну втолковать успела, но для всего остального было уже слишком поздно. Мне, как вы понимаете, было просто стыдно теперь рассказывать ему о себе. Я надеялась, что смогу как-то обойтись без рассказов о прошлом и он никогда ни о чем не узнает.

Шада обратилась в полицию и заявила, что на нее было совершено нападение, что ее изнасиловали, но, как и в случае с Инес, полицейским куда больше хотелось осмотреть саму Шаду, чем расследовать дело об изнасиловании. Все кончилось тем, что ее арестовали за занятия проституцией, хотя это обвинение и было впоследствии отклонено. Зато выяснилось, что она нелегально занимает государственное жилье, и женщину вместе с ребенком выбросили на улицу. Лишившись дома, Шада в полном отчаянии отправилась к зданию ассоциации, занимавшейся распределением муниципального жилья, села посреди площади, вылила себе на голову канистру бензина и подожгла.

Инес обвела взглядом нас четверых и сказала:

— Разве я могла поступить иначе? Мой сын совершил преступление и должен был как-то за это ответить. И я все-таки рассказала Кариму правду о его отце и о себе самой, а потом взяла и удочерила девочку Шады и воспитала ее как родную. Карим очень долго не мог мне этого простить и все сердился на меня за то, что я его опозорила; но еще больше он сердился на себя. Он старался даже не смотреть в сторону моей Дуа и никогда без крайней надобности с нею не разговаривал. И все же она выросла очень милой девочкой. Я часто называла ее *моя маленькая незнакомка*.

О господи! *Моя маленькая незнакомка*? Сперва мне показалось, что я не расслышала. Неужели Инес называла Дуа точно так же, как и я всегда называла мою Анук? Но, как ни странно, это действительно были самые подходящие слова... Инес перестала оставаться для меня Женщиной в Черном — у нее было лицо, и я, несмотря на страшные шрамы, прекрасно это лицо узнала. Мы оказались с ней удивительно похожи, она и я. Обе скорпионы, обе быки.

Инес как-то странно на меня посмотрела. И глаза ее были темно-золотистыми, как дикий мед.

— Вот видишь, — сказала она, читая мои мысли, — мы в конце

концов оказались не такими уж разными. Некоторые из нас сами выбирают себе семью. Или кого-то из нас выбирают другие. И порой мы должны сделать нелегкий выбор — из двух половинок разбитого сердца выбрать только одну. Таков был и мой выбор, Вианн. И это было нелегко. Выслушай же мой рассказ, а потом спроси себя: поступила бы ты иначе, чем я?

Глава девятая

Суббота, 28 августа, 11:00

— Я уже говорила, что Карим был красивым мальчиком, — продолжала свою исповедь Инес, — и вскоре он стал красивым мужчиной. И очень нравился женщинам, да и мужчинам тоже. Он умел очаровывать. Он сказал, что хочет учиться в Париже, и я дала ему денег на поездку. Но, проучившись в колледже всего год, он написал мне, что бросил занятия и хочет жениться на француженке, с которой познакомился во время учебы. Эта женщина была старше моего сына, она работала в одном из посольств, и, *самое главное*, у нее были деньги. Она совсем потеряла голову и дарила Кариму все, чего он ни пожелает. Признаюсь, я с самого начала подозревала, что именно поэтому он и захотел на ней жениться. Похоже, ее родные тоже это подозревали. И однажды мне позвонила мать этой женщины. Оказывается, она провела настоящее расследование и узнала, что Карим встречается не только с ее дочерью. У него были и другие женщины — *сразу несколько*, — но, что еще хуже, ходили определенные слухи...

Инес рассмеялась — жестким коротким смешком — и сказала:

— Я, разумеется, сразу догадалась, в чем дело. Знакомая история. Какую-то девушку якобы изнасиловали во время вечеринки, но она оказалась настолько пьяна, что путного рассказа от нее так и не добились. Затем еще одну студентку изнасиловали в парке рядом с ночным клубом. Обе эти девушки учились вместе с Каримом. И оба раза при расследовании упоминалось его имя. Но в полицию ни та, ни другая так и не заявили. Но я все поняла. В глубине души я совершенно точно знала: это Карим.

В общем, тогда Инес поехала в Париж и вызвала Карима на серьезный разговор. Свою вину он полностью отрицал, но было что-то в его глазах, что она догадалась: виновен именно он. А потом, просматривая его вещи, она снова обнаружила *трофеи*. Ожерелье, сережку, головной платок, от которого еще пахло духами. Ну и что, мрачно заявил на это Карим, подумаешь, какие-то шлюхи! В столице таких полно. У них нет ни стыда, ни совести, так почему бы этим и не воспользоваться?

— И все же я очень его любила, — продолжала Инес. — Он был для меня всем — и золотом, и ладаном. Я понимала, что сама его упустила, что слишком многое ему прощала, надеясь, что смогу его изменить. К этому времени Кариму уже исполнилось двадцать три, а Дуа было восемь, она

училась в школе. И я подумала: если бы мне удалось заставить Карима регулярно ходить в мечеть, изучать Коран и с уважением относиться к женщинам и к самому себе, он еще мог бы исправиться, и тогда его дурные замашки исчезли бы сами собой. Я заставила его вместе со мной вернуться в Танжер; заставила разорвать помолвку, и через какое-то время мне стало казаться, что сын начинает меняться. Но вы же все видели моего сына. Окружающим он показывает лишь свою золотую маску, так что всем сразу хочется его любить. Прошло какое-то время, и я подыскала ему работу у одного импортера текстиля. О нем отзывались хорошо, он был умен, всегда вежлив и уважителен. Он часто ездил по делам бизнеса и всегда привозил мне из этих поездок подарки. Но порой мне по-прежнему становилось не по себе: однажды совсем рядом с нашим домом, возле мусорных баков, была изнасилована девушка, живущая в том же квартале; потом прямо к нам домой явилась другая молодая девушка и попросила позвать Карима... Но у сына на все находился ответ; у него всегда имелось алиби, некие извиняющие обстоятельства. Я уж стала думать: а что, если все мои подозрения — это просто *васваас*, безосновательные страхи? А потом в нашей жизни появился Саид Маджуби — сперва просто как один из заказчиков, но вскоре они с Каримом очень подружились. Они познакомились во время поездки в Мекку и вскоре стали закадычными друзьями. Вначале я обрадовалась. Саид казался мне очень хорошим человеком, честным, преданным нашей вере. Я надеялась, что он окажет на моего сына хорошее влияние.

Однако получилось наоборот. Влияние оказывал как раз Карим. Понемногу он, хоть и был моложе, сумел настолько опутать старшего друга своими чарами, что Саид полностью ему подчинился и даже стал бунтовать против родного отца; говорил, что ему осточертели события, которыми в то время жила Франция, ностальгировал по родной стране и по тем временам, в которые сам никогда не жил. А Карим все пел ему о том, как чудесно живется в Танжере, и излагал свою теорию семейной жизни и взаимного уважения между супругами, а также рассказывал о своем возвращении к исламу. Саид оказался под таким впечатлением, что уже через год заговорил о возможном браке между Каримом и своей старшей дочерью.

Сперва Инес просто почувствовала неясную тревогу. Но Карим действительно изменился: стал куда более рассудительным и вежливым, казалось, окончательно взялся за ум. И потом, ей *очень хотелось* в это поверить. И *очень хотелось*, чтобы он женился. Соня была из хорошей мусульманской семьи, отличалась примерным поведением и, судя по тем фотографиям, которые видела Инес, была к тому же очень красива. Инес

позволила развеяться всем своим сомнениям — и назначили день свадьбы.

Но оставалась еще одна серьезная проблема — хранившаяся в строжайшей тайне скандальная история происхождения Карима. Ведь он представился Саиду как сын Амаля Беншарки, а Инес назвал своей овдовевшей сестрой.

— Если бы Саид увидел мое лицо, — сказала Инес, — он бы сразу догадался, в чем дело. А потому я позволила ему поверить этой лжи. И стала сестрой Карима.

Свадьба состоялась точно в назначенный срок. Инес приехала на празднество вместе с Дуа и вовсе не собиралась оставаться в Ланскне навсегда. Но что-то сильно ее тревожило. Возможно, легкомысленная атмосфера, что царила в Маро: девушки не носили покрывал, ходили в европейской одежде, а многие даже и без *хиджаба*. Она винила в этом правившего в Маро старого Маджуби, считая, что этот старик недостаточно хорошо образован, а его интерпретация Корана абсолютно неприемлема. Он позволял своей пастве слишком много свободы и слишком снисходительно относился к понятию греха. А его соперничество с Франсисом Рейно и вовсе было на грани допустимого. Кроме того, старый Маджуби открыто проявлял свое прямо-таки враждебное отношение к *никабу*, читал разные совершенно не подходящие для истинного мусульманина французские книги и, говорят, даже пил вино. Когда Инес все это узнала, она решила остаться — по крайней мере, на какое-то время.

Карима ее решение удивило и огорчило. Но возражать он не мог — боялся, что раскроется его тайна. Несколько месяцев Инес пыталась сражаться с недостатками правления старого Маджуби. Организовала школу для девочек-мусульманок и стала всячески поощрять ношение *никаба* и прочих традиционных одежд. Благодаря тому, что в умах жителей Ланскне Инес ассоциировалась с Каримом, уже успевшим завоевать сердца и умы представителей обеих общин на берегах Танн, она быстро заняла одну из руководящих позиций среди женского населения Маро. Она казалась очень необычной — одновременно и добродетельная, и невероятно свободная, независимая, — но каждый день посещала мечеть и подавала хороший пример младшему поколению. Женщины начали копировать ее поведение и всячески ей подражать, соревнуясь друг с другом. Скромный внешний вид и подобающие мусульманкам одежды теперь воспринимались как некая обязанность соблюдать официальный дресс-код, а не как принуждение. Постепенно для большей части молодых женщин Маро Инес Беншарки превратилась в идеал — с точки зрения

внешнего вида и поведения, а для многих стала и безупречной наставницей.

Между тем Саид Маджуби изо всех сил пытался занять аналогичное место среди мужского населения Маро. Спортзал всегда был местом регулярных встреч молодежи, но когда там всем стал заправлять Карим Беншарки, этот зал превратился в настоящий магнит для скучающих и недовольных молодых мужчин. От Карима действительно словно исходил свет — я видела это собственными глазами. Женщинам он казался необычайно привлекательным, в общении с мужчинами он был легок, со старшими — чрезвычайно почтителен, но втихую давал понять, что в достаточной степени чужд условностям. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы произвести на молодежь должное впечатление. Если Саид проповедовал уважение к традициям и возвращение к исконным ценностям ислама, то Карим в спортзале скорее использовал ислам для внедрения в умы собственных воззрений — тех, что сформировались на улицах Танжера, где женщин, которые не носят *хиджаб*, любой хищник считает легкой добычей. На многих молодых мужчин из Маро увлекательные беседы с Каримом оказывали поистине разрушительное воздействие. Те из них, что прежде страдали излишней застенчивостью, стали даже слишком наглыми и развязными. Дружеские отношения, существовавшие между Маро и Ланскне, постепенно пришли в упадок. Братья стали весьма агрессивно опекать своих сестер, которые не носили *хиджаб*, а по мере того, как все более популярной становилась традиционная форма одежды, мусульманская община все сильнее расслаивалась, поляризовалась. Саид все чаще открыто выражал недовольство действиями своего отца, а старый Маджуби постоянно подпыхивал тлеющее пламя общественного беспокойства, продолжая открыто высказываться против ношения *никаба* и чрезмерного спланивания на религиозной основе, и призывал терпимо относиться к иноверцам.

За каких-то полгода жизнь в Маро стала совершенно иной, но никто толком не мог понять ни каким образом, ни по какой причине это произошло. Было ли это связано с влиянием Карима? Или с влиянием Инес? Этого жители Маро и сами не знали, но где-то в самой глубине тихой маленькой общины затаилось нечто ужасное, только и ждущее своего часа, нечто такое, что вскоре могло перерасти в настоящую войну.

Глава десятая

Суббота, 28 августа, 11:10 утра

— Война, — сказала Инес. — Вы только представьте себе! Тайная война между матерью и сыном. Но никто из нас не сказал об этом ни слова. Иначе пришлось бы признать, что мы больше не доверяем друг другу. С другой стороны, внешне Карим совершенно не изменился, он просто стал осторожнее вести себя. Теперь у него была молодая жена, которая его обожала, но и этого ему было мало. На людях он громко восхвалял *никаб*, однако все его мечты были только о западных шлюхах, и я знала: всего лишь вопрос времени, когда тот страшный грех снова его настигнет.

Инес умолкла и снова посмотрела на Соню. Соня слушала ее, не прерывая и не говоря ни слова, но теперь она отчаянно замотала головой и воскликнула:

— Нет! Я этому не верю! Ты ошибаешься. Мой Карим никогда бы...

Инес положила руку ей на плечо.

— Я понимаю, такому, должно быть, очень трудно поверить, — сказала она. — И понимаю, как жестоко, должно быть, все это звучит. Мне когда-то тоже было трудно поверить в то, что совершил мой сын. Я и сейчас пытаюсь закрыть глаза, не видеть правды. Но это началось снова — сперва с порнофильмов в Интернете. Я нашла эти сайты в его компьютере. Затем был секс по Интернету. И однажды я поймала его за этим занятием — он развлекался с одной девицей из деревни. Ее звали Мари-Анж Люка, и она утверждала, что ей уже шестнадцать. На самом деле ей только-только исполнилось пятнадцать, но Кариму было все равно. Мне он, разумеется, тут же заявил, что она шлюха. А иначе, уверял он меня, почему это она согласилась заниматься сексом с совершенно незнакомым парнем? Мое вмешательство оказалось своевременным, и Карим прервал свои контакты с Мари-Анж. Мне уж казалось, что он усвоил урок, но ничего подобного: он просто нашел более привлекательный объект. Твою сестру Алису. Сперва он ее соблазнил, а потом довел до попытки самоубийства...

После этих слов Соня не просто побледнела — ее лицо стало пепельно-серым.

— Я тебе не верю, — еле слышно прошептала она.

Инес только плечами пожала.

— Ну что ж, очень жаль, — сказала она. — Надо было мне раньше с

тобой поговорить. Но я надеялась, что смогу удержать его, смогу как-то его контролировать. Я думала, что если останусь с ним рядом, то всегда смогу вмешаться. Я и пыталась — сперва с Алисой, затем с Вианн; ее прибытие в Маро — да еще и с хорошенькой дочерью — тут же привлекло внимание моего сына. А потом события посыпались одно за другим. Кто-то поджег школу. Обо мне пошли нехорошие слухи. Священника, который пытался мне помочь, дружки Карима хорошенько «предупредили», заставив отказаться от подобных попыток. Я опять переехала к Кариму, но старый Маджуби постарался сделать все, чтобы я чувствовала себя в этом доме крайне неуютно. А потом я поняла, что Карим начинает обращать внимание на мою маленькую Дуа...

— Нет! — сказала Соня и отшатнулась.

Инес встала.

— На днях Дуа потеряла один из своих красных шлепанцев. Это были хорошенькие вышитые шлепанцы, которые мы привезли с собой из Танжера. Мы с ней повсюду его искали, но так и не нашли. И в итоге, дождавшись, когда Карима не будет дома, я порылась у него в гардеробе и кое-что там обнаружила...

Она не договорила. Встала, вышла на кухню и вскоре вернулась с металлической коробкой. Затем открыла ее и высыпала содержимое на маленький столик. Там были браслеты, сережки, бусы, шарфы... и один ярко-красный детский шлепанец, красиво расшитый мелким стеклярусом...

А Инес, перебирая эту странную коллекцию своими изящными пальцами, поясняла:

— Этот браслет он взял «на память» у Шады Идрис. А вот одна из сережек Алисы. Кольцо принадлежало когда-то его невесте-француженке. А это... — И она коснулась красного шлепанца. — В общем, мой сын, так сказать, немного забегает вперед, заранее собирая трофеи.

И тут что-то привлекло мое внимание в куче этих «трофеев». Маленький плетеный браслетик, желтый, с синей раковиной-амулетом, такие обычно делают дети, возможно, кто-то подарил его сестренке...

— Это ведь браслет твоей дочери, верно? — сказала Инес, заметив, как изменилось мое лицо.

Я взяла в руки браслетик. Да, я его узнала. Анук не снимала этот браслет с тех пор, как мы приехали в Ланскне, но в последние несколько дней я его на ней что-то не замечала и только теперь вдруг вспомнила об этом...

— Возможно, она его просто где-то обронила или забыла, — сказала Инес. — Но ее-то Карим уже приметил. И для него было просто вопросом

времени...

После того как Инес нашла коробку с «трофеями», она и переехала в плавучий дом вместе с Дуа. Это было, конечно, временное решение проблемы, но ничего лучше ей в тот момент в голову не пришло. А Карим тем временем, продолжая играть роль любящего и почтительного сына, ухитрился с помощью слухов, коварства и различных уловок настроить всех в Маро против Инес — кроме Захры: она одна знала правду и всегда старалась защитить подругу.

— В таких случаях мой сын редко действует сам, позволяя другим все сделать вместо него, — пояснила Инес, мучительно улыбаясь изуродованным лицом. — Людям кажется, что таков был их собственный выбор, но на самом деле он просто сумел подчинить их своей воле. Эти надписи на стене моего дома. Этот пожар. И даже история с плавучим домом... — Инес опять посмотрела на Соню, лицо которой стало мертвенно-бледным от осознания вины. — Ведь это же он тебя *подталкивал*, — сказала она, — он *хотел*, чтобы ты все это совершила. Он как бы привел тебя в движение, прекрасно зная, что я не смогу обнародовать его преступлений, не обнародовав при этом и собственного прошлого. Он был уверен, что сможет и впредь продолжать играть роль невинного агнца, возложив всю вину на тебя...

Соня лишь в ужасе помотала головой. Потом сказала:

— Пожалуйста, поверь: вреда я никому причинять не хотела. Я хотела только, чтобы ты уехала.

— Конечно, ты этого хотела, еще бы! Я понимаю, — кивнула Инес. — Но даже если бы я уехала, Карим все равно никогда не чувствовал бы себя в полной безопасности. Слишком много я о нем знаю. И он решил избавиться от меня, но для этого сперва нужно было найти подходящего козла отпущения. Поначалу мне казалось, что на эту роль он, возможно, выберет тебя. Но он, зная, как сильно ты его любишь, все же понимал: ты — не убийца; так что в итоге у него возник новый план, гораздо лучше первого. А месье кюре на редкость удачно подставился и угодил ему прямо в руки.

Рейно. Господи, я же о нем совсем позабыла!

— Где он? — спросила я. — Он жив? С ним все в порядке?

Захра смущенно на меня посмотрела.

— Извините, Вианн, но я тоже к этому причастна. Сперва я, как и все остальные, была уверена, что поджог устроил именно Рейно. И потом, когда Карим поймал его на берегу, в руках у него действительно была канистра с бензином...

— Где он, Захра?

— В подвале под спортзалом. Теперь я очень жалею, что сразу вам не рассказала! Мне, конечно, следовало рассказать, но Карим был так расстроен, и я подумала...

— Конечно, он был расстроен, — сказала Инес сурово, но ее суховатый бесцветный голос явно дрожал. — Вмешательство месье кюре нарушило все его планы. Мой сын, испробовав все остальное, решил теперь вплотную мной заняться, полагая, что если я попросту исчезну, то и в данном случае виновным сочтут Рейно. А если и Рейно не смогут отыскать... — Она пожала плечами. — Танн, как известно, река опасная, особенно после дождей. Порой на поиски *тела* уходит несколько недель, и тогда уже весьма затруднительно установить истинную причину смерти.

После этих ее слов воцарилась полная тишина; все словно пытались осознать: действительно ли Инес назвала своего сына убийцей? Карим — убийца? Конечно же, нет! И все же смысл ее слов был абсолютно ясен, да и перечисленные факты говорили сами за себя.

— Моему сыну просто не хватило времени, — продолжала Инес. — Он поторопился, опасаясь, что ради Дуа я могу пойти на все. Смогу даже публично против него выступить. Поселившись в плавучем доме, мы оказались весьма уязвимы. Возможно, он все представил бы так, словно мы погибли по вине поджигателя. А может, попросту утопил бы судно, а наши тела бросил в Танн. Но когда он пришел, чтобы осуществить свой замысел, там очень некстати оказался месье кюре.

И тут вдруг заговорила Соня.

— Я знаю, — сказала она. — И там месье кюре увидел меня. И я... во всем ему призналась.

— Вот как? — Инес это заявление, похоже, даже развеселило. — Ну что ж, во всяком случае, твоя исповедь заставила его пробыть там достаточно долго, чем он и нарушил Кариму все планы. Карим, должно быть, заметил, что кюре наблюдает за судном, и понял, что это абсолютно ненужный свидетель. И напал на него, надеясь, видимо, впоследствии использовать как подходящего козла отпущения... Но я-то все слышала и видела! Пока Карим возился с Рейно, я успела отвязать судно от причала и с помощью рулевого весла направила его вниз по течению. — Она вздохнула. — В тот момент я понятия не имела, останется Рейно в живых или умрет. Я видела только, как он упал. И этого мне было вполне достаточно. Но когда Захра рассказала мне то, что стало ей известно...

Оми не дала Инес договорить; ее надтреснутый старческий голос хрипел от сдерживаемого смеха:

— Ты хочешь сказать, что месье кюре все это время проторчал в подвале? Э! Да я пари готова держать, что он там с ума сходит, вот-вот взорвется...

Я посмотрела на Захру.

— В подвале под спортзалом? — спросила я. — Так я поэтому вас там встретила вчера вечером?

Она кивнула:

— Да, я ему поесть приносила.

— Но зачем его вообще там заперли? — никак не могла понять Соня. — Ведь если то, что говорит Инес, правда...

— Кариму он был нужен живым, — сказала Инес. — Ведь он намеревался именно Рейно обвинить в моей гибели — как бы там ему ни удалось ее подстроить. А полиции совсем ни к чему знать, что «убийца», оказывается, погиб на несколько дней *раньше* «жертвы»...

— Значит, он ждал, когда вы с Дуа вернетесь? — спросила Соня.

Инес кивнула:

— Думаю, да.

— Но теперь-то, — медленно проговорила Соня, — Карим узнает, что вы уже здесь...

Последовала долгая пауза — все медленно осознавали, что именно Соня хотела сказать, и понимание этого оседало в наших душах, как пыль. Затем Инес решительно поднялась с пола и одним движением вернула на прежнее место чадру. То ж самое сделала и Соня, а через несколько секунд все мы дружно бросились к двери, даже Оми, которая на нервной почве тут же полезла в карман за печеньем.

Значит, думала я, Рейно уже четвертый день сидит в этом подвале. Я хорошо знаю, каковы эти подвалы, — темные, влажные, часто затопляемые во время сильных дождей. Подумать только, ведь все это время он был совсем рядом! Да уж, верность слову у жителей Маро действительно крепка! Друзья Карима никогда бы его не предали. Но, вообще-то, зал принадлежит Саиду. Интересно, а *он-то* знал? И знал ли его отец?

Вы мне снились, — сказал мне старый Маджуби в среду, когда, совсем больной, еще лежал в постели. — *Когда я пытался получить у Аллаха истикхаару. Мне снились вы, а потом она. Будьте осторожны. Держитесь подальше от воды.*

Я тогда подумала, что он говорит со мной и обо мне. Что в полубреду он, возможно, не совсем понимает, кто я такая. Уж не о Рейно ли он тогда говорил? Ведь все мы — я и Женщина в Черном, старый Маджуби и Рейно — являемся отражением друг друга. Неужели старый Маджуби

уже тогда обо всем догадывался? А не мог ли он увидеть в том своем сне и еще что-то?

Глава одиннадцатая

Суббота, 28 августа, 11:25 утра

Мы вышли на площадь Сен-Жером. Солнце уже палило вовсю. Остатки дождя успели испариться, и булыжники припорошила бронзовая пыль. Стая голубей, что-то клевавших у дверей, взлетела, хлопая крыльями, прямо у нас из-под ног. На площади почти никого не было; Пуату как раз закрывал булочную, игроки в петанк, собрав пожитки, разошлись по домам, каждому хотелось поскорее сесть в тени под хурмой и выпить свой *floc*.^[63] Под аркой входа в церковь Святого Иеронима виднелась лишь приземистая печальная фигура Поля-Мари Мюска в инвалидном кресле; при этом голова его находилась в тени, а ноги — на солнце; и этим он тоже удивительно походил на Рыцаря Кубков из моей колоды карт.

— Поздравляю, тебе снова это удалось! — крикнул он мне через площадь. — Ты что, специально этому училась или просто уродилась такая?

— У меня нет времени на пустые разговоры, — сказала я. — Мы очень спешим.

Он рассмеялся:

— Вот уж этим ты меня не удивишь! Тебе же вечно некогда. Вечно тебе надо кого-то повидать, куда-то съездить, разрушить чьи-то браки. Восемь лет тебя здесь не было, и я, конечно, не стану утверждать, что все у нас шло идеально, но сейчас и трех недель не прошло, как ты вернулась, а все уже встало с ног на голову.

Должно быть, я выглядела несколько удивленной, потому что Поль опять засмеялся и сказал:

— Ты что, не слышала? Она меня бросает. На этот раз навсегда. Хочет сбежать с этими речными крысами. В точности как тот рыжий дудочник-крысолов. — Поль-Мари рыгнул, и я поняла, что он здорово набрался. — Скажи, Вианн, они тебе за это платят? И что, хорошие деньги? Или ты исключительно из любви к ближнему работаешь?

— Понятия не имею, что ты имеешь в виду, — сказала я. — Слушай, через полчаса я вернусь, и тогда ты все мне объяснишь, хорошо? А пока выпей кофе и подожди меня.

И снова раздался этот его смех — как из прохудившейся канализационной трубы.

— Ты же просто убиваешь меня, Вианн. Нет, правда. Разве не ты

велела ей рассказать мне правду? Рассказать, что своего ублюдка она родила не от того проклятого рыжего дьявола, а *от меня*? И вот она является и вываливает мне все — это теперь-то, когда она, сука, украла у меня *целых восемь проклятых лет!* — а потом объявляет, что бросает меня, словно то, что она мне рассказала, дает на это какое-то право!

Я озадаченно на него посмотрела.

— Жозефина все тебе рассказала?

— О да, *всего лишь* рассказала. Решила, видно: если расскажет, так сразу все и наладится. Ведь это *тебя* я должен благодарить за ее рассказ, верно, Вианн? Ну а что теперь? Какое еще дело в Маро не терпит отлагательств? Кто-то жену избил? Зовите Вианн Роше! Кошка на дерево залезла? Зовите Вианн Роше!

Инес, Дуа и все остальные уже подходили к мосту, и я заторопилась.

— Извини, — сказала я ему. — Мне нужно идти.

— А меня здесь оставишь, что ли? Чтобы я самое интересное пропустил? — Поль-Мари яростно принялся толкать свое кресло через площадь. По булыжнику ехать было тяжело, но, в общем, вполне можно; огромные ручищи Поля работали как поршни. — Э нет! Я тоже пойду с вами. Я тоже хочу посмотреть, что там такое случилось. — И он покатил следом за мной по улице, во всю глотку созывая людей: — Эй, где вы все? Все идемте туда! Посмотрим, как Вианн по воде ходит аки посуху!

Передвигался он на удивление быстро, оглушительно гремя креслом по булыжнику. Услышав его крик, люди открывали двери и ставни, и наша маленькая компания — и без того достаточно необычная, чтобы привлечь всеобщее внимание, — вскоре обросла шлейфом любопытствующих. Из булочной вышел Пуату, Шарль Леви перестал пропалывать грядки в саду и последовал за нами, посетители кафе «Маро» вытягивали шею, чтобы увидеть, что происходит, а потом, бросив на столе недопитые бокалы и кружки, бегом бросались догонять нас.

Я заметила в толпе Гийома с Пэтчем на руках и Жозефину, которая выглядела крайне озабоченно, а Каро Клермон выскочила на улицу, так и не сняв с руки варежку-прихватку, которой, видимо, что-то доставала из духовки. К тому времени, как мы достигли бульвара, за нами тянулось уже десятка полтора жителей Ланскне, но гораздо больше народу подтягивалось с боковых улиц Маро: Фатима Аль-Джерба и ее муж Медхи, дочь Фатимы Ясмина и зять Исмаил. Виднелись в толпе и отнюдь не дружелюбные лица: Ашрон с сыновьями и дружки его сыновей; Жан Люка и Мари-Анж. Особенно напряженными и подозрительными выглядели те люди, которые только что вынырнули из недр мечети. Теперь кресло Поля-

Мари катил Луи Ашрон, а сам Поль точно в бреду орал:

— Ну точно! Как дудочник-крысолов!

Жозефина, пробравшись сквозь толпу, бросилась ко мне:

— Что здесь происходит?

Я быстро ей рассказала, но не была уверена, что она хорошо меня поняла, — вокруг царил невообразимый шум, потому что толпа, успевшая собраться у дверей спортзала, достигла уже весьма внушительных размеров.

— Ты хочешь сказать, что Рейно там, внутри? — удивленно переспросила Жозефина.

Я кивнула и сказала:

— Нам надо поговорить с Саидом и поскорее объяснить ему, что происходит, пока все не переросло в настоящее столкновение...

Растущая толпа заняла вход в переулок. Дверь спортзала была, как всегда, распахнута, и возле нее стояли молодые люди в майках и шортах — постоянные посетители, разумеется, — но Карима я среди них не заметила. Царила невыносимая жара, полдневное солнце вбивало мне в темя свои лучи, как вбивают молотком гвозди. Да и сама толпа буквально источала жар и запах, похожий на запах раскаленного металла и горящего можжевельника. Под навесом у входа в зал был, правда, треугольник настолько густой тени, что я лишь с трудом различала лица стоявших там молодых мужчин. Мы остановились лицом друг к другу по разные стороны переулочка — они в тени, я на солнце, — точно дуэлянты, готовые к схождению.

Затем я двинулась прямо к ним. Жозефина не отставала от меня ни на шаг, но Захра и остальные остались на месте. И сейчас этим мусульманским женщинам казалось почти невыносимым войти в спортзал, даже Инес, похоже, не решалась прийти мне на помощь.

Путь мне преградил один из молодых завсегдатаев этого заведения. Имени его я не знала, но лицо вспомнила: он был из свиты Карима, и я видела его рядом с Каримом в тот день, когда впервые с ним познакомилась.

— Мне нужно поговорить с Саидом, — сказала я.

Мужчина покачал головой:

— Саида здесь нет.

Я слышала, как у меня за спиной все сильнее шумит моя непрошенная «группа поддержки». Те жители Ланскне, которые были просто обеспокоены сложившейся ситуацией, вроде Нарсиса и Гийома, получили нежданное подкрепление в лице тех, кто явно напрашивался на

неприятности, и таких, кстати, собралось уже немало. Я заметила, по крайней мере, троих парней из семейства Ашрон; один из них уже успел скинуть с ближайшего подоконника на землю цветочные горшки, а второй пытался перевернуть вверх тормашками большой мусорный бак в переулке за кафе. Каро Клермон громко призывала односельчан к порядку, создавая лишь еще больше шума, а Мари-Анж, не таясь, снимала происходящее на мобильный телефон.

В толпе я заметила и нескольких представителей речного народа; их было нетрудно узнать — и по одежде, и по длинным волосам, и по манере настороженно держаться в задних рядах. Среди них стоял и Ру, его рыжая шевелюра так и сияла на солнце. Однако ни Анук, ни Розетт я что-то не видела. Дуа тоже куда-то исчезла, и я надеялась, что Оми и Фатима успели увести девочку в безопасное место.

Поль-Мари снова завопил:

— А все эти речные крысы! Наверняка и тут без них не обошлось!

Это спровоцировало в толпе некую двойную волну — одни стали оборачиваться, чтобы посмотреть, кто стоит сзади, и тут же наталкивались на других, пытавшихся пробраться вперед. Рядом со мной возмущенно вскрикнула Захра: кто-то дернул ее за *хиджаб*. Из переулка донесся грохот: отпрыску Ашрона все-таки удалось перевернуть мусорный бак.

Я посмотрела на мужчину, преграждавшего мне путь.

— Пожалуйста, позвольте мне войти.

Он покачал головой.

— Это частная собственность.

— Карим Беншарки здесь?

Он снова покачал головой, но ничего не ответил.

— А вы не знаете, где он?

Он пожал плечами:

— Кто его знает? Может, в мечети. Все, больше никаких вопросов! Убирайтесь отсюда, пока мы полицию не позвали!

А Поль-Мари развлекался вовсю; его пьяный рык перекрывал даже шум толпы.

— Разве я вам не говорил? — орал он. — Разве не предупреждал, что это непременно когда-нибудь случится? Только впустите их в свой город, в свою страну, и мигом получите анархию. *Vive la France!*^[64]

Его призыв тут же подхватил целый хор голосов. Но второй хор — уже на арабском — ответил с противоположной стороны переулка. Кто-то швырнул камень.

— *Vive la France!*

— *Allahu Akhbar!*

Само страшное во время подобных столкновений — это та скорость, с которой они способны развиваться до полной неуправляемости, и одуряющее воздействие разбуженной взаимной ненависти, которая каждого вовлекает в свой водоворот. Позже я слышала немало историй о том, что случилось в тот день; понизив голос, со стыдом на лице, люди рассказывали о полученных пинках, толчках и оскорблениях, о разбитых окнах, о перевернутых урнах и мусорных баках, о кражах, о бессмысленном ущербе, нанесенном чьей-то частной собственности. Точно чайки над остовом дохлой рыбыны, старательно выклевывающие то, что еще осталось на костях, эти творцы слухов, как всегда, неумолимо плели свою паутину. Рейно зверски убит — разумеется, «магрибцами». Рейно сошел с ума и сам кого-то убил. Рейно, защищаясь, нечаянно убил какого-то араба, а в отместку «магрибцы» похитили французскую девушку и держат ее в спортзале. Речные крысы заодно с *магрибскими* торговцами и поддерживают их. Рейно пытался подложить в мечеть бомбу и был задержан до прибытия полиции. Слухи становились все нелепее и разнообразнее, причем с обеих сторон. Слоганы реяли над толпой, как знамена:

— *Allahu Akhbar!*

— *Vive la France!*

В Ланскне нет собственной полиции. Она там никогда и не требовалась. Неприятности уголовного характера возникают здесь настолько редко и бывают столь незначительными, что возникший конфликт вполне способен урегулировать обычно местный священник. Но даже если бы отец Анри в тот день и оказался возле спортзала, я очень сомневаюсь, что он стал бы вмешиваться. А вот Франсис Рейно, возможно, знал бы, что делать. Рейно вполне способен, выказывая неповиновение закону и нарушая правила политкорректности, раздавать оплеухи, хватать за шиворот, сыпать направо и налево оскорблениями и невероятным количеством обязательных «*Aves*». Но Рейно исчез, а отец Анри отправился в Пон-ле-Саул читать проповедь.

Из толпы полетел еще один камень; на этот раз он попал в того, кто стоял передо мной. Молодой человек пошатнулся и схватился рукой за голову: между пальцами у него текла кровь.

— Вонючие *магрибцы*! Убирайтесь отсюда!

— Французские свиньи! Все вы — сукины дети!

Я попыталась все же пробиться в зал, но путь мне преграждало слишком много мужчин. Тот человек, в которого попал камень, выглядел

явно поколебленным в своем упорстве; по щеке у него струилась кровь; однако на помощь к нему устремилась новая порция его сторонников. В воздухе просвистел еще камень, и где-то высоко на стене вдребезги разлетелось окно.

Кто-то проталкивался ко мне сквозь толпу, и вскоре над ухом у меня раздался знакомый голос.

— Что тут происходит? — спросил Ру.

— Где дети? — в ответ спросила я.

— Я их оставил на судне. С ними все в порядке. Что за дурацкие слухи насчет Рейно?

У меня за спиной, где-то на бульваре, сквозь все усиливающуюся какофонию звуков вдруг пробился какой-то жуткий вой. Высокий, пронзительный, какой-то улюлюкающий, совершенно фантастический, проникающий прямо в душу. Я слышала нечто подобное в Танжере — во время похорон и демонстраций. Но услышать такое в Ланскне...

— Рейно в подвале под этим залом, — быстро сказала я Ру. — Мы должны вытащить его оттуда.

— Должны? — переспросил он. — С каких это пор ты взяла на себя ответственность за Франсиса Рейно?

— Пожалуйста, Ру, — я изо всех сил старалась перекричать усиливающийся шум толпы, — помоги мне! Мне одной не справиться. А позже я все тебе объясню...

И тут на пороге зала возникла знакомая фигура. Как всегда в белоснежных одеждах, бородатый и не улыбающийся, Саид Маджуби смотрел на нас с выражением каменного презрения на лице.

— Вы грубейшим образом нарушаете закон. Что вам здесь нужно?

Инес, как оказалось стоявшая рядом со мной, попыталась объяснить с ним по-арабски. Я сумела уловить в ее речи только имя Карим, но больше ничего. Потом она шагнула к Саиду, но он грубо ее оттолкнул, рывкнув:

— Убирайся отсюда, шлюха!

В ответ Инес влепила ему звонкую пощечину.

Я почувствовала, что Ру со мною рядом ожил и вот-вот ринется в бой; стараясь его удержать, я положила руку ему на плечо.

А Саид тупо смотрел на Инес, и удивление на его физиономии постепенно сменялось гневом. На его щеке у него краснел отчетливый отпечаток руки Инес. Затем Саид с угрожающим видом шагнул к ней, и Ру тут же двинулся ему наперерез. На мгновение их взгляды пересеклись. Саид первым опустил глаза и сказал:

— Учти, эта женщина — сущий яд. Ваши ничего о ней не знают, а я

прекрасно знаю, что она собой представляет. И почему прячет свое лицо. Не из благочестия, а от стыда...

С этими словами он метнулся вперед и, дернув за тесемки чадры, сорвал ее с Инес. Теперь всем стала видна ее ужасная «улыбка», которую я видела всего несколько минут назад в *chocolaterie*...

Несколько секунд ничего не происходило. Все словно застыли. Толпа, обладая определенной кинетической энергией, обладает и инерцией, а потому ей, подобно кружащей стае птиц, нужно какое-то время, чтобы сменить направление. Инес тоже замерла без движения, по-прежнему стоя лицом к Саиду и не делая ни малейшей попытки прикрыть лицо руками или вернуть на место упавшее покрывало. Так что Саид с приятелями имели полную возможность испытать на себе воздействие чудовищной «смайли».

— Стыд? — сказала наконец Инес. — Так вот *что* ты во всем этом увидел? Мой сын обвел тебя вокруг пальца, выставил полным дураком. Да-да, мой сын. А ты ведешь себя как последний дурак и даже хуже. Это твои глаза он закрыл покрывалом. Заставил тебя отказаться от родной дочери. Как ты думаешь, почему девочка убежала из дома? Почему пыталась покончить с собой? Почему искала помощи у чужих людей — да, даже у священника *кюффаров*! — а не в собственной семье?

Саид нахмурился.

— Я не понимаю...

— Да нет, по-моему, все ты отлично понимаешь! Ты что-то там говорил о стыде? Стыдно, когда мужчина верит, что, даже вождедая женщину, всю ответственность за это должен возложить *на нее*. Только дурак способен поверить, что столь жалкими оправданиями можно разжалобить Аллаха. Твой отец, может, и упрямый старик, но он, безусловно, стоит десяти тысяч таких, как ты.

И тут Инес повернулась лицом к собравшейся в переулке толпе, и люди в первых рядах разом шарахнулись и отступили на шаг; остальным на это потребовалось на несколько секунд больше; по толпе словно волны пробегали, пока наконец не наступила полная тишина.

— Смотрите все на меня, смотрите, смотрите! — обращаясь к толпе, потребовала Инес. — Внимательно всмотритесь в мое лицо, ибо на нем печать жестокости, фанатизма и несправедливости. Печать лицемерия, вины и нетерпимости. Все эти свойства человеческой души не имеют отношения ни к религии, ни к расовой принадлежности, ни к цвету кожи. Преступление, совершаемое от имени Аллаха, не перестает быть преступлением. Неужели вы считаете себя лучше и выше Бога? Неужели

думаете, что способны обмануть Его пустыми разговорами о «справедливости»?

Голос Женщины в Черном был силен, глаза смотрели твердо и отливали слюдяным блеском. Она не делала ни малейшей попытки прикрыть лицо и стояла, гордо подняв голову, непоколебимая, гневная. И люди один за другим начали опускать глаза. Даже Поль-Мари Мюска вдруг утратил дар речи, его вечно красная физиономия сильно побледнела. Мари-Анж Люка, до этого момента без устали снимавшая на мобильник все подряд, бессильно уронила руки вдоль тела. Даже Ру замер, глядя на Инес, и в его глазах медленно всплывало понимание.

А Инес уже снова повернулась к Саиду.

— А теперь отведи меня к моему сыну, — велела она.

Глава двенадцатая

Суббота, 28 августа, 11:40 утра

Сегодня грохота беговых дорожек не слышалось, что очень странно; обычно здесь, в чреве кита, этот звук воспринимается как постоянное биение сердца. И все же там, наверху, не было и полной тишины. Там, скорее всего снаружи, гудела какая-то толпа. Может, рынок? Нет, вряд ли. У каждой толпы свой пульс, свой узнаваемый ритм. Собрание прихожан звучит иначе, чем рыночная площадь, спортивные соревнования или игры... иначе, чем шумный урок в классной комнате...

Отдельные голоса мне, разумеется, было не различить, но я не сомневался, что толпа достаточно велика — похоже, там, наверху, в реальном мире, собралось не меньше ста человек.

Несмотря на все усиливающуюся усталость, я все-таки не сумел подавить любопытство. Судя по звучанию голосов, там были и французы, и марокканцы. Что же могло заставить такое огромное количество народу выйти на бульвар?

Я снова припал к вентиляционному отверстию — там голоса слышны более отчетливо. Впрочем, все равно видно ничего не было: только кирпичи противоположной стены и несколько одуванчиков, пробившихся меж камнями. Я вытянул шею, пытаюсь разглядеть хоть что-нибудь еще. Нет, ничего не видно! Неужели это какая-то демонстрация? Некоторые голоса звучали сердито, некоторые — просто возбужденно, но в воздухе словно дрожала какая-то струна, натянутая до предела и готовая вот-вот лопнуть.

А я все пытался увидеть, что же там происходит. Встав на верхушку своей пирамиды из упаковочных клеток и прильнув к верхнему уголку решетки, я краем глаза смог заметить некое неясное движение, точнее, смутное ощущение движения — казалось, будто там пролетают какие-то тени, едва касаясь земли.

— Майя? — Голос у меня уже совсем пропал. От него теперь толку как от сломанных часов — тикает, щелкает где-то в глубине глотки, а звука нет. Нет, с таким голосом звать на помощь бесполезно. Даже если я очень постараюсь, все равно мне не перекрыть этот шум. И все же...

Снова это ощущение движения, причем явно ближе, затем, безусловно, чьи-то шаги. И это явно не шаги Майи. Из-под кромки длинного черного одеяния выглядывала пара бледно-голубых кроссовок...

— Эй! — с трудом проскрежетал я. — Эй! Я тут, внизу!

Секундное молчание. Затем у самой решетки возникло лицо. И я, хоть и не сразу, узнал дочь Инес Беншарки. Когда они закутаны в свои черные покрывала, сначала и не поймешь, кто есть кто; и потом, эта девочка никогда со мной не разговаривала, я и голоса ее не знаю, да и имя ее вряд ли помню.

Темные глаза расширились от удивления, потом ее личико осветила улыбка. На этом суровом детском лице улыбка выглядела просто поразительно.

— Так *вот кто* джинн нашей Майи!

Чудесно! Я так рад, что тебя, детка, это повеселило. И должен тебе сообщить, что мне удалось исполнить все три желания Майи...

И снова неподалеку возникло неясное движение. Потом перед окошком возникла вторая пара кроссовок, точнее, того, что когда-то называлось кроссовками. Это были не просто выдавшие виды кроссовки — нет, они выглядели куда более непристойно. Затем к решетке склонилось знакомое лицо. Это был Жан-Филипп Бонне, более известный под именем Пилу.

— Скажи мне, что там, черт возьми, происходит?

— По-моему, это восстание. Вот клево!

Клево. Что за слово! Теперь не хватало только, чтобы здесь появилась его проклятая собака.

— Мы, вообще-то, сюда свернули случайно, хотели Влада оттуда увести. Он не любит, когда толпа собирается.

Ну вот мое желание и осуществилось. У решетки тут же появился мокрый черный нос, похожий на трюфель. Влад обнюхал меня и залаял.

— Вы не бойтесь, — сказал Пилу. — Они сюда пришли, чтобы вас вытащить.

— Что? *Все* эти люди?

— Да вроде бы. Хотя, по-моему, некоторые просто так за ними увязались.

Что ж, только свидетелей мне и не хватало. Когда я наконец выйду отсюда, мокрый насквозь, с трехдневной щетиной на физиономии, похожий на мертвеца, то мне, естественно, больше всего захочется, чтобы пол-Ланскне, разинув рот, с любопытством на меня пялилось. Еще неплохо, если к этому цирку присоединятся полицейские, или бригада пожарников, или еще кто-нибудь в этом роде. И отец Анри, разумеется. Боже мой, неужели и он там будет? Господи, лучше бы Ты прибрал меня прямо сейчас!

— Вы как там?

— *Просто клёво.*

— Держитесь. Теперь уже скоро.

Внезапно где-то рядом послышался мужской голос, настолько громкий, что перекрывал рокот толпы. Мужчина говорил по-арабски, но я все же узнал Карима Беншарки. Затем вдруг началась яростная драка, бешено лаяла собака, лицо мальчика исчезло, длинное черное одеяние девочки словно растаяло в клубах пыли. Бледно-голубые кроссовки бросились назад и вдруг, описав в воздухе дугу, исчезли из поля моего зрения.

— Эй! — крикнул Пилу. — Эй! Ты что это делаешь?! Эй!

И тут девочка пронзительно закричала. Собака залаяла еще громче, на мгновение передо мной снова мелькнули выдавшие виды кроссовки, послышались звуки новой потасовки, затем раздался глухой удар, и мальчик бессильно сполз по стене на землю. Его голова оказалась буквально в нескольких сантиметрах от моей решетки; я видел его светлые волосы, изгиб щеки, извилистую дорожку крови...

Затем наступила тишина, показавшаяся мне совершенно оглушительной, несмотря на шум толпы.

И дверь в подвал распахнулась настежь.

Суббота, 28 августа, 11:40 утра

После уличной жары и пыли запах хлорки действовал как пощечина; по сравнению с улицей в зале оказалось так темно, что мои глаза лишь через несколько секунд сумели приспособиться. Я увидела просторное полупустое помещение; стены, выкрашенные белой краской, теперь казались серыми из-за пятен сырости, которые виднелись во многих местах; вдоль стен расположились ряды тренажеров: по одну сторону — беговые дорожки и различные приспособления для накачки мускулов, по другую — металлические «блины» для штангистов. В дальней стене комнаты виднелись две двери; одна вела в коридор, где были раздевалки, душ и кладовые, а вторая — на улицу, и через нее можно было сразу выйти на тот дощатый настил, что тянулся вдоль берега, как бы соединяя все выходящие к воде дома.

Мы с Ру шли впереди. Инес следовала за нами. Жозефина тоже не отставала; они с Захрой еще и постарались не допустить, чтобы в зал ворвалась разом вся толпа. Я слышала, как снаружи доносится протестующий голос Оми:

— Э, меня-то пропустите? Такого и в Болливуде не увидишь!

Я повернулась к Саиду:

— Где Карим?

— Он вышел через заднюю дверь. Ваш священник в подвале.

Я вопросительно посмотрела на Ру.

— Ты заberi Рейно, — распорядился он. — А я пойду искать Карима.

Суббота, 28 августа, 11:45 утра

Подвал был затоплен, стоял сильный запах гнили, мокрой штукатурки и реки. Свет туда почти не проникал. У дальней стены на груде пустых клеток стоял Рейно, как потерпевший кораблекрушение моряк на жалком островке посреди океана: на лице следы невнятного страха, руки простерты, словно в мольбе.

Когда он наконец понял, кто мы такие, то спрыгнул прямо в воду — там ему было уже по грудь — и стал медленно продвигаться к нам. Шел он так, словно сил у него совсем не осталось, и одной рукой все прикрывал глаза от яркого света. Он выглядел как человек, пребывающий во власти мучительного ночного кошмара, такого яркого и цепкого, что страшно проснуться и больше уже не смеешь поверить, что сможешь снова открыть глаза.

— Скорей! — проскрежетал он сорванным голосом, едва добравшись до лестницы. Под воду не ушли только две верхние ступеньки. У Рейно еще хватило сил подняться почти до середины лестницы, потом он споткнулся и упал. Жозефина тут же подхватила его под одну руку, я — под другую, и мы вместе втащили его наверх и поставили на ноги.

— Скорей... — повторил он.

— Теперь все будет хорошо, — попыталась я успокоить его, — и вы вскоре обязательно поправитесь...

Но, если честно, выглядел Рейно далеко не лучшим образом: смертельно-бледный, с заросшим трехдневной щетиной лицом, он мучительно щурился, явно страдая от слишком яркого света; дыхание, жесткое, прерывистое, с хрипом вырывалось у него из груди. Он вдруг сильно закашлялся и даже пополам согнулся, пытаясь отдышаться.

— Вы не понимаете, — сказал он, глядя на меня, — там мальчик, сын Жозефины! И девочка, дочь Инес Беншарки...

Новый приступ кашля заставил его умолкнуть, и он, тщетно пытаясь нормально вздохнуть, стал, яростно жестикулируя, показывать куда-то за решетку.

— Что там такое, Франсис? В чем дело?

Собравшись с силами, он снова попытался объяснить. На этот раз

даже голос его звучал громче.

— Карим схватил девочку. В переулке. Пилу пытался ему помешать. По-моему, Карим сильно его ударил...

Рейно махнул рукой в сторону дальней стены, и я поняла: он имеет в виду тот узкий проход, что тянется от бульвара к берегу реки. Я хорошо знала это место: именно здесь, по утверждениям Майи, жил ее джинн...

А Инес уже выбежала за дверь, которая вела к дощатому настилу на берегу. Жозефина хотела броситься следом за ней, но, выпустив руку Рейно, увидела, что он снова упал на колени, и остановилась в нерешительности.

— Франсис...

Он нетерпеливо махнул рукой.

— Не тратьте времени зря! Постарайтесь найти мальчика!

И тут все мы услышали пронзительный крик.

Суббота, 28 августа, 11:45 утра

Мои глаза совсем отвыкли от света. Даже тусклый свет одинокой лампочки в коридоре казался слепящим, как полуденное солнце. Я прикрыл глаза ладонью, но все равно ощущение было такое, словно я смотрю прямо в глаз Господень. И на фоне этого ослепительного света я с трудом различил три темные фигуры — точно три зубца неведомой короны, окутанной ярким светом...

Я узнал Вианн и Жозефину. Но кто третья? Возможно ли, что это Инес? Светящийся нимб затмевал черты ее лица, и я не мог понять, кто она. А ее длинные одежды были удивительно похожи на сложенные крылья. Может, передо мной был ангел? Но как бы мне ни хотелось поверить в возможность божественного вмешательства, сейчас у меня просто не было времени думать об этом. Я ухитрился как-то объяснить им, что произошло, — по крайней мере, сказал достаточно, чтобы они поняли: Карим представляет собой огромную опасность, и надо спешить. Все три женщины тут же бросились бежать, надеясь помешать ему — ах, отец, я очень надеюсь, что они успеют! Меня, правда, они так и бросили на верхней ступеньке лестницы, и я так и не смог вытащить нижнюю половину туловища из воды.

Похоже, я истратил все свои силы без остатка; возможно, какая-то часть моей души попросту хотела умереть. Но ведь это же Ланскне — а Ланскне, как и Господь Бог, не мог позволить мне уйти слишком рано.

Снаружи вновь послышались тревожные крики, явно доносившиеся с берега реки. Что там еще такое? Я попытался втащить себя на верхнюю

ступеньку; потом ухитрился даже встать, цепляясь за дверь, однако ноги больше не желали меня слушаться, и голова кружилась совершенно невыносимо, и глаза жгло, как огнем. Вдруг в коридоре послышались шаги, потом какие-то громкие восклицания на арабском языке — как раз такие звуки, по-моему, и издает кит, выныривая на поверхность вод...

Свет был по-прежнему слишком ярок для моих глаз. Единственное, что я смог разглядеть, это полы их одежды и их обувь — сандалии, шлепанцы, мокасины. Это были ноги моих врагов. И этими ногами они сейчас втопчут меня в грязь...

Чья-то рука стиснула мою вытянутую вперед правую руку, и кто-то с облегчением сказал:

— *Альхамдулила.*

Это был второй, после отца Анри, человек из моего списка тех, кого я предпочел бы никогда больше не видеть: Мохаммед Маджуби. Он поднял меня, бережно вынув из пасти кита, и хотя свет все еще слепил мне глаза, я вполне ясно увидел перед собой его белую бороду, белую рубаху и бледное лицо, испещренное морщинами, точно страницы Евангелия письменами...

— Спасибо, я и сам вполне могу стоять на ногах, — успел сказать я.

И тут же отключился; сознание мое померкло, точно задули свечу.

Суббота, 28 августа, 11:50

По узкому проходу мы выбежали на дощатый настил на берегу реки. Настил этот очень неровный и разной ширины, местами не больше метра, но у спортзала он довольно широк и напоминает подобие террасы. Такие террасы — характерная черта здешних зданий, бывших дубилен; они нависают над рекой, точно акробаты на деревянных ходулях. Только сейчас мало кто их использует, все они приговорены к исчезновению в самое ближайшее время.

Ру стоял на краю террасы, у самой балюстрады, а Карим — футах в десяти от него. Одной рукой он прижимал к себе Дуа, а во второй держал канистру с бензином. Он уже успел облить горючей жидкостью и себя, и девочку; у Дуа даже волосы — головной платок она явно потеряла — и лицо были мокры. В воздухе буквально разило бензином; над Каримом и Дуа колыхались облачка бензиновых испарений.

Ру бросил на меня предостерегающий взгляд:

— Не подходи. У него зажигалка.

Это была дешевая пластмассовая зажигалка, какую можно купить в любом газетном ларьке. Она проста в использовании, надежна, да и выбросить ее не жалко — как и человеческую жизнь. Карим, отбросив

полупустую канистру, поднес зажигалку к самому лицу Дуа.

— Не приближайтесь ни на шаг, — сказал он. — Мне умереть не страшно.

Инес стала что-то быстро и настойчиво говорить ему по-арабски.

Но Карим только улыбался и качал головой. Даже в этот страшный момент цвета его ауры ярко сияли, и в них действительно не было заметно ни малейшего оттенка страха. Он повернулся к тем, кто следил за происходящим с причала и с дороги, и я снова почувствовала, как велика сила его очарования и красоты. *А ведь он и сейчас, — думала я, — надеется победить в этом поединке характеров — его и Инес; и он абсолютно уверен в победе, он даже малейшей возможности поражения себе представить не может...*

По-прежнему удерживая Дуа, свободной рукой Карим поманил к себе Инес. Солнце безжалостно светило ей прямо в лицо — такое бледное после тридцати лет непрерывного ношения *никаба*, — и в ее зеленых глазах отражались солнечные блики, игравшие на воде; от этого, казалось, в глазах ее светится безумие.

Глядя на них обоих, я теперь отчетливо видела, насколько они похожи; так бывает, когда перед тобой вдруг словно промелькнет нечто знакомое в просвеченной солнцем глубине, искаженное и раздробленное на мелкие фрагменты лучами света. У Карима был рот матери, и теперь я могла себе представить, какими нежными были когда-то очертания ее губ. У него были ее гордые скулы, ее великолепная осанка. И все же в нем чувствовалась некая затаенная слабость, которой не было в Инес; нечто податливое, мягкое, точно испорченный фрукт. Та же едва ощутимая слабость читалась в его цветах; я ощущала эту слабость и в его душе, что неприятно меня настораживало.

— Вы же видите, что она собой представляет, лживая шлюха? — обратился Карим ко все разраставшейся толпе. — Это все ее вина! Вы только посмотрите на ее лицо! Посмотрите, что она сделала со мной!

Инес сказала по-французски:

— Отпусти Дуа.

Он лишь хрипло рассмеялся в ответ и продолжал паясничать.

— Все они заодно, эти шлюхи! Все друг за друга держатся. Всегда одну и ту же ложь твердят. — Он резко дернул Дуа за волосы, отчего голова девочки неловко откинулась назад. — Посмотрите-ка на нее! Посмотрите на эти глаза! Попробуйте только сказать, что она не ведает, что творит!

На дальнем конце дощатого настила я заметила Поля-Мари в инвалидном кресле и Луи Ашрона, бережно это кресло толкавшего.

Похоже, они единственные из всех собравшихся наслаждались этой омерзительной сценой. Ру по-прежнему стоял футах в десяти от Карима — слишком далеко, чтобы рискнуть и попытаться вырвать у него девочку. Чтобы щелкнуть зажигалкой, Кариму понадобилось бы не более секунды. Но я видела, что Ру все же явно намерен вмешаться. Я чувствовала это по его напряженной позе, по окаменевшему затылку, по еле заметному покачиванию с пятки на носок...

И вдруг из переулка за спортзалом донесся тревожный вопль, и я узнала голос Оми Аль-Джерба.

— Здесь кто-то есть! Чье-то тело! Э-э-э, да это маленький дружок моей Дуа... — Было совершенно очевидно, что она, задержавшись, не успела еще увидеть, какая трагедия разворачивается на берегу Танн. Услышав вопль Оми, Жозефина мгновенно повернулась к Кариму:

— Где мой сын? Что ты с ним сделал?

Карим пожал плечами:

— Он просто мешал мне пройти.

— Я тебя убью, — прошипела она. — Если ты хоть пальцем его тронул, я просто тебя убью...

Толпа словно застыла вокруг нас, храня гробовое молчание. Никто, кроме Инес, так и не осмелился сказать ни слова. На жарком солнце бензиновая вонь стала уже почти невыносимой. Воздух, казалось, дрожал от напряжения. Мне хорошо было видно, как Поль-Мари подъехал еще ближе; его лицо уже не было багрово-красным — теперь оно приобрело пепельный оттенок. Неужели Поль-Мари по-настоящему испугался за сына?

Жозефина убежала в переулок искать Пилу, но мне не было видно, нашла ли она его; я, как и Ру, была вынуждена оставаться на месте. В плотном кольце неподвижных людей двигались сейчас только Инес и Карим; они осторожно кружили, следя друг за другом, точно готовые к драке коты.

— Отпусти Дуа, — снова сказала Инес негромко, но повелительно. — Я сделаю, как ты хочешь. Я уеду из Ланскне. И навсегда останусь в Танжере. И никогда больше сюда не вернусь...

— Как будто *теперь* это что-то изменит! — взвизгнул Карим, и голос у него неожиданно сорвался, как у подростка. — Ты же вечно торчала рядом, вечно портила мне жизнь! Одним своим видом ты всегда напоминала мне о моем позорном рождении. Но я-то в этом не виноват!

— Карим, — сказала Инес, — ты же прекрасно знаешь, что тебя я никогда ни в чем не винула.

Он снова рассмеялся.

— А зачем тебе было это делать? Я и так каждый день читал это по твоему лицу. — И он снова обратился к зрителям: — Видели ее лицо? Эта «улыбка» означает, что она шлюха. Все они внутри шлюхи, только прячут это под одеждой. Даже надев *никаб*, они продолжают следить за тобой. Испытывают тебя. У них же вечная течка! Ибо они — армия Шайтана, мягкие и нежные, как шелк; но стоит им обвить твою шею руками...

И Карим снова засмеялся. Дешевая зажигалка — красная, блестящая, как клубничный леденец, — весело сверкнула на солнце, раздался щелчок...

Дуа пронзительно вскрикнула. Но пламя не вспыхнуло.

А Карим, сверкнув своей радужной улыбкой, сказал как ни в чем не бывало:

— Оп-ля! Ладно, попробуем еще разок.

Я сделала полшага вперед. И заметила, что задняя дверь спортзала открыта, а на пороге стоит Саид Маджуби и наблюдает за происходящим.

— Но почему Дуа? — спросила я, умоляюще глядя на Карима. — Почему ты выбрал именно ее? Это же невинный ребенок!

— *Ты-то* откуда знаешь? — огрызнулся Карим. — Да мне достаточно на любую из вас посмотреть, и сразу ясно становится, что за женщина передо мной. Там, откуда я родом, мужчины очень хорошо умеют обращаться с такими, как ты и твоя дочь. Это здесь, во Франции, все вечно болтают о свободе выбора, о возможности вести такую жизнь, какая тебе по вкусу...

Теперь вдруг рядом со мной оказалась Алиса.

— Отпусти девочку, — сказала она Кариму. — Никто не хочет, чтобы ты пострадал, чтобы ты себя погубил. Но Дуа-то и вовсе ничего плохого не сделала.

Сладкий, как медовый поцелуй, взгляд Карима переместился на Алису. Он нежно ей улыбнулся и сказал:

— Милая моя сестричка, помнишь, что я тебе говорил? Что в рамадан двери рая открыты для всех? Если бы у тебя тогда хватило мужества сделать то, что сейчас собираюсь сделать я, тогда, возможно, ничего подобного бы и не произошло. А ведь мы могли бы быть вместе. Но ты предпочла слушать нашептывания Шайтана, так что теперь...

— Значит, ты думаешь, Карим, что тебе удалось обмануть Аллаха?

Я не сразу узнала этот голос; он донесся откуда-то из задних рядов и показался мне лишь отдаленно знакомым. Это был сильный, властный голос, какой-то *очень мужской*, и он был исполнен сдержанного гнева.

Сперва я решила, что это Саид, но Саид по-прежнему стоял у задних дверей спортзала и молчал. У него был вид человек, которого силой заставили проснуться и он никак не может поверить в происходящее. Лицо его как-то странно блестело — может, от слез?

Я не выдержала и обернулась. К своему удивлению, я увидела старого Маджуби. Но это был совсем не тот старик, с которым я говорила в доме Аль-Джербы. Это был совершенно иной, преобразившийся Маджуби; Маджуби, обретший новые силы и вновь возродившийся к жизни. Он неторопливо подошел к настилу, и толпа расступалась, давая ему пройти.

— Есть одна история, и некоторым из вас она, возможно, известна, — сказал он своим новым, неотра-зимым голосом, заставлявшим внимать всему, что он скажет. — Однажды учитель и его ученик отправились странствовать вместе, и случилось им оказаться на берегу вздувшейся от паводка реки. И увидели они, что там стоит молодая женщина и никак не может в одиночку переправиться через бурный поток. Учитель без лишних слов подхватил женщину на руки и перенес на другой берег. Потом они двинулись дальше и прошли немало миль, прежде чем ученик решился спросить: «Скажи, учитель, почему ты помог той женщине? Ведь она была совершенно одна и никто ее не сопровождал. К тому же она была молода и красива. Ты, конечно же, поступил неправильно. Ведь она могла попытаться соблазнить тебя! И все-таки ты, не раздумывая, взял ее на руки и перенес через реку. Почему же ты так поступил?» Учитель улыбнулся и ответил: «Я всего лишь перенес ее через реку. А вот *ты* до сих пор несешь ее в своей душе».

Когда старый Маджуби завершил свою притчу, вокруг стояла полная тишина, и лица всех присутствующих были повернуты к нему. Я заметила, как смотрят на него Поль Мюска, по-прежнему пепельно-бледный, Каро Клермон и Луи Ашрон. А Саид Маджуби и вовсе выглядел так, словно перенес тяжелый инсульт и теперь разбит параличом.

Первым заговорил Карим, но голос его звучал гораздо тише, чем прежде, и впервые за все это время я заметила в цветах его ауры признаки неуверенности.

— Отойди от меня, старик, — сказал он, но Мухаммед Маджуби сделал еще шаг по направлению к нему. — Я сказал, отойди! Это война. Это священный *джихад*.

Но Маджуби сделал еще шаг и спросил:

— Война против женщин и детей?

— Война с *аморальностью*! — Теперь голос Карима вновь звучал резко и как-то скрипуче. — Война с той ядовитой дрянью, которая грозит

заразить всех нас! Посмотри на себя, старый дуралей! Ты не видишь даже того, что творится у тебя под носом. Ты понятия не имеешь, что именно нужно сделать! *Аллаху Акбар...*

И с этими словами он ткнул зажигалкой Дуа прямо в лицо. Послышался щелчок, потом разом ухнуло взметнувшееся пламя, а потом все произошло как-то очень быстро, почти одновременно.

Толпа дружно охнула, когда правая рука Карима вдруг расцвела ярким пламенем и следом вспыхнула *абайя* девочки. Дуа пронзительно закричала, и на какую-то долю секунды в дрожащем мареве я успела увидеть лицо Карима и поняла, что его полубезумный взгляд вдруг прояснился и теперь это взгляд человека, который вдруг, в последнюю секунду, что-то понял; и тут пламя бросилось ему в лицо, из голубого став желтым, но я заметила странную фигуру в черном, словно летевшую по воздуху с яростной неудержимостью выпущенной из лука стрелы. Это была Инес в развевающейся черной *абайе*, похожей на распростертые крылья. Широко раскинув в стороны руки, она налетела на Карима и Дуа и крепко обняла их обоих, уже охваченных пламенем.

Карим явно не ожидал ничего подобного; он шарахнулся в сторону, по-прежнему одной рукой прижимая к себе Дуа, и налетел на балюстраду. Старое дерево — смолистая сосна, выбеленная двумя веками жаркого солнца и затяжных дождей, — оказалось слишком хрупким, а сила удара — достаточно большой, и все трое, оставляя за собой куски горящего тряпья и дымный след, рухнули прямо в бурный поток.

Почти в ту же минуту в реку нырнул еще один человек. Одним изящным движением перелетев через балюстраду, он ушел под воду столь же гладко и бесшумно, как речная птица. Я едва успела увидеть на лету его рыжую шевелюру и окликнуть по имени...

— Ру!

Но он уже исчез в воде.

Мы подбежали к балюстраде. Несколько мгновений на поверхности воды не было видно ничего, кроме кусков обгорелой *абайи*, принадлежавшей Дуа. Затем вода словно взорвалась, в ней яркой вспышкой мелькнула рыжая голова, затем какое-то неясное бледное пятно, и вскоре мы увидели, как Ру плывет к берегу, а Дуа крепко обнимает его за шею...

Позже мы обнаружили, что как раз ее развалившаяся на куски *абайя* и приняла на себя большую часть огня; даже *камиза* на девочке оказалась целехонька, даже волосы обгорели совсем чуть-чуть. Ру почти сразу же снова нырнул, надеясь отыскать еще кого-нибудь, но Инес и ее сын исчезли.

Глава тринадцатая

Среда, 1 сентября

Наш Спаситель восстал со смертного ложа за три дня. Увы, мне на это потребовалось несколько больше времени. И очень жаль, что так получилось; я знаю, что возни со мной было предостаточно. Меня принесли домой на руках — не знаю, правда, кто, — и если верить рассказам, которые циркулируют по всему Ланскне, то моих спасителей должно было быть никак не меньше ста человек.

Только представьте себе эту дивную картину: Каро Клермон — в роли Магдалины, а отец Анри — в роли святого Петра! Да, *и он* тоже, оказывается, там был — Каро отправила ему эсэмэс; именно *ему*, вместо того чтобы просто позвонить в полицию. И он, едва закончив проповедь в Пон-ле-Саул, примчался сломя голову, чтобы ничего не пропустить. Впрочем, к тому времени самое интересное было уже позади, и паства вряд ли заметила присутствие своего пастыря.

Он, разумеется, очень хотел, чтобы я в последний раз причастился и исповедовался, а он отпустил бы мне мои грехи. И Каро наверняка бы ему это позволила; но тут вмешалась Жозефина. Из рассказов Жана-Филиппа — который, к моей радости, почти не пострадал, если не считать того, что голова у него до сих пор болит и на ней весьма неприятный глубокий порез, — я понял, что вмешательство Жозефины носило, если можно так выразиться, раблезианский характер (по мнению Каро, впрочем, излишне агрессивный). Жозефина буквально силой изгнала отца Анри Леметра из комнаты больного, а уже за порогом он был подвергнут дальнейшему насилию и оскорблениям со стороны Генриетты Муассон, которая узнала в нем того *извращенца*, который пытался выдать себя за «нашего дорогого месье кюре». Пилу рассказывал, что Генриетта гонялась за *извращенцем* с метлой, вопя, словно фурия, пока окончательно не выгнала его из дома. Но снаружи его встретил Влад, который, по словам Пилу, обычно не кусается, но Генриетта так вопила, так размахивала своей метлой, да и священник был Владу совсем незнаком... в общем, увы...

В общем, вышло *клево* — по-моему, это самое подходящее слово.

Тела Инес и Карима Беншарки полицейские обнаружили только в понедельник. Инес по-прежнему обнимала сына; руки ее так и остались сомкнутыми в этом последнем яростном объятии, а ее обгоревшая черная *абайя* окутывала их обоих, как саван. Жозефина рассказала мне историю

Инес. Ах, отец, как жаль, что я раньше всего этого не узнал! Как жаль, что я так и не увидел ее лица!

Сам я трое суток пребывал между жизнью и смертью. Пневмония, обезвоживание организма и чудовищное переутомление взяли свое — я пребывал в беспамятстве, бредил, и мною весьма энергично занимались наш деревенский доктор Кюсонне и Жозефина, которая с самого начала почти от меня не отходила.

По ее словам, все это время в дом непрерывным потоком шли люди. Некоторых я смутно помню, например Гийома Дюплесси, Шарля Леви, Люка Клермона и Алису Маджуби. Из Маро тоже многие приходили, причем с подарками — обычно чем-то съестным. И, разумеется, постоянно заходила Вианн Роше — то с кувшином горячего шоколада, то с горстью *mendiants*,^[65] то с банкой персикового джема, но обязательно с улыбкой, похожей на летний рассвет.

— Как вы, месье кюре?

Я улыбнулся. (Да, я уже почти научился улыбаться.)

— Ничего, скоро поправлюсь. Хотя для этого мне, возможно, понадобится ваш шоколад.

Она одобрительно на меня посмотрела:

— Хорошо, я непременно постараюсь.

— Как Дуа?

Она пожала плечами.

— Теперь нужно только время. Она сейчас у Аль-Джерба, они все о ней заботятся.

— Прекрасно. Они очень хорошие люди. А как вы?

— Думаю, мы, скорее всего, пробудем здесь еще неделю. Дождемся, по крайней мере, когда вы снова встанете на ноги.

Этого я никак не ожидал.

— Зачем же ради меня?..

Снова эта улыбка.

— Да я и сама не знаю. Наверное, начинаю к вам привыкать.

Она сунула руку в карман и вытащила какой-то предмет. Я ожидал увидеть очередную шоколадку, но на ладони у Вианн лежала одна-единственная сухая персиковая косточка.

— Это последний персик из нынешнего урожая Арманды, — сказала она. — Я собиралась посадить эту косточку у нее на могиле. А потом вспомнила ваш садик — у вас ведь, кажется, нет ни одного персикового дерева?

— Нет.

— В таком случае посадите эту косточку у себя в саду. Рядом со стеной дома, где больше солнца. Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем она даст первые плоды, но если хватит времени и терпения... Кстати, в Китае персик является символом вечной жизни, вы знаете?

Я покачал головой.

Я взял у нее персиковую косточку; мне не хотелось говорить, что вскоре, вполне возможно, меня здесь уже не будет и я не увижу, как растет это деревце. В конце концов, даже мой дом принадлежит церкви, а положение у меня весьма шаткое. Сегодня мне позвонил епископ — трубку взяла Жозефина — и сказал, что завтра хочет заехать, поскольку нам с ним необходимо кое-что обсудить. Полагаю, отец Анри Леметр уже поведал ему собственную версию произошедшей со мной истории. Нет, я не жду письменного подтверждения. Хотя имя мое теперь полностью очищено, сомневаюсь, что это окажет сколько-нибудь существенное воздействие на решение высших властей. Я опозорил церковь, я не подчинялся приказам епископа, из-за меня возникли трения между двумя общинами. Мне нет оправдания, я виновен во всех своих прегрешениях. Однако...

Пока я пребывал в «чреве кита», у меня было вполне достаточно времени, чтобы как следует пораскинуть мозгами. Вспомнить, что действительно важно. Понять, где я хочу быть. И я осознал, что Ланскне для меня — гораздо больше, чем просто приход. Я не смогу уехать отсюда, даже если епископ, что весьма вероятно, попросит это сделать. И если из-за этого мне придется отказаться от церкви, значит, так тому и быть. Да, отец мой, я все начну сначала. Возможно, воспользуюсь своими плотницкими навыками, или займусь садоводством, или стану учителем. Мне пока трудно все это себе представить, но ты же знаешь, я никогда не отличался развитым воображением. И все же *это* мне гораздо легче представить, чем вступление в должность в другом приходе.

Жозефина говорит, что в церкви Святого Иеронима все обо мне скучают. После случая с Владом отец Анри больше там не появлялся. И колокола молчат с прошлой субботы, и мессу с тех пор никто не служит. Возможно, отец Анри ждет моего отъезда. Возможно, епископ велел ему держаться подальше от Ланскне, пока я еще здесь.

Уже сгустились сумерки, встает луна. Лежа в постели, я хорошо ее вижу — я ведь сплю с распахнутыми ставнями. Темноту я никогда не любил, а после пребывания в «чреве кита» стал, похоже, любить ее еще меньше. И когда я просыпаюсь среди ночи после короткого беспокойного сна, мне хочется видеть звезды.

Слышно, как за дверью ходит Жозефина. Что бы я ей ни говорил,

ничто не может убедить ее надолго меня покинуть и уйти домой. Впрочем, она уходит — примерно на час, чтобы повидать Пилу и проверить, как идут дела в кафе; пока что там хозяйничает Поль, и — видимо, для разнообразия — ведет себя вполне разумно. Возможно, это должно меня удивлять. Но после того, что случилось в Маро, меня, похоже, мало что удивляет. На самом деле люди далеко не всегда такие, какими кажутся, даже такая развалина, как Поль-Мари; так что он в один прекрасный день нас еще удивит.

На столике возле моей кровати лежит персиковая косточка, которую подарила мне Вианн. Как это на нее похоже — сделать такой подарок; ведь сама она никогда подолгу не живет на одном месте и не может увидеть, как прорастает посаженное ею семя. Вечная жизнь? Ну, мне-то она явно не суждена. Луна уже в последней четверти; на том берегу Танн разносится вечерний призыв к молитве. Но здесь, в реальном мире, он для меня больше не звучит как угроза. Свои страхи я оставил там, в «чреве кита», как и множество других вещей. Сомневаюсь, правда, что стал от этого лучше. Но внутренне я, пожалуй, действительно стал иным, хотя кое-что я еще только начинаю познавать — осторожно, словно человек, пробуя кончиком языка то нежное местечко во рту, откуда только что удалили больной зуб.

Не могу с уверенностью сказать, как именно это произошло. Но то, что началось с Вианн Роше, завершилось Инес Беншарки. И сегодня, впервые за семь дней, я точно знаю, что ночью непременно усну, а когда проснусь, на небе будут сиять звезды.

Глава четырнадцатая

Четверг, 2 сентября

Этим утром я все же поднялся с постели, презрев приказания Кюсонне и неодобрение Жозефины, и был потрясен тем, до чего же все-таки ослаб. Мне потребовалось невероятно много времени, чтобы привести себя в порядок, но ведь епископ приезжает к нам не каждый день. И у меня не было ни малейшего желания беседовать с ним, пребывая в горизонтальном положении.

Я принял душ и с особой тщательностью оделся; после некоторых колебаний я все же решил надеть свою старую сутану, хотя не носил ее уже несколько лет. Это, возможно, моя последняя возможность, подумал я и был слегка удивлен той душевной болью, которую мне это причинило. Жозефина ушла проводить Пилу, так что я прошел на кухню, размышляя, что бы такого съесть на завтрак.

Жозефина говорила, что многие из тех, кто приходил меня проводить, приносили в подарок что-нибудь съестное. И она не преувеличивала: на кухне буквально все поверхности были заставлены тарелками, жестянками, коробками и кастрюлями с едой. Там были самые разнообразные киши^[66] и пирожки, печенья и сласти, фрукты и бутылки вина, банки с вареньем, жареное и вяленое мясо, всевозможные овощные карри и супы и огромный запас самых разнообразных марокканских лепешек. Открыв холодильник, я обнаружил там сыры, ветчину, холодные мясные закуски, паштеты...

Ошалеv от невероятного количества и разнообразия еды, я просто сварил себе кофе и поджарил в тостере кусочек хлеба, а затем впервые более чем за неделю вышел в сад.

Кто-то прополол мои клумбы. Кто бы это ни был, но он еще и аккуратно подрезал беспорядочно разросшиеся розы, расставил по саду дюжину горшков с красной геранью и подвязал штокрозы, которые так вытянулись, что грозили вот-вот сломаться.

Я уселся на свою любимую скамью и стал наблюдать за тем, что происходит на улице. Было еще довольно рано, начало девятого, ласково пригревало утреннее солнце, пели птицы, небо было ясным. Но в глубине души я все же испытывал страх. За все те годы, что я был священником в Ланскне, епископ приезжал сюда всего четыре раза, но никогда — по светской причине. Я догадывался, что после того, как отцу Анри не удалось на словах дать мне понять, что надо готовиться оставить свой пост, епископ

собирается сам сообщить мне об этом.

Я понимаю, просто глупо так нервничать. Но я ведь священник, отец мой, мало того, я священник Ланскне, и для меня просто немыслимо покинуть этот город. Так же немыслимо, как и перестать быть священником. И то и другое равносильно тому, чтобы расстаться с лучшей половиной души. Нет, это совершенно невозможно!

Я услышал, как часы пробили четверть девятого. В девять должен прибыть епископ. Полагаю, его вердикт неизбежен. Мне, наверное, лучше было бы не сидеть, а немного походить по саду, чтобы успокоиться, но из-за болезни я слишком ослаб, а потому так и остался на скамье. Просто сидел, чувствуя себя все более несчастным, и ждал, когда на бульваре послышится звук приближающегося автомобиля епископа...

Но вместо епископа я увидел старую Оми Аль-Джерба, медленно бредущую по улице, и маленькую Майю, которая бежала впереди, смешно подпрыгивая, как часто делают дети. Несколько непривычно было видеть жителей Маро по эту сторону моста, но, как мне говорили, после событий, имевших место неделю назад, их визиты в Ланскне стали делом вполне обычным.

Майя первой добежала до моего дома, строго посмотрела на меня из-за ограды и заявила:

— Ага, *наконец-то* ты встал! — И в этих нескольких словах таилось величайшее осуждение.

— Ну, я довольно-таки тяжело болел, — попытался оправдаться я.

— Джинны не болеют! — не сдавалась Майя.

Видимо, даже мое печальное вызволение из подвала ничуть не поколебало веру Майи в потусторонние силы. Ее не тронуло даже мое откровенное признание, что я священник. Мрачно на меня глянув, она сообщила:

— А у Дуа *мемти* умерла.

— Да, Майя, я знаю. И мне очень жаль.

Майя пожала плечами.

— Ты же в этом не виноват. Не можешь же ты сразу все на свете исправить.

Это был настолько разумный и реалистичный ответ, что я не выдержал и громко расхохотался. Только смех у меня получился какой-то странный, невеселый. И все-таки это был смех. Во всяком случае, своим смехом я, безусловно, удивил Оми Аль-Джерба; она некоторое время просто смотрела на меня из-за изгороди с выражением какого-то неуверенного одобрения на лице.

— Ну что ж, — объявила она, — выглядите-то вы ужасно.

— С радостью это подтверждаю, — сказал я и поставил на скамью кофейную чашку, которую так и держал в руках.

Она состроила какую-то гримасу, которую, видимо, следовало считать улыбкой. Оми так стара, что морщины создали у нее на лице собственную топографию, и каждая придает ему свое, особое выражение. Но глаза, которые от старости стали голубыми, как у младенца, сияют на удивление молодо. Вианн всегда говорила, что Оми напоминает ей Арманду, и только теперь я наконец понял почему. Она проявляет по отношению к другим ту непочтительность, которую могут себе позволить лишь очень старые или очень юные особы.

— Я слышала, вы уезжаете, — сказала она.

— Это неверные слухи.

И автор их, полагаю, — Каро Клермон. Всегда почти можно проследить истоки подобных слухов, ибо цепочка следов тянется прямо к ее дверям — особенно если это какие-то дурные слухи. Мой инстинктивный и очень быстрый ответ, правда, несколько удивил меня самого, зато Оми одобрительно закивала.

— Вот и хорошо, — сказала она. — Вы тут очень даже нужны.

— А у меня совсем иные сведения, — возразил я.

Оми насмешливо фыркнула.

— Некоторые люди не понимают, *что* им действительно нужно, пока это не потеряют. Уж вы-то должны были бы это знать, месье кюре. Хи-и! Мужчины! Все вы считаете себя мудрецами, но только женщина способна указать вам на то, чего вы так и не заметили, хоть оно находится прямо у вас под носом. — Она засмеялась, показывая десны, розовые, как резиновые сапожки Майи, и вытащила из кармана кокосовое печенье. — Хотите? — предложила она. — Съешьте одну штучку, и вам сразу полегчает.

— Спасибо. Но я не ребенок, — сказал я.

Оми снова насмешливо фыркнула:

— *Ме!* Ты, парень, достаточно молод, чтобы быть моим правнуком. — Она пожала плечами и принялась жевать печенье.

— Разве рамадан уже закончился? — спросил я.

— Слишком я стара для рамадана. А моя Майя слишком мала. — Подмигнув мне, она протянула Майе печенье. — Ох вы, священники! Все вы одинаковые. Вы считаете, что пост заставляет больше думать о Боге, тогда как любой человек, умеющий готовить, сразу вам скажет: любой пост заставляет человека думать *только о еде*. — Она улыбнулась мне всеми

своими морщинками разом и прибавила: — Неужели ты думаешь, что Богу есть какое-то дело до того, что ты кладешь в рот? — Она сунула в рот еще одно печенье и вдруг сказала: — Ага, а вот это, похоже, как раз и есть твой епископ.

Это оказалось звуками приближающегося автомобиля: двойное постукивание колес по горбтому, как спина верблюда, мосту, затем рев мотора на подъеме. Машина прогрохотала по булыжной мостовой прямо к моему дому. Большинство жителей Ланскне, которые водят машину (сам-то я не вожу), знают, как здесь следует обращаться с железным конем; его всячески оберегают от рытвин, замедляют ход перед старым мостом и прибавляют скорость только в дальнем конце бульвара. Епископ особенностей наших улиц не знал, и выхлоп его серебристой «ауди» в результате пережитого напряжения был весьма заметен, когда она наконец остановилась.

Нашему епископу за пятьдесят, у него квадратные плечи, квадратная челюсть, и он больше похож на бывшего регбиста, чем на служителя церкви. Он, должно быть, пользуется услугами того же дантиста, что и отец Анри, потому что зубы у обоих выглядят практически одинаково. Этим утром зубы епископа сверкали прямо-таки свирепой белизной, когда он доброжелательно улыбнулся и воскликнул:

— А вот и вы, Франсис!

— Доброе утро, монсеньор, — сказал я (он любит, чтобы его называли Тони).

— Как вы официально! Ну что ж, выглядите вы хорошо. А это... — И он с любопытством посмотрел на Оми; впрочем, та тоже, ничуть не смущаясь, уставилась на него.

Я попытался предупредить ее дальнейшие действия строгим взглядом и сказал:

— Монсеньор, это мадам Аль-Джерба. Она как раз собиралась уходить.

— Да неужто? — удивилась Оми.

— Ну конечно, — твердо сказал я.

— Скажу по правде, — и не думала умолкать Оми, — я никогда еще епископа не видела. Я думала, вы будете в пурпуре.

— Да-да, мадам, большое спасибо, что навестили меня, — поспешил вмешаться я, — но нам с епископом предстоит важный разговор...

— А вы не обращайтесь на нас с Майей внимания, — проявила великодушие Оми. — Мы с удовольствием подождем. — И она уселась на садовую скамью с таким видом, словно собиралась ждать вечно, если

понадобится.

— Извините, но чего вы ждете? — осведомился епископ.

— О, ничего особенного. Просто всем хочется поскорее увидеть месье кюре снова здоровым, снова на ногах. У нас ведь очень многие по нему соскучились.

— Правда? — Епископ удивленно на меня глянул. И, надо сказать, его удивление было искренним и весьма далеким от лести.

— Ой, еще бы! — продолжала Оми. — Тот новый священник ну просто никуда не годится! Разве он может заменить нашего месье кюре? Да никогда в жизни! Такие, как он, может, в большом городе работать могут, но только не в такой деревне, как наш Ланскне. *Хи!* Чтобы душу деревни понять, требуется гораздо больше, чем пройти несколько комиссий. Отцу Анри еще очень многому нужно учиться.

И как раз в этот момент зазвонили колокола церкви Сен-Жером. *Мои* колокола созывали к мессе, хотя сегодня отец Анри и не должен был ее служить.

Епископ нахмурился:

— А это не?..

— Да, это они.

Колокола звонили слишком громко — невозможно было не обратить на них внимания. Мы с епископом дошли до конца улицы: площадь перед церковью была пуста. Там не было ни души, но двери церкви были распахнуты настежь. И колокола все звонили и звонили. Я пересек площадь и подошел к дверям вместе с епископом, который после секундного колебания последовал за мной. Затем мы вошли внутрь.

Оказалось, что в церкви полно народу. Как правило, наиболее прилежные мои прихожане — в лучшем случае человек сорок-пятьдесят; да и то столько приходит в Рождество или на Пасху. В остальное время хорошо, если в церкви бывает человек двадцать пять, а то и меньше. Но сегодня на скамьях буквально не было свободного места; люди даже у дальней стены стояли. Там собралось человек двести, а может, и больше — по крайней мере половина населения Ланскне. Все явно ждали моего появления.

— Что же *все-таки* происходит? — спросил епископ.

— Понятия не имею, монсеньор.

— Месье кюре! Очень рад, что вы снова в добром здравии!

Это крикнул Поль-Мари Мюска, сидевший в своем инвалидном кресле у самого входа. Рядом с ним пристроился Пилу — с Владом, разумеется, но к ошейнику пса он привязал кусок крепкой веревки. Затем я увидел

Жозефину, улыбающуюся так, словно сердце у нее вот-вот разорвется от счастья. Затем — Жоржа Пуату с женой. Семейство Ашрон явилось *все целиком*, даже их старший сын Жан-Луи пришел, хотя обычно он не посещает церковь. Затем я увидел Жолин Дру, ее сына Жанно, Гийома Дюплесси, Каролину и Жоржа Клермон — Каро смотрела на меня так сочувственно, что мне захотелось прямо сейчас свернуть ей шею. И Нарсис тоже пришел, хотя он крайне редко заглядывает в церковь — раза два в год в лучшем случае придет причаститься, если вспомнит, конечно. Были там и Генриетта Муассон, и Шарль Леви, и даже наш местный англичанин Джей Макинтош...

Но я увидел и тех, кто никогда — и по вполне определенной причине — *не был* моими прихожанами. Захра Аль-Джерба, Соня Беншарки и Алиса Маджуби, их отец Саид. И даже старый Мохаммед Маджуби. И все они принесли с собой в церковь цветы и фрукты. Была там, разумеется, и Вианн Роше. И ее дочери Анук и Розетт. И немало представителей речного народа — оборванных, покрытых татуировкой. Все эти люди толпились сегодня в моей церкви, заполнив ее до предела...

И на каждой свободной поверхности, на каждом выступе горели свечи. Сотни, *тысячи* тонких церковных свечей, и каждую из них зажгли с молитвой. Свечи горели и на алтаре, и возле купели, и у подножия статуй святого Франциска и Девы Марии. У нас в церкви никогда не горело столько свечей сразу, даже в сочельник, но сегодня, в сентябре, хотя это был самый заурядный четверг, с самого утра наша небольшая церковь Святого Иеронима сияла, точно кафедральный собор.

— Рад видеть вас в добром здравии, отец мой!

— Вам передали мои цветы?

— Надеюсь, отец, вам понравилось мое вино?

— Отец мой, а когда вы начнете принимать исповеди?

Я был потрясен. Я повернулся к епископу и растерянно начал:

— Но я *понятия не имел*...

И увидел, что монсеньор улыбается. Возможно, в этой улыбке, точно сошедшей с рекламы зубной пасты, и чувствовалось немного морозца, однако наш епископ — политик достаточно опытный и хорошо знает, когда следует сменить союзников.

— Как это чудесно, что вас здесь собралось так много! — обратился он к жителям Ланскне. — Да, отец Франсис — да не толпитесь вы так вокруг него! — *ра-зумеется*, согласится сказать вам несколько слов.

Если честно, мне никогда еще не приходилось служить мессу при таком стечении людей. И я, конечно же, совершенно не был готов к

подобному — однако, к немалому удивлению, нужные слова нашлись сами собой; они пришли сразу и с куда большей легкостью, чем когда бы то ни было прежде. Я, правда, уже в точности и не помню, что именно говорил, но, по-моему, это касалось в основном того, как прекрасно и сложно принадлежать к такой необычной общности людей, как наша; я говорил о доброте тех, кого у нас обычно считают чужаками; о том, как нам, бледным в темноте, помогает свет, падающий из окон чужих домов; и о том, как тяжело оказаться в «чреве кита»; и о том, как трудно чувствовать себя чужим в другой стране, — в общем, когда я наконец завершил свою речь, епископа в церкви уже не было.

Как сказала бы Вианн Роше, ветер снова переменился.

Ид[\[67\]](#)

Глава первая

Среда, 8 сентября

В общем, отец Анри в Ланскне так и не вернулся. После таких событий никто, собственно, и не ожидал, что он вернется. Жители Ланскне — не без участия Жозефины — потребовали вновь восстановить Франсиса Рейно в правах кюре, и оставшиеся в меньшинстве сторонники отца Анри, в частности Каро Клермон, быстро поняли, что им лучше особо не демонстрировать недовольствие. Тем более именно они в свое время прославляли Карима Беншарки.

Рейно вопреки указаниям доктора в тот же день вновь приступил к работе. Он был все еще очень худ и бледен, но заявил, что готов на все, лишь бы не выслушивать исповеди, лежа в постели. И потом, сказал он мне с присущей ему иронией, визитеры нанесли в дом столько съестного, что впору открывать продуктовую лавку. Рейно, честно говоря, совершенно не умел и не умеет правильно реагировать на проявления любви и признательности. Подобные вещи совершенно выводят его из равновесия, и ему начинает казаться, что он что-то сделал неправильно. В результате он стал еще более строгим исповедником и, выслушивая признания людей в совершенных ими грехах, направо и налево раздает бесчисленные «Aves». Но люди его понимают и охотно исполняют назначенное. Мало того, они чувствуют свою ответственность перед ним. Они хотят сделать его счастливым.

Жозефина так никуда и не уехала и теперь уж вряд ли когда-нибудь соберется. Нынче вечером я зашла к ней, чтобы попрощаться, и нашла ее на террасе кафе: она пила горячий шоколад и смотрела, как Пилу удит рыбу, сидя на краешке моста. Рядом с Пилу пристроился Поль-Мари, а возле его инвалидного кресла, прямо поперек дороги, развалился Влад. Мне, собственно, была видна только спина Поля, но было в его позе что-то такое, отчего я не сразу отвела от него глаза...

— Я знаю, это глупо, — сказала Жозефина. — Ведь люди, в общем-то, не меняются. Ну, по-настоящему не меняются. Но в последнее время он стал... — она пожала плечами, не находя слов. — Ну, ты и сама понимаешь. Он стал совсем другим.

Я улыбнулась.

— Да, я понимаю. Я тоже это заметила. Но ты не права: *меняются* люди действительно очень редко — но порой они как бы *взрослеют*, если,

конечно, дать им такую возможность. Посмотри, например, на Рейно.

Жозефина кивнула.

Конечно, его, нашего месье кюре, нужно знать очень хорошо, чтобы почувствовать в нем сколько-нибудь серьезную перемену. Но он действительно очень изменился, хотя заметить это мало кто способен. Я заметила по цветам его ауры. А Жозефина, потому что...

— А ты видела свою старую *chocolaterie*? Как раз ее отделку закончили.

Я покачала головой.

— Надо будет посмотреть.

Я, вообще-то, знала, что в последние две недели Люк Клермон с отцом приложили немало усилий, восстанавливая шоколадную лавку. Ру вызвался им помочь, и все это время мы его почти не видели; и вот сегодня, направляясь в кафе, я как-то совсем упустила из виду, что надо бы сходить и посмотреть, как продвигаются дела.

— И что там теперь будет? — спросила я.

Она только плечами пожала:

— Твоя догадка ничуть не лучше моей.

Я знаю, о чем она думает. С тех пор как Рейно встал с постели, прошла уже неделя. Снова начинаются занятия в школе. Нам пора возвращаться в Париж. И все же...

— Сегодня ты никак не можешь уехать, — утром заявила мне Оми, когда я попыталась сообщить о нашем отъезде. — Сегодня конец рамадана. И вечером будет суп *харира*, и ячменный суп, и шестнадцать разных мясных кушаний, и жареный барашек, и кускус со специями, и *чебакия*, и фаршированные финики. Кроме того, я сама буду печь кокосовое печенье *селлу* по рецепту моей матери, и ты себе никогда не простишь, если упустишь возможность его попробовать.

Все мы, разумеется, были приглашены. Там соберутся жители обоих берегов Танн, позвали даже речных цыган. В домиках Аль-Джерба или Маджуби места для всех, конечно, не хватит, но ночи стояли по-прежнему теплые, и старый причал сочли идеальным местом для пира. На причале и на берегу уже установили складные столы и скамьи, а суденышки, что стояли ближе к причалу, разукрасили цветными фонариками и повесили там большие светильники. Вечером женщины наденут самые лучшие и самые яркие свои одежды — сегодня никого не будет в черном! — и умастят кожу душистыми маслами пачулей, миндаля, кедра, сандала, розы. Для детей устроят игры, ярко освещенный минарет будет сиять в ночи, а я уже приготовила целую кучу сладостей из шоколада — с фисташками, с

кардамоном, — завернутых в «золотую» фольгу и сложенных в узелки из цветной бумаги, чтобы можно было подарить каждому.

Туда, конечно, придут не все. Семейство Ашрон так и осталось в оппозиции; да и некоторые молодые люди из тех, что раньше особенно активно посещали спортзал, тоже отказались принять участие в празднике. И все же Ланскне никогда еще не видел столь обширного собрания представителей самых различных общественных группировок. «Магрибцы», речные крысы, жители деревни и разные другие гости — все соберутся сегодня на берегу реки, чтобы отпраздновать конец священного рамадана...

— Никакого вина, разумеется, — сказала Жозефина. — И никаких танцев. Ну что это за праздник?

Я рассмеялась.

— Я уверена, тебе и так будет весело.

Она подозрительно на меня глянула.

— Ты так говоришь, словно тебя там не будет.

— Конечно же, я там буду!

Конечно, буду. Но что-то уже чувствуется в осеннем воздухе, Жозефина; и пахнет это «что-то» автомобильным выхлопом, туманами над Сенной, парижскими платанами, сентябрьским дождем на городских улицах. Я знаю, что это означает. И ты тоже это понимаешь. Ведь и ты всегда чувствовала, когда ветер меняет направление, когда он словно тянет тебя за собой. Да и на площади Сен-Жером уже пахнет осенью. И тени стали длиннее. Вон моя Анук о чем-то разговаривает с Жанно — и это очень серьезный разговор; видишь, ее рука покоится в его руке; а вон Розетт и Пантуфль с Бамом гоняются друг за другом по булыжной мостовой, точно стайка осенних листьев. И свет вокруг какой-то странно розовый и отчего-то печальный — словно ностальгический отсвет минувших лет; и я чувствую, как что-то кончается, но что? Белая штукатурка на стенах колокольни отливает нежно-розовым. Танн застыла в неподвижности, точно лист кованого золота. Я вижу перед собой весь Ланскне — от площади Сен-Жером до Маро. И здешних жителей я тоже вижу — по цветам их аур, которые вздымаются ввысь, точно струйки дыма на фоне бледнеющего, еще совсем летнего неба.

Так много людей. Так много историй. И все они переплетены с моей собственной историей в этой сотканной из солнечных лучей «колыбели для кошки».

Франсис Рейно поливает в своем саду посаженную в землю персиковую косточку и думает об Арманде. А на палубе черного плавучего

дома лежит на спине Ру и ждет, когда в небе зажгутся звезды. Поль-Мари на мосту смотрит на сына, поймавшего окуня, и улыбается — это настолько незнакомое ощущение, что он вынужден прикоснуться к губам пальцами и проверить, действительно ли там есть эта улыбка; таким движением усатый человек, съев бутерброд, проверяет, не застряли ли в его усах крошки. В мечети готовится к молитве старый Маджуби. Шпиль минарета, освещенный последними закатными лучами, словно плывет в небе. А в одном из переулков Маро над картонной коробкой с двумя щенками склонились Франсуа и Карина Ашрон и маленькая Майя. Дуа, сидя на берегу реки, неотрывно смотрит на воду. Она больше не носит долгополую *абайю*, на ней джинсы, *камиза* и красные вышитые шлепанцы, *те самые*. Рядом с Дуа сидит Алиса Маджуби; ее короткие волосы ничем не покрыты, а глаза полны слез.

Понимаете, куда бы я ни посмотрела, я всюду вижу что-то соединяющее меня с Ланскне. Истории, люди, воспоминания, такие же нереальные, как жаркое марево над дорогой; но все это обладает определенным звучанием, и кажется, будто эти струны вечернего света способны сыграть мелодию, которая в итоге может привести меня домой. Итак, моя *chocolaterie* наконец приведена в порядок, но мне, как ни странно, не очень хочется смотреть, что там получилось. Лучше, пожалуй, вспоминать ее такой, какой я впервые увидела ее три недели назад: разрушенной, обгоревшей, заброшенной. Но, с другой стороны, я никогда по-настоящему не умела с чем-то расставаться. Я пыталась, но всегда оставляла частицу самой себя — точно семена, ждущие подходящего момента, чтобы про-расти.

Я покинула Жозефину и Ру, пусть готовятся к вечернему празднеству, а сама решила сходить на площадь Сен-Жером. На фоне голубого летнего неба, постепенно блекнущего и становящегося серым, чернел силуэт церкви. Да! Все оказалось правдой: шоколадная лавка вновь стала такой же, как в тот день, когда я отсюда уехала, — на подоконнике горшки с цветами, и ставни тоже цвета красной герани, и на стенах свежая побелка, все так и сияет новизной, все снова ждет кого-то...

Кого-то вроде тебя...

Со стороны Маро доносился клич муэдзина. И одновременно с ним часы на колокольне начали отбивать очередные полчаса. Жанно Дру уже ушел домой, и Анук стояла на углу одна; у ее ног виднелась тень Пантуфля, точно веха, отмечающая наш путь.

Что-то скрипнуло у меня над головой. Оказывается, к стене скобой прикрепили деревянную вывеску — над дверью, на том же месте, где она

была прежде. Скрип совсем тихий, но настойчивый, точно голосок маленькой певчей птички:

Попробуй. Испытай меня на вкус. Познай наслаждение.

Я подняла голову. Вывеска пока пуста; ее нужно только покрасить и написать нужные слова. Я почти видела на ней те самые красные и желтые буквы, и мне казалось, будто события минувших восьми лет хранились, аккуратно сложенные, и теперь их вновь развернули, но так, что не осталось ни рваных краев, ни пропусков, однако на них заметен блеск былой и ныне возродившейся жизни.

И жизнь эта пахнет обеими Америками, дворцом Монтесумы, вином со специями в золотых бокалах, смешанным с гранатовым соком. А еще она пахнет сливками, и кардамоном, и кострами, на которых приносят жертвы, и замками, и дворцами, и ванилью, и мокко, и розой. Этот запах оглушает, он лавиной обрушивается на меня, он сбивает меня с ног, точно порыв сильного ветра, он уносит меня, как любовь...

Останешься ли ты, Вианн? Останешься ли?

Я заметила, что Анук и Розетт следят за мной. У обеих здесь друзья. Обе они уже стали частью этого места, как и все мы прежде стали частью Парижа; все мы оказались связаны сотней невидимых нитей, которые придется разорвать, когда мы отсюда уедем...

Я протянула руку и коснулась двери. Дверь тоже выкрашена в цвет красной герани — мой любимый цвет. Ру, который красил дверь, должно быть, знал это. Так, посмотрим, смогу ли я разглядеть слабое золотистое сияние, словно обрамляющее дверную раму. Такое милое маленькое волшебство. Краем глаза я заметила, что Бам очень внимательно наблюдает за мной. С тех пор как мы приехали в Ланскне, Бам все время был мне виден очень хорошо. А сегодня так же хорошо мне виден и Пантуфль; моргая своими серьезными темными глазами, он смотрит на меня, прячась в тени.

Я слегка толкнула дверь. Она оказалась не заперта. Здесь двери всегда открыты. Она отворилась со скрипом, и внутри, в темноте, что-то мелькнуло. Что это? Станный промельк чего-то голубого, как оперение зимородка, мазок чего-то ослепительно-оранжевого... Мои дети учатся, набираются знаний, сказала я себе со странной ноткой гордости. Они умеют вызывать ветер. Но разве этого достаточно? Разве этого когда-либо бывало достаточно?

А там, за рекой, в Маро, Ру понемногу к чему-то готовится — я легко узнала признаки этого: в его глазах словно появился некий отсвет иных мест. Ру никогда бы не стал жить в обыкновенном доме. Даже плавучий

дом — для него это уже существенное ограничение возможностей. А Ланскне ведь *так мал*, Ру. Здесь живут маленькие люди. Ограниченные. И души у них не такие широкие. И ведь ты, в конце концов, отправился со мной только потому, что знал: она никогда отсюда не уедет...

Я тихонько закрыла дверь. У меня над головой невидимая птичка тихо, но настойчиво щебетала: *Попробуй. Попробуй.*

Я протянула руки к моим детям. Анук взяла меня за одну руку, а Розетт — за другую. Клич муэдзина над Маро уже стих. И солнце село. Мы не стали оглядываться назад. Нам пора было на праздник.

Слова благодарности

Я снова и от всего сердца благодарю тех героев, что не воспеты в моей книге, но так тесно с нею связаны: моего литературного агента Питера Робинсона; моего пресс-агента Анну и всех сотрудников «Трансуорлда», особенно Марианну Велманс, Кейт Самано и Дебору Эдамс; спасибо Клэр Уорд за обложку, а Луизе Пейдж — за то, что она всегда организует рекламу с присущим ей юмором и необычайно эффективно. Спасибо Марку, который руководит моим веб-сайтом, и Шеду за дзен-мгновения, дарившие мне вдохновение. Спасибо и Владу, и «Бойз», и «Меланхолическому Баритону» (на самом деле всем с Вест-Энда), а также всем моим друзьям в «Твиттере» за печенье, поддержку и изящные беседы. Спасибо моим корректорам, издателям, распространителям, организаторам всевозможных встреч и всем тем, кто трудится «за кулисами» ради того, чтобы мои книги увидели свет. Но самая моя большая благодарность — вам, мои читатели, ибо без вас Вианн Роше никогда не обрела бы собственного голоса.

Наконец — ведь всем нам нужно в жизни за что-то держаться, — спасибо Кевину и Аннушке, которые остановили тот ветер, что грозил унести меня.

notes

Примечания

Рамадан, или рамазан — девятый месяц мусульманского лунного года хиджры, тот самый, когда пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение. Весь этот месяц мусульмане соблюдают строгий пост (уразу) и могут есть и пить только после захода солнца. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Дервиш — мусульманский нищенствующий монах (*перс.*).

Одна из главных героинь романа Дж. Харрис «Леденцовые туфельки» (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009).

4

Шоколадная лавка (*фр.*).

Подробнее об этом — в романе Дж. Харрис «Шоколад» (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2007).

Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер, Вот снова дует добрый ветер, мой друг меня зовет... (фр.)

Возможно, от *фр.* *maraud* — «презренный», «недостойный»; здесь — «отбросы общества». С другой стороны, Дж. Харрис далее в тексте дает собственное толкование этому названию, полагая, что это искаженное множественное число от *marais* («болото, топь, трясина»), что вполне соответствует действительности.

Канал двух морей (*фр.*). Так называют Гаронну, поскольку она является частью водной системы, соединяющей Бискайский залив со Средиземным морем.

Успение, 15 августа.

Лепешка (*фр.*).

Эти события описаны в романе Дж. Харрис «Леденцовые туфельки».

Bastide (*фр.*) — укрепленный средневековый город на юго-западе Франции, в Провансе — просто деревенский дом.

Игра в шары, особенно популярная на юге Франции.

Буквально «черноногие» (*фр.*) — презрительное прозвище, которое французы дали алжирцам европейского происхождения, а затем и всем обитателям своих североафриканских колоний.

Бульвар Маленький Багдад (*фр.*).

Джеллаб — долгополая свободная рубаха с длинными рукавами;
кафтан — свободная рубаха примерно до колен с разрезами на боках.

Бурнус — закрытый плащ с капюшоном.

Сердечное согласие (*фр.*).

Аллах велик (*арабск.*).

Настоящее имя Вианн Роше было Сильвиан Кайю — об этом подробно рассказано в романе Дж. Харрис «Леденцовые туфельки».

Популярные во Франции булочки с шоколадной начинкой.

Patch (*англ.*) — заплатка, пятно неправильной формы.

Разговление вечером, после целого дня поста в рамадан (*арабск.*).

Autan (*фр.*) — южный ветер; vent d'autan — буря.

Лимонный сок (*фр.*).

Апельсиновый сок с газировкой.

Пирожное с черносливом (*фр.*).

Хвала Аллаху! (*арабск.*)

С соизволения Аллаха (*арабск.*).

Да, ладно (*арабск.*).

Роман Виктора Гюго «Отверженные».

Да будет воля Аллаха! (*арабск.*)

Кофе со сливками (*фр.*).

Хуракан («одноногий») — одно из главных божеств индейцев Центральной Америки, творец и повелитель мира, владыка грозы, ветра и ураганов.

Отан Белый, Отан Белый, Нам приносит ветер смелый (*фр.*).

Во имя Аллаха! (*арабск.*)

Нашептывания сатаны (*арабск.*).

Очень тонкие блинчики, буквально «блинчики с тысячью дырочек» (фр.).

Персонаж романов Дж. Харрис «Леденцовые туфельки» и «Пять четвертинок апельсина» (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009).

Шоколад с молоком (*фр.*).

Девочки писали слово «reach» (персик, *англ.*) с ошибкой, слово «cheer» означает «пищать, писк».

Анисовый ликер погасконски (*фр.*).

Злой дух в человеческом обличье (*арабск.*).

Мама (*арабск.*).

Грех (*арабск.*).

Здесь: колбасы (*фр.*).

Грех (*арабск.*), искаженное англ. «sin» (грех).

Повсюду на Востоке используется в значении «господин, европеец», но его исходное значение «друг» (*арабск.*).

Отан Белый приносит ветер. Отан Черный — отчаяние (*фр.*).

Кюффар, кяфир — «неверный» (*арабск.*).

Рай, райский сад (*арабск.*).

Да будет свет (*арабск.*).

Лицемеры (*фр.*).

Эмоциональное восклицание, одновременно означающее и «боже мой», и «черт возьми» (*фр.*).

Джаггернаут (или Джаганатха) в индийской мифологии — одно из воплощений бога Вишну; в переносном смысле — неумолимая, безжалостная сила, уничтожающая все на своем пути и требующая слепой веры или самоуничтожения.

Еврейский пророк Иона, получив от Бога повеление идти в Ниневию с проповедью покаяния, не послушался Его и отплыл на корабле в иные места, но корабль попал в страшную бурю, и Иона попросил моряков бросить его в море, понимая, что это наказание ему за грехи. Моряки повиновались, и буря утихла, а Иону проглотила большая рыба (в Евангелии — кит), в чреве которой он пробыл три дня и три ночи. — Ион 1:2.

Исход 16:15.

Ромовая баба (*фр.*).

Аллах велик. Клянусь Аллахом (*арабск.*).

Венские булочки (*фр.*).

«Фокси» образовано от fox — лисица (*англ.*).

Здесь: улыбчивая. От smile — улыбка (*англ.*).

Охлажденное шампанское (*фр.*).

Да здравствует Франция! (*фр.*)

Буквально «нищие» (*фр.*); пластинка черного или белого шоколада, украшенная самыми разнообразными фруктами и орехами; таким лакомством раньше торговали на улицах бедняки.

Quiche (*фр.*) — пирогзапеканка с разными начинками: ветчиной, сыром, шпинатом, грибами, рыбой.

Праздник (*арабск.*).